

АЛЕКСЕЙ
ПОТЕХИН

Проза
Русского
Севера



Бедные дворяне

Бедные дворяне: роман / Алексей Потехин // Вече, Москва, 2019
ISBN: 978-5-4484-7833-8
FB2: Tibioka, 23.05.2019, version 1.1
UUID: 2a8cfc6e-6fd7-11e9-b9d6-0cc47a520474
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Алексей Антипович Потехин

Бедные дворяне (Проза Русского Севера)

«Бедные дворяне» – один из лучших романов известного русского писателя Алексея Антиповича Потехина (1829–1908), ярко изображающий старинный помещичий быт времен крепостничества с его праздным разгулом, попрошайками-приживальщиками, лакеями и шутами.

Содержание

#1	0006
Часть первая	0007
I	0007
II	0033
III	0058
IV	0074
V	0085
VI	0124
VII	0145
VIII	0170
IX	0184
Часть вторая	0243
I	0243
II	0276
III	0323
IV	0330
V	0355
VI	0376
Часть третья	0395
I	0395
II	0406
III	0417
IV	0447
V	0474
VI	0496

VII	0520
VIII	0539
IX	0553
X	0570
XI	0616
Часть четвертая	0630
I	0630
II	0647
III	0677
IV	0693
V	0710
VI	0725
VII	0758
VIII	0788
IX	0803
X	0822
XI	0829

Алексей Антипович Потехин

Бедные дворяне

© ООО «Издательство „Вече“», 2019
© ООО «Издательство „Вече“», элек-
тронная версия, 2019

Часть первая

I

Ранние весенние сумерки давно наступили. Сквозь маленькие окна крестьянских избышек деревни Мешкова замелькали огоньки от зажженной лучины. В одной отдельно стоящей и так называемой сиротской избышке, маленькой, уютной, также светился огонек, но не от лучины, а от тонкой сальной свечи, воткнутой в изломанный медный подсвечник. Огонек этот, слабо освещая внутренность избы, давал возможность заметить, что здесь обитало не простое крестьянское семейство: стены избышки были оклеены внутри бумажными обоями, правда, очень дешевыми, и разного рода и рисунка, как бы собранными из остатков, оказавшихся лишними при оклейке комнат какого-либо другого дома; поперек избы шла перегородка, отделяя обыкновенную русскую печь с большим устьем и приделанным к ней голбцем[1]; в переднем углу на тябле[2] стояло несколько

икон: одна из них – в серебряной ризе, и была украшена цветами бархатцов, которые в настоящее время повяли и вполонину облетели. Тут же на тѣбле пред образами стояла из синего стекла лампада, зажигаемая, вероятно, накануне больших праздников. В переднем углу помещался стол, выкрашенный краской, постертой в некоторых местах от частого мытья и вытиранья. На одной стене между окошечками висело крошечное зеркальце.

Лавки по стенам и два стула с высокими спинками, из точеных столбиков, с соломенным сиденьем, выкрашенные черною краскою, дополняли убранство небогатого жилища, отличавшегося во всем какою-то изысканною чистотою и опрятностью, доходившею почти до чопорности, так что и пол, и потолок, и лавки, казалось, блестели и были вылощены. У стола сидели две женщины. Одной было лет под пятьдесят; другой около 20; обе они были одеты не по-крестьянски: на старшей – поношенный ситцевый теплый капот, голова повязана темным бумажным платком. Младшая – с открытою головою и волосами, заплетенными в одну косу, распу-

ценную по спине, была одета в клетчатое холстинковое платье. Это были мать и дочь, единственные обитательницы описанного жилища. Мать пряла пряжу, медленно и старательно выводя тонкую нитку, которую она потом с какой-то любовью и заботливостью навивала на веретено. Дочь плела кружева, весело побрякивая коклюшками. Тонкие черты лица старушки, приветливое, хотя в то же время и несколько лукавое выражение ее лица, какая-то степенность и даже некоторая важность в ее манерах с первого взгляда могли расположить к ней всякого, и ясно говорили, что это была в свое время женщина красивая, умная, с сознанием собственного достоинства и, как говорится, себе на уме. Дочь казалась совершенно не похожей на нее – гораздо больше ростом, гораздо мужественнее и вообще как-то грубоватее матери, но, что называется, девушка кровь с молоком. По близне ее рук и свежему цвету лица безошибочно можно было заключить, что девушка росла если не неженкой, то любимой матушкиной дочкою, которая не знала ни большой нужды, ни заботы и не изнурялась непосиль-

НЫМ ТРУДОМ.

Прасковья Федоровна – так звали мать – была вольноотпущенная от помещицы деревни Мешкова, ее бывшая фаворитка, горничная, потом доверенная ключница и наперсница. Несколько времени назад барыня отпустила ее на волю, за ее продолжительную и верную службу, и отпустила не кое-как, не с пустыми руками: своим барщинным мужикам приказала она срубить для нее даром, бесплатно, избушку, на которую пожаловала тридцать бревешек из собственных дач; дочери дала из собственного гардероба два поношенных ситцевых и одно почти новенькое шерстяное платье; на разживу и засвидетельствование в суде отпускной дала синенькую бумажку и впредь приказала обращаться к себе со всякой нуждою, обещаясь ни в чем не оставить. И, надо правду сказать, действительно не оставляла: оклеивали в господском доме стены – барыня все обрезки от шпалер приказала отдать Прасковье Федоровне, перекладывали в доме печь – все негодные изразцы и годные еще обломки кирпича были отсланы к ней же, чтобы и у Прасковьи Федо-

ровны была изразцовая лежанка; сломается ли старый медный подсвечник, отобьется ли горлышко у чайника, или ручка у чашки, или край у тарелки, одним словом, как только вещь сделается негодною для господского употребления, – тотчас же она отсылалась во владение Прасковьи Федоровны. И как дорого ценила, как искренно была благодарна она за все эти барские подарки! «Какой бы другой господин, говорила она, стал помнить да думать о вольном человеке? Другой бы сказал: будь доволен и тем, что на волю-то отпустили; а у меня, по милости госпожи моей, что ни есть в доме, все не купленное, разве только что самовар купила, да что поценнее, дороже, а то все – господское: всякий последний пустяк».

И барыня со своей стороны тоже была довольна своей бывшей ключницей. «За то люблю Параню, – говаривала она, – что чувствует. Что-что она теперь вольная – она и теперь готова служить мне, как своя раба крепостная: только пошли да позови, так что угодно, на все готова. А пожалуешь что, так свой крепостной не станет так благодарить да перевоз-

носить, как она... Вот каких я люблю, таким мне не жалко ничего и дать, потому – вижу, что чувствует человек, понимает. Вот еще жениха буду приискивать хорошего ее Катерине; а замуж будет выходить, свое старое шелковое платье дам в приданое, непременно пожалую, хорошее платье подарю».

Прасковья Федоровна даже сначала огорчилась и несколько обиделась, когда барыня объявила ей, что намерена дать ей вольную...

– Чтой-то, Матушка, не угодна, что ли, я вам стала? – говорила она со слезами на глазах.

– Нет, Параня, ты мне угодна, я твоей службой довольна, за то тебя и хочу наградить.

– Матушка, я и без того вами много довольна, и без того всем награждена.

– Знаю я, что тебе, может быть, вольной и не надо, тебе и без нее у меня хорошо, да я даю тебе вольную для примера другим: другому бы и хотелось получить, да не получит, потому не стоит; не умел еще заслужить, – так пусть поучится... И опять: для тебя не нужна вольная – так дочь за нее спасибо скажет.

И Прасковья Федоровна приняла вольную

только ради дочери. Само собою разумеется, она очень хорошо понимала, что как ни хорошо ей у барыни, а на воле будет лучше, – уж тем одним лучше, что она сама себе будет барыня, сама себе и слуга, а ведь «барская милость до порога» – говорит старинная пословица. Да и как можно: то ли дело вольный человек? Что захотел съел, куда захотел пошел, нужно – работай, а захочешь – и отдышку себе можно дать. Конечно, все это очень хорошо, понимала Прасковья Федоровна; но, получая из рук барыни отпускную и прощаясь с нею, горько плакала, и дочери наказывала, чтоб и она тоже плакала, как можно больше убивалась.

– Мне, матушка, – говорила она, стоя перед барыней, – не снести этого, что вы так-таки и прогоняете меня от себя. Куда я денусь? Куда приткнусь? Была я вашей рабою и хочу служить вам во веки веков моей жизни.

Вот тогда-то, за эти самые умные речи, и приказала барыня дать Прасковье Федоровне тридцать бревешек и срубить ей избушку в самой деревне поближе к господскому дому.

Прасковья Федоровна, будучи и крепост-

ной, была почти постоянно в милости у барыни: находясь почти с самого детства при госпоже, она успела хорошо изучить ее характер, – и постоянно во всем ей угождала. Один раз только во всю свою жизнь она находилась, некоторое время, под гневом у своей барыни, по поводу рождения дочки. Прасковья Федоровна была, и до сих пор оставалась, девицей; – посвятивши жизнь свою ухаживанию за барыней, она умела уклоняться от всех соблазнов, которым часто подвергали ее молодость и красота, – и только на двадцать восьмом году своей жизни не выдержала – и увлеклась нежными чувствами, плодом которых и была дочь Катерина. В то время Прасковья Федоровна была уже ключницей, – следовательно, на таком почетном и солидном месте, которое предполагает в человеке, его занимающем, отсутствие всех подобных слабостей, и потому беременность ее еще более огорчила и удивила барыню; но, как добрая и благоразумная женщина, она рассудила снисходительно и благоразумно.

– Я на тебя гневалась, Парасковья, больше для вида и для примера другим, говорила ей

барыня, прощая ее: потому ты ключница... Будь ты простая горничная девка, твой проступок был бы простительнее. Но я знаю, что ты для моего угождения не пошла замуж и осталась в девках, а потому тебя и прощаю. Другой на твоём месте я бы не простила.

Кто был виновником жизни Катерины, – осталось тайною для всех.

Прасковья Федоровна никогда никому об этом не говорила, хотя нередко, в некоторых случаях, и намекала, что, может быть, и в ее Катерине течет не одна рабская кровь, а может статься, есть и барская.

Прасковья Федоровна никогда не забывала, что она была служанкою своей барыни, и даже находила какое-то особенное удовольствие, или, может быть, выгоду, называть себя пред нею рабою и подданною.

– Мы, матушка, всегда должны помнить, из какого мы корени выросли, какой мы яблони – яблочки, а особливо перед своими коренными господами. Уж можно ли нам свой род с вашим на ряд поставить. Вы и Богу-то угоднее нашего; чай и святых-то больше из вашего рода, чем из нашего, – потому вы и молиться

ему, Господу, знаете как – обучены; и милостыню сотворить, и в церковь подать вам есть из чего; и священникам больше нашего подадите; они за вас и Бога больше помолят. А наш род что? Что живем? В церковь сходил бы, – так иной раз некогда, за нашими делами; хоть бы помянуть когда велел пред Всевышним или молебен отслужил, – так и заплатить-то иной раз нечем, а другой раз на-вернется гривенник-то, так и тот на грех изведешь: платчишко или фартучишко купишь понаряднее, – тоже не хочется себя уронить пред людьми; али на другой какой грех денежки-то ухлопаешь: брюхо-то глупо – сладенького просит, – так посмотришь, посмотришь, да калачика, али орешков и купишь. Что уж мы, так век-от мотаемся, – как нам можно себя к господам прировнять!

– Ах, Федоровна, – обыкновенно возражает, бывало, на это барыня, – зато какой и ответ-то мы, господа, за вас, рабов, должны отдать на том свете. Ведь вы – все равно что дети наши: с нас ведь Бог-от взыщет за вас.

– Ах, матушка, да как бы мы хоть умели служить-то да покоряться, а то мы и этого-то

не умеем. Чем бы нам смолчать, да перенести на себе, да еще стараться больше и больше служить, – коли господа тобою недовольны, мы не снесем; да хоть не в глаза сгрубишь, – так за глаза поропщешь; вот все спасение-то пред Господом Богом и потерял.

Как было барыне не любить Прасковьи Федоровны; так благоразумно и рабски рассуждавшей!..

С другой стороны, умная Прасковья Федоровна умела жить в ладу и с дворней, и с крестьянами, особливо с тех пор, как стала вольною. «Конечно, барские милости ко мне велики, – рассуждала она сама про себя, – и велики, и лестны, и дороги, а все мне век-от жить не с барыней, а со своим братом, – за что же я стану с ним ссориться? И вследствие такого рассуждения она не только не позволяла себе наушничества или сплетней относительно своего брата, но даже, по возможности, и без вреда самой себе, старалась защищать его. Если барыня, бывало, на кого прогневаётся и с негодованием и раздражением рассказывает о вине лакея, девки или мужика, Прасковья Федоровна, видя, что прямою защитой может

повредить и самой себе во мнении барыни, только, бывало, отмалчивается, или с осуждением покачивает головою и вздыхает, приговаривая:

– Ах глупые, глупые!

Барыня очень любила, чтобы все ее подданные любили и хвалили ее за доброту, милосердие и снисходительность; и когда, бывало, дойдет до нее слух, что барщина, забывая великие милости, ропщет на нее за какую-нибудь излишнюю работу, или не с полною готовностью и радостью старается исполнить ее приказание, госпожа очень этим огорчалась и горько жаловалась Федоровне на неблагодарность людей.

– Я ли им не мать? Я ли не баловщица? Ты сама знаешь, Федоровна, так ли у меня, как у других господ: не бывало ни зажину ни засева, чтоб я не поднесла им водки; помолотуха одна – так мне каждый год двадцать пять рублей стоит; так должны бы они все это ценить, а они что же это сделали? Выхожу я сама погулять на поле, – вижу, половина поля ярового сжата; другая стоит не тронута; а время уходит – скоро Ивана Постного, я и говорю:

„Ну, ребяташки, прошу я вас, потрудитесь, уж дождните мне все яровое зараз; вам всего тут работы дня на три на четыре; а я вам после за это целый день свой отдам“. Так что же ты думаешь? Не то чтобы сказать: „Слушаем-де, матушка, как можно господскую работу без конца бросить“, что ты думаешь? Хоть бы слово кто сказал, а Васька – грубиян, знаешь, горелый? Я давно до него добираюсь, – у нас, говорит, матушка, у самих еще рожь не дожата, все яровое стоит не тронуту, а ячмень давно ушел». А? Как тебе нравится? У него ячмень ушел! У него ячменя-то посеяно какой-нибудь мешок, а тут барского добра на тысячу пропадет. Вот ты, Федоровна, всегда еще их защищаешь, ну-ка скажи: есть какая-нибудь благодарность в этом народе?...

– Я их, матушка, не защищаю, а только докладывала вам и опять доложу, что наш народ – робкий и покорный. Может, кто что сглупа да с сердца и сболтнул; чего не слышала, не могу заверять. А это могу заверить, как благодарны вами мужички, как хвалят и превозносят вас, так уж это сама слышала, и не раз и не два, а может, каждый час слышу. Вот

что я вам доложу!..

– Так зачем же они это говорят, коли благодарны мною? Когда я человеком благодарна, так я стараюсь больше и больше ему услужить, а уж не стану позорить да ругать.

– Эх, матушка, захотели вы себя приравнять к мужику? Вы, господа, имеете над нами власть: что прикажете, так должны исполнять, а у мужика-то только и есть, как что не по нем, так побормочет за глаза. А уж что любят вас мужички – так любят...

– Я терпеть не могу, как про меня кто за глаза говорит, мне лучше прямо скажи, мне приятней. Ну, и как же ты говоришь: «Все довольны и благодарны», – а как же Васька-то Горелый, мне прямо в глаза грубиянил?

– Так, матушка, сердечная барыня, разве на всех угодишь? Ведь велик Бог на небе, а царь на земле, так и те на всех-то не могут угодить; и царя за глаза-то ругают, а и у Бога-то один просит дождя, другой ветра, да ведь Господь-то нас, грешных, за это прощает: знает он, Великий Создатель, какие мы нена сытные грешники... и вы, матушка, простите!

Так жила и уживалась со своей барынею

Прасковья Федоровна. Но прошло несколько лет – не стало и барыни, которая, впрочем, и перед смертью не забыла своей верной служанки и наперсницы, и отказала ей, на помин души своей, двадцатипятирублевую бумажку. Прасковья Федоровна окончательно утвердилась в Мешкове. Дочь ее подрастала и становилась невестой, и невестой по деревне весьма заметной, потому что все предполагали у Прасковьи Федоровны не малые денежки. И деньжонки действительно водились у нее; большие или малые – этого никто не знал наверное, кроме самой хозяйки; но все видели, что приданое у Катерины, как деревенской невесты, было на славу. Даже дочери богатых мужичков не были одеты наряднее ее. Но Прасковья Федоровна не торопилась выдать дочку замуж и не искала женихов. «За судьбой не угоняешься и от судьбы не убежишь», – говаривала она обыкновенно.

Прасковья Федоровна жила с дочерью тихо и уединенно; в гости выходила редко, и то, большею частью, с разными поздравлениями к соседям помещикам, старым приятелям ее барыни, куда постоянно брала с собою и дочь.

Так прожили они до той поры, как Катерина подвигалась уже к двадцати пяти годам; отсюда начинается и наш рассказ.

В настоящий вечер мать и дочь сидели за работою, почти молча, изредка лишь перекидываясь незначительными фразами. Вдруг под средним окном избушки кто-то постучался.

– Кто тут? – спросила Прасковья Федоровна, высунувши голову за окно.

– Богомолка, родимая, проходящая... пустите, Христа ради, переночевать, укройте от темной ночи.

– Да откудава Бог несет?

– Я-то откудава?

– Да.

– Дальная, родимая: слыхала ли Старое Воскресенье?... Так из под него.

– А куда ходила на богомолье-то?

– А ходила ко Владимирским угодникам... так пустите, родимая, Христа ради.

– Да что же это ты, тетушка, у сиротской избы стучишься? Тебе бы вот в больших-то домах попроситься переночевать: тамоди, чай, и простора побольше.

– Эх, родимая, в сиротскую-то келью скорее достучишься; сиротинушка-то скорее пу-
стит – да приветит.

– Ну, войди с Богом!

– Ну, спаси Христос.

В избу вошла высокая, худощавая, пожилая женщина, в меховом тулупе, покрытом синею нанкою; голова и лицо ее наглухо были увязаны большим платком, так что оставались незакрытыми почти одни только глаза. Помолившись иконам, поздоровавшись с хозяйками, богомолка попросила позволения лечь на полатки и, не дождавшись ответа, полезла на них. Улегшись на них, она свесила вниз голову и стала смотреть на хозяйку, а преимущественно на дочь ее.

– Эки стужи становятся: смерть озябла.

– Да что больно поздно на богомолье то пошла: что бы летом? – заметила Прасковья Федоровна.

– Да летом-то все не угодила никак: работы замяли. Сами-то вы господские?

– Были, сударыня моя, и господские, а теперь стали Боговы да государевы.

– Что же, за большую службу вашу отпу-

стили господа на волю?

– Уж не знаю, велика ли была моя служба, да, видно, госпожа почтила за большое.

– Ну спаси ее Христос; а умерла – так царство ей небесное... Как же теперь, так и живете в сиротстве?

– Да, вот и живем по милости Господней, да хлеб жуем.

– А при какой должности на барском-то дворе находилась?

– Да я при всех должностях была: никакая от моих рук не отходила. С ребячьих лет все около барыни, с четырнадцати лет ключничать пошла.

– Ну так, чай, с денежками отошла от господ-то, не с пустыми руками...

Прасковья Федоровна пристально посмотрела на богомолку.

– Какие деньги у дворового человека? Коли служить господам да воровать, так ничего не заслужишь и на волю не выпустят. Господа честность да правду любят, ретивого да верного раба около себя держат; а я со своей барыней тридцать лет жила, голубушка моя, как сестра родная.

– Ну так, чай, потому и отличка тебе была, все рубль-от скорей даст тебе, чем кому другому... я вот про что говорю, матушка, а не на счет какого воровства. Что уж, воровством много ли наживешь... а, чай, господам не стыдно и обжаловать верного человека.

– Конечно, и я не могу пожаловаться на свою барыню: много была ее милостями взыскана... А все дворовый человек у господ на службе капитала не наживет, потому и господам деньги раздавать своим слугам не приходится... А сыт человек, одет да заработал себе в праздник гривенничек, на мяконькое да на сладенькое, – вот он и должен быть доволен, и от господ ему больше нечего ждать... Вот что, моя любезная!

– Это так, матушка... ну а вот как же, тоже в миру говорят, – мы хоть не господские, а тоже слышим... что у господ только и житья и наживы, что старосте, ключнику да ключнице...

– Ну, да ведь это вольному – воля...

– Это уж так, матушка, так... Ну ведь тоже, я думаю, работам разным обучены; а живете, – оброка теперь не платите: можете себе

заработать и на хлеб на соль, и доченьке в приданство что отложить... Это доченька, чай, твоя?...

– Нешто.

– Славная какая красавица. Ведь, вот, чай, замуж тоже отдавать надо, женишка приискивать...

– Искать я не стану. Судьба придет – сама найдет.

– Да это уж такое дело, матушка. А все, чай, уж в девках не оставишь сидеть. Поди-ка, чай, приданого-то что наклала...

– Что есть, все у ней будет...

– Женихов-то поди не мало тоже забегало...

– Были, слава Богу, да не тороплюсь: замужем еще буде, – пускай в девках поживет.

– Нешто, а все надо девку пристроить: молодая кровь, матушка, всяко бывает... Что девку держать? Не в соли ее солить. Разве только, что женихи-то все нестоящие. Экую красавицу надо за хорошего человека отдать, а не за кое-какого...

– Бывали всякие, сударыня моя... Да дочь то одна – так и жалко расставаться...

– Замуж выдать, – что за расставанье? Был

бы только зять хороший да добрый человек, – так теще у него завсегда первое место.

– Ну уж, матушка, все не то... На зятевы хлебы я не пойду; своим куском, как-нибудь, проживу; а выдать дочку замуж – все уж отрезанный ломоть будет... все уж ровно не твое, а мужняя жена... Да и кто его узнает – каков он человек... Женихом-то смирный да ласковый, а тут смотришь, с женой-то ровно зверь станет. Теперь она у меня живет хоть в сиротстве, да ничем от матери не оставлена; поработала сколь сил стало – да и не знай ни о чем заботушки. А замуж-то выйдет – натерпится и нужды, и горя... Вот что, моя милая... так и жалко отдать, а этого товара – женихов – где бы не найти!

– Ну да ведь тоже, чай, вольные люди! За крепостного-то не отдашь – хоть бы какой ни был?

– Нет уж, это сказать, что не отдам... это что говорить... и крепостной человек иной лучше вольного, – а все не отдам. Коли Господь привел тебе быть в крепости, – живи терпи и не сетуй: будет тебе хорошо, какой бы ни был господин, служи ему только со всем

усердием... А избавил от этого Господь, так благодари Его, Создателя, а нечего опять себя завязывать, коли развязана.

– Умные твои речи, родимая моя... Наградил тебя Всевышний разумом. У эдакой родительницы и доченьке есть чему набратся... Да, ей надобно женишка хорошего... Вот бы я посватала; около нас есть молодец-то: вот бы парочка-то была! Благородный, дворянин столбовой.

Прасковья Федоровна усмехнулась.

– Эх, матушка, где уж нам об этих женихах думать: такой жених и посмотреть-то на нас не захочет...

– Полно, родимая, посмотрит. Он ведь хоть и дворянин, да душ-то у него нет.

– Так какой же он дворянин, коли душ у него нет...

– А уж точно дворянин, старинный, столбовой... только что души-то они все свои поистеряли, – еще и у дедушки-то душ не было, – а что дворянин – так это точно... и усадьба и земля своя есть... Ну, правда, небогато живут, да ведь, матушка, что нынче в богатстве-то?... Деньги дело наживное, был бы человек-от хо-

рош. А уж этот парень знатной, доброй, смиренной, что твоя красная девка, хмельного в рот не берет, этого зелья табака – и духа нет... Ну да и то сказать, хоть не богаты, а все есть: и домик свой, и лошадка, и корова, ну и земля своя, и подати никакой не платит, есть с чего разживаться. Право... хошь ли сватать стану?

– Очень тебе благодарна, любезная моя... только как же это? – Ни мы его не знаем, да и ты нас впервые видишь... не знаешь, что мы за люди, а хочешь сватать...

– Эх, матушка, да разве не видно человека-то с первого взгляда? Хоть все-то на тебя смотри, так то же увидишь: женщина ты умная, рассудительная, христианка; дочка-то у тебя – видно, что в страхе Божиим воспитана: вот сидит – не больно вертится; а что руки-то золотые, так тоже видно: вишь как клюшки-то перекидывает, любо смотреть...

– Да уж на счет этого – она у меня к работе привычна, никакое дело из рук не вывалится... Это что говорить. Да ведь, сударыня моя, надо и жениха знать... хоть мы люди и не большие, маленькие, а тоже и я свою дочь не захочу поброском бросить... Точно что ты го-

воришь, что хороший человек, расхваливаешь его, да ведь, милая моя, прости ты меня: я тебя не знаю, а как на чужое слово положиться?... Свой глазок – смотрок; а особенно материнское дело... сама ведаешь...

– Опять-таки умные твои речи... Да ведь дело-то у нас не к венцу, а к одной разговорке. Намерение твое будет – так мудро ли парня досмотреть. Да хочешь – так дело сделаю, что сюда приедет, только бы знать мне, что сказать: велико ли приданство-то за доченькой твоей... Ведь тоже, матушка, и они к пустому месту не поедут... хоть небогаты, а тоже знают, что дворяне, с пустыми-то руками не захочется взять.

– А вот что у меня за ней приданство: что у меня есть – все ее; у меня она одна, мне некому отдавать.

– Ну и из денежек, может, дашь что?

– А вот, я тебе скажу, моя любезная: много ли, мало ли есть у меня денег, коли зять будет человек стоящий, все у дочери будут, мне не надо... а только жениху в руки денег не дам, потому ты сама знаешь: в наших местах еще отцу с матерью за невесту кладут... Ну, мне

этого не надо, только бы и от меня уж не ждали... А будут жить хорошо, – будет зять почитать меня, старуху, – ни в чем не оставлю. Да полно-ка, что мы с тобой, точно и в правду у нас сватовство идет... Давай-ка лучше, Катерина, ужинать.

– Да, видно, уж быть делу так...

– Полно-ка, родимая, от разговорки до дела долог путь. Слезай-ка да поужинай с нами, чем Бог послал.

Катерина проворно разослала на столе толстую белую скатерть, поставила солонку, положила каравай хлеба и деревянные ложки, вынула из печи горшок с варевом, и хозяйка вместе с богоданной гостьей принялись ужинать. Прасковья Федоровна подробно расспрашивала богомолку об ней самой: та назвалась государственною крестьянкою. Хозяйка усердно угощала ее, была ласкова и приветлива: очевидно, что мысль выдать дочь за столбового дворянина очень ей полюбилась, и она старалась задобрить будущую сваху. Когда последняя, после ужина, улегшись на полати, опять завела об этом речь, Прасковья Федоровна подробно расспрашива-

ла об женихе, и хотя старалась сохранить прежний тон равнодушия, но не раз высказала желание посмотреть на жениха, под тем предлогом, что хорошего человека всегда лестно видеть.

Богомолка с своей стороны расспросила Прасковью Федоровну: кто у нее родные, нет ли богатых мужиков между ними, сколько у Катерины носильных платьев, какое у ней приданое, знает ли она полевою работу и проч. и проч.

На другой день, чем свет, богомолка проснулась и ушла, повторивши на прощанье, что она непременно покажет Прасковье Федоровне своего жениха.

Прошло несколько дней. Прасковья Федоровна совсем было позабыла о посетительнице и перестала думать о женихе-дворянине, как вдруг, в один праздничный день, когда она только что воротилась от обедни, к избушке ее подъехали сани, запряженные в одну лошадь.

Прасковья Федоровна выглянула в окно.

В санях сидели молодой парень и пожилая женщина. В последней она тотчас же узнала богомолку, в первом отгадала жениха. Быстро откинувшись от окна, она оглядела Катерину с ног до головы и велела ей уйти в чулан и не выходить оттуда, пока она не позовет, а между тем надеть другое платье, еще понаряднее. Катерина, тоже успевшая взглянуть в окно и догадавшаяся, кто приехал, проворно ушла из избы.

Под окном постучали кнутовищем.

– Кто тут? – спросила Прасковья Федоровна.

– Дома ли хозяйюшка? – слышался знакомый голос.

– Да кого вам надобно?

– Прасковью Федоровну, хозяйюшку.

– Да кто вы такие?

– Али не узнала, матка?... Старая знакомая: помнишь, богомолка-то была. Да вот ездила с барином в село на базар, да иззябли больно, так дай, думаю, заеду к Прасковье Федоровне: неужто не обогреет?... Позволь взойти?...

– Милости просим, милости просим.

Вместе с богомолкой вошел в избу парень лет двадцати двух, белокурый с прорыжью, стриженный в скобку, с лицом добродушным и глуповатым. На нем была грубого синего сукна поддевка, с борами, толсто стеганная на вате, шея повязана цветным бумажным платком. Неуклюже переваливаясь, вошел он вслед за своей провожатой и, помолвившись по ее примеру образам, молча поклонился хозяйке.

– Просим покорнейше садиться, дорогие гости! – приветливо проговорила Прасковья Федоровна, осматривая гостя и опоражнивая для него место в переднем углу.

– Вот сюда садитесь: к столу-то поближе! – сказала она молодому парню, который было

уже уселся на лавке недалеко от дверей.

– Да ничего, все едино! – отвечал тот, лениво приподнимаясь с занятого места, и перешел на указанное.

– Какими это судьбами Бог принес? – обратилась хозяйка к гостю, усаживая ее рядом с барином.

– А вот поехали на базаре погулять, на людей посмотреть и себя показать – да и заехали к вам.

– Доброе дело... покорнейше благодарим... Ну, чем же дорогих гостей потчевать? Может, водочки прикажете? – обратилась она к барину.

– Нету, напрасно, не пью.

– Не употребляет, Прасковья Федоровна. Нечего тем и потчевать к нему, привычки не имеет.

– Ну так ин-разве чайку?

– Вот это другое дело, это по нам.

– А вот сейчас велю дочке поставить самоварчик. Чай-то да сахар есть: этот запас держу. Я тотчас... – Прасковья Федоровна вышла...

Воспользовавшись отсутствием хозяйки,

богомолка обратилась к своему спутнику:

– А ты, Никеша, смотри, говори, да оглядывайся: вишь она какая баба вор: сейчас на счет водочки подпустила. А будет про что спрашивать, не мнись, отвечай попроторней да обдумавшись.

Прасковья Федоровна, выйдя из избы, вошла прямо в чулан и осмотрела дочь, которая уже успела переодеться, – осталась довольна, и велела ей поскорее согреть самовар.

– А поспеет-то, так внеси, поставь на стол, да и отойди в сторонку – сядь да на них не больно смотри, точно не твое дело. Посиди эдак маленько, да опять уйди, – хоть к дяде Василию, – там и будь покамест они сидят у нас.

Сделавши такое распоряжение, Прасковья Федоровна опять возвратилась в избу и подсе- ла к барину.

– Так разгуляться вздумали? – обратилась она к нему.

– Да, погулять захотелось.

– В своей собственной усадьбе жительство имеете?

– В своей живем.

– А как прозывается?

– Охлопки.

– Это далеко ли отселе будет?

– Так... верст с двадцать.

– Нету, меньше будет... Меньше, чай, пятнадцати, – заметила гостья.

– Охлопки! Не слыхала эдакой усадьбы.

– Так у нас называется.

– Потому, может, невдомек, Прасковья Федоровна, что ведь ее больше по деревне называют: тут чрез речку деревня Стройки, так по ней больше и называют. Ведь ихний род прежде богатый был, и не ведомо, сколько деревень ихних было, и Стройки-то ихние были, так теперь и усадьбу-то по деревне больше зовут. Ведь прадедушки их все свои души поистеряли.

– А большое ваше семейство?

– Батюшка есть, брат Иван, да вот тетушка с нами живет... – и Никеша указал на богомолку.

– Как, разве тетушка придетесь?

– Ну уж проговорился, так нечего таить, Прасковья Федоровна. Родная тетка я ему. Никанор Александрыч на моих руках вырос, по-

читай и моим сыном зовется: отец-то мало в него и вступается.

– Вот какая хитрая, и не сказалась... Наталья... как по батюшке-то?...

– Наталья Никитична.

– Наталья Никитична! И не сказалась...

– Ну уж все равно, Федоровна, не теперь – так после бы спознала.

– Так вот как, это тетушка ваша!.. Ну... хитрая же у вас... тетушка...

– Что так?

– Ну уж я знаю что!.. А грамоте-то поучены?

– Нет, грамоте не учен, Прасковья Федоровна, – отвечала тетка. – Это надо правду говорить!.. Жил-то он на моих руках; я-то неграмотная, а отец у него грамотный: и часовщик, и псалтирь знает... Ну а дядюшка у него... так тот в службе офицером, – тоже грамотный... только что вестей от него давно нет; не знаем, уж и жив ли... Ну а его Бог не привел; этому его не поучили, уж не его вина... этого Бог лишил. За то уж скажу: на счет работы, уж нет такого парня. Вот хоть и родной, а не стыдно сказать, не хвастаю. Вот другой брат, хоть и

грамоте маленько поучен, а эдакой работник не будет, в половину нет.

– А... это жалко, баринок: грамота свет дает человеку, понятие всякое.

– Не обучен.

– Да уж это не его вина, наш грех. Эх, Прасковья Федоровна, конечно, грамота хорошо, да ведь и без грамоты люди живут, а иной и грамотный да вор, либо пьяница, или буян какой. Грамотный-то скорей из послушанья-то выйдет.

– Да, это, конечно, так, простому человеку, мужику; а барину все уж грамота – первое дело.

– Ну уж чего нет, так негде взять, Прасковья Федоровна. Дети будут, детей станет учить, а сам уж как-нибудь и без грамоты век доживет. А ведь и то сказать, захочет – так, может, и теперь выучится...

– А знакомые-то есть ли кто у вас из господ-то? – спросила Федоровна, обращаясь к жениху.

– Нетутка... никак. Нет...

– Эх, Прасковья Федоровна, где нам с нашими недостатками знакомство водить... На то

нужны деньги, особенно же с господами. Кабы у нас были свои души, хоть мало-мальски было бы от кого отойти, а то всякую работу сами справляем: досуг ли тут по гостям ездить... Хоша мы и знаем свой род, что он коренной, столбовой дворянский, да кто захочет из господ, по нашей бедности, знакомство с нами вести?... Нет, уж мы так и отошли от своего брата – совсем отстали от господ... Что уж!..

– Напрасно вы это делаете... Конечно, хоть бы настоящий богатый барин его вровень с собою не поставит, но все не сравнивает супротив мужика; все попомнит, что он свой брат, дворянин, особенно если он во всем манеру будет брать с господ... да еще и не оставит своего брата, коли он в бедности, и поможет. А женится, – теперь дети пойдут, – так кто ему поможет детей обучить и к месту их пристроить? Ведь, чай, не в мужики же их прочить: род свой надо помнить... Коли Бог обидел, – родителя грамоты лишил, – надо хоть детям счастье предоставить... Как вы об этом полагаете, Никанор Александрович?

– Точно так. Очень желательно в господскую компанию войти, – отвечал жених. По-

том взглянул на тетку и прибавил: – Это как тетенке будет угодно, потому я им должен во всем повиноваться, так как они меня на своих руках выводили...

– Он ведь у меня восковой, – поспешила прибавить Наталья Никитична. – Из него, как из воска, что хошь лепи... Уж эдакова послушания, эдакова смиренности – поискать. Вот за глаза и в глаза скажу...

Хитрая Наталья Никитична еще дома научила Никешу говорить почаще, что он во всем слушается тетки и из послушания никогда не выходит, так как она ему вместо матери.

– Вот таких молодых людей люблю, которые помнят, кто им делал добро, и старших почитают... – сказала Прасковья Федоровна. – За это невидимо Бог подает...

– Да что же ты, Прасковья Федоровна, доченьки-то своей не покажешь? Где она у тебя? – спросила Наталья Никитична.

– Поди, чай, в светелке сидит, либо к родным ушла. Она ведь у меня, матушка, не больно к чужим-то людям выскакивает. Слава Богу, не вертлява девка... не тому от мате-

ри учена... она у меня никуда с моего глаза: на улицу одна не пойдет, разве вот к дяде, по соседству... Нет, нечего сказать, должна Бога благодарить: не срамит мать... степенна...

– Это уж на что лучше, тем девушка и красна, коли стыдлива, да не по сторонам, а в землю смотрит... Да покажи, матка... вели взойти-то...

– Да ведь не скоро уломаешь и взойти-то, коли чужой мужчина в дому: уж очень она у меня на счет этого осторожна... Вот погодите – велю самовар подать – чай уж поспел.

Прасковья Федоровна вышла и велела дочери подавать самовар, причем подтвердила опять, чтобы она в избе долго не оставалась, а пуще всего на жениха бы прямо не смотрела, а разве взглянула бы как-нибудь бочком, или исподлобья, чтобы ни он, ни тетка того не заметили. В то же время Наталья Никитична внушала племяннику, чтоб он высматривал невесту хорошенько, да помнил бы, что ему другой такой не найти, и всеми мерами старался бы понравиться матери, как она его учила и дома. Потом она провела рукою по лоснящимся от скоромного масла волосам

жениха, выправила из-под кафтана концы бумажного цветного платка, которым повязана была его шея, и, подтолкнувши в бок, велела сидеть попрямее и веселее смотреть. Вслед за тем в избу вошла Катерина, неся за ручки ярко вычищенный, хотя старый и помятый, самовар.

– Вот и дочка моя! – сказала Прасковья Федоровна, следуя за ней.

– Здравствуй, моя красавица, – проговорила Наталья Никитична, вставая и целуясь с нею. – Узнала ли меня? Помнишь богомолку-то: приходила ономясь?[3]

– Очень помню-с? – отвечала Катерина, не поднимая глаз.

– А вот теперь я к вам в гости приехала, да еще и с барином... Кланяйся, Никеша! – прибавила она, обратясь к племяннику, который смотрел выпуча глаза на невесту. Никанор привстал и неловко, как медведь, поклонился, и потом опять сел, повернул шеей, как будто для того, чтобы обратить внимание на свой красный шейный платок, и с самодвольной улыбкой уперся руками в колена. По ослабленному лицу его можно было видеть,

что невеста ему понравилась. Катерина, молча и не поднимая глаз, ответила на поклон Никеша и невольно покраснела.

– Ну, уж и зарделась! – со смехом проговорила Наталья Никитична, торопливо и в ласку подтолкнувши в плечо Катерину. – Ах вы, девки, девки молодые!..

Катерина отошла и села в сторонку, откуда успела, однако ж, взглянуть на жениха, и тотчас же отвернулась к окну.

– А вы сами-то вдова или девица? – спросила Прасковья Федоровна, чтобы что-нибудь говорить.

– Девка, матушка, сызмальства девка... – отвечала тетка, «и детей ненашивала», хотела было она прибавить, но остановилась, смекнувши, что эти слова могли обидеть хозяйку. – Вот только и дал Бог дитячко! – сказала она, указывая на Никешу. – Мать-то, как умирала, мне на руки отдала...

Катерина, взглянувши еще раз на жениха, встала и ушла вон из избы, следуя наставлению матери.

– Ну, вот, уж и ушла: и наглядеться на себя не дала! – заметила Никитична. – Ну-ка,

Прасковья Федоровна, давай говорить делом: уж нечего нам друг перед другом лясы точить...

– Да об каком же это деле, Наталья Никитична?... Кажется, у нас ничего нет... Вот не угодно ли чайку? Кушайте-ка.

– Ну что, матка, привередничать? Уж пойдём на чистоту. У тебя товар – у меня купец, коли мой купец тебе не противен, а наш товар вам надобен, и по мысли, и по сердцу.

– Я вам на это, Наталья Никитична, ничего не скажу: первое, что я ничего не слыхала от ихнего родителя и даже вида его не видала.

– На счет этого не беспокойся: отец против меня не пойдёт. Я в Никеше полная хозяйка: я ему вместо матери родной... Я его выпоила, выкормила, я его и женить хочу.

– Погодите, Наталья Никитична. Второе дело: вы люди благородные, а в благородных домах ведётся, чтобы сам жених себе невесту выбирал, по своему по сердцу и по вкусу; ваше дело – не мужицкое, что нашёл отец или мать девку работающую, говорит сыну: женись, потому работница в дому нужна; он и женится... Ваше дело другое... А я еще от Ни-

канора Александрыча ничего не слыхала... Может быть, они и не захотят взять невесту из такого низкого рода... А я не хочу после слышать этакое упрека от жениха, чтобы он мне мог сказать, что его женили на моей дочери поневоле... Как вы полагаете, Никанор Александрыч, дело я говорю?

– Отвечай, Никеша.

– Это, как тетеньке угодно, потому я всегда должен повиноваться, так как она мне вместо матери родной...

– Да это все очень прекрасно, что вы говорите, да есть ли на то ваше-то собственное желание?

– Ну говори, Никеша, по сердцу ли тебе невеста, желаешь ли ты ее?... Кланяйся да попроси.

– Не оставьте... Очень желаю... – проговорил жених, вставая и кланяясь.

– Очень вам благодарна за вашу честь... Теперь я слышала от вас ваше желание и, можно сказать, просьбу, и опять-таки я вам ничего не могу ответить.

– Что же, матка, Парасковья Федоровна, напрасно ты нас уж так ни во что полагаешь...

Неужели уж этакой парень в самом деле последний, что не стоит он твоего ответа?...

– Погодите, Наталья Никитична, вы этими моими словами не обижайтесь. И не такие дела так не делаются: всякое дело требует рассуждения, а особливо этокое. Опять-таки рассудите сами, Наталья Никитична: приехали вы ко мне, что говорится, с оника... не знаю я ни вашего жительствова, ни всего семейства вашего... конечно, я вижу Никанора Александровича и не могу ничего сказать против них, потому сейчас могу видеть, что человек скромный, степенный, почтительный, ну, еще неопытен, да это придет с годами, и коли будет жить промеж хорошими людьми... Да ведь нужно же мне посмотреть хоть, в каком доме будет жить моя дочь... и с кем...

– Да я вот что тебе скажу: она ни с кем не будет жить, окромя меня да мужа, потому как Никеша женится, так отец должен его отделить, потому я свою часть возьму, что мне следует из имения, выстроим мы дом и станем жить особливо, а хотите – пожалуй, и вы – милости просим к нам жить...

– Ну, Наталья Никитична, у меня на это

есть пословица: на чужой каравай рта не разевай. Я из своего угла не уйду... уж свою печь сама дотоплю, в чужие руки не отдам.

– Это уж точно – что твое дело, только теперь-то дай нам свое согласие, чтобы нам в спокойе ехать!.. Сделай парня-то счастливым. Не срами ты его, что сам ездил, да ни с чем приехал... Неужто уж мы такие и в самом деле нестоящие... Бог с тобой.

– Что же вы, Наталья Никитична, хотите, ровно как уж дочь-то мне нипочем: как приехали да слово сказали, так взяла да с руками и отдала... У меня тоже сродственники есть: надобно и с ними посоветоваться.

– Эка, да разве я уж так прошу, чтобы и к венцу их вести?... Ведь не к венцу еще... А я тебя только прошу: облагоднадежь ты нас, чтобы уж мы были спокойны.

– Ай, да чтой-то уж вы меня хотите обвертеть, дайте хошь подумать-то. Ведь это не вокруг пальца повернуть: надо обо всем обсудить, подумать.

– Да вот что: ведь родные твои здесь. Ну сходи за ними, позови их сюда: пусть жениха посмотрят; потолкуем вместе; там и виден бу-

дет весь резон и тебе, без сомнения.

– Погодите уж и есть, хоть за родными-то схожу.

– Сходи, сходи.

– Ну уж ты, Наталья Никитична, бедовая, я вижу: с тобой не стоворишь... Не знаю, как про тебя и подумать-то... – заметила Прасковья Федоровна.

– Что тут про меня думать-то! Узнаешь меня хорошенько, так души во мне не будешь слышать; такая я девка... Вот что...

– Уж вижу, вижу, что бедовая! – повторила Прасковья Федоровна, выходя из избы.

Между крестьянами деревни Прасковья Федоровна имела одного близкого родственника, Прохора Андреевича. Мужичек этот не был ни особенно умен, ни зажиточен и отличался только необыкновенным добродушием; но Прасковья Федоровна никогда не решалась ни на что важное без его совета – не потому, чтобы верила в его мудрость и разум; напротив, она очень хорошо понимала и чувствовала, что сама была гораздо умнее его; но как же не посоветоваться с родственником, и притом еще единственным. Как бы то ни бы-

ло, он все-таки мужчина, а она женщина, да еще и сирота. В настоящем случае она еще тем более считала себя обязанной узнать мнение Прохора Андреяновича, что он был крестным отцом Катерины. Когда Федоровна вошла в его избу, он, по случаю праздника, лежал без дела на полатах.

– Прохор Андреяныч, слезь-ка сюда, – сказала ему Прасковья Федоровна.

– Что надо? Что надо? На что слезь? – отозвался Прохор.

– Да сойди, говорят: нужно поскорее.

– Что за нужда? Что нужно? Вот погоди слезу... Что ты, Бог с тобой!

С последней фразой Прохор обратился к полену, которое лежало на печи и упало с нее, столкнутое им. Прохор был высокий, худощавый мужик лет пятидесяти, живой, проворный, подвижной не по летам, он не говорил, а бормотал и разговаривать любил страстно.

– Ну вот слез... Что сделалось, что надо?

– У меня дельце затевается, – сказала Прасковья Федоровна таинственно.

– Какое дельцо? Что такое?

– Где тетка-то Секлетея?

– Где она? Не знаю где. Секлетея, а Секлетея! Надо быть, в сеннике, где больше-то быть... Вот, погоди, кликну.

Вошла Секлетея, жена Прохора Андреяновича, такая же высокая, такая же подвижная, добродушная и говорунья, как и муж. Они жили душа в душу, наперекор мнению, что одинаковые характеры не уживаются вместе.

– Что, Федоровна, что матушка?

– А я к вам. У меня дельцо затевается.

– Что, али жених Катюхе? Ну, в добрый час. Кто такой?... – спросила Секлетея.

– Коли жених, да хороший... на что лучше?... – прибавил Прохор.

– Жених-то жених, да не знаю, что делать-то: вот пришла с вами посоветоваться... Как посудите...

– Да кто такой, он-то? – спросили в один голос муж и жена.

– Да он благородный, барин...

– Барин? Какой барин?

– Так, барин настоящий, столбовой дворянин, только что душ нет, а есть и земля, и усадьба своя...

– Да откуда он?

– Да есть тут где-то, верст за пятнадцать, деревня Стройки...

– Ну, Стройки... Знаю Стройки... Как не знать Стройки. Я очень знаю Стройки. Как не знать!

– Так тут, чу, и ихняя усадьба: Охлопки прозывается...

– Так, так, есть точно через реку... Знаю... Ну, так они ведь все равно – что мужики: и пахут сами, и бороду носят... Знаю я...

– Ну а ведь они все, чай, подани никакой не платят?

– Ну какая тебе подань... Что за подань... Слышь ты, так живут, – только что землю сами пахут.

– Так вот, теперь жених-то с теткой и приехали: у меня сидят. Тетка-то просит решенья. Так я к вам нарочно и прибежала: сходите – посмотрите, да что уж вы мне присоветуете, так и стану думать... Жених-от мне по мысли... такой смирный... Ну, известно, этаким смелости али повадки барской – этого нет...

– Ну да, уж нет; этого нет, этого нет... и я говорю, что нет... Где уж и быть... Они ведь все

равно, что мужики...

– Вот я и не знаю, что делать-то...

– Что делать? А что делать: отдавай, право, отдавай... – примолвил Прохор.

– Отдавай, сестрица, отдавай с Богом, матушка! – подтвердила Секлетя.

– А!.. Да вы приходите, посмотрите на жениха-то...

– Да это прийти надо... как не прийти... отчего не прийти... А ты отдавай... Говорят тебе одно: подани нет на них, в рекруты не отдадут... Слышишь ты это... Ни царского, ни барского...

– Да это-то я понимаю...

– Ну так нече и думать... что нече думать...

– Так приходите же, а я коли пойду домой...

– Поди, поди... И мы тотчас за тобой...

Прохор и Секлетя явились почти вслед за Федоровной. Оба они приоделись по праздничному: в синее и красное, и старались придать лицам своим выражение спокойствия, даже некоторой важности, как прилично родственникам невесты, пришедшим судить достоинства жениха и от слова которых зависит

отчасти судьба его.

Наталья Никитична не дала долго рассматривать своего Никешу, но с первых почти слов стала просить родственников, чтобы они посоветовали Прасковье Федоровне не ломаться долго, а ударить скорее по рукам. Прохор тоже хотел было в свою очередь помататься и стал было говорить в том смысле, что, дескать, такие дела скоро не делаются, что у них невеста не такая, чтобы, ничего не рассудивши, так и спихнуть ее с рук.

– Ну что ты говоришь, почтенный человек, что невеста не такая, – возразила ему на это, даже с некоторою запалчивостию, Наталья Никитична, – кабы мы не знали, какова она, мы бы и свататься не поехали... Ну, невеста хороша, слова нет, так разве и жених-то ей не пара?... За мужика, что ли, за какого богатого думаешь отдать? Так самый-то богатый, пожалуй, еще возьмет али нет, а средственый-то, так он сегодня богат, а завтра нет. Сам ты ведаешь, сам крестьянин: сегодня ты торговлей занялся, а завтра тебя на барщину, либо лоб забрили; а в рекруты не хочешь – так поди к начальству – откупись, либо наймиста

купи за себя, а тут тебе и разоренье. А тут, по крайности, хоть, пущай, и не больно богато, да уж и заботы нет: все сам себе господин – барин каков ни есть: подани он не платит, в солдаты его не забреют, тронуть его никто пальцем не смеет... все уж дворянская кровь, благородная... Опять же земля у него своя, отнять никто не может: родовое; изба-то своя же; только бы дал Бог здоровья, да была бы голова да руки, а то можно хозяйничать и денежку наживать... Ну-ка, скажи-ка ты мне: правду ли я говорю али нет?...

– Да, это правда... Как не правда!.. Что уж наше крестьянское дело... Что и говорить...

– Ну, так то-то и есть; так нечего вам и нас браковать... А помолитесь-ка лучше Богу, да и милости просим к нам: посмотреть на наше житье-бытье...

Последовало еще несколько возражений со стороны Прасковьи Федоровны, но кончилось дело тем, что она дала свое согласие. Все вместе помолились Богу. Прасковья Федоровна и Наталья Никитична подали друг другу руки, а Прохор разнял. Затем гости поехали домой. Нареченная сваханька обещала прие-

хоть к ним в скорости, чтобы переговорить обо всем обстоятельно.

Проводивши гостей, Прасковья Федоровна обняла дочь и заплакала.

– Ну вот, доченька, и судьба новая к тебе пришла, – говорила она. – Не знаю уж, что Господь сделает: на хорошее ли, на худо ли я тебя отдаю; добром ли ты мать помянешь, али плакаться будешь на нее.

– Полно-ка, полно... – возражал Прохор. – Вот плакаться... Что плакаться... Лучше не найдешь; что и есть: на барщину не ходит, подани не платит, лоб не забреют... Чего еще... Что ты, Господь с тобой, куда девалась?... Вот где лежит, окаянная... – продолжал он, отыскивая шапку.

– Только тем себя и бодрю, что за дворянскую кровь тебя отдаю, не за какую-нибудь... Все будешь барыня, дворянка... То лестно... А там Божия воля: что Господь сделает...

– Знамое дело, сестрица... На что этого лучше, – говорила Секлетя.

– Да что тут калякать-то... Чего уж этого лучше... Я говорю, что уж чего этого лучше... Ни царского, ни барского... Надо Бога благода-

рить... Ну-ка прощайте... – говорил Прохор, надевая шапку и отворяя дверь... – Да что ты не отворяешься... Ну-ка, Господь с тобой... – кончил он, обращаясь уже к двери.

Между тем Наталья Никитична ехала домой веселая, довольная и спрашивала племянника:

– Ну что, дурачок, какову я тебе невесту высватала? А? По мысли ли тебе: сказывай. Теперь уж дело вершеное.

– Оченно, тетушка, по мысли. Этакая ражая девка.

– Еще бы была она тебе не по мысли: дала бы я тебе звонаря. А ты не то говори, дурачен, что ражая: с ражей-то не разживешься, будь хошь вдвое толще; а ты то помни, что у старухи-то, говорят, больше тысячи денег... А ей некуда их девать-то, не в гроб с собой класть: дочь-то одна, все ваши будут – ты вот про что смекай.

– А тысяча рублей – много денег?

– Для кого другого не много, а нам с тобой и половину бы, так слава Богу: от батьки-то не много получишь, не много про вас скопил. Только то я вижу: крепка, надо быть, старуха,

у нее не скоро эти деньги выцарапаешь. Ну да ведь и то сказать: дочь ведь... не чужая... Своей-то не пожалует: не кому другому... Ну, Никанор, должен ты меня всю жизнь благодарить да покоить...

III

На низменном, безлесном, неприглядном берегу небольшой речки уединенно стоит крестьянская изба с двором, крытая соломой. Перед домом до самой речки тянется огород, в котором, кроме грядок, нет ничего: ни куста, ни деревца. Сзади дома гумно, на нем овин, полуразвалившийся кормовой сарай и маленький амбар. Это усадьба Охлопки, принадлежащая, может быть, знаменитому или богатому некогда, а теперь упавшему и обнищавшему роду, дворян Осташковых. Против этой усадьбы, по ту сторону речки, тянется деревня Стройки. Каждый из крестьянских домов этой деревни смотрит веселее и наряднее господской усадьбы, а некоторые говорят очень ясно об изобилии и даже богатстве хозяев: тесовые крыши, створчатые рамы в окнах, резные украшения по крыше и на воротах. И

действительно, большая часть крестьян стройковских зажиточны, некоторые слывут богачами; да и не мудрено: угодьев у них много, помещик живет далеко, оброк платят умеренный, въезд в леса свободный, без запрета, о лесных сторожах и помина нет, народ все работающий, заботливый, промышленный. И как-то уныло и мрачно, из под почерневшей соломенной крыши, своими тремя маленькими окнами смотрит на эту веселую деревню господская усадьба с противоположного берега. То ли бывало прежде! Может быть и вероятно, на одном берегу речки красовались большие барские хоромы, с пристройками, флигелями, службами, конюшнями, псарней, за домом тянулся сад на нескольких десятинах, а там – сплошные, неоглядные господские поля, не разбитые, как теперь, на мелкие крестьянские участки; а на том берегу, лепясь один к другому, стояли крестьянские лачужки, едва прикрытые соломой от ненастья, едва освещенные маленькими окошечками, сквозь которые с трудом проходит голова человека. Может быть, мужички этой деревни каждый день, кроме воскресенья, ходили на

барщину к счастливым владельцам богатой усадьбы, обливали потом своим и своих изнуренных лошадемок неоглядные господские поля, подчищали дорожки в саду, мели просторный красный двор, с завистью посматривая на ленивую, без дела шляющуюся тут же дворню, на псарей, бьющих собак, на конюхов, приготовлявших лошадей для барской охоты, и на самих господ, после бездействия отдохнувших в прохладе... Все это могло быть и, вероятно, было; по крайней мере таковы фамильные предания семейства Осташковых. И недаром господский дом усадьбы Охлопки, в настоящем его виде, так уныло и мрачно смотрит на изменившиеся и как будто дерзко и нахально подбоченившиеся, а на самом деле только веселые Стройки.

Впрочем надобно сказать, что настоящие обитатели Охлопков только лишь смутно помнили и изредка рассказывали предание о былой судьбе Охлопков и Стройков и не страдали от сожаления о невозвратно потерянном, очень миролюбиво смотрели на тесовые крыши нарядных домов и даже заискивали в их счастливых обитателях. А Стройки – так

даже и совсем забыли о былом своем горе, радостно тешились настоящим благом, — и стройковские крестьяне, сходясь на соседних полосах с охлопковским барином, выехавшим, как они, пахать свой участок, дружелюбно, не скидая шапки, кивали ему головой и миролюбиво разговаривали о всяком крестьянском деле.

Семейство Осташковых жило совершенно по-крестьянски, без всяких барских претензий и интересов; и хотя соседние мужички и называли владельца Охлопков барином, но он даже и по наружному виду своему не отличался от крестьянина, а необходимость личного труда, работа плечо о плечо с простым мужиком и недостатки всякого рода сближали его с крестьянским бытом, между тем как все возможные связи с своим сословием были потеряны и забыты. Осташковы желали бы одного: материального благосостояния, обилия плодов земных, но его-то им и не доставало. Оставаясь барином только по названию, однодворец не умел быть и порядочным крестьянином. Александр Никитич Осташков, глава семейства, был еще не стар и в полной

силе; два его сына, молодые ребята, в самой поре, все трое могли бы быть хорошими работниками; сестра Александра Никитича, женщина умная, хлопотливая и заботливая, была у них хозяйкой; такое семейство в крестьянском быту, при тридцати десятинах собственной земли, принадлежавшей еще к Охлопкам, жило бы в полном довольстве, без нужды и недостатков; а Осташковы во всем нуждались, и если не бедствовали, то, как говорится, едва-едва тянулись. Земля обрабатывалась без толка и небрежно, родила плохо, так что хлеба иногда не доставало и на собственное прокормление; остаток барской лени и беспечности помещали выучиться какому-нибудь ремеслу; зимой нечего было делать и вся семья целых шесть месяцев отдыхала от летних трудов. О том, чтобы наняться на зиму в работники или взять на себя какой-нибудь труд по найму, никому и в голову не приходило, не потому, чтобы такого рода работа считалась унижительною для дворянской чести или гордости, а просто так, по привычке: ни при дедушке, ни при прадедушке этого не делалось. Когда были дети малы,

Александр Никитич по необходимости сам обрабатывал поле, когда же подросли, он их стал посылать работать вместо себя, а сам отдыхал; но где нужна была конная работа, там один из братьев тоже отдыхал, потому что лошадь была одна. Зимой, когда придет так туго, что не на что соли купить, Александр Никитич пошлет одного из сыновей продать мешок овса, а лошадь постоит и на одном сене, либо нарубит воз дров и продаст их в городе. Нет ни овса, ни чего другого на продажу — пойдет к богатому мужику, выпросит, выклянчит чего нужно взаймы, а на другой год уплачивает хлебом же или сеном. Много помогала этой семье неутомимая деятельность Натальи Никитичны, которая работала как муравей: и пряла, и ткала, чтобы одеть семью, и на продажу. Принявши на свое воспитание Никанора, она и ему не давала сидеть без дела и приучала к труду; но этим пользовался другой брат, чтобы ничего не делать. Летом, обыкновенно, один Никанор запашет и заборонит поле, а Иван разве только поможет жать да косить. Зимой Никанора тетка заставляли прясть, но Иван под безмолвным

покровительством отца умел уклоняться от этой скучной работы, ссылаясь на то, что надобно же кому-нибудь и лошадь накормить, и дров наколоть, и воды наносить. Иван был любимец Александра Никитича, на Никанора же он смотрел почти как на чужого: отчасти потому, что Иван был боек, краснобай, плутоват и хотя ленив в отца, но вообще парень молодцеватый, а Никанор тих, боязлив и послушен, хотя и не очень умен; а еще более от того, что им совершенно овладела Наталья Никитична, любила его, учила по-своему и оказывала явное нерасположение к другому племяннику. Что нравилось отцу в Иване, за то ненавидела его тетка, и наоборот: за что расхваливала Наталья Никитична своего Никанора, тому отец не давал никакой цены.

– Посмотри-ка ты, он у меня целый день слова не скажет! – говорит бывало Наталья Никитична, указывая на Никанора.

– Эка корысть, – отвечает отец, – дурак, так и не говорит. О чем он станет говорить-то?

– Ну да, он дурак, да дело делает, а твой-то Ванька только зубы скалит да головесничает.

– Он в меня: я сам этаким же веселый смо-

лodu был, а твой – потихоня, бабий выводок.

– Ну, наплачешься ты с этим молодцом, погоди вот, сделается пьяницей либо вором.

– Не будет... В молодости не повеселиться, так под старость нечем вспомнать; а в тихом омуте черти-то водятся... Ванюшка будет мой кормилец и поилец, а на этого мне нечего надеяться: этот бабий прихвостень.

– Ну так коли и не надейся: он моего добра не забудет, меня, старухой буду, не оставит.

Таково было семейство, в которое Прасковья Федоровна хотела отдать свою дочь. Наталья Никитична, приехавши от нее, с восторгом рассказывала брату об успехе сватовства.

– Теперь нам надо только стараться, чтобы ей понравиться, как приедет, чтобы у нас дело не расклеилось... А тут уж я скоро свадьбой поверну! – говорила она.

– Да это все хорошо. А на что станем свадьбу-то играть? У меня денег нет.

– Ну уж, не был ему век свой отцом, так нечего тебе и об этом думать: как-нибудь все схлопочу. Вы у меня только старуху-то как не разбейте: она старуха умная, рассудительная. Слава Богу, хоть нынче год-от хорош, да де-

ло-то осенью делается: хоть есть что в амбаре-то показать; а кабы весной, так, пожалуй бы, пустые сусеки пришлось показывать.

Все то, что увидела Прасковья Федоровна в Охлопках, приехавши туда, не совсем ей понравилось, но ей так хотелось видеть свою Катерину за барином, что она решилась не изменять данному слову. Притом за ней так ухаживали, отец обещал в очень скором времени после свадьбы отделить Никанора, выстроить ему особенный дом, купить лошадь и корову. О дальнейшей судьбе зятя и дочери Прасковья Федоровна имела свои собственные соображения, которых до времени никому не высказывала. Таким образом судьба Катерины была решена. В Охлопках снова опять помолились Богу, вновь ударили по рукам и назначили день свадьбы.

Устроив таким образом судьбу своей дочери, Прасковья Федоровна очень скоро после свадьбы подробно узнала всю бедность, все недостатки дворянской семьи, в которую отдала свою дочь. Оказалось, что у молодого даже не было необходимого платья. Сначала она утешала себя надеждой, что отец, по усло-

вию, выстроит особенную избу и отделит Никанора и что с помощью ее и тетки разживется; но дни шли за днями, прошла зима, наступила весна, а о постройке новой избы не было и помина. Прасковья Федоровна несколько раз начинала об этом речь с отцом и теткой, но под разными неубедительными предложениями дело откладывалось. Вся семья была очень довольна Катериной, как неутомимой и послушной работницей; Наталья Никитична ни минуты не давала ей сидеть без дела. Зимой бездействие мужчин не было очень заметно, но когда пришли полевые работы и Прасковья Федоровна увидела, что всю работу свалили на ее дочь и зятя, а отец и младший сын из-за них ничего не делали, ей стало больно и обидно: она решилась настоятельно переговорить со стариком.

– Что же, сватушка, подумываете ли вы об отделе-то? – спросила она однажды.

– Когда тут теперь думать об этом, Федоровна, сама видишь – летнее время: работа горячая, а я буду думать об отделе... Вот зима придет, там видно будет.

– Да что вам об работе-то думать: у вас все

Никанор Александрыч с Катериной сделают, – возразила она с горечью. – И Иван-то из-за него только шаты[4] продает, Никанор-от за всех за вас один работает.

– Не грех ему и поработать за отца-старика, не за чужого.

– Да я не к тому и говорю; пускай его работает; что молодому парню и делать, как не работать, не зубоскалить же целый день, как ваш Иван... А вот вы бы об нем и подумали... Ну, пускай, дом – до зимы, а теперь хоть бы лошадку да коровку ему купили, теперь не кормом их кормит, в стаде сыты будут, а все бы у него была своя собинка... И вам бы легче: не все вдруг заводить.

– Какое уж дело теперь скотину покупать; теперь лошадь-то вдвое заплатишь, по осени дешевле.

– Да ведь уж осень прошла и зима прошла, не купили: говорили, что корма не станет, кормить нечем; ведь, и на эту зиму тоже будет. А вы как бы купили ему теперь лошадь-то, так он хоть бы паровое-то про себя вспахал. Отдаете же в кортому[5] за бесценнок. Да у вас земли сколько впусе лежит, а ведь

вы от земли кормитесь. Ведь уж у Никанора Александрыча теперь своя семья завелась, надо ему и про себя промышлять.

– Да что он теперь станет паровое-то пахать без навоза? У нас земли не такие; без навоза ничего не родится, только семена погубишь.

– Новь-то бы поднял, так, может бы, и без навоза родилось.

– Пошибет все травой.

– Ну да не стану с вами спорить в этом, мое дело женское. Ну так на своей-то бы лошади он хоть бревна бы стал пока возить, как бы вы ему на стройку лесу купили, а на вашей-то Иван все бы полевое-то обделал, чем шататься-то.

– Так, так все вдруг: и лошадь купить, и корову, и бревен; очень уж жирно будет.

– Так как же, Александр Никитич, ведь надобно же вам и об нем подумать: ведь не век же ему с женой жить работниками про вашего Ивана.

– Да что вам дался Иван?... На Ивана-то только у меня и надежды. Он захочет, вдвое сделает против Никанора-то, даром что тот –

бабий хвост. Да и то сказать: мне до Никанора и дела нет, он отдан тетке на руки; сама она его взяла, своим выводком считает, сама она его женила, она с вами дело делала – с нее и спрашивай. А мне про Никанора негде взять, вот вам и сказ.

– Так неужто уж он не сын тебе, неужто век-от свой ничего не заслужил, не заработал?

– Не долог еще его век, немного я от него службы видел, а уж в отдел захотел.

– Да ведь это ваше обещание было, Александр Никитич...

– Не мое, а теткино: она к тебе ездила, она тебе наобещала, с нее и спрашивай. Хочет жить у меня – так, пожалуйста, живи: я с своего хлеба не гоню, а не хочет – ступай на все четыре стороны, обеими руками благословлю, только не жди от меня ничего, да и дать мне нечего. Вот и разговорка вся...

Сказавши это, Александр Никитич встал и вышел из избы, крепко хлопнувши дверью.

– Так что же это такое, Наталья Никитична, на что же это похоже? – спрашивала Прасковья Федоровна, обращаясь к тетке. – Что вы

из дочки-то из моей хотите сделать: в батрачки, что ли, я вам ее отдала? Как же это, что она угла своего не будет иметь, век свой у Ивана под началом будет, а еще тот женится, так на жену его рубашки стирать, что ли, будет? Что мне в том, что вы дворяне-то?... Может быть, в ней в самой не рабская кровь течет, а такая же благородная. Да разве я на то ее к вам отдала? Да и отдала ли бы я ее, как бы ты не наобещала с три короба?

— Ах, Федоровна, да отстань ты, отстань: разве я сама-то рада, да что мне делать с батюшкой-то? Видишь ты, какой он... Уж нечего плакаться-то, нечего друг от друга и таиться... Поговорим-ка лучше делом-то... На отца-то уж, видно, нечего надеяться. Земли, что следует Никеше и на мою долю, он не может не дать: это наше родовое, сами возьмем, а уж больше от него нечего и ждать. Нам с тобой, видно, сообща надо обдумывать об них: у тебя дочь, у меня племянник. Что мое, то все его: я давно тебе сказала, только, матушка моя, насчет стройки и всего обзаведения мне одной не сбиться; нечего, видно, пустого и обещать. Есть у меня рублишков двадцать пять,

скопила – эти все деньги я на них изведу, а больше у меня ничего нет. Рада бы радостью, да нет, так негде взять. Помогай уж ты из своих, а нам только какую бы ни на есть избушку выстроить, мы бы и ушли от них жить, тотчас бы ушли... Вот что. А и тебе нечего жалеть: не про кого, про своих же истратишься.

– Эх, не того мне жалко!.. А чего смотрели мои старые глаза, не видели, куда отдавали дитяtko родное: вот что мне горько... Эх вы, дворяне, дворяне... бездушные, бездушные и есть!.. Кажись бы, лучше она у меня за простым мужиком была.

– Ну, полно, Федоровна, бранью горю не можешь... Уж нечего тебе и наш род срамить: твоя дочь в нем. Что, видно, сделано, того не переделаешь.

Прасковья Федоровна, сорвавши сердце, увидела необходимость устраивать зятя и дочь на собственные средства – и покорила этой необходимости: вскрыла свой заветный сундук, вынула оттуда по копейкам и по гривнам скопленные сотенки; с сокрушением сердечным тратила их, но за то имела удовольствие зимою, в самый Николин день,

праздновать у зятя и дочери новоселье. Наталья Никитична не осталась у брата, но к великому его неудовольствию, перешла жить к племяннику. Под ее руководством и с помощью Прасковьи Федоровны маленькое хозяйство закипело. Катерина была бабенка смышленая, заботливая и деятельная; Никеша не выходил из повиновения тетки и трудился сколько мог и умел: все они зажили припеваючи. Прасковья Федоровна не рассталась со своей печкой, со своей кельей, но приходила часто к зятю и гостила у него подолгу, особенно в экстренных случаях, например, когда Бог дал ей внучка.

IV

Три года уже прошло с тех пор, как Никеша поселился в новом доме. Новое хозяйство шло отлично: хлеб у Никеша родился лучше, нежели у отца; вовремя посеянное, вовремя убранное, ничто не пропадало в поле; тетка и жена постоянной, усиленной работой немало доставляли денег, которые употреблялись с толком и на дело. На дворе стояла лошадь, три коровы и несколько овец, в прикутке хрюкали свиньи. Прасковье Федоровне оставалось только радоваться, смотря на житье-бытье своих деток! И она действительно радовалась, тем более что и сама пользовалась от них полным уважением. Одно только не нравилось ей, что Никеша живет и держит себя по-мужицки и что знакомство у него – с одними только мужиками. И чем более замечала она в доме зятя довольства и избытка, тем более сознавала необходимость просветить его и сделать хоть сколько-нибудь похожим на барина если не для него самого, так хоть для детей, чтобы они после не стыдились, смотря на отца. Последних Прасковья

Федоровна непременно хотела воспитать по-дворянски и, качая в колыбели новорожденного внука, уже теперь же мечтала, как он будет служить в полку, и даже приговаривая пузатенького ребенка, вслух рассказывала ему, какой он будет хороший в мундире и при эполетах: о возможности оставить внучат в том состоянии, в каком находился их отец, она и представить себе не могла.

– Это, чтобы мой Коленька, сам пахал да боронил, сам за собой ходил, чтобы он мужиком был, – нет, быть этого не может. Нет, Никанор Александрыч, коли твои родители согрешили, оставили тебя темным человеком, – ну, суди их Бог, а сам ты этого и греха на душу не бери. Вот тебе мой зарок. Как Коленька подрастет, так и отдай его в ученье, а после в полк. Он у меня офицер будет, в аполетах будет ходить, по гостиным танцевать, на него барышни будут заглядываться... А тут невесту себе богатую выберет, на богатой женится, души у него свои будут... Агу, Коленька, женишься на богатой, агу, души возьмешь! Агу... батюшка мой! А то землю пахать! Станет ли он землю пахать!.. Пожалуй, ее паши, от нее,

матушки, немного разживешься. Вон мужики век свой пашут, да богаты ли живут, а в службе-то будешь, жалованье станешь получать, доходы будут.

– Ну, когда-то еще что будет, а ты бы шел, Никеша, нарубил бы дров, – примолвит, бывало, Наталья Никитична.

– Нет, а надо ему сходить со мной к которым дворянам, беспрерменно надо: давно я собираюсь взять его с собой. Пусть бы хоть посмотрел да научился, как своя кровь живет.

Наконец однажды, зимою, накануне праздника, Прасковья Федоровна, придя к зятю, объявила ему, что она была у одного барина, старинного приятеля ее барыни, у Николая Петровича Паленова, просила позволения привести к нему зятя, и тот приказал завтра приходить, и что завтра им непременно нужно к нему отправиться.

– Да вот что, Никеша, спрашивала я его о твоём дворянстве, рассказывала ему, какие у вас были души и какие большие вотчины, и спрашивала я его: нельзя ли как хошь какую небольшую деревеньку вам назад из чужих рук выхлопотать, так этого, говорит, никак

нельзя. А есть ли, говорит, у твоего зятя какие бумаги и записан ли, говорит, его род в книгу, и имеет ли он грамоту дворянскую, нынче говорит, вышел указ, чтобы все эти бумаги у бедных дворян рассмотреть, и если кто своего дворянства не докажет, так тех дворян записать в подушную и дворянами они не будут. Есть ли у отца-то какие бумаги-то?

– Не знаю, матушка. Кажись, есть у него грамотки-то какие-то. уж не знаю только, пойдут ли они к делу-то.

– То-то вот и есть: какой вы народец-то! Без меня вы, пожалуй, и дворянство-то свое потеряли бы. Надо сходить к отцу-то переговорить с ним да взять бумаги-то с собой, показать Николаю Петровичу; может быть, я попрошу, так он и похлопочет об вас: он к дворянам разделен.

Прасковья Федоровна отправилась к Александру Никитичу, с которым весьма редко видалась и была не в ладах с тех самых пор, как Никеша отделился от отца. Сначала Александр Никитич очень сердился на сына, почти не хотел его видеть и говорить с ним, но благосостояние Никеша, видимо, возростало,

а Александр Никитич жил по-прежнему в недостатках; Иван по-прежнему мало делал и точил лясы, хотя отец и женил его на какой-то бедной солдатке. К кому было ближе обратиться со всякою нуждою, как не к сыну-соседу? Никеша иногда удовлетворял требования отца, и это обстоятельство несколько мирило их и поддерживало родственные отношения. Но Прасковью Федоровну Александр Никитич ненавидел: хотя он и понимал, что сын всем ей обязан, но он видел в ней только хитрую женщину, которая отняла у него сына-работника, а с ним и часть земли, следовательно, разорила его. Каждый раз, как Никеша отказывал ему в какой-нибудь просьбе, он попрекал его свекровью – холопкой, которая внушает сыну неповиновение к отцу, бранился и грозил лишить родительского благословения. Прасковья Федоровна знала это, но не задумалась идти к Александру Никитичу, предполагая, что он должен благодарить ее за заботливость об его собственном деле.

– А я к вам, – сказала она, входя в избу старинного Осташкова.

– Милости просим. Ради дорогим гостям. С чем пожаловала?

– А вот с чем, сватушка любезный: была я у Николая Петровича Паленова. Знаете, чай?...

– Знать – не знаю, а слышать – слышал.

– Кажется, стоящий барин!.. И я, благодарение Богу, привечена от него довольно.

– Ну что же, дай Бог вам в радость и в корысть.

– Корысти мне тут нет никакой, а за честь себе поставляю его ласки, за большую... Так вот он-то мне и сказал, что вышел такой указ, чтобы у всех дворян разобрать бумаги, и кто, то есть, своего дворянства по бумагам не докажет – так тех бы дворян приписать в подушное. Так как вы об этом полагаете?

– Так что же? Суд и разберет, у кого какие есть бумаги.

– А дали бы вы мне свои-то бумаги, коли есть у вас какие.

– Да тебе-то на что? Читать, что ли, ты их будешь?

– Нет, мне где уж читать: я человек темный. А вот что, Александр Никитич, шутки-то

шутить нечего, надо дело говорить. Вы ведь сами за себя хлопотать не будете, а я бы их показала Николаю Петровичу да попросила похлопотать, коли чего тут недостает али что не так писано. Вы ведь по судам-то не хаживали, даром что давно на свете живете, а мне вот пришлось раз только вольную явить, – так я и знаю каковы эти суды-то. Тут, коли есть у тебя человек, который сильный, чтобы словечко за тебя замолвить, так и все по-твоему сделается, а то, пожалуй, и все бы чисто да исправно, а тебе такой крючен ввернут, что век свой охать будешь, да уж поздно. Вот что, сватушко любезный!

– Ай, свяхонька, больно уж ты умна да все знаешь... Это может быть, чтобы я, век свой дворянин, и род мой весь дворянский, и дедушка и прадедушки мои все во дворянстве перемерли, а меня бы вдруг дворянства лишили!.. Это ты Никеше рассказывай.

– Да ведь это не я говорю, Александр Никитич, а говорят такие люди, которые побольше нас с вами знают... С их слов я вам и перевожу, что все по бумагам будут разбирать...

– Ну пусть и разбирают...

– И я ведь для вас же хотела хлопотать, потому Николай Петрович ко мне милостив, изволит меня жаловать. Вот и Никешу приказал привести к себе, с ним хочет познакомиться...

– Ну и веди его туда... Пускай он там в лакейской костей погложет да тарелки полижет, а я еще не пойду: мне незачем.

– Это ваша воля – род свой так срамить, что ему в лакейской только место и угощения только, чтобы кости глотать... Может быть, добрые люди хоть не для вашего рода, а для меня, и повыше посадят... А вас я и не зову, а только бумаг у вас попросила, чтобы показать.

– Нечего тебе их и показывать: покажу ли, нет ли, я сам.

– Ну смотрите, чтобы после не каяться. Ведь как что не в исправности да выпишут из дворян-то, так сыновьям-то недалеко будет и до солдатской шапки.

– Так коли и так-то: Ивана-то не отдам: он меня кормит, а Никеше-то вашему туда и дорога за непочтение к отцу.

– Уж, кажется, он вам непочтения не ока-

зывает: нередко к нему то за тем, то за другим ходите, а ведь награждения-то от вас он немного получил: моим живет, не вашим.

– А чья его земля-то кормит? Уж и земля-то, полно, не твоя ли?

– Ну, это у него родовое: ведь и вы землю-то не купили... Да, видно, мы до добра не договоримся; а толку своими речами не сделаем. Господь ин с вами. Не хотели моей послуги – как хотите... Была бы честь приложена, убытка Бог избавил. Прощайте-ка, Христа ради.

– На доброе здоровье. На предки милости просим... хм...

– Ну... у меня до вас нужды-то не большия... Вы к нам жалуйте...

Прасковья Федоровна пришла к зятю совершенно расстроенная.

– Экой родитель! – говорила она, пересказав весь свой разговор. – Уж нечего сказать, наградил тебя Бог, Никеша, родителем. И за что он на меня злится? Что я ему сделала? Кажется бы, ему не то что злиться на меня, а за все, что я для его сына сделала, надо бы ноги-то у меня мыть и да воду-то пить. Ну, пожа-

любую я на него завтра Николаю Петровичу – все перескажу: пусть же он знает, каковы есть родители на свете и каково тебе жить, горемычному.

– У, да ведь он какой старик... язва! – отозвалась Наталья Никитична. – Как я перешла к Никеше-то жить, так и со мной-то целые полгода единого слова не сказал и не смотрел, а иду мимо али где встретимся – так отворачивался, а заговорю – так только осмеет... И Ванюшка-то весь в него. Бывало, мимо иду, тетка старуха, он и шапки не ломит, а начну ругать, так только зубы скалит... Да что кабы у меня этакой Никеша был, да чтобы я... я бы до смерти убила!.. А вот нужда-то стала к нам загонять, так и получше было стали... Да вишь зависть-то их больно доедает, что зачем у нас все лучше ихнаго... Вот кабы мы в бедности жили, в разоренье, вот бы уж им любо!.. Ах люди, люди... человеки!..

Но Александр Никитич одумался: отделавши ненавистную ему Прасковью Федоровну, он был доволен собою и рассудил, что, может быть, в самом деле выйдут какие хлопоты из-за бумаг и ему еще, пожалуй, придется ходить

да кланяться; так не лучше ли свалить все дело на сына, а самому валяться спокойно на печи. Рассудивши таким образом, он вынул все документы, которые перешли к нему от отца вместе с прочим имуществом и лежали, связанные, в коробке и которых ему и в голову никогда не приходило пересматривать. И теперь он только пересчитал отдельные листы и тетради, позвал Никешу и счетом отдал их ему, настрого наказав показать их кому хочет и счетом же возвратить опять ему.

– Ну вот отдал же ведь бумаги-то, – говорила Прасковья Федоровна. – Это только хотелось мне в пику сделать. Правда, что язвительный человек! Ну, да Бог с ним! Хоть руки-то нам развязал теперь. Как-нибудь станем сами об себе промышлять. Ну, Никанор Александрыч, завтра, благословясь, и поедем к Николаю Петровичу... Эко горе, сюртука-то у тебя нет...

На следующий день, с раннего утра, начались заботливые сборы в гости. Никанор нарядился в самое лучшее свое платье. Его оглядывали и осматривали всей семьей, точно собирали невесту под венец. Тетка собственноручно и щедро намазала ему голову скоромным маслом и причесала волосы. На шею повязала женин красный шелковый платок, другой бумажный положила в карман со строгим наказом, не больно пачкать. Никеша готовился выступить в свет.

– Ах, больно ты у нас неуклюж, Никанор Александрыч, не великатын, – заметила Прасковья Федоровна.

– Ну, вот, что за неуклюж! – возражала Наталья Никитична. – Смотри-ка ты на него: обрядился-то, так чем стал не парень?

– Эх, Наталья Никитична, не знаешь ты, матушка, настоящей-то господской повадки: иной войдет да посмотрит на тебя, так точно рублем подарит.

– Ну а ты его не больно обескураживай. Погоди, и он на господ-то посмотрит, так все с

них переймет.

– Я к тому и говорю, чтобы он перенимал. А главное, чтобы слушал да ума набирался, а уж от этого барина, от Николая Петровича, есть чему научиться: уж только его слушай да слова запоминай, – заговорит. Этакого ума, таких речей... я вот уж много господ видала, а такого – нет, не знаю. Он будет тебе целый день говорить, все бы его слушал: хоть много чего не понимаешь, а слушать хочется: ведь говорит – точно бисером нижет, словно медяная река льется.

– Уж я не знаю, матушка, больно меня робость берет, очень уж я боюсь... хоть бы уж и не ехать, так впору.

– Ну, вот и глупо опять говоришь, Никанор Александрыч. Нет бы тебе радоваться, что приводит Господь со своим братом сойтися, не с мужиком-вахлаком, ты бояться вздумал. Ну чего ты боишься? Он тебя не прибьет, не обидит, а разве только ласку да милость какую увидишь да уму поучишься.

– Да, пожалуй, на смех подымет.

– Ну, не полагаю, не такой барин; этот господин серьезный. А хоть бы так сказать: пус-

кай и посмеется над твоим необразованьем. Что же за беда такая: ты человек бедный, ты это должен перенести, через это свое смирение ты можешь показать и милость особливую получить. Ты бойся только одного, чтобы на тебя не прогневались да не прогнали от себя, что значит – ты ненужный человек. А чем бы ни чем – да в ласку войти. Будь ты почти-телен, завсегда старайся услужить, под веселый час попался, и сам будь весел и шутики шути; под досадный час – коли что и не ласковое скажут – перенеси на себе, а не обижайся, этой фанаберии[6] не бери на себя – вот и будут тебя господа и любить и не оставлять. Уж поверь ты мне: я к господам-то присмотрелась, знаю их вдоль и поперек. Говорят, есть злые господа, мучители: пустяк, это сам человек виноват, не умел услужить. Давай мне какого хочешь господина – для меня всякий будет добрый, только надо уметь на него потрафить. Поедем-ка, однако, собирайся, пора уж.

Тетка и жена напутствовали Никешу благословениями и разными пожеланиями. Дорогой Прасковья Федоровна продолжала на-

ставлять его, как следует держать себя с господами.

Вдали показалась усадьба Паленова. Большой каменный дом, с красной крышей, гордо высился на пригорке, посторонясь от низеньких сереньких крестьянских избушек, поставленных рядом по прямой линии, как стоят солдаты в строю перед своим командиром.

– Смотри-ка, Никанор Александрыч, в какие палаты я везу тебя. Подумай-ка, может и твои прапрадедушки жили в этаких же хоромах. А может, – как знать волю Божью? – и твои детки, как пойдут служить да наживут денежек, в этаких же домах будут жить.

– Где уж, матушка!

– А почем знать. Конечно, как не будешь ты их учить да не определишь на службу, а будут они жить около тебя да пахать землю, так только и будет... А ученье да служба до всего, мой друг, доводят человека. Не даром пословица говорит: ученье свет, а неученье тьма, а служба и того больше. Посмотри-ка, нынче каждый писарь – и тот умеет домик себе нажить, а секретари-то али судьи и сподряд деревни покупают.

Они подъезжали к воротам.

– Ну смотри же, Никеша, помни все, что я тебе говорила; так и поступай.

Николай Петрович Паленов считал себя знаменитостью между дворянами не только своего уезда, но и целой губернии. Он видел в себе передового человека по образованию, по знаниям, по разумной деятельности, по умению честным образом наживать деньги, по современному взгляду на жизнь, на людей, одним словом – по всему. В уезде на него смотрели различно: одни – видели в нем счастливого человека, которому удалось очень быстро разбогатеть, а каким образом, – это все равно, и за богатство уважали его; другие – считали его хлопотуном, беспокойным человеком, непоседой, которому до всего есть дело, говоруном и даже вралем; и втихомолку над ним посмеивались, хотя и оказывали ему достодолжное почтение, как человеку богатому и к тому еще беспокойному; молча слушали и старались как бы отделаться поскорее, иные – видели в нем чуть-чуть не то, чем он сам себя считал, смотрели на него почти с благоговением, слушали со вниманием, вери-

ли всему, что он ни говорил. На самом деле это был человек не глупый, но не разумный, одержимый болезненной подвижностью, заставлявшей его бросаться на все, капризный и избалованный удачами, не совсем прямой и, что говорится, себе на уме в деле материального благоприобретения; но неподкупно-честный и бескорыстный на словах, и в тех случаях, где ему ни терять, ни приобретать было нечего. Самообольщение этого человека, взлелеянное удачами, доходило до крайности, до сметного, до невероятного: рассказывая о чем бы то ни было, касавшемся его особы, он часто лгал торжественно вещи невероятные, дикие, с полным убеждением в истине своих слов. Человек весьма ограниченного образования, он беспрестанно читал, и читал все, что только попадалось под руку, даже специально-ученые, даже философские книги; схватывал вершки, заучивал фразы – и самоуверенно трактовал о всех возможных вопросах по всем отраслям знаний. В этом случае ему было раздолье в провинции: его слушали разиня рот или мигая глазами, чтобы не вздремнуть. Он был добр от природы,

но болезненно вспыльчив; а привычка поведовать и видеть беспрекословное повиновение сначала в военной службе, а потом в деревне сделала его деспотом и мелочным формалистом. Поселяясь в деревне, он имел не более 200 душ, а лет через десять довел этот счет до 1000. Дело сделалось просто: он купил небольшое имение, в котором было несколько богачей крестьян. Разными ухищрениями он заставил их выкупиться на волю за большие деньги. Затем выгодная продажа леса, дешевая покупка имений на аукционных торгах, которые он постоянно посещал и где не стыдился весьма часто брать отступное, помогли ему округлить желанную и привлекательную для самолюбия помещика цифру душ – тысяча. Паленов любил хвалиться любовью и близостью к простолюдину, считал и выдавал себя благодетельным помещиком, не гнушающимся сближения с крестьянами, входящим во все нужды его, знающим его быт. И действительно, он часто и подолгу толковал с мужичками, входил в их быт и увеличивал оброк по мере обогащения мужика, бил и сек за малейшее уклонение от его при-

казаний, хотя бы от недосмотра или от беспечности и за просрочку в платеже оброка. Бил иногда и просто, не разобравши дела, вследствие безумной вспыльчивости; но в таких случаях всегда давал безвинно прибитому двугривенный и более. Несмотря на такую любовь и близость к простонародью, несмотря на то что, по собственным его словам, он был враг сословных предрассудков, Паленов являлся всегда строгим охранителем своих дворянских привилегий, гордился именем дворянина и любил, когда ему выражали почтение и давали дорогу, как члену известного привилегированного сословия: он даже долго не пускал на глаза дьякона, который, по ошибке, в церкви подал просфору сначала какой-то купчихе, а потом, оторопев, бросился с извинениями, что не досмотрел его высокоблагородие; другой раз он привез связанным в город и требовал, чтобы наказали мужика, который ехал с возом и, встретясь с ним на дороге, не хотел своротить в сугроб. В то же время Николай Петрович был очень милостив, ласков и любезен с теми, кто умел ему льстить и кланяться.

С таким-то господином следовало познакомиться Никеше и с этого знакомства начать свое вступление в свет. Привязавши лошадь у сарая, Прасковья Федоровна, вместе с зятем, через заднее крыльцо пробралась в девичью. Здесь она очень дружелюбно и ласково поздоровалась со всеми горничными, которые с любопытством оглядывали Никешу.

– Зятек, что ли, это ваш, Прасковья Федоровна? – спрашивали некоторые из них.

– Нечто, нечто, голубки; зять.

– Ведь они, кажись, господа?

– Как же, милые, барин, дворянин природный.

Девки лукаво и с улыбками переглянулись между собою.

– А вот что бедность-то значит и в ихнем-то звании, – заметила Прасковья Федоровна, – и в дворянском-то: вот через заднее крыльечко тихохонько, да смирнехонько пробрались сюда, не смело; а будь-ка богаты, так, может, и мой бы Никанор Александрыч на троечке подкатил прямо к переднему крыльцу. А что Николай Петрович делают? Можно им доложить об нас али нет?

– Отчего, чай, нельзя? Можно! Вот только Абраму сказать: он доложит.

– Так, милая моя, Лизаветушка, не потрудишься ли ты Абрама-то Григорича позвать сюда: я бы его сама попросила, как доложить-то обо мне.

– Сейчас позову.

Камердинер Николая Петровича, Абрам, с красным заспанным лицом и черными усами, в довольно засаленном сюртуке, вошел в девичью.

– Здравствуй, Федоровна! – сказал он, входя и тотчас сядя на стул.

– Здравствуйте, Абрам Григорич. Доложите, пожалуйста, барину, что дворянин Осташков, что они приказывали прийти, так пришел, мол, с тещей.

– Это зять твой? – спросил Абрам, потягиваясь.

– Да, Абрам Григорич!

– Здравствуйте, барин! – продолжал он, протягивая грязную руку Никеше.

Тот робко и почтительно подал свою.

– Что же это вы, в бабьи партаменты? А вы бы к нам!

– Да уж так он со мной: я провела сюда. А что, можно доложить-то? Встали, чай, Николай Петрович?

– О-о! С самой зари ругается... Ах, девки, как дрыхнуть хочется! просто смерть. Хошь издохнуть! Подняла его сегодня нелегкая со светом вдруг, стал письма писать, хватился бумаги какой-то: я, говорит, третьего дня на столе оставил; заревел, загорланил; стали искать – лежит на этажерке; сам засунет, да и спрашивает после.

– То-то он давеча очень кричал! – заметила одна из девок.

– Нет, это в другой раз: тогда-то еще вы, по-ди, чертовки, дрыхнули, как мы с ним вожжались. А это он павловского старосту катал – шибко катал!

– За что?

– Кто его знает! Девка, что ли, какая-то хромая у них в вотчине до 18 лет не замужем сидит, а двое женихов невест просят... Так зачем дает в девках засиживаться, отчего не принуждает замуж, поди женихи есть...

– Коли хромая, так кто ее возьмет?

– Ну а ты поди с ним: я, говорит, этого

знать не хочу... Коли она девка, так и следует, говорит, ее замуж выдать. А вас вот, стервы, не выдает... А-а-а... – сладко зевнул Абрам и потом встал.

– Сейчас доложу! – промолвил он потягиваясь и вышел из девичьей.

Через несколько минут Прасковью Федоровну и Никешу позвали в кабинет Николая Петровича.

Высокий, плотный, осанистый мужчина, с полной грудью, быстрыми, но не блестящими глазами, и с хохлом на голове, важно сидел в вольтеровских креслах.

Прасковья Федоровна униженно и раболепно подошла и поцеловала у него руку.

– Здравствуйте, батюшка, Николай Петрович! Вот, батюшка, мой зять: не оставьте его своими великими милостями.

Никеша, помня наказ тещи следовать во всем ее совету, также хотел поцеловать руку Николая Петровича, но тот не позволил:

– Что ты... что вы, любезный! Как это можно!..

– Позвольте ему, батюшка, Николай Петрович... Он должен за счастье почитать.

– Что ты, старушка, Бог с тобой... Он должен помнить, что он дворянин. Он может быть беден, может быть богат, но должен помнить свое дворянское достоинство... Уважение свое ко мне или к другому человеку ты можешь выразить почитательностью, вежливостью, вниманием к моим словам...

– Не оставьте его, батюшка, вашими наставлениями: еще молод, неопытен... Где же ему и уму научиться, как не у вас... Он ваши слова должен, как золото, собирать и всегда содержать в своей памяти... Наставьте его на ум, окажите свои великие милости...

Прасковья Федоровна, в порыве доброжелательства зятю, поклонилась Николаю Петровичу в ноги.

– Полно, милая, полно; к чему эти поклоны и просьбы? – говорил Николай Петрович, очевидно, довольный поведением зятя и тещи. – Это наша дворянская обязанность – помогать друг другу и словом и делом. У нас многие дворянские роды упали, затерялись в массе, но мы должны их поднимать, возвышать... Что же ты стоишь, мой друг? Садись...

– Много уж вашего внимания, батюшка

Николай Петрович; не стоит он этого; перед вами ему можно и постоять. Уж он, пожалуй, возмечтает о себе...

Николай Петрович улыбнулся.

– А ты мне, милая, не возражай. Я знаю, что говорю и делаю. Ты меня просишь быть наставником и руководителем твоего зятя: я одобряю твое усердие к его пользе, но ты не можешь понимать всех мотивов, руководствующих меня. Если бы я посадил тебя, это я сделал бы только из уважения к твоим летам, а его я желаю облагородить, возвысить в собственных его глазах, чтобы он помнил, что он дворянин. Сажая его рядом с собой, я уважаю в нем не его самого, не его личные достоинства, а только то, что он дворянин.

– Дай вам Бог здоровья, батюшка Николай Петрович... Не оставьте его, делайте с ним что вам угодно, а он должен помнить и чувствовать ваши благодеяния и наставления. Я ему давно говорю, что такого другого благодетеля, как вы, ему нигде не найти.

– Я лучше не дам хода, унижу гордость этих parvenus[7], – продолжал Николай Петрович, – этих выходцев из всех низших сосло-

вий, которые лезут в дворянство и силятся за-слонить старые роды; но я всегда буду стараться вытаскивать из грязи и возвышать забытые остатки наших древних дворянских родов.

– Вот, батюшка, и я, по своему глупому разуму, всегда ему твержу, чтобы он всячески старался определить детей на службу, как Бог даст, подрастут. Ну, уж он – человек темный, от родителей ученья не получил, уж ему эта дорога закрыта, так хошь бы для детей ее старался открыть.

– Да, это правда: служба – настоящее назначение дворянина... А что же, принесли вы бумаги свои?...

– Принесли, батюшка, Николай Петрович... Насилу у отца-то выпросили, – показать-то вам.

– Отчего же это?

– А так, дикий человек, непонимающий... Живет с мужиками, от своего дворянского рода отстал: кто его может просветить? Ну, и одичал. Никаких резонов не понимает. И этот бы ведь также погиб, и мой-то, как бы вы не изволили удостоить его своей ласки да не бы-

ли такой благодетель.

– Дай-ка посмотреть: что это за документы... А... купчая крепость... Гм... Стрелецкий... Голова Осташков... Думный дьяк, Осташков... В 1581 году... О, братец Осташков, поздравляю тебя, твой род очень древний: по этим документам видно, что твой род восходил до шестнадцатого столетия – это ведь триста лет! Немногие могут похвалиться такую древностью происхождения. И предки твои занимали немаловажные должности: были воинами и мужами совета.

– Вот, Никанор Александрыч, радуйся... благодари Николая Петровича, что он тебе рассказывает... А... Боже мой истинный: что Господь-то делает: какие люди были, а правнуки-то до чего дошли!.. Велика воля Господня!

Прасковья Федоровна прослезилась.

– А вотчины-то какие были, Николай Петрович! Весь, чу, околоток ихний был... Этого не знать по бумагам-то?...

– Я их рассмотрю когда-нибудь на досуге: это акты старинные, их очень трудно читать... Здесь, кроме меня, никто и не умел бы... А знаете ли, почему наш род называется

Паленовым? – прибавил Николай Петрович, обращаясь к Никеше и к Прасковье Федоровне.

– Ну где уж нам, батюшко, знать, – отвечала последняя, потупляя глаза.

– Очень просто, – продолжал Паленов. – Один из моих предков был знатным боярином при царе Иоанне Грозном и носил другую фамилию; но царь однажды, желая испытать его верность, собственноручно опалил ему свечою всю бороду. Предок мой не моргнул глазом, не пошевелился и с благодарностью поцеловал руку царя. Тогда Грозный обнял его, подарил ему соболью шубу со своего плеча и в память потомкам приказал называться паленым. С тех пор наша фамилия и стала Паленовы...

– Да, вот какую муку перенес. Твердый же был, стало быть, человек...

– Твердость воли особенность всего нашего рода. Когда я был еще школьником, то позволял своим товарищам нарочно для пробы сечь себя розгами, драть за волосы, колоть булавками и переносил все истязания не только не крича, даже не морщась. Бывши уже в

полку, я бился на пари с товарищами-офицерами, что зимою, в трескучий мороз, схожу пешком в уездный город за двадцать верст и назад без шинели, в одном холодном сюртуке и холодной фуражке. И действительно сходил! Правда, я едва не отморозил себе уши и нос, но слово свое исполнил.

– Эка, батюшка, мой родной, была же вам охотка тешить дружков, а себя этак мучить...

– Ты не понимаешь этого, старуха. Такими опытами закаляется характер человека. И признаюсь без хвастовства, мне в жизни удавалось совершать много такого, о чем другой человек, более меня славолюбивый, кричал бы на каждом шагу и заслужил бы общую известность. Силой собственного характера раз мне удалось спасти от пожара целую деревню, в которой я квартировал со своей ротой. Случился пожар в крайнем доме, ветер дул на деревню; вдруг обхватило огнем три дома; казалось, не было спасения; мужики не думали тушить огонь и таскали пожитки; но я влез на крышу той избы, которая стояла рядом с горевшей, и закричал своим солдатам, которые любили меня страстно: «Ребята, если вы

любите своего начальника, то спасите его; я сторю с этим домом, по не сойду с крыши, пока вы не погасите огонь!» Они бросились и с невероятными усилиями потушили пожар. Когда я сошел с крыши, тогда только увидел вместе с другими, что волосы, брови и усы были у меня опалены, лицо и руки обожжены и платье истлело. После того я был отчаянно болен несколько месяцев, но был утешен признательностью мужиков: все это время, пока я был болен, они толпились у дверей и окон моей квартиры, узнавали о моем здоровье, служили обо мне молебны, а когда я выздоровел и вышел к ним, то вся деревня бросилась целовать мои руки, ноги, плакали и благодарили меня.

– Ах ты, батюшка наш! Экая в тебе добродетель! – говорила Прасковья Федоровна, прослезившись и целуя Николая Петровича в плечико и от избытка чувств делаясь даже фамильярною. – Вот, Никанор Александрыч, учись добродетелям-то.

– Ну, братец Осташков, – обратился Паленов собственно уж к Никеше, – твои бумаги скоро, вероятно, потребуют в депутатское со-

брании, потому что приказано пересмотреть все дворянские родословные. Нет сомнения, что твой род внесут в шестую часть и выдадут тебе дворянскую грамоту. Я, впрочем, попрошу за тебя предводителя и представлю тебя ему. Ну, что же еще я могу для тебя сделать?...

– Батюшка, и то много ваших милостей... Не оставьте только его своей лаской и наставлениями.

– Наставления мои ему вот какие: помни, что ты дворянин, не водись с мужиками: они не твое общество, а главное – не ходи в кабаки. Если мужик хоть один раз увидит тебя к кабаку, он забудет, что ты дворянин, и толкнет тебя, и обругает; а я тебе уже сказал, что дворянину надо больше всего беречь честь свою. Ну, я позволяю тебе бывать у меня. Ты, к несчастью, неграмотен; по крайней мере слушай, что здесь говорится, перенимай манеры. Надобно тебя облагородить. Что это на тебе за чепан?[8] Тебе надобно быть в сюртуке. погоди вот я сейчас прикажу тебе дать кое-что из своего платья.

Паленов позвонил. Прасковья Федоровна

бросилась целовать ручку его. Никеша встал и кланялся.

– Ну, полноте, полноте. Не стоит.

Вошел Абрам.

– Послушай, – сказал ему Паленов, – отдай вот господину Осташкову мой летний сюртук, тот, ластиковый, и жилетку пестренькую, ту... понимаешь?

– Слушаю.

– Да не переври... Принеси сюда, покажи мне... Не кланяйтесь, не благодарите... я не люблю этого... я хочу, чтобы ты был похож на дворянина по крайней мере по наружности... пока не образовался нравственно...

Абрам принес сюртук и жилет и очень недоброжелательно посмотрел на гостя, когда барин отдал ему эти вещи. Конечно, он с досадою подумал, что Никеша получает то, что по всем правам следовало бы ему. Но Никеша был совершенно счастлив и доволен незавидным подарком.

– Сюртук, может быть, будет тебе несколько широк и длинен. Ну, ты там перешьешь его, – сказал Николай Петрович.

– Перешьем, батюшка, перешьем, – отвеча-

ла Прасковья Федоровна, увязывая в платок подарок. – Ему будет то дорого, что с вашего-то плечика будет носить.

– Перешьем-с, – повторил Никеша, в первый раз открывший рот.

– А в этом зипуне, братец, пожалуйста, не являйся. Неприлично. И этих красных платков на шее не носи. Кто тебя не знает и увидит в этом костюме, не поверит, что ты дворянин...

В эту минуту Абрам доложил, что приехал Иван Александрович Неводов. Паленов велел просить его в кабинет. Прасковья Федоровна засуетилась, стала прощаться с хозяином и давала знаки зятю, чтобы и он делал то же.

– Нет, милая, ты поди туда в девичью и там пообедаешь, а он пусть останется здесь и обедает с нами.

Прасковья Федоровна с удовольствием поблагодарила и ушла. В то же время в другие двери кабинета входил молодой человек женоподобной наружности, одетый очень щеголевато, в перчатках с иголки. Он держал голову несколько назад и набок, а руки – так, как держат ученые собачки свои передние

лапки, когда их заставляют служить на задних; ходил вприпрыжку, говорил нараспев. Он, видимо, старался придать лицу своему презрительное и насмешливое выражение, щурил глаза и искривлял рот в двусмысленную улыбку. После первых приветствий с Паленовым, он придал своему лицу насмешливое выражение, оглядывая с ног до головы Никешу, который давно уже стоял и кланялся, ожидая, что гость протянет ему руку и он подаст свою, как учил его Паленов.

– Ах, позвольте вам представить, – сказал Николай Петрович, указывая на Никешу, который снова стал кланяться. – Мне, право, самую судьбою предназначено открывать в нашем краю разные знаменитости: лет пять назад я открыл будущего великого живописца в простом семинаристе; прошлого года – мужика механика, а нынче – потомка древнего знаменитого рода бояр Осташковых, предки которых, вероятно, были даже князья Осташковские, затерявшиеся в истории. Вот он – дворянин Осташков.

– C'est un[9] однодворец.

– Oui![10] Но вы посмотрите, что это за род,

и скажите, по совести, знал ли кто из вас, господа, об его существовании. Вот его документы: вот купчая крепость 1581 года, вот запись... запись... чрезвычайно трудно разбирать: здесь никто не мог бы разобрать этих хартий, кроме меня... Это, должно быть, кабала на какого-то холопа... Кроме всего, эти акты ведь замечательные исторические памятники... Надобно заняться их подробным разбором... Посмотрите, все 16 и 17 столетия. И какие должности занимали его предки: думный дьяк Осташков, стрелецкий голова Осташков... Ведь это государственные люди!..

– А теперь вы где служите? – спросил Неводов, обращаясь к Никеше.

– Никак нет-с; проживаю дома, в своей усадьбе...

– А-а... чем же вы занимаетесь?

– Теперича, по зиме, около дома хожу...

– Как? Только и дела, что около дома ходите? – спросил Неводов с своей насмешливой улыбкой.

– Точно так-с.

– Это славное занятие... Зачем же это вы все около дома ходите?...

– Как зачем-с?... Убираться надо...

– Как убираться надо? – спросил Неводов с громким смехом. Паленов тоже улыбался.

– Куда убираться?

– Около дома убираться! – отвечал смущенный Никеша, то улыбаясь, то вопросительно-робко посматривая на хозяина.

– Что же вы убираете около дома?

– Как что-с? Тоже лошадь есть, коровки...

– Так вы их убираете?

– Точно так-с.

– Куда же вы их убираете?

Никеша не знал, что отвечать, и тупо, боязливо смотрел на нарядного гостя. Паленов тихо, сдержанно смеялся.

– Что же вы мне не хотите сказать: зачем вы это все ходите около дома и куда убираете лошадь и корову?...

– Я уж, право, не знаю-с что и сказать-с... Ведь я грамоте не был обучен от родителей, темный человек! – отвечал Никеша сквозь слезы.

И хозяин и гость захохотали к ужасу Никеша.

– Но ваш потомок знаменитых государ-

ственных людей, мне кажется, очень глуп! – сказал Неволов по-французски.

– Необразован, дик, воспитан по-мужицки! – возразил Паленов. – Но такое падение, измельчание родов дворянских, согласитесь, может быть только в России, при нашей пагубной системе раздробления имений. Посмотрите на английскую аристократию, с ее правом первородства... Другая причина этого падения состоит, кажется, в том, что у нас нет этой сосредоточенности и исключительности сословной, при которой каждый член известного сословия смотрит на другого, как на своего собрата, и подает ему руку помощи, когда он падает, поддерживает его и спасает и при которой это сословие также разборчиво принимает в себя все пришлое, чужое. Мы очень равнодушно смотрим, когда гибнет член нашего сословия, и с радостью принимаем в свое общество всякого дослужившегося до дворянства поповича. Я давно говорю, что в нас нет сословной благородной гордости, – есть только сословные предрассудки, ничего цельного, общего, определенного. Я не проповедую исключительности, я близок к народу,

я по крайней мере о своих крестьянах могу сказать, что я их знаю и они меня знают... но это совсем не то: я сближаюсь, но помню градации; вхожу в интересы мужика, но грудью готов защищать свои дворянские интересы. И мне кажется, что дело нашей чести дворянской – поддержать и по возможности облагородить этого несчастного собрата нашего.

– Я нахожу, что он даже отчасти интересен, им можно заняться от скуки! – отвечал Неводов по-французски.

– Мосье Осташков, – продолжал он, – вы понимаете, что вы наш собрат по крови, что в вас течет старинная дворянская кровь, такая же, как в нас. Вы знаете это?

– Очень знаю-с...

– Так позвольте с вами познакомиться. Знаете что: приезжайте ко мне когда-нибудь. Или вот что: я лучше сам пришлю за вами лошадей. Что, вы приедете ко мне?

– Не знаю-с...

– Чего же вы не знаете?

– Как тетенька... тоже дела дома.

– А! Вы тетеньки боитесь... Скажите: до сих пор тетеньки боится... Какой срам? Да вам

сколько лет?

– Двадцать пять – шестой...

– Ну, вот видите, двадцать пять – шестой... а вы боитесь тетеньки. Это нехорошо!.. Что же вы боитесь вашей тетеньки?

– Я ее не боюсь, а должен повиноваться, потому она меня воспитала...

– Ну вы ее за это уважайте, почитайте, а бояться тетеньки не надо... не стыдите своих знаменитых предков. Вот слышите, ведь они были у вас, кажется, стрельцы и люди, вероятно, храбрые, а вы, потомок таких храбрых людей, тетеньки боитесь... ах, какой срам!..

– Да полноте, уморили вы меня! – сказал Паленов. – А ты что, братец Осташков, струсил? Ты будь бойчее, видишь, с тобой Иван Александрович шутит.

– Нет, Николай Петрович, я серьезно ему внушаю: как можно в таком возрасте бояться тетеньки. Это ни на что не похоже! Ведь она вас не сечет – или случается?...

– Никак нет-с! – отвечал Никеша с улыбкой, ободрившись по приказанию.

– Ну, вот видите, так нечего и бояться ее. Приезжайте же ко мне, когда я пришлю за ва-

ми лошадей.

– Не оставьте своими милостями! – сказал Никеша, подражая теще.

– Не оставлю, не оставлю, даже невесту сы-
щу, если хотите.

– Да уж я в законе...

– В законе! Ах, жалко!

– Он женат на дочери одной вольноотпущенной женщины, которую жене хотелось было нанять в няньки и барыню которой я хорошо знал. Этим-то путем я с ним и познакомился.

– Ну, значит, древняя дворянская кровь немножко помутится в потомстве от чуждой примеси... А что ваша Ольга Ивановна?

– Она здорова. Пойдемте к ней. А ты, братец Осташков, побудь здесь. Как станем садиться обедать, я пришлю за тобой. В женском обществе ты будешь еще стесняться с непривычки, – прибавил Паленов, с улыбкою смотря на Неводова.

– Да и Ольга Ивановна, неприготовленная, может смутиться от неожиданного появления такого дорогого гостя! – сказал Неводов в том же тоне.

И оба со смехом вышли из кабинета.

Никеша остался один. Долго он сначала сидел неподвижно, осматриваясь кругом с любопытством: все в этом кабинете было для него ново и удивительно: и мягкие кресла и диваны, и большие шкафы со стеклами, за которыми виднелись позолоченные корешки книжных переплетов, и письменный стол с большой бронзовой чернильницей, изображавшей Эсмеральду, и с разными пресс-папье, и зеркало, в котором Осташков видел себя всего, с ног до головы. Наконец он осмелел, встал и начал ходить от одной вещи к другой, каждую внимательно рассматривая. В этом занятии нашел его Абрам, вошедший в кабинет.

– Ты, барин, руками тут ничего не трогай, – сказал он Никеше недружелюбно, – ведь он помнит, какая вещь у него как лежит; ты переложишь, а мне после достанется за тебя.

– Я ничего не трогаю-с! – отвечал оробевший Никеша.

– Ну и не трогай.

Никеша неподвижно сел на прежнее место. Абрам подошел к зеркалу и стал барской

гребенкой причесывать свои волосы, как будто желая показать, что вот, мол, тебе не позволяю трогать ничего, а сам могу. Потом он сел в вольтеровы кресла на барское место.

– На что, барин, сюртук-то выпросил? Не стыдно? Холопское платье хочешь носить: что холопу следует после господ, то ты выпросил... А еще барин!..

– Да я не просил: они сами-с дали...

– Да я бы на твоём месте не взял, коли ты чувствуешь, что ты есть барин... А ты и рад...

Никеша смутился, опустил глаза в землю и не знал, что говорить.

– Э-эх! – произнес Абрам презрительно и с упреком, встал и ушел.

Через несколько минут в кабинет заглянула Прасковья Федоровна и, видя там одного Никешу, осторожно вошла.

– Ну, что ты сидишь-посиживаешь? – спросила она его с любовью. – Велели на стол накрывать, скоро и тебя туда позовут. Ну, что вы, о чем поговорили?

Никеша рассказал ей, что приезжий гость сначала посмеялся над ним, а после звал к себе и лошадей хотел прислать, передал с вели-

ким огорчением и разговор свой с Абрамом.

– Ты вот этому-то радуйся, что барин-от тебя в гости звал; а на холуя-то наплюй. Холуй-холуй и есть. Вот как в другой раз придешь, так дай ему гривенник и лучше его для тебя не будет. Известно им чего надо, Хамову отродью.

Прасковья Федоровна в припадке негодования позабывала собственное свое происхождение.

– Очень уж мне, тетенька, стыдно... Ничего я не знаю, что говорить, что делать... Так индо в жар бросает, – проговорил Никеша...

– Ну, ничего, переймешь, привыкнешь. И пословица говорит: стерпится, слюбится... А на холуев не смотри... Разве он может это понять, что ты и при бедности своей, а все-таки барин и знатного рода? Вон настоящие-то господа так и понимают это, и честят тебя, чего ты стоишь. Слышал, что давеча Николай-то Петрович говорил про тебя, что он как тебя уважает. Небось я и постарше тебя, да не больно меня посадил, а тебя посадил. Так это все звание твое делает. Вот что, милый ты мой друг! Ну теперь сиди же дожидайся, как

кушать позовут. А придешь, увидишь барыню, подойди ручку поцелуй, также и у барышень; а будешь сидеть за столом, смотри на господ, старайся перенимать, как они кушают; что они будут делать, то и ты делай... Ну, Господь же с тобой...

Прасковья Федоровна ушла, а Никеша опять остался один, начинал чувствовать сильный голод и ожидал позднего барского обеда с нетерпением. Наконец вдруг двери кабинета приотворились и в них показался лакей Паленова.

– Подите обедать, – сказал он, – да скорее, господа дожидаются.

Никеша, вслед за слугою, вошел в столовую. В ней стоял накрытый для обеда круглый стол, около которого суежилась прислуга, но господ еще никого не было. Впрочем, через несколько минут вошла высокая важная барыня, за ней другая, третья, несколько человек детей и наконец сам барин с гостем.

– А, Осташков, – сказал Николай Петрович, увидя его. – Ты уж здесь. Вот, мой друг, рекомендую тебе нашего нового знакомого! – прибавил Паленов, обращаясь к жене и придавая

последним словам насмешливый тон.

Ольга Ивановна молча, едва наклоняя голову, посмотрела на Никешу, который спешил подойти и поцеловать у нее ручку. Ольга Ивановна подала кончики своих пальцев. Затем Никеша счел своею обязанностью поцеловать ручки и у других барынь, пришедших с хозяйкой. С этою целью он подошел к одной из них, которая, в это время стоя к нему боком и наклонясь к маленькой дочери Ольги Ивановны, говорила ей что-то потихоньку. Никеша с протянутой рукой стоял около нее, ожидая, чтобы она его увидела.

Неводов заметил это движение.

– Что же вы?... Возьмите и целуйте ручку скорее.

Послушный Никеша хотел исполнить приказание, наклонился и взял было руку барыни, готовясь поцеловать ее...

– Ай, ай... Mein Gott... Was ist das!..[11] Ах! Мужик!.. – визгливо закричала барыня, выдергивая свою руку из руки Никеша и отскакивая в сторону.

Раздался общий громкий хохот сзади Никеша: даже слуги зафыркали по примеру гос-

под, отворачиваясь и прикрываясь тарелками. Никеша оробел и стоял, как пораженный громом.

– Вы ее испугали! – говорил Неводов Никеше, сдерживая смех. – Что же вы стали? Подойдите опять и попросите опять ручки.

Никеша подошел и протянул было свою руку, но барыня опять закричала: Ах! Ах!.. Was ist das?... Пошелъ!.. – краснела, сердилась и визжала, как умеют краснеть, сердиться и визжать только немки, особенно те, которые приезжают в Россию, не зная ни слова по-русски и не имея понятия о том, какие шутники русские помещики.

Новый взрыв смеха опять оглушил Никешу. Он стоял перед немкой неподвижно, с протянутой рукою, между тем как та пятилась от него и, сердито бормоча что-то по-своему, прятала за себя свои руки.

– Ах, Осташков, вы просто прелесть! – говорил Неводов сквозь смех. – Я решительно влюбился в вас. Ну, пойдёмте обедать. Ольга Ивановна, – продолжал он, обращаясь к хозяйке и говоря по-французски, – позвольте его посадить рядом с mademoiselle Эмилией. Это

будет восхитительно.

– Ах, какой вы шалун! – отвечала Ольга Ивановна, лениво улыбаясь и покачивая головой. – Посадите, если вам хочется.

– А вы не бойтесь, Осташков, будьте смелее... Ну, вот садитесь тут! – говорил Неволов, усаживая Никешу рядом с немкой. Та отодвигалась от него, отворачивалась и сердилась к общему удовольствию всех присутствующих; смеялись и дети над своей наставницей и новым гостем.

В продолжение всего обеда Никеша и гувернантка были орудием общего веселья. Заметили, что Никеша не умеет обходиться с некоторыми кушаньями, и нарочно учили его прибегать к ножу с вилкой там, где следовало действовать ложкой, и наоборот. Неволов, сам не зная по-немецки, просил старшую дочь Паленовых, девочку лет 13, уверить свою гувернантку, что Никеша сумасшедший и чтобы она его не сердила, а то он, в припадке гнева, может даже ударить ее ножом. Не совсем толковая немка поверила, – может быть, отчасти и потому, что оробевший и смущенный Никеша смотрел действительно не

умно, – стала наблюдать за ним уже со страхом и вздрагивала при каждом его движении. Паленовы, муж и жена, по свойственной им важности хотя сами и не принимали участия в шутках Неводова, но добродушно и снисходительно улыбались его затеям и не считали нужным запретить детям веселиться вместе со старшими насчет слабого ближнего.

Как ни был Никеша прост, как ни был он голоден и как ни казались ему вкусны кушанья, которые подавали за обедом у Паленовых, но ему было тяжело и неловко, он рад был, когда кончился обед, а еще больше, когда вошла Прасковья Федоровна и сказала ему, что пора ехать домой и чтобы он прощался.

– Ах, матушка, вы тетенька, что ли, господин Осташкова? – спросил ее Неводов.

– Нет, батюшка, теща.

– Так у него там есть тетенька, которой он боится: попросите ее, чтобы она отпустила ко мне вашего зятя. Я очень его полюбил, хочу с ним подружиться и нарочно пришлю за ним лошадей. Похлопочите, пожалуйста, я вас прошу.

– Помилуйте, батюшка, он должен за великую честь и счастье считать ваше приглашение. Только вы не погнушайтесь его бедностью и его малым разумом.

– Нет, нет, мне очень приятно познакомиться... Я поставляю себе за особенную честь знакомство с господином Осташковым... Я постараюсь, чтобы ему у меня было весело.

– Не оставьте, батюшка, только вашими милостями да наставлениями: он и тем будет доволен, а где уж ему об веселостях думать при его бедности... А это осмелится ли он даже и полагать, чтобы он мог своим знакомством честь вам доставить.

– Нет, нет, именно так, только отпустите его, пожалуйста.

– С его великим удовольствием приедет. Покорнейше вас, батюшка, благодарим...

Таким образом началось вступление Никеша в свет.

– Ну рад ли ты, Никеша, что с господами познакомился? – спросила его Прасковья Федоровна на обратном пути.

– Рад-то рад, – отвечал Никеша, – да уж не

знаю как сказать?

– Что такое?

– Да уж очень тяжело быть-то с ними: очень смеются да все смотрят на тебя. Не знаешь что и делать.

– Э! Это привыкнешь! Стерпится – слюбится! По новости, известно, всегда неловко, а тут обзнакомишься, так точно в свой дом родной будешь ходить. А посмеяться-то пускай посмеются. Что тебе от этого? А вот у тебя теперь и одежка новенькая есть.

– Тот барин-то тоже обещал что-нибудь подарить.

– Ну вот видишь ты! А ты и старайся пользоваться расположением да всем услужить.

Рассказы Никеша о первом выезде его в свет, и особенно не даром, были приняты дома у него с восторгом и в общем совете положено, что надо постараться перешить сюртук Паленова по Никеше, чтобы ехать к новому знакомому барину уже в сюртуке, а не в поддевке, неприличной для столбового дворянина, у которого предки были стрельцы, как передавал Никеша домашним о своем роде – единственный результат исследований Пале-

нова, усвоенный Никешею.

VI

Прасковья Федоровна отыскала какого-то знакомого портного из дворовых и отдала ему перешить сюртук – подарок Паленова, решивать жилетку не нашли нужным. К следующему воскресенью сюртук был принесен, и Никеша, нарядившись в него к общей радости всего семейства, не без гордости смотрел на себя в маленькое женское зеркальце, перед которым никогда до сих пор так долго не останавливался. В новом платье, несмотря на то что благодаря искусству портного оно сидело на нем мешком и полы расходились врознь, Никеша чувствовал себя барином более, нежели прежде, и, придя в нем в церковь, беспрестанно охарашивался и с важностью посматривал на мужиков. Он помнил и совет Паленова: не сближаться с крестьянами, о чем ему беспрестанно напоминала теща, и учился держать себя с ними гордо и важно: не отвечал, когда мужички по старой привычке заговаривали с ним, и едва кивал головой в ответ на поклоны. Наталья Никитична

между тем не упускала случая рассказывать каждой знакомой бабе, как Никеша был у баба Паленова, с каким почетом он его принял, что из бумаг ихних увидели, из какого они старинного и знатного рода, что все они, мужички по соседству, были ихние, да только предки их поистеряли, так теперь воротить мудрено, а ведь, может быть, Бог да добрые люди и помогут, и получают они хоть которые-нибудь свои души.

Александр Никитич, которому Никеша, отдавая свои бумаги, тоже рассказывал о своей поездке к Паленову, и об открытиях, которые тот сделал из бумаг, и о подарке, и об обещанных милостях и ласках, и о предстоящем знакомстве с Неводовым, остался совершенно равнодушен ко всему этому и сказал только: смотри же, Никанор, пойдешь теперь по помещикам, будут, может, тебя дарить, не оставлять, пожалуй, разбогатеешь, тогда не будь шельмецом, не оставь и отца-старика: я тебя поил, кормил, одевал до самого отдела, грех и тебе меня забыть. Баб-то своих не слушай; отцовское-то благословение, чай, тебе дорого!

Между тем прошло несколько дней: жизнь

Никеша пока ни в чем не изменялась; он работал и готов был слушаться тетки по-прежнему, но та уже как-то совестилась по-прежнему распорядиться Никешей и начинала смотреть на него с невольным бессознательным уважением.

Наконец однажды, в рабочий, будничный день, к избе Никеша подъехала лихая тройка с нарядным кучером. Неводов исполнил слово и прислал лошадей за Никешей. Он проворно собрался, нарядился в свой новый сюртук и жилет, и снова, напутствуемый благословениями всей семьи, поехал на новое знакомство.

Робко и стыдливо садясь в барские сани в своем бараньем тулупе, он чувствовал себя не на месте сзади нарядного кучера, впрочем, не без удовольствия и гордости посматривал на встречных знакомых мужиков, которые, снимая шапки перед господской тройкой и узнавая в санях Никешу, долго стояли и смотрели вслед ему.

Неводов с нетерпением ждал своего гостя, над которым надеялся позабавиться. Иван Александрович был человек холостой и со-

вершенно праздный. Жил в деревне, когда у него не было денег, а при деньгах немедленно отправлялся в губернский город, где хотел слыть львом. В деревне он считал и выдавал себя хозяином, хотя не понимал и не умел ничего в деле хозяйства, гнушался всякого сближения с мужиками, выписывал разные машины, которые обыкновенно оставались без употребления, но которыми он любил хвалиться, никогда не выезжал в поле и, живя в деревне, беспрестанно разъезжал по соседним помещикам, слыл красавцем, заводил интриги с уездными барышнями, которые видели в нем выгодного жениха, постоянно острил и был счастлив, когда женщины называли его *caustique*[12] – титул, который Неводов старался поддерживать всеми силами. В этот день к нему собралось несколько человек соседних помещиков: Павел Петрович Рыбинский, высокий, широкоплечий, весь обросший волосами мужчина, слывший в уезде за необыкновенного силача (и поэта), неглупый от природы, много испытавший в жизни, но величайший циник в нравственном отношении. Про него рассказывали в уезде, что он

был некогда гусаром, выгнан из полка за шулерство, увез жену от живого мужа, промотал с нею все свое имение, потом бросил ее, жил несколько лет бильярдной игрой, потом какими-то судьбами отыскал дальнего родственника, бездетного старика, умел к нему подделаться и получил в наследство большое имение, в котором теперь и живет пышно и хлебосольно, давая обеды на целый уезд. На последних выборах он был избран кандидатом в уездные предводители дворянства. Другой господин с необыкновенно наглой, задирающей физиономией – Иван Петрович Тарханов, разоривший свое семейство на аферах, доживающий последние достатки в надежде вдруг обогатиться, человек вздорный, нахальный и хвастун величайший. В противоположность ему тут же сидел Семен Михайлыч Топорков, холостяк средних лет, молчаливый, скромный, добродушный на вид, но, как говорится, кремень и скопидом. Около него напрасно увивался Тарханов, надеясь позанять деньжонок на новое предприятие: Топорков оставался упрямой, не сдающейся крепостью. Наконец четвертое лицо был Яков Петрович Ком-

ков – неженка и лентяй страшный, белый, гладкий, разбухший от неподвижности, но весельчак и хохотун. Яков Петрович иногда целые дни проводил в постели, и только разве скука могла его выгнать из дома; нужда и забота не заставили бы его пошевелиться. Он и выехал, впрочем, только для того, чтобы звать к себе, потому что, несмотря на свою лень, был общителен и без людей жить не мог. Когда к нему кто-нибудь приезжал, он старался задержать гостя как можно дольше, упрашивал, умолял, иногда даже приказывал запирать лошадей гостя и силой удерживал его на лишней денек или часок. «Лень помещала мне женится, – говаривал Яков Петрович, – и я остался сиротой: господа, пожалейте сироту. Уж мне недолго лежать на белом свете, скоро лягу для того, чтобы уже никогда не вставать на ноги!..» И с веселым смехом заканчивал он обыкновенно подобные речи. Его любили соседи за добродушие и хлебо-сольство.

Когда собрались все эти господа к Неводову и потолковали о том о сем, хозяин вдруг вспомнил об Осташкове.

– Ах, господа, я для вас сегодня устрою великолепный спектакль! – сказал он. – Слышали ли вы о потомке древнего рода Осташковых, вероятно князей, как уверяет Паленов?

Затем Неводов рассказал о своей встрече с Никешей и о намерении послать за ним лошадей.

– Мы его встретим, господа, как следует принять такую знаменитость, будем оказывать уважение...

– А потом напоим и заставим плясать! Это великолепно! Посылайте! – вскричал Тарханов.

Все одобрили предположение и начали составлять план для приема именитого гостя.

Бойкая тройка быстро пронеслась пятнадцативерстное расстояние и лишь только остановилась у крыльца и Никеша собирался выскочить из саней, как вдруг выбежали из дома два лакея и почтительно подхватили его под руки. Никеша оторопел от такой чести.

– Ничего-с! Я сам! – говорил он робко.

– Помилуйте, как можно: ножку не защитите! – отвечал один из слуг.

– Нам от господ так приказано: мы знаем, кто вы такие есть... – прибавил другой. И оба лукаво переглянулись с кучером, который, сидя на козлах, посмеивался и мигал на бараний тулуп гостя.

Сконфуженного Никешу под руки ввели и на лестницу, как он ни старался освободиться от этой чести. Когда в лакейской сняли с него шубу, лакей распахнул обе половинки двери в залу и громко провозгласил: «Господин столбовой дворянин Осташков!»

В зале уже толпились все гости. Неводов с низкими поклонами подошел к Никеше.

– Очень рад, господин Осташков, что вы почтили меня своим посещением, – сказал он. – Я знаю, каких вы великих предков потомок, и считаю за особенное счастье и честь видеть вас в своем доме. Позвольте представить вам моих приятелей.

Неводов взял его под руку и подвел к гостям.

– Господа, имею честь представить вас потомку древнего знаменитого княжеского рода Осташковых, которые владели всем нашим уездом. Мы тем более должны благоговеть

перед этим обломком древнего рода, что все мы владеем именьями, которые достались нам от его предков и, по-настоящему, должны бы принадлежать господину Осташкову. Господа, вы должны благодарить его за то, чем владеете.

– Благодарим вас, господин Осташков, – сказал Рыбинский серьезно, – и просим позволить нам владеть вашим наследством.

Никеша стоял выпуча глаза, не зная, что говорить, что делать. Озадаченный неожиданностью, он не мог даже сообразить, что над ним издеваются, и бессознательно смотрел на всех предстоящих.

– Что же, господин Осташков, неужели вы не будете милостивы, захотите отнять у нас все наше достояние и лишитесь последнего куса хлеба! – проговорил Тарханов. – Эка рожата-то глупая! Так и хочется побить, – прибавил он, наклоняясь к Комкову, который уже не в силах был стоять и сидел, прячась за Рыбинского и стараясь удержать одолевавший его смех.

Никеша молчал и отирал рукою пот, выступавший у него на всем лице от внутренне-

го смущения.

– Просите, господа, кланяйтесь! – говорил Неводов.

– Не оставьте! Не погубите! – говорили Рыбинский и Тарханов, низко кланяясь. Комков не мог более удерживаться и разразился громким хохотом. Никеша, услыша этот смех, стал тоже улыбаться.

– Нет, господа, видно, наши просьбы его не тронут. Позвольте, я представлю ему мою жену: может быть, женские слезы скорее тронут его сердце! – проговорил Неводов, давая минами знать, чтобы Яков Петрович удержал свой смех.

Они ввели его в гостиную, где на диване сидела разряженная горничная.

– Позвольте вам представить жену мою, Маланью Карповну, – сказал Неводов, подводя к ней Осташкова.

– Очень рада познакомиться, – сказала горничная, представляя барыню. – Прошу покорнейше садиться.

Осташков поцеловал у нее руку к новому удовольствию всех зрителей и самой горничной, которая, ухмыляясь, лукаво смотрела на

господ, в то время как Никеша наклонился к ее руке, но по знаку Неводова снова приняла серьезный вид.

Поцеловавши ручку хозяйки, Никеша хотел было отойти и сесть где-нибудь в уголок, но Неводов остановил его.

– Нет, нет, господин Осташков, прошу вас покорнейше сесть рядом с женой на диване.

– Нет, уж позвольте: я лучше там сяду, – говорил Никеша, стараясь пробраться в угол.

– Нет, нет, ни за что на свете... Я вам сказал, что вы у меня самый драгоценный гость... Позволю ли я, чтобы вы сидели где-нибудь в углу. Ваше место первое.

И он почти силою посадил Никешу на диван, лицом ко всем гостям, которые вместе с хозяином уселись перед ним на креслах, в почтительном отдалении.

– Маланья Карповна, знаете ли вы, – начал Неводов, когда все уселись, – кто почтил нас своим посещением? Понимаете ли вы, что все, чем мы владеем: наши крестьяне, наши земли и усадьбы – принадлежат господину Осташкову и что ему стоит только предъявить свои документы, чтобы лишить нас

всего...

– Шутки шутить изволите! – проговорил наконец Никеша, поднимая опущенные до сих пор глаза.

– Я шучу?! – воскликнул Неводов. – Но что же бы нам за охота была унижаться перед вами? Правда, Паленов хотел хитрить и скрывать от вас правду, как от человека неграмотного, но ведь могло же случиться, что вы показали бы свои бумаги какому-нибудь знающему человеку и он объяснил бы вам ваши права; тогда что бы с нами стало? Я лучше решил обратиться к вам, к дворянам, которые владеют деревнями, принадлежащими вашему роду; мы советовались – что делать, и решили лучше прямо все объявить вам и просить вашего великодушия. Конечно, если вы начнете тяжбу, мы вам не уступим без спору, но эта тяжба может разорить нас, если даже мы ее и выиграем. Будьте великодушны, господин Осташков, пощадите нас.

– Не погубите! – подхватили Рыбинский и Тарханов, вставая и кланяясь.

Никеша снова спутался, не умев уже разобратъ: шутят ли над ним, или вправду эти гос-

пода бояться потерять свои имения, а он может овладеть ими.

Сомнение и корысть взволновали душу и слабые мозги Никеша.

– Я ничего не знаю-с... Я человек темный, неграмотный! – отвечал он. – У меня тятенька есть, я не один.

– Вы только дайте нам клятву, что ничего не скажете вашему отцу: ему самому и в голову не придет хлопотать, если не хлопотал до сих пор. Кроме этой клятвы вы приложите руку к бумаге, которую мы напишем и в которой вы скажете, что отрекаетесь за себя и за весь род ваш от имений, нам принадлежащих.

– Я неграмотный... Как же я могу приложить руку... Я писать не умею-с... – говорил Никеша, начинавший в самом деле верить в возможность возвратить собственность своих предков.

– Это ничего, что не знаете грамоте, – отвечал Тарханов, принимая подобострастный вид. – Фамилии не надо подписывать. А вы только потрудитесь намазать руку чернилами и приложить ее к бумаге. Не откажите,

господин Осташков, будьте милостивы.

– Жена, что же ты не просишь господина Осташкова? От него зависит участь наших детей. На колени! Целуй руки у господина Осташкова, моли его, проси, не отставай, пока не смилуется.

Горничная бросилась на колени и ловила руки Никеша, который, считая ее барыней, очень сконфузился, краснел, пыхтел, барахтался, поднимал руки вверх и прятал за спину.

– Помилуйте! Как можно... Не извольте беспокоиться!.. – лепетал он в смущении.

Между тем горничная кричала с отчаянием в голосе: «Батюшка, отец родной, благодетель, не погубите, не оставьте без куска хлеба, заставьте за себя вечно Бога молить».

Зрители уже не могли более притворяться, и общий единодушный хохот, огласивший комнату, окончательно сбил с толку бедного Никешу.

– Экой какой вы, Яков Петрович: это вы не выдержали! – говорил Неводов сквозь смех.

– Ну, да уж будет: что его мучить... Посмотрите: бедный вспотел, точно из бани вышел.

– Ну, будет и в самом деле. Ступай вон! – сказал хозяин, обращаясь к горничной.

– Ну, брат Осташков, спасибо: утешил! – говорил Рыбинский. – Да ты малый хороший, с тобой можно дело иметь: не сердисься.

– Я сам терпеть не могу этих несчастных, которые служат для общего удовольствия и потом вламываются в претензию, когда пошutiшь над ними! – заметил Тарханов.

– Да он еще и теперь, кажется, не совсем образумился и хорошенько не понимает, что с ним было! – заметил хозяин. – Осташков, вы в самом деле не подумайте, что эта дама, у которой вы целовали ручку, жена моя. Это просто моя горничная девка... Ну-ну, не обижайтесь же: вы нас позабавили, за это я вам приготовил хороший подарочек, которым вы останетесь довольны.

Неводов ударил три раза в ладоши и вскрикнул:

– Эй!

– Вот еще! Смеет он обижаться: за это его можно так проучить, что своих не узнает! – примолвил Тарханов. – Велик он барин! Ты должен помнить, Осташков, что вместе с тво-

ими душами, твой род нас наделил и роццями... Ты понимаешь... Жиг! Жиг!.. И Тарханов сделал известное движение рукою.

– Ну для чего же его стращать так? – возразил молчавший до сих пор Топорков. – Это нехорошо: он тоже дворянин!

– Нет, нет, это пустяки! – согласился Рыбинский. – Мы тебя в обиду не дадим, Осташков. Это вздор... он глупости говорит. Ты изъят от телесного наказания.

– Я никого не трогаю-с!.. Я бедный человек и должен все на себе переносить! – промолвил Никеша сквозь слезы.

– А условие, Осташков, не обижаться! Если не будешь уметь переносить наших шуток с тобой, тебя не захочет никто и знать... А будешь терпелив и умен, тебя дворяне никогда не оставят... Послушай, – обратился Неводов к вошедшему человеку, – там у меня в кабинете отобрано платье для господина Осташкова; поди помоги ему в него одеться. Подите же, Осташков, все, что там на вас наденут, будет ваше.

Осташков повеселел, улыбнулся и пошел за слугою.

– Нет, господа, его не надо запугивать: он малый, правда, глупый, но презабавный и не злой. Он может служить отличным шутком... – говорил Рыбинский, и все с ним соглашались.

– Однако, господа, пора, кажется, обедать? – спросил хозяин.

– Да уж давно пора бы, – отозвался Комков, – сегодня мне этот Осташков доставил отличный моцион: смерть проголодался. Отобедаем, а после обеда, господа, ко мне.

– Нет, нет, – возразил Рыбинский, – сначала ко мне и ночевать, а после, пожалуй, и к тебе; а то ведь от тебя, брат, не скоро вырвешься...

– Так уж я, господа, в таком случае домой, и буду вас ожидать к себе.

– Вот так уж не пуцу домой... Полно, братец, а то все лежишь: право, ожиреешь, удар сделается... Нет, тебя надо протрясти хорошенько и разогреть твою кровь, а у меня есть чем. Я вам, господа, покажу новую личность у себя: Парашу. Как начнет плясать цыганскую... Фу ты, черт ее возьми, что это будет за девка... Огонь!.. Хоть сейчас в Москву в кордебалет. Посмотри, Комков, она разогреет твою

кровь лучше всякого перца и водки... И этого гуся, Остатку, возьмем с собой: посмотрим, что с ним будет...

– Иван Александрыч, а пока до обеда не худо бы выпить водочки, – заметил Комков.

Хозяин пригласил в столовую, и все гости очень единодушно окружили стол, на котором стояли графины с водкой и солеными закусками.

В то время как они пили и закусывали, вошел Никеша в старом фраке Неводова, который был ему узок, в белой манишке с высокими, туго накрахмаленными воротничками, резавшими ему уши, в пестрой жилетке и ярких пестрых панталонах. В этом новом костюме Никеша был так смешон, что при появлении его снова раздался общий оглушительный смех веселой компании.

– Bravo, bravo! Вот молодец так молодец! – кричал Рыбинский.

– Все это принадлежит достойнейшему, то есть вам, Осташков. Возьмите и носите на благо и счастье ваше и всего вашего семейства! – сказал Неводов.

– Надо, господа, ему вспрыснуть новое пла-

тье! – заметил Тарханов, налил рюмку и поднес Осташкову.

– Я не употребляю! – ответил Никеша.

– Ну, что за «не употребляю»! Пей, братец, коли подчуют... – настаивал Тарханов. – А то ведь силой в рот вылью...

– Нет, погоди, Тарханов, сначала надо его осеребрить: я уж очень им доволен, с год так не смеялся, как сегодня! – говорил Комков, вынимая кошелек.

– Да, надо, надо! – подтвердил Рыбинский.

Комков дал Осташкову рубль серебром, Рыбинский синенькую, которые еще тогда были в ходу, Топорков долго рылся в кошельке и сунул в руку Осташкова гривенник, стараясь, чтобы другие не заметили, а Тарханов сказал: «Считай за мной... со мной денег нет!..»

– Да покажи-на, брат, покажи! – прибавил он. – Сколько тебе дал Топорков.

Он раскрыл руку Никеша и вынул из нее гривенник.

– Господа, срам какой. Топорков срамит дворянство: богатый дворянин дает бедному гривенник. Фи!

– Ну а вы много ли дали! – сказал с досадою Топорков.

– Да со мной денег нет... а уж я, верно, не дал бы дворянину гривенника. Положи за меня синенькую: я тебе буду должен!..

– Да, получишь с тебя! – пробормотал Топорков сквозь зубы.

– Не бери у него, Осташков, гривенника, не срами дворянской чести, отдай ему назад. Господа, ведь меньше целкового нельзя взять с Топоркова?

– Разумеется! – подтвердил Рыбинский.

– Ну-ка, брат, изволь: раскошеливайся, вынимай целковый... Полно, скряга! Жалеет целкового для бедного человека.

– Что же? Я и целковый дам, а вы ничего не дадите.

– Да нечего, нечего на других-то указывать... Подавай-ка! Вот так! Принимай, Осташков! Браво, наказал же Топоркова на рубль серебром. Теперь за твое здоровье выпью, Топорков!

Никеша при виде денег в своих руках был совершенно успокоен и утешен за все предшествовавшее истязание и забыл о нем. Кла-

дя деньги в карман, он вспомнил слова Прасковьи Федоровны: «Коли хотят господа над тобой пошутить – пусть их шутят, не обижайся: после ими оставлен не будешь». И Никеша, когда стали требовать, чтобы он выпил перед обедом, согласился и выпил. Не смел или не хотел отказываться от вина и во время обеда, охмелел порядком и с большим удовольствием согласился ехать в гости к Рыбинскому. Хотя день был будничным и дома ждала работа, но он не хотел думать об этом отчасти оттого, что ущерб в работе надеялся вознаградить господскими милостями, а еще больше потому, что чувствовал себя веселым и довольным.

VII

Дом в усадьбе Рыбинского был старинный барский дом; большая с хорами зала, просторная, глубокая и довольно темная гостиная с дверью на террасу, выходящую в сад, столовая с большим длинным столом, с тяжелыми дубовыми буфетами, несколько внутренних семейных комнат с изразцовыми лежанками — все это напоминало отжившую старину. Новый хозяин, как видно, не заботился ни сохранять, ни изменять прежний вид дома; ни снаружи, ни внутри он не подвергался никаким существенным переделкам; впрочем, при первом вступлении в этот старинный дом можно было отгадать, что здесь живет холостяк, который не привык к порядку семейной жизни и для которого не существует общественных условий, налагающих известные законы даже на обстановку дома. В убранстве комнат была видна здесь или случайность, или капризы, или равнодушие. В огромной грязной прихожей, по всем стенам которой тянулись широкие лари, стоял круглый стол и на нем, как видно, имели

обыкновение спать лакеи, потому что лежала овчинная шуба и затасканные ситцевые подушки. Тут же, на стенах, висели холодные и теплые лакейские шинели, сюртуки и даже панталоны. В зале, рядом со старинными стульями, помещалось несколько покойных, современной работы, эластических диванов, оттоманок и мягких кресел на пружинах. Гостиная оставалась со старинною жесткою и неудобной мебелью, но драпировка на окнах, большая бронзовая лампа на овальном столе и две-три козетки совершенно нарушали гармонию в убранстве комнаты. Точно так же и в столовой вновь сделанный камин, перед которым стоял легонький и подвижной диванчик, составлял резкий контраст с тяжеловесными неподвижными буфетами.

Когда Рыбинский со своими гостями подъехал к дому, двое лакеев и третий мальчишка-казачок стремительно выбежали встречать барина со свечами в руках. Вслед за ними сбежали с лестницы три огромные страшные собаки и, радостно помахивая хвостами, положили передние лапы на грудь барина.

– Ах, Сбогарушка, Бужор, Фани, ах, Фанька!

Ну, ну, здравствуйте, здравствуйте! – приветствовал их Рыбинский. – Ну, ну, пустите же! Поидемте в комнаты...

Собаки весело запрыгали впереди господина.

Взойдя на лестницу, Рыбинский остановился на широкой площадке перед дверью в прихожую и оглянулся назад.

– Где же наш гость дорогой? Остатка, где же ты? – спросил он.

– Здесь-с, иду! – отвечал Никеша, следовавший сзади всех других гостей.

– Ну, входи, братец, скорее!

И, как только Никеша вслед за другими ступил на площадку, Рыбинский указал на него одной из собак.

– Сбогар, chareau bas![13] – проговорил он.

И собака со страшным, грозным лаем бросилась на Осташкова. Никеша испугался, пронзительно вскрикнул, хотел бежать, остутился и полетел вниз по лестнице. Послушный Сбогар с тем же лаем его преследовал, но осторожно снял с него шапку и принес ее во рту к ногам Рыбинского. Наверху лестницы все зрители забавной сцены хохотали, между

тем как испуганный, избитый и оглушенный падением Никеша лежал внизу и жалобно стонал.

– Что, Осташа, жив ли? – спросил его Рыбинский. – Все ли цело?

Никеша не отвечал, продолжая стонать.

– Не выломал ли ноги или руки? – заметил Комков.

– Нет, ведь лестница не крута! – возразил хозяин. – Просто он думает, что уж его съел Сбогар и что его на свете нет.

– Велите Сбогару втащить его сюда! – советовал Тарханов.

– Осташков, вставай, а не то собаки бросятся и разорвут тебя. Слышишь ли: вставай, говорят.

Но Никеша не смел пошевелиться от страха.

– Поднимите его и поставте на ноги! – приказал Рыбинский лакеям.

Когда Никешу подняли, он был бледен и дрожал от страха.

– Всего бьет-с, как в лихорадке! – заметил один из лакеев со смехом.

– Экой трус!

– А еще знаменитых предков потомок! – говорил Неводов.

– Арапником бы хорошенько: весь бы страх как рукой сняло! – прибавил Тарханов.

– Ну перестань же бояться, дуралей: неужели я в самом деле затравить тебя хотел. Смотри-ка: у меня собаки-то умнее тебя: ну, Сбогар, va, rend lui le chapeau![14]

Сбогар поднял шапку и понес назад к Осташкову. Тот, при виде приближающегося врага, опять закричал не своим голосом и спрятался за лакеев.

Вверху снова раздался хохот.

– А, какова дрессировка, господа? – говорил Рыбинский. – Ну, Сбогар, брось его, дурака, venez – ici...[15]. О-ох, умник, умник! Ну, милости просим, господа... не бойся же ты, полно, никто тебя не тронет.

И он вошел в прихожую в сопровождении гостей. Слуги, оставя Никешу, побежали вслед за господами снимать шубы.

– Батюшки, погодите! Заедят! – упрашивал Никеша жалобным голосом, торопясь за лакеями и боясь остаться один.

В прихожей на столе лежали засаленные

истасканные карты, которыми от нечего делать забавлялась без барина прислуга Рыбинского.

– Вот, подлецы, только и дела, что в карты дуются! – сказал он. – А что Тальма?

– Все в одном положении, – отвечал один из лакеев.

– Нет лучше?

– Точно как будто лучше, а плох!

– То-то плох: ты смотри у меня. В карты дуешься, а об нем, чай, забыл.

– Как можно забыть-с: каждую минуту около него.

– Серных ванн, чай, не делал без меня?

– Как можно не делать! И ванны делали, и мушку поставили. Извольте сами посмотреть...

– Да, разумеется, посмотрю... Ах, господа, какая жалость: чудный щенок у меня зачумел. И, кажется, не перенесет... Просто не могу видеть без слез... Ну, господа, милости прошу без церемонии: по обыкновению, как дома. Приказывайте кому чего угодно: вина, водки, чаю – распорядитесь, пожалуйста, сами. А я схожу на минутку. Ну, Яков, пойдём к

Тальме.

Рыбинский в сопровождении Якова вошел в кабинет. Эта комната при прежнем владельце была самою любимою и обитаемою, а последние три года жизни он почти не выходил из нее и в ней умер. За то Рыбинский ненавидел кабинет, и со смерти родственника, передавшего ему свое имение, сделавшего его из нищего богачом, он почти никогда не входил в него. Этот кабинет напоминал Рыбинскому самую тяжелую, самую мучительную пору его жизни. Прежний владелец был старый больной холостяк, брюзга и ко всему этому ханжа и мистик. Последние годы жизни он лежал разбитый параличом в этом самом кабинете. Рыбинский, успевший разжалобить старика вымышленным рассказом о разных претерпенных им в жизни невзгодах, надеявшийся получить от него богатое наследство, целых три года должен был носить на себе маску, прикидываться несчастным, нравственным, религиозным человеком. Долгих три года в этом самом кабинете томился он около постели больного, ожидая его смерти, был при нем бессменной сиделкой, дышал

тяжелым воздухом душной комнаты больного, читал вслух мистические книги, которыми были полны шкапы этого кабинета, выстаивал длинные всеобщные, которые часто служились по желанию больного, слушавшего их, сидя в покойных креслах, клал напоказ земные поклоны перед образами, которыми были увешаны стены кабинета и ко всему этому – что всего ужаснее – переносил муки неизвестности, потому что недоверчивый, скупой и подозрительный старик только за неделю до смерти написал завещание в пользу Рыбинского. Роковой час пробил, старика не стало, труп был вынесен, кабинет освобожден от всего ценного, дорогого и заперт с своими шкапами, книгами, креслами, в которых дремал больной, с кушеткой, на которой он умер, с иконами, пред которыми молился.. Теперь эта комната была помещением для другого больного, более дорогого сердцу Рыбинского, – для его собаки.

– Отчего же здесь огня нет, – говорил он входя, – какая скотина!.. Больная собака лежит, а огня нет: чутье тупое, зрение слабое, она воды не найдет в потемках либо упадет,

наткнется на что-нибудь.

Собака лежала на той самой кушетке, на которой умер благодетель Рыбинского. Он подошел к ней. Тальма полураскрыл загноившиеся глаза и сделал слабое движение хвостом.

– Милый Тальмушка... Посмотри, Яков, ведь он узнал меня.

– Узнал-с... – отвечал Яков жалобным голосом.

– Ах ты сокровище мое, дорогой мой!.. Нет, нос горяч, глаза гноятся и мутны... А что, задом слаб?

– Очень слаб: стоять не может, так из стороны в сторону его и кидает.

– Ну а эти припадки были: кружится или нет?

– Были, только много легче и пены бьет меньше... Этим-то лучше.

– Дай Бог. Да как, братец, ты здесь серой-то навонял: тяжелой какой воздух, точно при покойном дядюшке... Хоть бы форточку открыл.

– Открыть-то бы можно, да как бы не простудить хуже...

– И то дело... Тальмушка!.. Милый... Неужели он издохнет?

– А Бог милостив: может, и оживет.

– А как похудел-то?

– Пищи-то ничего нет, сударь... Ничего не принимает.

– Эка жалость!.. Ну, Яков, коли выздоровеет Тальма, – пятьдесят рублей тебе дам, а издохнет – ну, смотри, на меня не пеняй... Сам жизни не рад будешь.

– Да, кажется, уж старания моего, так право, ровно за родным сыном хожу... Ото всей души стараюсь.

– Стараетесь вы, анафемы!.. Знаю я вас: в карты играет, а огня нет у больной собаки. Зажги лампу, да покрой его потеплее... Нет, не перенесет, кажется...

Последние слова Рыбинский произнес с искренним огорчением, махнул рукой и вышел из кабинета.

Яков злобно и презрительно посмотрел вслед ему, потом с досадой бросил на собаку теплое одеяло.

– Хоть бы комнату-то другую выбрал... комната-то покойником пахнет... – проговорил

он про себя и, не договоривши мысли, боязливо оглянулся вокруг.

Рыбинский из кабинета прошел в одну из отдаленных внутренних комнат. В ней было несколько красивых горничных девушек. Все они, при входе барина, бросились к нему с выражением радости.

– Ну, ну, пожалуйста, без восторгов! – сказал он, садясь. – Я сегодня расстроен... Тальма ужасно плох... Параша, поди сюда...

Последние слова относились к черноглазой, беленькой, румяной, свежей девочке лет семнадцати, с лукавым и несколько наглым взглядом. Она подошла.

– Слушай: ты должна сегодня плясать по-цыгански, и плясать так, чтобы я остался доволен. Ко мне приехали гости, я нахвастал тобой, смотри же, не ударь лицом в грязь... Если удивишь всех, на платье подарю, а то, смотри, рассержусь... Слышишь?

– Слышу-с!.. – отвечала Параша, бойко и прямо смотря в глаза барину. – Уж коли нахвастали, так покажу себя...

– Молодец-девка... Поцелуй меня...

Параша страстно обвила руками шею ба-

рина и прильнула к его лицу своими розовыми губами, не переставая смотреть ему в глаза.

– Огонь, шельма... – проговорил Рыбинский, улыбаясь. – Поди же оденься... Да послушай: тут у меня есть один дворянинишко: его сейчас ты узнаешь, такой из-рыжа, харя глупая и одет скверно... Вскружи ты ему голову, пожалуйста...

– Да ведь гадкой!.. – проговорила Параша, делая гримасу.

– Ах ты, мерзавка, да разве я для того... – сказал Рыбинский, невольно улыбаясь смелой девочке. – Поди-ка сюда: я тебе уши наде-ру...

– Извольте-с, – отвечала Параша с гримасой и снова бросилась на колени к барину и снова прильнула к нему в страстном поцелуе.

– Плут ты будешь, Параша... Я тебя взаперти буду держать.

– Коли вместе с тобой, так ничего, еще тем лучше.

Рыбинский весело засмеялся.

– Нет, одну, да на хлебе и на воде...

– Покорнейше вас благодарю: извините-с,

не согласна, я уж к чаю привыкла да к сливочкам.

– Ну, поди же, поди: мне некогда, гости дожидаются... Слышишь: мне хочется, чтобы ты этого недоросля раздрадила хорошенько, чтобы он стал за тобой ухаживать, а тут делай с ним что хочешь, хоть прибежь... Понимаешь?...

– Давно все поняли-с... Это наше дело-с: для вас все можно...

И вздрагивая плечами по-цыгански, выбивая ногами дробь, Параша вылетела из комнаты.

– Ах, ракалия... Погоди, поди сюда! – говорил Рыбинский, смотря вслед ей загоревшимися глазами.

– Извините, некогда: гости ждут... – отвечала Параша из-за двери и убежала.

– Я тебе дам! – говорил Рыбинский, с улыбкой грозя ей.

– Ну а ты, Палагея, – прибавил он, уходя и обращаясь к самой старшей из девушек, – скажи, чтобы весь табор приходил в залу и сами оденьтесь и выходите... Да петь хорошенько! Слышите!..

И он вышел.

– Эту Парашку просто извести надо, – проговорила одна из девушек, высокая, смуглая, с зелеными глазами и тонкими губами, некогда красавица, теперь увядающая.

– И есть извести бы надо, – примолвила другая, полная, круглолицая. – Мы, смотри-ка, все обносились, а ей одной только и дело: то платье, то платок...

– Погоди же она у меня! – сказала первая, и черные густые брови ее слились в одну прямую линию, глаза сверкнули, и тонкие губы крепко сжались.

– Извините, господа! – говорил Рыбинский, возвращаясь к гостям. – Ходил распорядиться, сейчас явится хор и мой доморощенный балет. Вот что значит страсть, господа: нарочно держу на свой счет целый табар цыган, чтобы только учили моих дураков и дур петь и плясать... Ну что, Осташков, отдохнул ли от страха?...

– Что, Павел Петрович, – отвечал Тарханов, – он у нас от рук отбивается: говорит, что поясницу отшиб и вина не хочет пить...

– Э, Осташа, как же это можно, моим госте-

приимством брезгуешь? Нет, братец, выпей.

– Уж я пил-с: больше душа не принимает...

– И, заметьте, Рыбинский: какой он странной организации: душой пьет, а не телом! – острился Неводов.

– Да мне, братец, чем хочешь пей, а только пей... Вот смотри: сначала я выпью, а потом изволь ты, а в противном случае науськаю на тебя всех трех собак... Видишь, какие звери лежат, с костями проглотят... Не угодно ли? – Рыбинский подал Осташкову стакан с вином...

– Право-с, охмелею, чего бы не сделать, дуриости какой...

– Сбогар!.. Видишь... Значит, без возражений!

Осташков выпил целый стакан хереса.

– Ну, спасибо, больше сегодня не заставлю, если сам не станешь просить...

– Вот я тетеньке скажу, непременно скажу! – говорил Неводов, грозя Осташкову.

– Не моя воля... И рад бы не пить, да приказываете, так должен слушаться...

– Вот это умно! – заметил Тарханов. – Всегда так говори: и будет тебе хорошо...

– И не будешь оставлен! – прибавил Неводов.

– А что, Осташков, умеешь ты песни петь?

– Да ведь какие у нас песни: наши песни мужицкие!.. – отвечал хмелеющий Никеша.

– Ну, ничего: что же за беда, что мужицкие. Спой, брат, пока не собрались мои цыгане.

– Извольте, только не забраните.

– Ничего, ничего... Пой!..

– Уж как умею... А я, бывало, в хороводах заводил песни.

– Ну, ну!..

Никеша откашлялся, подпер рукою голову и громко, крикливо, раздались под потолком залы переливы тоскливой, но любящей простор русской песни. Пой эту песню мужик и пой он ее на открытом воздухе, никто бы из этих господ не стал смеяться или по крайней мере никто не обратил бы внимания, но Никеша уже волей-неволей становился шутком – и общий хохот приветствовал его пение.

– А ты громче! – кричал Тарханов.

И Никеша, зная по опыту, что господский смех приносит пользу, нарочно усиливал голос и уже начал совсем кричать к общему

удовольствию.

– Ну, будет, будет, брат, спасибо: в ушах звенит! – остановил его Рыбинский.

– Какими вас Бог талантами наградил! – сказал Неводов.

– А плясать умеешь? – спросил Тарханов.

– Ничего, можно и поплясать! – отвечал Никеша. – Что за важность?...

– Ну, погоди, вот цыгане идут. Ужо и тебя заставим. Да где же Комков?

– Я здесь, брат! – отвечал тот с дивана.

– Уж ты и лежишь?

– Лежу, брат.

– Ну, просим вставать: собираются мои. Посмотри на Парашу. Ну, Осташков, что-то теперь твоя жена подделывает? А она потеряет твое верное сердце.

В залу вошло несколько человек цыган и цыганок, а вслед за ними горничные девушки Рыбинского.

– Ну что, черномазые, все ли вы тут? – спросил последний, подходя к толпе.

– А-а все тут, барын, все здесь... – отвечал цыган с торбаном в руках.

– Ну, ты смотри у меня, Петр, сегодня отли-

чись... Понимаешь, чтобы кровь ключом у всех забила, чтобы дух захватывало... Слышишь...

– А знаю, барын, знаю... господ потешим... Потешим господ; вот как потешим... – отвечал торбанист.

– Дивно пляшет, как расходится, анафема, – заметил Рыбинский. – А вот вы уже, господа, обратите тоже внимание на эту старую хрычовку, – продолжал он, подходя к одной цыганке, почти старухе, и кладя ей руку на плечо: – Ведь, я думаю, лет пятьдесят ведьме, а начнет плясать, да войдет в азарт... так право, поцеловать хочется... готов забыть, что на сушеный гриб похожа...

– Ах, шутник, барин... счастливый, хороший барин.

– Она у меня учит Парашу... Что, хорошо ли пляшет Параша-то, скажи-ка господам...

– Ах, хорошо, барин... как хорошо!.. А еще поучу... будет так плясать барину... Будет барин девкой доволен... Слуга будет девка...

– Да что же она долго не идет?

– Не знаем, что она долго проклажается... – отвечала смуглая, зеленоглазая горничная. –

Мы уж давно готовы, а она все парадится...

– А дай, барин, девке принарядиться, – говорила старая цыганка... – Девка любит наряжаться... Девка знает, как себя надо показать, чтобы любо было на девку смотреть... А пускай ее, барин, похорошится... а мы покаместь бы господ позабавили: песенку спели...

– Ну и то дело... Начинайте... А ты, Алена, попляши с Петром.

– Ге, становись... – закричал торбанист. – Какую, барин?

– Какую хочешь, только веселую... Живо...

Цыгане вполголоса перекинулись несколькими словами, потом Петр вышел вперед, окинул всех быстрым взглядом своих черных глаз, приподнял в руках торбан, махнул им и затянул какую-то русскую песню, исковерканную, переделанную на цыганский лад. Голос запевалы был подхвачен другими: дикие, оглушительные, визгливые звуки полетели стремительным потоком, затопали ноги, задергались плечи. Фальшивым искусственным огнем восторга загорелись глаза цыган. Алена и Петр вышли на середину залы, встали друг против друга и закружились в неистовой

пляске. Старуха в самом деле как будто вдруг помолодела: подпершись руками в бока или поднимая их вверх, она взвизгивала, вздрагивала всем телом, трепетала как в лихорадке, выбивала ногами дробь и вихрем кружилась по зале.

– Bravo, bravo... Живо, Алена, живо!.. – кричал воодушевившийся Рыбинский. – Ах, анафема... Что, если бы была помоложе и получше рожей... Господа, хотите вина?... Эй, вина!.. Осташков, пей... Пей, приказывают...

Вдруг в самом разгаре песни и пляски в залу вошла Параша. Она одета была в особенный оригинальный костюм, придуманный для нее самим Рыбинским и почему-то названный им цыганским. Длинные черные волосы ее были заплетены в несколько кос и распущены по спине; пунцовый веноч сдерживал волосы на лбу. Яркий красный платок, распущенный во всю свою длину, был надет на одно плечо и подвязан под другим. Плечи и руки была совершенно обнажены.

– Вот она, вот она! – закричал Рыбинский, увидя Парашу. – Bravo, Алена, bravo! Довольно... Пусти, Параша станет вместо тебя... Эй

вы, веселее... Ну, Параша, отличись. А, какова прелесть, господа... Осташков, какова эта штучка, а?... Не уступать же Алене... Слышишь...

Параша медленно, как бы нехотя вышла на середину залы, остановилась, обвела своими бойкими глазами всех присутствующих, лениво потянулась, как бы расправляя уставшие члены, и вдруг вскрикнула, быстро приподняла руки, откинувши на спину платок, и задрожала, как бы пораженная электрическим ударом. Потом, как бы увлекаемая вихрем, она начала кружиться по комнате, по временам сотрясаясь всем телом, глаза ее метали искры, вся она казалась одержимую неистовой, бешеной страстью, всякое движение выражало и возбуждало сладострастие. Молодость и красота довершала впечатление. Пьяные гости сошли с ума от восторга: начали подкрикивать, подпевать цыганам, топали ногами, даже Комков сидел непокойно, как на иголках. Осташков пел во все горло и подплясывал, сидя на месте.

- Что, Осташков? – спросил его Рыбинский.
- Что? Будь тысяча рублей – не пожалел

бы – сейчас купил... – отвечал пьяный Никеша.

В это время Параша подлетела к Осташкову с таким движением, как будто хотела обнять его, он протянул было руки, но она ускользнула и с самыми сладострастными жестами отступала перед ним, выбивая ногами дробь по-цыгански.

– Ну, девка, уж купил бы я тебя... – говорил Никеша, пожирая глазами плясунью...

– А жена-то? – сказал Рыбинский.

– А тетенька-то высечет... – прибавил Неволов.

– Вот!.. – отвечал Никеша с презрением, не сводя глаз с Параша, которая кружилась перед ним, изредка дотрагиваясь до него руками и каждый раз ускользая от его объятий.

Никеша наконец был взволнован и раздражен до последней степени: бросился и схватил в охапку Парашу, намереваясь поцеловать ее. Параша быстро взглянула на Рыбинского, тот дал знак – и громозвучная пощечина раздалась по зале, резко прозвучав среди веселого пения, как фальшивая нота. Общий хохот заглушил и остановил пение; Осташков

пошел на свое место, опустил голову и отирая ладонью горячую щеку. Параша спряталась в толпе.

– Что, брат Осташков? Каково? Поделом... На чужой каравай рот не разевай...

– А я еще тетеньке скажу, мусье Осташков: в какой вы впадаете разврат... – поддразнивал Неводов.

– Нет, какова девка-то, господа? А?...

– Чудо!

– Огонь, страсть, юг!..

– А ведь русачок чистый? – спросил Тарханов.

– Чистейший!.. Скотникова дочь!.. – отвечал Рыбинский. – Ну, полно обтираться, Осташков: ведь, я думаю, не больно: не мужицкая рука... Ничего, заживет... Эй, дайте ему вина...

– Да ведь ему не больно; только, я полагаю, для дворянской его чести обидно... Сами рассудите: потомок таких знаменитых предков!.. – говорил Неводов. – Обидно, Осташков?

– Прискорбно!.. – отвечал Никеша, трясая головой.

– Э, братец, ведь это женская рука: ниче-

го... А тебе, кажется, очень досадно, что не удалось поцеловать ее. Ну я тебя сейчас утешу... Эй, Алена, поди сюда, поцелуй барина...

– А изволь, барин, с радостью... Поцелуемся... – отвечала цыганка и протянула руки к Никеше...

– Пошла ты, старый черт, стану я с тобой целоваться... – говорил совершенно пьяный уже Осташков... – Мне бы вон ту поймать, так я бы знал, что с ней делать...

– Э, господа, да он молодец! Надо его наградить за храбрость... Эй вы, девки: Пелагея, Наталья, Федора, Глафира... Подите целуйте Осташкова...

Покорные приказанию своего барина девушки подошли к Осташкову, смеясь и подталкивая друг друга.

– Не надо, не желаю! – говорил Никеша, махая руками и тряся головой.

– Вот еще какой!.. Ломается... Девки, возьмите его: целуйте! – сказал Рыбинский, могучей рукой приподнял его и бросил в толпу девок.

Почувствовав прикосновение женщин, Никеша, сам, как голодный волк на овец, бро-

сился на них. Поднялся визг, писк, хохот... Отбиваясь от ласк Никеша и увлекшись общим удовольствием, девки начали толкать, тормозить, бить бедного Осташкова, и кончилось дело тем, что новый фрак его – подарок Неводова, остался без фалд и лацканов. Услыша треск раздираемого платья, Никеша пришел в совершенное неистовство и начал действовать кулаками. Рыбинский приказал лакеям взять его и положить спать – и Никешу увели, несмотря на сопротивление. Песни и пляска возобновились и продолжались почти до самого рассвета. Параша часто являлась на сцену, каждый раз производя сильный эффект. Бешеная оргия кончилась тем, что Комков и Топорков уснули, сидя на месте, а хозяин и прочие гости были под руки отведены к своим постелям. Цыгане и прислуга допивали после господ вино, оставшееся в бутылках, и пьяные растянулись на полу в зале и прихожей.

VIII

На другой день Никеша проснулся рано утром: голова у него трещала, на сердце было тяжело, точно камень лежал на нем, дрожь пробегала по телу. Долго не мог он прийти в себя и понять, что с ним случилось накануне. Тупыми, красными глазами осматривался он вокруг себя и увидел, что лежит на полуизломанном диване в какой-то пустой, холодной и сырой комнате, куда он был отведен вчера лакеями пьяный. Слуги в господских домах всегда питают какую-то беспричинную, инстинктивную ненависть ко всем бедным, малоуважаемым гостям своего барина; всякий, кто позволяет барину посмеяться, пошутить на свой счет, подвергается злобному гонению слуги. Под влиянием этого чувства лакеи Рыбинского отвели вчера бедного и пьяного Никешу в пустую, нежилую и вследствие этого нетопленную комнату и нераздетого бросили на диван, без подушки и одеяла.

Смутно припоминая вчерашний день, Осташков взглянул на свой арак, в котором

спал, и кровью облилось его сердце: чуть не плакал он, смотря на лоскутки, которые висели на нем вместо нарядного платья. Вдруг, должно быть, что-нибудь страшное пришло ему в голову: лицо его изобразило испуг, он вздрогнул всем телом и торопливо опустил руку в боковой карман растерзанного арака: страшное предчувствие не обмануло бедняка: в кармане не было денег, которые надавали ему господа у Неводова. Искренняя тяжелая тоска изобразилась на лице, в глазах, во всей особе Никеша; он даже вскрикнул от отчаяния. Грозный, сердитый лай собак глухо раздался по безмолвному спящему дому в ответ на этот вопль отчаяния. Никеша вспомнил о страшном Сбогаре и притаил дыхание, не смел пошевелиться, прилег на диван и старался опять заснуть, чтобы забыться от тоски и страха, но напрасно: его мучила жажда, било, как в лихорадке, от холода, и сердце давило тоскою, точно у него на совести лежало какое-нибудь страшное преступление. В доме все безмолвствовало, и напрасно Никеша прислушивался: не пройдет ли кто мимо дверей его комнаты; все отдыхали сладким сном

после вчерашнего пиршества, бодрствовал и страдал только он один – герой и жертва минувшего пира. Два часа провел Никеша в самом мучительном положении. Но вот уже совсем рассвело, пробило девять часов: в доме слышались чьи-то шаги, до ушей страдальца начали долетать отрывочные фразы сердитых, хриплых голосов, кто-то тяжелыми шагами прошел мимо самых дверей его темницы и через несколько секунд где-то неподалеку с шумом бросил на пол охапку дров. Никеша осмелился, подошел к дверям и приотворил их, ожидая, не пройдет ли кто-нибудь. Через минуту слышались те же тяжелые шаги, и Никеша увидел мужика в полушубке с веревкою в руках.

– Почтенный, нельзя ли бы как тулупчишко мой достать? – робко спросил Никеша.

– Чего?

– Тулуп бы, мол, мой нельзя ли принести.

– Тулуп?

– Да...

– Да где же он у тебя?

– Там, в лакейской-то прихожей.

– Да ты кто такой? – спросил мужик, с лю-

бопытством осматривая измятый и изорванный наряд Никеша.

– Я-то кто?... Я... барин...

– Барин!.. Врешь!..

– Право, ей-богу, барин!..

– Нет, баре-то у нас не спят в холодных горницах, мы здесь и печь-то через сутки топим...

– Право, барин, ей-богу, друг, барин... только что я захмелел вчера, так уж не знаю, как и попал сюда... Смерть иззяб здесь: хоть бы погрелся в тулупе-то...

– Барин, – недоверчиво и с усмешкой проговорил мужик. – Так коли вы барин, так кликните: лакейства-то там много – подадут... Они к тому приставлены, а нам нету ходу в те покои...

И мужик пошел прочь, повторяя с усмешкой: «Барин!.. хват какой!.. барин!..»

– Эй, любезный, послушай! Пожалуйста, послушай! – жалобно звал его Никеша.

– Ну что еще надо? – спросил грубо мужик, приостанавливаясь и оглядываясь на Никешу через плечо.

– Я бы и сам пошел туда, да собак ваших

боюсь...

– Ничего, поди, собаки не тронут.

– Да где идти-то я не знаю: хоть укажи...

– Где идти?... Барин, а в покои дороги не знаешь... Хм... Проказник ты... Барин!.. Отстань-ка, мне не коли с тобой калякать-то: печи топить надо...

И надежда Никеша скрылась вместе с полушубком, веревкой и тяжелыми сапогами.

«Господи, да неужто уж мне так здесь смерть получить? Ведь это смерть, чистая смерть! – думал Никеша. – Ведь не съедят же меня и сам-деле собаки середь белого дня. Все равно здесь замерзнешь же, от холода издохнешь».

Рассудивши таким образом, он наконец собрался с духом и решился выйти из своей засады. Дверь выходила в длинный темный коридор. Робко пройдя его, Никеша вошел в большую комнату, где стоял бильярд. В бильярдной было две двери: за одной из них слышались голоса: Никеша отворил ее и к великой своей радости увидел лакейскую, где должен был находиться его тулуп. Двое лакеев, проснувшись, лежали еще в растяжку один

на полу, другой на столе и, потягиваясь, разговаривали между собою. Третий сидел на ларе, опустив голову на руки...

– Ах, щипаный гусь, ты уже встал! – сказал один из лакеев, увидя Никешу.

– Смотри-ка, как девки-то его исполосовали, – заметил другой. – Из фрака-то что сделали... Хи! Хи!

– Где, господа, мой тулуп?

– На что тебе его? – спросил тот, который лежал на полу.

– Надеть хочу: очень уж озяб...

– А... немецкая горячка прохватила... Да где он? Посмотри: тут где-нибудь...

– Вот лежит... – сказал сидевший на ларе... – Я озяб ночью, так брал обыгаться... [16] Возьми вот его...

Никеша молча взял и поспешил надеть...

– Да узелок еще был со мной: сюртук тут у меня...

– Ну вот погоди... Где тут его найдешь: вишь сколько господской одежды... Кто за тобой станет прибирать... Возил бы коли свою прислугу...

– Да у него, парень, одна своя душа: вся и

прислуга тут... Мне неводовский Ванюха ска-
зывал... Правда ли, барин...

– Что делать-то, господа... бедность одоле-
ла... кабы не бедность, и у меня бы свое ла-
кейство было...

– Купи меня, барин, у господина-то: он, мо-
жет, продаст... А я бы тебе вот как служил...
каждый бы день вместе пьяны напивались...
Такой бы у нас с тобой был совет да любовь...
А? Право, покупай меня, барин...

– Нет, братцы, где уж мне людей поку-
пать... хоть самого-то бы себя с семьей про-
кормить и то впору... Вот не видал ли кто, не
в домек ли: я вчера деньги... обронил, надо
быть... али как... уж не знаю...

– Какие, чай, у тебя деньги: два двугривен-
ных, что ли?

– Нет, синенькая бумажка да два целко-
вых...

– Так где же они у тебя?...

– Да не знаю: как-нибудь выронил, что ли,
либо как...

– Поди, чай, цыгане вчера вытащили, как
таскали-то его... – сказал сидевший на ларе. –
Смотри: ты на нас не всклепли...

– Что мне на вас... Я не видал, не помню... только спрашиваю: невдомек ли кому...

– То-то смотри... а то в другой раз пьяный напьешься, – еще не туда посадим... Ах ты, смерть моя, головушка треснуть хочет!..

– Да, парень, опохмелиться бы надо...

– Разве сходить: попросить у Прокофьевны?...

– Не даст...

– Вот не даст... даст!

– Пра, не даст...

– Да что не дать-то?... Что у нас, считанное, что ли?... Кто ее учтет: вышло да и все тут...

– А поди, попробуй попроси... Ни за что не выпросишь...

– Барин, хошь опохмелиться?...

– Нету, не желаю...

– А что? Ведь, чай, болит голова-то?

– Болит, да нет, не желаю...

– Что не желаю: выпьешь, сейчас и голова заживет и на сердце легче станет... Ну, попроси, барин, мы тебе послужим за это...

– Да что вам во мне-то, господа: вы, пожалуй, пейте, а мне не требуется...

– Да ты, пожалуй, не пей, только вина-то

потребуй, а мы за твое здоровье выпьем... Видишь: у нас экономка скупая: коли для себя нам просить, ничего не даст... А от барина нам приказ такой дан, чтобы чего бы гость не потребовал, сейчас подавать... Ну а ты все едино, что гость... Слышь, барин, уважь же нас: мы на тебя потребуем, а ты, пожалуй, не пей... Ты нас уважишь, и мы тебе послужим, уж в холодную-то не положим.

– Смотрите, ребята, не остаться бы мне в каком стыду перед господином-то: я этого не желаю...

– Эх, отстань-ка, ничего!.. Что за беда, что водки спросишь... У нас гость чего хочет спрашивай, хоть птичьего молока... у нас барин еще это любит, как гости сами распоряжаются... Я пойду сейчас промыслю... Врет же Прокофьевна, даст водки... Еще закуски, ребята, вытребую...

– Ступай, ступай, проворней! – понукал другой лакей, поднимаясь с полу и подтягивая штаны, в которых спал не раздеваясь после вечерней попойки. – А ты, барин, не равно придет сама Прокофьевна спрашивать тебя: держи свою фантазию, что, мол, желаю

водки опохмелить себя, да и шабаш... Это она должна исполнить, потому у нас от барина такое приказание дано. Ведь у нас барин добрый на счет этого, самый бесхитростный барин, да она больно скупа, дьявол: гнилого яйца не выпросишь... Лучше под угор вывалит, а человеку не даст; такой аспид-алкатель!.. Ты поди, барин, покудова посиди в зале: ровно гость и будешь, а то здесь тебе нейдет... Где у меня Гришка?... Балует, чай, подлец, а сапоги у господ не чищены... Битва с этими ребятишками... Вихорь надо надрать анафеме.

– Вихорь надрать!.. Ты бы вздул его хорошенько либо зубы выколотил: вот бы он и помнил свое дело!.. – отозвался лакей, сидевший на ларе с опущенной на руки головою, которую он не приподнимал. – Экое похмелье окаянное: всю голову разломило! Поди же, барин, отселе...

– Вот бы мне только узелок-от... Я бы сюртук надел, а фрак – от больно изорвали...

– Поищи тут, Михайло, где он засунулся.

– погоди, барин, сейчас найду, а водки нам предоставишь – и фрак зачиню твой... Изволь: удружу.

Скоро узелок Никеша был найден и лохмотья фрака заменены сюртуком. Никеша чуть не заплакал, снимая лоскутки своей одежды и увидя, что фрак был разорван сзади почти пополам.

– Э, барин, да у тебе две одежды вышло вместо одной... Что девки-то сработали! – говорил Михайло, посмеиваясь и переворачивая фрак то на ту, то на другую сторону. – Ну да ничего. Говорят, заштопаю, коли выхлопочешь нам водки!

Никеша грустный вышел в бильярдную.

Маневр лакеев отлично удался: ключница без дальнейшей поверки исполнила требование и отпустила графин водки и закусок. Яков, собачий староста, как его на смех прозвала дворня за то, что на него возложена была обязанность ухаживать за господскими собаками, с торжествующим видом внес в бильярдную поднос с графином, икрой и колбасой.

Поставивши все это на стол, он, не стесняясь присутствием Никеша, проворно выпил две рюмки одну за другою и потом пошел звать товарищей. Те немедленно вошли.

– Надо, чтобы барин выпил хоть рюмку! – заметил смышленный Михайло. – Выпей, барин, право, выпей; и голова заживет, и согреешься, и на сердце делается веселее, а то смотри-ка какой ходишь: точно тебя всего изломало... Наш барин этаких гостей не любит, он любит, чтобы у него весело смотрели... Право, выпей!..

«А что и сам-деле, отчего не выпить? – подумал Никеша. – Может и легче будет». И он выпил: ему понравилось, предложили выпить другую – не отказался, сытно закусил и повеселел совершенно. Он не отказался бы, может быть, и от третьей, но водки уже не было: попеременно сторожа у дверей, чтобы не вошел кто лишний, лакеи, живо опустошили графин, поели закуски и вышли как ни в чем не бывало. Никеша был пьян и весел, забыл о потере денег, об изорванном фраке, оставил намерение проситься у Рыбинского домой – и смело, свободно похаживал по бильярдной, ухмыляясь лакеям, проходившим мимо и весело подмигивавшим ему на опустошенный графин. Часа через два после этого проснулся Рыбинский, поднялись прочие

гости, Никеша был позван к ним, ему подали горячего чаю с мягкими булками, с вкусными сухарями – и Никеша блаженствовал, забывши совершенно о доме и ожидавшей его работе. Рыбинский упросил своих гостей остаться еще на день, а Никеша даже и не заикнулся о том, что ему пора бы домой. Он был окончательно успокоен и утешен за будущее, когда Рыбинский приказал дать ему из своего гардероба целую пару платья взамен изорванного фрака. Никеше было приказано немедленно нарядиться в новое платье и в нем оставаться. Сюртук Рыбинского, надетый на Никешу, был так длинен ему, что полы почти таскались по земле; каждое движение Никеша в этом новом костюме возбуждало общий смех, но он уже не боялся и не стеснялся от этого смеха, а напротив, старался даже поддерживать его. Одним словом, учился быть шутком.

После утреннего чаю тотчас же началась карточная игра и продолжалась до вечера. В продолжение ее Никеша был забыт, но он старался напоминать о себе разными услугами, привыкая к новой роли: служить на посылках, к чему оказывался очень способным к

удовольствию лакеев, которых он своим присутствием при господах избавлял от необходимости торчать у притолоки в ожидании господских приказаний. Никеше нескучно было сидеть около карточного стола, потому что он видел себя в господской компании, а в другой комнате стояла сытная закуска, к которой сначала робко и редко, а потом смелее и чаще он наведывался, видя, что на это никто не обращает внимания.

Вечером опять явились на сцену цыгане и Параша. Началось пение и пляска, в которой по общему требованию и к общему удовольствию принимал участие и Никеша. День закончился такой же оргией, как и накануне. Осташков был пьян вместе с другими, но уже умел повести себя так, что не был выведен насильно, и находясь уже в дружественных отношениях с лакеями, был положен на ночь в теплой комнате и даже снабжен подушкой и одеялом. Отсюда он мог вывести для себя новое правило, что в господских домах нужно расположение не одних господ, но и лакеев и что, услуживая господам, не мешает искать приязни и покровительства у прислуги. Впо-

следствии он убедился в этом совершенно и постоянно руководствовался этим мудрым правилом.

IX

Пропирававши у Рыбинского три дня, приятели согласились ехать к Комкову вследствие убедительных просьб этого лежебока, как называли они его в шутку. Обязавши всех честным словом не изменить обещанию приехать к нему, Комков откровенно высказал необходимость отправиться домой прежде гостей.

— Ведь вы знаете, господа, какой у меня в доме порядок. Живу я сиротой, хозяйки у меня нет, присмотреть некому, самому лень: надо поехать распорядиться, чтобы было чем гостей попотчевать... Пять дней меня дома не было: я думаю, и народ-то не скоро соберу. Отпустите-ка, господа, со мной Осташкова: он малый услужливый, поможет мне в чем-нибудь.

Вследствие этого Осташков был командирован с Комковым.

Лежа около дремавшего Комкова в про-

сторных санях, на мягкой перине, Никеша весело посматривал на дорогу. Хорошо было у него на душе; нравилась ему новая открывшаяся для него жизнь в господских домах, жизнь веселая, привольная, сытная, на даровых хлебах, без заботы о завтрашнем дне. Какая разница с той однообразной, скучной, трудовой жизнью дома, где заботливая тетка не дает отдохнуть минуты лишней, вечно по-нукает, вечно находит новую работу. Здесь, в господских домах, только и заботы – как бы поесть послаще, выспаться покрепче да забаву выдумать повеселее, а там, дома, только глаза продрал, еще и не проспался хорошенько, поди на работу, гни спину, ворочайся целый день, как лошадь, а обедать сядешь, так подадут тебе щей да хлеба – и за то Бога благодарю. Здесь и работать не заставляют, и напоят и накормят даром, да еще и подарят, коли мало-мальски послужишь али посмешишь, а дома-то и в неделю того не выработаешь, что здесь одним часом получишь. Нет, дай Бог здоровья матушке-теще: показала она мне свет, что познакомила с господами! Всю она мне истинную правду говорила. Теперь толь-

ко старайся господам услуживать, будешь и сыт, и одет, и деньги заведутся, – и без работы. И то сказать: понимают, что своя кровь, что не след мне ломаться, как мужику простому, вот и хотят поддержать. А может, и самделе, чувствуют, что нашим именем пользуются, так совесть зазрит и хотят заслужить передо мной... Да нет ведь, если случай такой выйдет, что можно будет через какого человека за дело взяться, я ведь все вотчины свои с них вытребую... Конечно, я темный человек, мне до этого не дойти, а вот, Бог даст, сын подрастет, да пойдет в науку... чего еще не будет!.. А теперь буду пока служить господам да ума набираться...

Так думал и мечтал Никеша, между тем как мимо него мелькали снежные искрящиеся поля, опущенные серебристым инеем березовые рощи, зарывшиеся в снежных сугробах деревнюшки. Тихой, ровной рысцой бежали крупные кормные лошади Комкова; мерно и не звучно побрякивал колокольчик; сторбившись, опустя голову, как будто задумавшись, сидел на козлах кучер, изредка, лениво и безмолвно подергивая вожжами; барин спал

крепким сном, убаюканный покойной ездой. Как видно, никто не торопился домой: ни господин, ни кучер, ни лошади. Но наконец вдали показалась и деревня Комкова. На гладком, неоглядном, теперь белом от снега поле стояла она вместе с господской усадьбой. Не было кругом ни деревца, ни кустика, только за барским домом торчала небольшая рощица. Деревня была расположена без всякого порядка, случайно, как попало. Тут два-три дома столпились в кучу и только что не лезли один на другим, там дрянная избенка выбежала вперед всех и остановилась середь дороги, точно совестно стало, что выскочила, не знаемо зачем, вперед других, а здесь целый ряд домов повернулся задом к другим, оборотясь лицом в чистое поле и подставивши свои подслеповатые окна прямо под ветер и всякую лихую непогоду. Господская усадьба отделялась от деревни пустырем и тоже, как видно, выстроилась не по плану расчетливого и предусмотрительного хозяина, а так себе, как случилось, как Бог привел. Рядом с барским домом стояла конюшня и баня, а до кухни было добрых четверть версты; зато кладо-

вая и сушилка, из которых, в летние жаркие дни, по старинному русскому обычаю, вытаскивалась и развешивалась для просушки всякая дрянь, красовались прямо перед окнами гостиной и залы. Дом был большой, одноэтажный и низенький, как видно, давно не видавший на себе заботливой руки хозяина; крыльцо пошатнулось, у иных окон ставней совсем не было, у других оставалось по одному ставню, но и те были не подперты, а стучали по воле ветра то в оконную раму, то в стену, жалобно скрипя на заржавленных петлях; в некоторых окнах вместо стекол виднелась даже синяя сахарная бумага. В перилах на террасе половины балясин вовсе не было, да и самые перила покачнулись. Все это, бывало, заметит Комков, приезжая из гостей и случайно взглянув на дом, позовет приказчика и скажет ему:

– Что это, братец, все у нас развалилось, все покривилось, даже стекла не вставлены... Совсем ты не занимаешься делом... Исправить все...

– Слушаю-с! – ответит приказчик, да тем дело и кончится.

А Комкову скучно и говорить об этом в другой раз, особенно если присмотрится, только разве подумает: экой мошенник, ведь вот ничего не исправил, а сказал «слушаю-с!».

– Приехали!.. Извольте выходить... – сказал кучер Комкова, остановившись у крыльца и медленно слезая с козел.

– Яков Петрович!.. Приехали... Вылезайте... – повторил он, стоя около спящего барина.

– А!.. Приехали!.. Ну, вынимай... – отозвался Комков, протягивая руку, за которую кучер и начал тянуть его из саней.

Никеша поспешил выскочить и подхватил Комкова под другую руку.

– А! Вот спасибо, брат!.. Я и забыл, что ты со мной! – сказал Комков, увидя Никешу. – Ну что, ты вздремнул ли дорогой?

– Никак нет-с!

– Что же ты делал?

– А так, ничего... Все на дорогу смотрел.

– А я так, брат, славно всхрапнул, – говорил Комков, поднимаясь на крыльцо, – даже сон приснился... и как ты думаешь: Парашу видел во сне... будто бы... Этакая гадость!.. Каковы

скоты, никто и не встретит!.. Верно, ни одного человека нет в комнатах...

Он не ошибся. Никеша отворил дверь в прихожую, он же должен был снимать шубу с Комкова, потому что прихожая была пуста.

– Эй, есть ли кто там! Люди! – кричал Комков, но ответа не было. – Каков народец, Осташков! Во всем доме ни одного человека нет!

– Да уж это на что хуже... Как можно пустой дом покидать: долго ли худому человеку зайти...

– Канальи народ! Совсем избаловались... Попрошу Тарханова, чтобы всех переколотил: он мастер на это. Пойдем, братец, в кабинет: там потеплее.

Когда Комков оставался в доме один, он почти не выходил из кабинета: в нем лежал целый день, обедал, ужинал, читал и спал ночью. Это была большая комната. В ней у двух стен стояли просторные мягкие диваны: на одном из них Комков проводил день; другой диван, на котором был положен пуховик и несколько подушек, служил ночным ложем Комкова. Перед диваном стоял раскрытый

ломберный стол; несколько кресел, письменный стол с чернильницей без чернил и разбросанными беспорядочно газетами, шкаф для платья, которое, впрочем, никогда в него не вешалось, а лежало по стульям и столам, довершали убранство комнаты.

Войдя в кабинет, Комков тотчас же лег на диван.

– Дай-ка, брат, подушечку оттудова, с того дивана! – сказал он Осташкову. – Да поищи, пожалуйста, не найдешь ли там кого из этих мерзавцев. Вот, братец, и много прислуги, да никого нет... Этакие шельмы...

В эту минуту в кабинет вбежал слуга Комкова и вслед за ним другой.

– Где вы живете, скоты этакие? Барин приехал, некому встретить, дом пустой, во всем доме никого нет. Где вы были?

– Обедали-с!

– Обедали... так, я думаю, можно бы кому-нибудь остаться, не всем вдруг уходить?...

– Да позвали обедать, так мы и пошли...

– А дом пустой и оставили... Ну, вы выведите меня из терпения: уж я вас поверну... я вас всех в солдаты отдам, всех передеру, мерзав-

цы, всех на поселение сошлю... Ну, что стали?... Подите вон... Эй, погодите... Позови ко мне Марфу... А ты подай трубку... Нет, уж я вас распустил, надо за вас приняться... Погодите вы у меня...

В кабинет вошла женщина лет 45, в ситцевом платье, затасканном и засаленном, застегнутом только на два крючка, за отсутствием прочих, чрез что образовалась прореха, сквозь которую виднелась грязная рубашка. Голова ее была повязана большим шерстяным платком, концы которого обмотаны вокруг шеи и завязаны сзади. На добродушном, но бледном и худом лице смотрели большие впалые глаза как-то тускло и робко; грязные, грубые руки держала она неловко, локти врозь, точно не знала, куда их девать, и беспрестанно подергивала пальцы. Это была ключница и домоправительница Комкова, старшая женщина в доме.

– Что это, Марфа, совсем ты людей избаловала, – с упреком сказал Комков. – Как это можно: приехал я, ни одного человека нет в комнатах, встретить было не кому... На что это похоже...

– Да обедать ходили! – отвечала Марфа, перебирая пальцы.

– Да что из этого, что обедать ходили, все-таки не следует дома пустого оставлять...

– Да я в комнатах оставалась...

– Так хоть бы ты нас встретила...

– Я думала, что тамоди выбежал кто из кухни: ведь видят, что барин приехал...

– Ну вот видишь, а между тем никто не выбежал... Да и тебя не было... Я кричал, никто не отозвался...

– Нет, я точно была... да увидела, что вы приехали, так побежала кликнуть людей-то...

– Ну вот видишь: сама побежала, точно некого было послать...

– Да и то никого не было... Все разбежались...

– Видишь, ты как всех избаловала: сама должна дом сторожить, сама за людьми по кухням бегать... Ничего тебя не боятся... Зачем ты их балуешь...

– Да уж воля ваша, Яков Петрович, я уж и сама не знаю, что мне и делать: совсем народ избаловался... Ничего не слушаются... Говорю, говорю, а они не слушают и внимания не бе-

рут...

– Да кто не слушается? Ты только мне скажи...

– Да кто? Все не слушаются...

– Как это можно, чтобы все не слушались...

Оттого и не слушаются, что ты сама не умеешь распорядиться... коли кто не послушался, ты бы приказчику сказала...

– Да и то уж говорила... Наговоришься ли каждый раз?... Вот пыль в комнатах, так и ту всякий день сама сметаю: никто не хочет полов вымести...

– Ну так вот видишь: не сама ли ты виновата?... Сколько раз я тебе говорил, что ты только заставляй, а сама не делай... Ах, дура какая!

– Уж я не знаю, что мне и делать... кажется, старания моего довольно: из последних сил бьюся...

И Марфа, доставши конец платка, которым повязана была ее голова, вытерла наворачнувшиеся на глаза слезы.

– Ну, вот заплакала... да разве я тебе про то говорю, что ты не стараешься... Эх, надоела... Ну, отстань плакать... Скажи-ка лучше: есть

ли у нас какие припасы: ко мне гости сегодня приедут...

– Да какие припасы... Без вас-то я ни зачем не посылала... птица есть... яйца, правда, все вышли... Ну да это с баб сейчас можно собрать: еще не со всех получила...

Комков расхохотался.

– Вот у меня хозяйство какое: надо обедать готовить, а мы яйца по деревне собирать станем... Ах, Марфа!..

– Солонина есть! – спешила прибавить Марфа как бы в свое оправдание.

Комков хохотал.

– Да не про то я тебя спрашиваю: есть ли вина, сыр, икра, колбаса... вот из этого...

– Да этого всего есть...

– Всего есть!.. А после подашь, как, помнишь, в тот раз, такой колбасы, что топором надо рубить, либо сыра гнилого... Ведь, чай, давно куплено, давно бережешь?...

– Да не так чтобы очень давно... Вот как допрежь того покупали...

– Да много ли всего?

– Ну, немного...

– Ну, следовательно, сейчас надобно по-

слать в город... купить всякой провизии... пошли сейчас приказчика...

– Слушаю... да приказчика-то нет...

– Где же он?

– В село уехал.

– Зачем еще?

– Да дьякон звал: именинник он сегодня, а приказчик-то ему кум, так и звал...

– Ну вот еще! Пьян, я думаю... Ах ты Боже мой!.. Ну пошли там кого-нибудь...

– Так кого же прикажете?

– Ну, кого хочешь... Вот, Марфа, ведь это надобно все бы заблаговременно закупать... Вот меня не было, что бы съездить?...

– Да я подумала так, что есть всего, так что, мол, зачем деньги-то изводить даром.

– Да ведь мало, говоришь, всего...

– Ну, маленько...

– Следовательно, и надо было купить...

– Ведь не знала, Яков Петрович, что гости-то будут... Ну, и пожалелось денег-то...

– Да не жалея ты, пожалуйста, никогда... только, чтобы было все... Брось ты эту бережливость, ради Христа...

– Кто же станет беречь-то, Яков Петрович,

и то все тащат... – проговорила Марфа даже с сердцем...

– Ну, ступай... С тобой не столкнешь...

– По мне, как угодно: я, пожалуй, не стану беречь, так кто же дом-то соблюдет... На кого понадеяться-то можно?...

– Ну, ну... Поди, посылай же только поскорее...

Марфа вышла, бормоча что-то про себя. На добродушном лице ее выразалось оскорбление. Комков смеялся, смотря вслед ей.

– Ах, Марфа, смешная старуха! – проговорил он добродушно, повертываясь и укладываясь на диване попокойнее. – А дорого бы, кажется, дал за хорошую экономку! Не знаешь ли, Осташков, где хорошей экономки?

– Не знаю, батюшка... Вот бы вам тещеньку мою, только что не пойдет разве, а та уж двадцать лет при ключах ходила в барском доме. Разве прикажите поговорить: может, и пойдет?...

– Нет, братец, ведь это я так только сказал... Мне со своей Марфой не расстаться... Она только одна и бережет меня, другая на ее месте кругом бы меня обворовала... Правда,

она тиха, бестолкова, нераспорядительна, зато она никогда ни на кого с жалобами ко мне не ходит; ссор я никаких не слышу, а если бы у меня завелась какая экономка строгая да взыскательная, да стала бы с людьми ссориться, да ко мне жаловаться ходить... я бы просто с ума сошел либо из дома совсем убежал... Ну а теперь по крайней мере все тихо и меня ни в чем не беспокоят, а мне это дороже всего... Эх-ма...

– Добродетель-то ваша велика! – проговорил Никеша, стараясь подражать Прасковье Федоровне и робея при мысли: так ли и кста-ти ли он сказал эту новую для него фразу.

– Нет, брат, не добродетель, а лень велика... Мне бы только спалось да елось – вот вся моя добродетель... А заняться ничем не хочется, да и не стоит, и не для кого... Детей у меня нет... Есть, правда, ну да тем не много нужно... А вот что разве, Осташков, – промолвил Комков с улыбкою, поворачиваясь на другой бок и побряхтывая, – посватай-ка ты мне невесту...

– Знати-то у меня мало, благодетель, а будет побольше знати – не забуду я этого ваше-

го слова... Постараюсь...

– Вот, брат, постарайся: жени меня... Век буду благодарить; только чтобы мне самому не ездить высматривать невесту, а она сама бы пришла ко мне показаться...

– Слушаю! – отвечал Осташков серьезно: ему казалось, что всякое желание богатых господ удобоисполнимо... – Ну а как которая не пойдет? – спросил он, подумавши.

– Ну, на такой и не женюсь! – отвечал Комков со смехом. – А вот слушай, Осташков: у меня триста душ, даю тебе честное слово, что отдам тебе пятьдесят, если ты мне сосватаешь такую невесту... Слышишь?...

– Слышу-с...

– Только смотри, чтобы благородная была, из хорошего семейства...

– Понимаю, благодетель...

– Ей-богу, дам пятьдесят душ... Вот помни это...

– И неужели пожалуете?

– Честное тебе дворянское слово даю: только жени меня, тотчас запишу на тебя 50 душ...

«Вот бы хорошо-то, – думал Никеша с замирающим сердцем. Надо с маменькой погово-

ритель...»

– Буду стараться, благодетель! – сказал он вслух.

– Вот сцена-то будет чудесная, когда барышня придет ко мне делать предложение! – говорил Комков и хохотал от всей души.

«Или когда он будет советовать какой-нибудь даме съездить посвататься ко мне!» – прибавил он мысленно – и снова хохотал.

– Да уж только бы мне встретить такую подходящую статью, уж я предоставлю вам невесту!.. – говорил Никеша, видя, что это предположение очень утешает его собеседника.

– Ну, как же: так и скажешь: неуютно ли, мол ехать, посвататься, у меня есть жених?

– Да что мне? Так и скажу!.. Она это должна за счастье почитать...

– Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. Ой, уморил Осташков...

– Да что смотреть-то на них... оне женщины... что оне значат против нашего брата, мужчины?... Ничего!..

Никеша нарочно прикидывался непонимающим причины смеха Комкова. Он учился

хитрить.

В это время опять вошла Марфа.

– Ну что? – спросил Комков.

– Да к вам скоро ли гости-то приедут?

– А что?

– Да я бы сама в город съездила: закупи-то закупить... Кого посылать-то!..

– Что ты врешь, матушка!.. Ты уедешь, а тут без тебя приедут: кто же нас кормить-то будет... Ведь ключей никому не поверишь?

– Как можно поверить... А я то, что может быть, успею, мол, съездить-то до гостей... А то... кого пошлешь?..

– Это, значит, сомневаешься, что посланный на рубль украдет... Ну ничего, только пошлай, пожалуйста, поскорее...

– Да коли для верности, так позвольте я, благодетель, съезжу: я уж копеечкой вашей не попользуюсь... – сказал Осташков.

– Ну вот, слышишь, Марфа: барин хочет съездить... Он уж не украдет, ты можешь быть покойна...

– Так что? На что лучше: съездите батюшка...

– Съезди, Осташков, и в самом деле: успо-

кой у меня старуху.

– С моим полным удовольствием.

– А может быть, и невеста мне попадетсЯ: поезжай-ка, брат...

– Так я ин с вами Василья отпущу: он вы-брать-то умеет, а только деньги-то вы к себе возьмите.

Никеша гордился оказанным ему доверием и с важностию сел в сани рядом с Васильем, чтобы ехать в город. Но взглянувши на соседа, он сконфузился и вся важность его пропала: на лакее была шинель хоть и поношенная и затасканная, но суконная, а на нем, дворянине Осташкове, ногольный бараний тулуп. Эх, кабы не этот тулуп, Никеша знал бы, как держать себя, чтобы показать слуге, какая разница между ним и потомком древнего рода бояр, а может быть, и князей Осташковых!

Но бараний тулуп испортил все дело. Никеша присмирел и старался избегать дерзких и насмешливых взглядов Василья, который по особенному чутью, свойственному людям его звания, сейчас смекнул, с кем имел дело, тем более что успел уже получить о нем неко-

торые сведения от кучера, сопровождавшего Якова Петровича к Рыбинскому, где уже Никеша был предметом рассказов и остроумий всей дворни. До города от усадьбы Комкова было верст пятнадцать. Сначала спутники ехали молча; но на половине дороги стояло село, в котором был кабак, где Василий предполагал возможность выпивки. Подъезжая к этому пристанищу, Василий обратился к Никеше с вопросом:

– А что, барин, много ли отпустили с тобой денег-то?

– На семьдесят рублей закупей-то велено сделать... – отвечал Никеша.

– Ну, барин, магарычи пополам.

– Какие магарычи? Мне никаких не надо... Я господских денег не возьму.

– Ну так и того еще лучше: значит, все магарычи мои. Ты, барин, вынь мне теперь двугривенный, я зайду выпью... – сказал Василий, решительно останавливая лошадь у кабака. – А то, коли хочешь, пойдем вместе выпьем.

– Я в кабаки не хожу-с!..

– Ну, так дай двугривенный...

– Как я могу... Я от господина вашего не получал на это приказания.

– Да уж этого никогда не бывает, чтобы мы не зашли сюда, как в город зачем посылают... уж у нас такое обнаковение сделано... И приказчик завсегда заходит...

– Так пейте на свои, коли хотите, а я господских денег на это изводить не могу, потому мне они не на то даны.

– Да я у тебя своих и требую, не господских... Мне господских денег не надо, а подай мой двугривенный...

– Да какой же ваш, я у вас никакого двугривенного не брал...

– Тебе толком говорят, что магарычи будут... Теперь купец, в которой лавке будем забирать, уж должен мне два двугривенных выдать за то, что в его лавке забираю, потому всей покупи на семьдесят рублей... Уж у нас такой уговор с купцами сделан: и приказчик, когда ездит, завсегда уж магарычи выверстывает... и нам половину выдает... Ну что ты, барин, споришь, когда наших порядков не знаешь...

– Как же я теперь должен об этих деньгах

вашему господину доложить...

– Так вот ты, барин, какой: один хочешь получать. Только что в приказчицкую должность поступил, да вдруг много нажать хочешь...

– Я только об господских деньгах радею, а мне ничего не надо... я не на то поехал... Что вы меня обижаете... я должен буду господину на вас жалобу принести...

– Да ну что затвердил: жаловаться станешь... Ну, жалуйся... Что мне барин-то сделает... Станет наш барин в этикие пустяки входить... у нас барин не такой, чтобы человека обидеть понапрасну... Что же, дашь ты мне двугривенный али нет?...

– Да как я могу дать господских денег без приказа?...

– Ну так ладно же... Смотри, хуже будет...

– Я бы вам поднес на свои, да у меня теперь денег нет...

– А еще барин, а денег нет... Своих денег нет, так ты на счет нашего барина хочешь поживиться...

– Нет, я не на то было шел... Кабы меня ваш барин так понимал, он бы мне доверия

не сделал, не послал бы закупи покупать...

– Дашь ты мне, барин, двугривенный али нет? Говорят тебе, своих прошу, не господских... ужо получу от купца – отдам назад.

– Так коли ужо от купца получите и берите себе, мне не надо, а теперь как же я могу: может, купец и не даст, какой же я ответ барину вашему принесу... Получите ужо, так и выпьете...

– Да мне теперь дорого выпить-то, потому привычка сделана... к этому месту... Говорят, отдам ужо, беспременно отдам... не ссорься... Яков Петрович и не узнает: мы такой счет подведем... А поссоришься со мной, жалеть будешь, барин... Слышь: тебе говорят...

«Что делать-то? – думал Никеша. – Известно, не ловко и с их братом ссориться: я человек бедный, захотят – найдут чем обидеть... Отступиться и сам-деле: двугривенный-то уж куда не шел... Может, и не заметят, что дал, а заметят, уж нечего делать: скажу всю правду».

И Никеша решился удовлетворить требование Василья.

– Ну, вот спасибо, барин: теперь мы с тобой

подружиться! – сказал Василий, получая деньги. – Пойдем выпьем... Выпей и ты... Что?!

– Нет, я в кабак не пойду.

– Ну, ин как хочешь... Ломайся... хм... барин!

Василий весело пошел в кабак и долго там пробыл, между тем как Никеша, помня наставление Паленова, хотел лучше мерзнуть на морозе, нежели унижить свою дворянскую честь. Наконец Василий вышел из кабака с трубкой в руках.

– Ну, вот теперь поедем веселей! – сказал он, садясь в сани и собирая вожжи. – Ну-ка ты, маслобойня, поворачивайся! – прибавил он, обращаясь к лошади и отпуская ей несколько ударов кнутом...

– Вот наш барин каких лошадей держит... ослов. На этих бы лошадях воду возить, а не то что налегке ездить... Вон у Топоркова, вот так лашадки – радость!.. А эта что? Вон, кажется, уж на порядках бок-от прожарил, а много ли ходу-то прибавила... Эх-ма!.. Поленом бы тебя надо, а не то что кнутом... Ну ты, что ли... – И Василий снова начал бичевать несчастное животное.

– В городе, барин, в трактирчик зайдём, что ли?

– Нет, брат, я не пойду...

– А как же? Погреться-то... Нет, уж зайдём, без этого нельзя... у нас такое обнаковение сделано: как в городе, так и в трактир... и тебе ведь там не бесчестно: ведь не кабак... Я тебе все покупки разом спроворю, хоть сам и в лавку не ходи... Только пришел... Алексей Герасимыч, того и того нужно – отпустите: сейчас завернет, цену скажет, и сейчас почтения, значит, магарыч положит... Потому нас там знают... От нас ведь им пожива хорошая: не мало в год-то заберем... У нас ведь всего много выходит годом-то... Я тебе, барин, по душе скажу: у нас житье хорошо... Мы завсегда что барин, то и мы едим, а водки этой али вина у нас без переводу, потому у нас Марфа эта ведь дура... Только что скупа, да провизию бы до изгною из рук не выпустить, коли попалась ей в руки, а у ней под носом воруй – не увидит и догадка не возьмет... Повар теперь у нее на одного барина забирает, что пятерых бы прокормить можно... А не дай: сейчас все повар перепортит так, что в рот нельзя взять;

барин станет спрашивать: отчего не хорошо? Ключница провизии мало отпускает, да и провизия застоялась – не годится... Ну, вот она и в дураках... А сказать барину боится, либо уж так богобоязлива: никогда ни про кого не скажет... Да, пожалуй, и сказывай: у нас барин добрый... Поругается, покричит, а никогда не прибьет... У нас жизнь хороша!.. И дворня у нас хороша: мы все за одно живем... Повар теперь, Петруха... важный парень... Вина когда от кушаньев останется али сахара царапнет да чего нинаесть... всего то есть: пирогов там напечет, али колобков – всех устит... У нас этим хорошо!.. А в трактир, барин, зайдем погреться: без этого нельзя... И приказчик у нас, все с нами за одно: он с мужиками там управляйся, бей его, на то он приказчик, а дворового пальцем тронуть не смей, потому я сам сдачи дам... Я ему не подначален: у меня барин есть... Мужуку до барина далеко идти, да и мы не допустим, а я за всегда при барине... Тронь-ка он меня: я сам знаю, как он хлеб-от барский ворует... И из приказчиков улетит... Ну и живем заодно... У нас жизнь хороша!.. На-ка, барин, правь, а я

трубочку закурю... Ты думал Василий-то разбойник... Нет, ты Василья-то узнай, ты с Васильем-то подружись: я тебя всему научу... Ты к нашему барину чаще ходи, он добрый... У нас жить хорошо!.. А то давеча вздумал в двугривенном упираться... Надобно тебе отчет отдать?! Ну кто станет с тебя отчета требовать?... Барин-то этого звания не возьмет, чтобы усчитывать человека, а Марфа-то у нас бессчетная: вели смекнуть, сколько в двух гривнах пятаков, – не смекнет, ни за что не смекнет... Вот что, друг любезный... Ты узнай Василья-то... что он есть за человек...

Никеша слушал Василья и думал сам про себя: «Как же это? Неужто и сам-деле Яков Петрович ни от кого в своих деньгах отчета не требует?... Ведь этак иной и не согрешил бы, да видит, что учета на него нет, так захочет попользоваться; все равно кто-нибудь другой за него возьмет же... Как же это так?... А и то сказать: дело большое, богатое, и не бережет, не дорожит своим добром, да и одинокий же... что ему?... Хм... так живет, без всякого учета!.. А ты до последней копейки приходишь, да всякую в руках-то поддержишь, да по-

думаешь: изводить, али нет?... Вот оно что значит настоящее-то дворянское житье – лежи себе, заботушки не имей; знаешь, что всего не проживешь, денег изводи – не считай... Коли и украдут, так свои же крепостные; значит, все своим же попало... За то и тебя похвалят и жизнью у тебя не посетуют... Вот бы хорошо как пожить... Да из-за чего и станет себя Яков Петрович беспокоить?... Все, чего ни пожелает, всего у него довольно, недостатка ни в чем не видит; лежи, знай, да полеживай... И я, как бы мне этикие души... разве бы я стал себя чем беспокоить... А хорошо около такового господина держаться – хошь бы и нашему брату, бедному человеку... От него скорее что получишь... он скорее другого не оставит... еще и предоставит что, пожалуй, под добрый час...»

В городе Василий прямо подъехал к знакомой лавке.

– Вот где, барин, будем провизию закупать: тут самый знатный товар и купец нам приятель большой... значит, Алексей Герасимыч... У него и погребок есть: и вина у него забираем... Пойдем.

Василий вошел в лавку, как в дом какого приятеля. Дружески поздоровался он с купцом, хотя чисто русским, но очень похожим на жидка. Низкопоклонный, приветливый и льстивый Алексей Герасимович умел услужить всякому покупателю если не товаром, то ласковым словом, шуточкой, прибауточкой, уважением и почтением. Он умел привлекать в свою лавку покупателей изо всех сословий. У него покупал и расчетливый чиновник, которому он уступал товар за свою цену, «только для вас, и под секретом, чтобы цены никому не сказывал»; и купец, для которого были у него чаи лянсины, какие угодно, с самым душистым букетом, и вина первейших сортов, прямо из Москвы, неподдельные, с золотыми ярлыками, и которому все продавалось с большою уступкою, потому: «с кого другого, а со своего брата грешно большие барыши брать». Забегала к нему и мещанка за фунтиком сахарка и осьмушкой чайку и удовлетворялась без задержания, потому «для меня всякий покупатель дорог, – говорил Алексей Герасимович, – и большой и малый: все покупатели меня оставь, меня одни мещан-

не прокормят, даром, что забирают по малости: курочка по зернышку клюет, да сыта бывает...» Заезжал к нему или засылал человека за покупками и помещик, которому все отпускалось без запроса и, пожалуй, в долг сколько угодно: «запрашивать с господ нечего, они торговаться с нашим братом не станут, это не кто другой: бери купец барыши, разумеется, по-божески, да только отпускай мне товар, чтобы был хорош, потому у господина вкус не у кого другого прочего: дряни какой употреблять не захочет...»

Алексей Герасимович был монополист в городе: он торговал всем и никому из своих собратьев не давал хода. Владея порядочным капиталом, он не боялся понести временный убыток, лишь бы подорвать низкой ценой на товар начинающего и малосильного соперника.

– Ах, наше почтение, Василий Иваныч, – сказал купец, дружелюбно пожимая руку лакея. – Что, за забором, али так для другого чего?... Все равно, милости просим.

– За забором! – отвечал Василий. – Вот, барин, ты только скажи, чего тебе велено ку-

пить, уж Алексей Герасимыч отпустит, и отвесит, и завернет... А мы покамест пойдем в трактир: чаю напьемся...

– Нет, как же можно... Я должен все при себе принять... – отвечал Никеша.

– Да вашей милости чего угодно?

– Да видишь ты, Алексей Герасимыч, – отвечал Василий за Никешу, – нам от Якова Петровича приказано закупить разных разностей... Ну, он как внове... наших порядков не знает... Ну ведь я тебе, барин, толковал дорогой обо всем... чего же тебе еще сомневаться?...

– Да это кто же такой? – спросил Алексей Герасимыч, отводя Василья в сторону.

– Да он барин, то есть, считается... А какой барин: так, шамша... К нашему барину на проживку приехал, ну и выпросился в город... Ты на него не смотри: какой он барин... Уж самый таковский, бедность, значит...

– Как в песне говорится: барин-дворянин сам и пашет, и орет, и с крестьян оброк берет...

– То самое и есть... Только что оброка-то, кажись, не с кого брать: бездушной, знашь...

Ты, Алексей Герасимыч, на него не смотри, ты знай меня: дай мне два двугривенничка, да и пиши что тебе надо; только провизии получше отпускай, чтобы без обмана... А забору на семьдесят рублей...

– Уж на этот счет сомнения нет никакого... кажется, никогда вас не обманывал... С тем отпускаем...

– Ну, ты мне дай же два двугривенных...

– Да это можно, ничего... Для друга можно...

– Семен, отпускай ихной милости что потребуется, да смотри из господских сортов! – сказал Алексей Герасимович приказчику, вынимая деньги и отдавая Василью...

– Ну, Алексей Герасимыч, еще ты меня уважь: четверочку табачку снабди...

– Не довольно ли будет?...

– Говорю тебе, ничего... Не сомневайся...

И это требование Василья было исполнено.

– Ну, барин, коли не хочешь идти со мной – оставайся здесь, выбирай, а я пойду: надо чайку напиться, без этого нельзя...

– Да как же вы пойдете; ведь вам велено выбрать?...

– Нечего тут выбирать: Алексей Герасимыч лучше нашего знает в товаре; нам с тобой этак не выбрать...

– Да не извольте, сударь господин, беспокоиться, – вмешался купец, – у нас обмана не бывает, мы без обмана торгуем. К нам господа за сто верст присылают, на целый год вдруг провизию забирают, и довольны остаются... А эти господа нам короткие знакомые, завсегда у нас покупают, станем ли мы их обманывать?...

Никеша ничего не возражал, но не решился идти с Васильем.

– Ну, коли так, оставайся здесь: мне все равно, а я пойду, мне даром время проводить нечего! – сказал Василий и вышел из лавки.

Никеше дана была записка о всем, что следовало купить в городе, написанная рукою земского, который тоже, по обычаю, имелся при усадьбе Комкова, как классная должность, установленная по штату барского двора; и также вел книги о посевах и урожае, приходе и расходе, хотя этих книг никто никогда не читал и не поверял. Никеша отдал записку купцу. Тот тотчас же начал отвечать всего

требуемого, объявляя Никеше цену; о многом, что тут было написано, Никеша не имел никакого понятия и не мог судить, дорого или дешево просит продавец; но зная свою обязанность охранять интересы своего доверителя, находил, что объявляемая цена дорога, и предлагал дешевлею; но на все получал один короткий и неприветливый ответ: мы, господин, торгуем без запросу! Никеша не знал что возражать, и поневоле молчал. Когда таким образом все, что нужно, было отведено и завязано, Алексей Герасимович, называя каждую вещь и указывая на нее пальцем одной руки, другою проворно перекидывал кости на счетах, и подведя итог, объявил его Никеше, который стоял совершенно смущенный и досадовал на себя, что взял непосильное поручение: по счету сумма превышала соображения Марфы.

– Как же так? Вы много насчитали! – проговорил Никеша.

– Точно так-с, верно! – решительно отвечал купец. – Извольте сами прокинуть! – прибавил он, опрокидывая кости и подавая счета Осташкову. Никеша начал сам выкладывать

медленно и осторожно, как считают мужики, мало привыкшие к счетам. Купец посматривал на него исподлобья, с лукавой улыбкой.

– Да вы очень дорого все полагаете...

– У нас без запроса-с...

– Вот Марфа Ивановна говорила, чтобы икры-то взять по шести гривен за фунт, а вы просите по 75 копеек.

– Может быть, другой сорт-с; а этот нельзя. Я бы отпустил кому другому и в 60 копеек икру, а сюда по знакомству не могу-с, потому господа кушать не будут, не понравится... Сами не будете довольны.

Как ни бился Никеша, как ни пыхтел, но должен был заплатить требуемые деньги.

«Да и то сказать, – думал он, – об чем я хлопочу-то: ведь поверять не будут... Лучше бы давеча в трактир идти да чаю напиться... Однако бы себе удовольствие получил, а все равно ничего же не выторговал».

Но это были только мысли, которые Никеша не решился бы пока привести в действие: он еще не был уверен, точно ли его не станут поверять и можно ли без позволения тратить на себя чужие деньги, назначенные для дру-

того употребления.

Целый час пропадал Василий, наконец явился, нетвердо стоя на ногах, с красным лицом и посоловевшими глазами.

– Ну, готово ли? – спросил он.

– Давно уж все готово! – отвечал купец. – И ты, брат, видно, тоже готов! – прибавил он с усмешкой, придавая особенный смысл последнему слову.

– Я, брат, готов, Алексей Герасимыч, совсем! – отвечал Василий, ухмыляясь и пошатываясь.

– Ну, барин, забирай покупки да поедем. Прощай, Алексей Герасимыч!.. Спасибо, что не дорого отпустил... Хи...

– На предки милости просим...

– И на предки не оставляю...

Когда поехали в обратный путь, Никеша сказал Василью:

– А, кажется, он за все лишнего взял...

– А ну вот беда велика... Изойдет... Ничего... Я тебе все растолковал: чего тебе еще надо? Не хотел со мной в трактир идти, – ну, как хочешь... Слушай, барин, ты теперь дорогу домой знаешь: возьми вожжи – правь, а я пока-

мель сосну... А к селу подъедем – ты меня разбуди, беспременно разбуди: потому надо опохмелиться... А то, барин, пожалуй, заметит, что был пьян, – не хорошо... Что не хорошо, так не хорошо!.. Нечего тут, я люблю правду говорить... А ты ничего не моги барину сказать... Слышь: ничего не моги, а то я и на тебя-то наскожу, что тебя в дом пускать не будут... Никак не моги!.. Ну правь же, а я усну... Поезжай с Богом!..

И Василий чрез минуту уже храпел. Послушный Никеша правил лошадей.

«Эко житье этим лакеям, – думал Никеша. – Лучше моего! Как можно, гораздо лучше!.. Я должен работать, хлеб себе добывать, а у них только и дело, что пьют да едят... И ни о чем нет ни горюшки, ни заботушки: все про все готовое... припасенное... Да, вот, холопская кровь как живет; а я и дворянская кость, да должен сам про себя работать!.. А ведь он слуга, а я господин... У, кабы у меня были свои слуги... Я бы уж на них полежал... Я бы рукой из-за них не переложил...»

Когда Никеша воротился в усадьбу Комкова, там были уж гости. Он принес Марфе свои

покупки и просил, чтобы она приняла их от него.

– Ну, положите их туто-тка; ужо ведь надобно же будет всего подавать. Я тогда и посмотрю, а теперечка некогда.

– Ну, Марфа Ивановна, денег-то я издержал больше, чем вы велели... Торговался, торговался с купцом-то, никак не уступает...

– Ну, что делать-то... батюшка... уж как быть-то?... Не уступает, так нечего делать... Купцы, известно, народ-воры.

– Так как же бы, Марфа Ивановна, сосчитаться-то нам?

– Да чего тут, батюшка, считаться-то: положите тут сдачу-то, я ужо возьму... Что считаться: себе не возьмете, а которые деньги извели, тех уж не воротишь... Положи, батюшка, тут: больно уж мне не слободно... Народец-то наш божеский... Гости в доме, а их никого не сыщешь: ворочайся одна... Согрешила я, грешная!.. Уж такая воля дана, такая воля... ни на что не похоже!.. Совсем распустили дворню... Только от греха отходишь, что не жалуешься барину... Подь, батюшка, к гостям...

«Ну, значит, нечего про Василья и говорить, что двугривенный дал...» – подумал Никеша.

При входе в залу Осташков был встречен общими восклицаниями хозяина и его гостей.

– Ну что, Осташков, всего ли ты нам закупил? – спрашивал Комков.

– Все искупил, Яков Петрович, что приказано.

– Ну, вот, братец, молодец! Спасибо!..

– А много ли украл, Осташков? – спросил Тарханов. – Признайся...

– Меня не с тем посылали! – отвечал Осташков, обидевшись. – Вы бы меня изволили сосчитать, Яков Петрович...

– Сосчитать!.. Ну, брат Осташков, это не по моей части! – отвечал Комков со смехом. – У меня и экономка такая заведена нарочно, чтобы счета не знала...

– Одначе за чем же обижать, Яков Петрович, я этого не желаю...

– А, каков, господа, Осташков, – заметил Рыбинский, – как он стал поговаривать... Каков!

– А вы знаете, мосье Осташков, как должен

поступить дворянин, если его назовет в лицо вором другой дворянин?...

– Бедного человека можно завсегда обидеть! – уклончиво отвечал Никеша.

– Нет! Бедный дворянин должен еще более дорожить своею честью, и, если ему нанесли обиду, он должен ее смыть кровью своего обидчика. И так вы, как дворянин, обязаны вызвать Тарханова на дуэль, то есть: или драться с ним на саблях, шпагах, или стреляться; в противном случае мы имеем право верить Тарханову и считать вас вором... А в таком случае вы не можете быть в нашем обществе...

– Божусь истинным Богом, я ни копейкой не попользовался и сдачу Марфе Ивановне отдал: извольте хоть обыскать меня... Это точно, что Василий... – оправдывался Никеша, но Тарханов прервал его.

– Господа, – сказал он, – я снова и торжественно объявляю, что Осташков украл несколько копеек из денег Комкова и в доказательство своих слов готов принять вызов Осташкова, готов драться с ним на смерть и на чем угодно...

– Слышите, мосье Осташков: вы должны стреляться с Тархановым на расстоянии пяти шагов: то есть сначала выстрелит в вас Тарханов из пистолета... или из ружья, все равно: пистолетов, я думаю, не отыщешь у Комкова... А потом, если Тарханов промахнется и не убьет вас, тогда вы в него выстрелите и убьете его...

– Я на смертоубийство не согласен, а извольте сосчитать меня; и если я виноват хоть в копейке, прикажите меня наказать, как угодно...

– Как вам не стыдно, мосье Осташков! Потомок древнего знаменитого рода бояр и, вероятно, князей Осташковых, такой трус. Нет, вы обязаны стреляться с Тархановым, иначе не захочем вас знать; никто из нас не пустит вас в дом... Эй, человек, можно, братец, достать здесь два ружья?

– Очень можно-с! – отвечал лакей.

– Ну, поди принеси два ружья, пороху и две пули... Мы здесь зарядим.

– Как угодно, я на это не пойду, чтобы в человека стрелять... Это я сказываю, что Василий, ихний, Якова Петровича человек, выпро-

сил у меня двугривенный, это я виноват – дал ему, а больше я ни в одной копейке не покаюсь. Денежка... какова денежка... и той не покорыствовался...

– В этом никто не сомневается, но вы оклеветаны, оскорблены... накажите клеветника, убейте его и кровью омойте обиду... Если бы вы в самом деле были вор, я и говорить бы не стал с вами; но так как вас обидели, оскорбили, – вы должны отмстить за себя... омыть свою честь...

– Я лучше согласен на себе перенести: я человек бедный... Бедного человека можно обидеть...

– Стыдитесь, мосье Осташков!.. Вспомните, что ваши предки были стрельцы... а вы боитесь стреляться!.. Фи!.. Вы не достойны быть между нами; мы исключим, изгоним вас...

В это время воротился слуга и принес ружья.

– Господа, я объявляю себя секундантом Осташкова; кто со стороны Тарханова?

– Я, – отвечал Рыбинский.

И они стали заряжать ружья.

Никеша думал сначала, что над ним шу-

тят, но когда увидел, что ружья стали заряжать, – он испугался и побледнел... В страхе он не заметил, что пули не были положены в ружья, а ловко спрятаны секундантами.

– Ну, господа, готово! – сказал Неводов, вставая. – Где вы будете стреляться: здесь, в комнатах, или на улице?

– Я думаю лучше здесь, а то много будет посторонних зрителей.

– Ну, в таком случае длина этой комнаты пусть будет расстояние между вами... Господин Тарханов, не угодно ли вам занимать свое место...

Тарханов взял ружье и стал у стены...

– Ну, Осташков, становись и стреляй, если ты не вор и не трус! – сказал он.

Но Никеша не брал в руки ружья, которое подавал ему Неводов, и не двигался с места, бледный, перепуганный.

– Ну, Осташков, что же вы?... Или стреляйтесь, или вы трус и вор и будете с бесчестьем изгнаны из нашего общества... И я скажу вашей теще, вашей тетеньке, разглашу по всему уезду, что вы вор и негодяй, которого не следует пускать ни в один порядочный дом...

Становитесь же и стреляйте, если не хотите этого сраму...

– Помилуйте... как же я могу?... Я не желаю этого... это смертоубийство... За что же-с?... Я ни в чем не виноват... Извольте сосчитать... Чем я так несчастен?... – лепетал растерявшийся Никеша.

– Отойдите, Неводов... Все равно – я стреляю... Если останется жив, он может в меня выстрелить... – сказал Тарханов и стал медленно прицеливаться в Никешу.

Смертная бледность разлилась по лицу Никеша, когда он увидел наведенное на него ружейное дуло; он задрожал всем телом, ноги его подогнулись, и он упал на колени.

– Простите, не погубите... Батюшки... Что это... Чем я провинился... – кричал он жалобно и со слезами...

– Будет бы уж... Что его мучить!.. – проговорил молчаливый Топорков. – Долго ли до беды...

Но Тарханов спустил курок, выстрел грянул, Никеша страшно закричал и повалился на пол... Комната наполнилась дымом... Взрослые шалуны весело хохотали; но Нике-

ша лежал неподвижно и безмолвно.

– Ну, полно, вставай, трус: ведь еще не совсем убит, жив... – говорил Тарханов, подходя и толкая Никешу в бок; но тот не шевелился.

Велели его поднять: он был без чувств.

– Вот, я говорил, что до беды! – заметил Топорков.

– Ничего, опомнится, – возразил Тарханов, – окатите его хорошенько! – приказал он слугам.

Никешу вынесли. Несколько ведер воды едва могли возвратить его к сознанию; но бедняк чувствовал себя нездоровым. Слуги подсмеивались над его страхом и объясняли, что господа ведь только хотели *пошутить* над ним для забавы, а не для чего другого.

Несколько оправившись, Никеша вышел к своим мучителям с непременным намерением проситься домой. Господа играли в карты, игра шла горячая, а потому на него мало обратили внимания; только вскользь заметили, что он трус, и велели выпить водки, вскользь же поострился и Неводов, внушая Никеше, что трусость есть величайший порок, а тем более в потомке знаменитых предков, и что с

ним нарочно была давеча сыграна эта шутка, чтобы приучить его к мужеству и показать, как дворянин должен держать себя, если его обидят... Никеша болезненно улыбался и, выбравши минутку, намекнул Комкову, что ему бы пора домой...

– И-и, брат, нет, и не думай; я тебя раньше недели не отпущу... – отвечал Комков.

– Да надо бы домой-то... Яков Петрович...

– Пустяки, тебе нечего дома делать...

– Как, батюшка, нечего: тоже мной дом держится... Я один мужчина-то в дому; без меня, чай, все стадо...

– Полно врать: и без тебя обойдутся...

– Ведь, вот уж я целую неделю уехал из дому-то: я думаю, сомневаются обо мне...

– Да что им об тебе сомневаться: как бы ты был болен, я бы тебя отправил домой; а теперь, слава Богу, ничего... И сомневаться нечего... Пустяки, братец, пустяки... Хочешь – поди, пожалуй, пешком...

– Батюшка, я бы и пешком пошел, да и дороги-то не знаю отсюда: тоже ведь верст на пятьдесят от дома-то заехал...

– Ну а лошади не дам теперь... Еще пого-

СТИ...

– Полно, Осташков, что тебе дома делать, – вмешался Тарханов, – на-ка вот тебе синенькую, на твое счастье сейчас большую карту взял.

И Тарханов подал Никеше ассигнацию: он был в большом выигрыше, Рыбинский напротив проигрывал.

– Ставлю и я на счастье остатки, – сказал последний. – Какой ты король? Бубновый! Ва-банк!..

Рыбинский взял карту.

– Bravo, Осташа! На вот тебе! – И двадцатипятирублевая ассигнация, брошенная Рыбинским, упала в руки Никеша. Глаза его загорелись и повеселели: он с чувством поцеловал Рыбинского в плечики.

С этой карты счастье изменило Тарханову: он начал проигрывать и спустил все деньги.

– Дай-ка, Осташков, мою синюю, – сказал он ему, – не отыграюсь ли на нее... Ворочу проигрыш, дам десять рублей.

Но через минуту и этой синенькой не стало.

– Черт тебя дери: лежал бы ты лучше там

без памяти! – с сердцем сказал Тарханов. –
Дай мне займы: что тебе дал Рыбинский?...

Никеша замялся.

– Ну, что ты?... Не отдам, что ли? Отыграюсь – вдвое получишь.

Никеша не смел возражать и подал деньги дрожащими руками: и беленькая бумажка, как сон, как радостное видение, мелькнула в глазах Никеша.

– Ну, нечего делать! Считаю за мной! – сказал Тарханов.

Слезы застилали глаза опечаленного бедняка.

– Что же вы его обобрали?... – заметил Топорков.

– Что за обобрал... Отдам после: не пропадет за мной...

– Обобрал!.. Что за выражения, Топорков... Плюхи тебе захотелось, что ли?...

– Плюхи?! Я сам в долгу не останусь... Я не беру займы без отдачи!.. – отвечал Топорков, насупись и смотря в землю.

– Что-о? – грозно спросил Тарханов, подступая к Топоркову.

– Что это, господа, не по-дружески, – вме-

шался Комков, – ссору, что ли, затевать...

– Ну, ну, господа: что за вздор! – сказал Рыбинский. – На вот тебе, возьми! – прибавил он, бросая Никеше двадцать пять рублей.

– Это что еще? Что за благодеяния? Я сам отдам... Не бери, Осташков... – горячился Тарханов.

– Ну, ну, Тарханов!.. Без шума!.. Я от себя даю!.. Не за вас!..

– Да что это такое за повелительный тон. Ну! Ну!.. Я сам такой же дворянин, как и вы!..

– Может быть!.. Только советую со мной не связываться!.. – спокойно отвечал Рыбинский, выразительно смотря на Тарханова, и двумя пальцами согнул золотой, который в это время ставил на карту.

– Обидеть себя я никому не позволю: мне все равно, кто бы то ни был... Мне никто не смей говорить дерзостей... Как он смел сказать, что я обирую Осташкова! – говорил Тарханов, отходя от карточного стола, но ему уже никто не возражал, как будто не слышали его последних слов.

Тарханов, видимо, боялся Рыбинского и говорил только для того, чтобы отступить с

меньшим стыдом. Несколько времени он молча и сердито походил по комнате, потом с мрачным лицом подошел опять к играющим, а через час принимал участие в общем разговоре, как ни в чем не бывало. Никеша не отходил от Рыбинского и беспрестанно ощупывал карман, в котором лежали деньги.

Азартность игроков постепенно возрастала: вскоре уже не двадцати пяти рублевые ассигнации, по целые сотни и тысячи рублей ставились на карту и переходили из рук в руки. Самыми упорными и горячими противниками оставались Рыбинский и Неводов. Последний часто выходил из себя, не умел скрывать радости, когда выигрывал, и досады при проигрыше; Рыбинский спокойно удваивал, утраивал и без того уже крупные куши, равнодушно подвигал к себе деньги, когда выигрывал, оставался совершенно хладнокровен и спокоен, когда торжествовал противник. Никеша с трепетом, с невольным замиранием сердца смотрел на огромные, невиданные им дотоле, кучи денег; иногда у него захватывало дух в ожидании, на чью сторону упадет карта; с крайним удивлением видел спокойствие

Рыбинского, с полным искренним сочувствием разделял тревожные душевные движения Неводова. Впрочем, надобно правду сказать, его более всего привлекала к карточному столу надежда получить что-нибудь от играющих; но напрасно он сидел два дня и две ночи около игроков, следя за каждым их движением: его как будто забыли; пробовал было он и предлагать поставить карточку на его счастье, но и это не удалось: Неводов послушался было его, проиграл и с сердцем прогнал прочь Никешу.

Гости прожили у Комкова три дня и во все это время непрерывно продолжалась горячая игра; на четвертый день начали разъезжаться. Никеша просил было, чтобы кто-нибудь взял его с собой, чтобы отправить домой, но Комков решительно объявил, что он должен погостить у него еще несколько дней. Никеша попробовал было возражать на это требование, но его не хотели слушать – и он остался.

Пять дней держал его Комков у себя. Оставшись с глаза на глаз, сначала они беседовали несколько часов, но скоро предметы для раз-

говора истожились – и собеседники проводили время молча. Комков лежал на диване, поворачиваясь с боку на бок, побряхтывая и потягиваясь; а Никеша сидел около него на стуле, смотря во все глаза на хозяина и ожидая, не может ли чем-нибудь услужить ему.

День проходил таким образом: проснувшись поутру, Комков тотчас же пил чай, лежа в постели, неумытый. Эта операция продолжалась очень долго, так что Никеша успевал в продолжении ее вычистить и снова набить от 10 до 15 трубок табаку, которые Яков Петрович и выкуривал одну за другою. Затем он умывался и требовал завтрака. Завтрак обыкновенно состоял из нескольких блюд, – жирных, масляных, сытных, – так что вполне мог бы заменить обед. Комков ел много и аппетитно; Никеша, у которого аппетит был тоже исправный, сначала церемонился есть много, но когда Комков растолковал ему, что тот, кто мало ест у него в гостях, оскорбляет его, а, напротив, тот, кто ест много, делает ему особенное удовольствие и даже отчасти одолжение, возбуждая его собственный аппетит, – тогда Никеша перестал стесняться и кушал вдо-

ВОЛЬ.

Плотно позавтракавши, закуривши трубку и снова растянувшись на диване, Комков обыкновенно предлагал такой вопрос:

– Ну, что же мы теперь будем делать, Осташков?

– Что вам угодно, батюшка Яков Петрович... – отвечал тот. – Да уж нельзя ли бы меня домой отправить?...

– И, нет, нет, братец, вздор!.. Не пущу...

– Право, пора бы, благодетель: домашние-то, чай, беспокоятся очень...

– Ну, приедешь, так успокоятся...

– Да и дело-то, чай, там все стало...

– Ну, какое у тебя там дело... Перестань врать... Что, разве тебе у меня нехорошо, что ли?

– Как это можно, батюшка Яков Петрович... Могу ли я только это себе в голову взять... Не то что нехорошо, а ровно в Царствии Небесном...

– Ну, так что тебе... и погости еще, оставайся...

И Никеша оставался охотно, приговаривая только, приличия ради:

– Вас-то бы как не беспокоить, благодетель...

Для сокращения длинных часов между завтраком и обедом Комков взялся было обучить Никешу игре в бостон, но ученик оказался решительно неспособным понять ее. Банк ему скорее дался – и Никеша с удовольствием метал карты направо и налево, между тем как Комков ставил огромные куши и не ленился записывать выигрыш свой и банк-мета. Никеша начал принимать в этой игре тем большее участие, когда Комков обещал ему уплатить за каждый выигранный им рубль одну сотую копейки, предоставляя, впрочем, ему самому смекать, сколько придется получить, когда случалось Никеше выигрывать. Это бывала для Осташкова самая мучительная, головоломная работа, какой он никогда не предавался в своей жизни. От умственного напряжения он краснел как рак и пот выступал из всех пор его тела; а Комков хохотал, смотря на мученика любостяжания.

После обеда оба они – и гость, и хозяин – предавались довольно продолжительному сну, вплоть до самого вечернего чая. Вечером

часто навещал Якова Петровича священник из соседнего села, и тогда беседа оживлялась.

Посещение этого священника было единственное обстоятельство, нарушавшее однообразие тех пяти дней, которые провел Никеша у Комкова после отъезда гостей. Эта однообразная, мирная и спокойная жизнь, поглощаемая только едою, питьем, спаньем и ленивыми разговорами, была совершенно по душе Осташкова: лучшего он ничего бы не желал в жизни. Природная беспечность, подавленная заботливой теткой, совершенно овладела им на свободе; и он последние два дня пребывания у Комкова даже и не вспоминал о доме. Но сам хозяин наконец соскучился сидеть дома и надумал опять ехать в гости. Объявивши об этом Никеше, он велел и ему собираться домой, если хочет. По собранным справкам оказалось, что Никеша гостил от дома в 40 верстах. Для него была наряжена нарочная подвода. Комков подарил ему старый бекеш свой с меховым воротником, и Никеша, облобызавши ручки благодетеля, отправился домой, счастливый и довольный, мечтая о том, какое он произведет дома впечат-

ление подарками и деньгами, которые везет с собой, и помышляя с неудовольствием о трудах, которые его ожидали и которые представлялись ему очень тягостными после двух недель праздности, бездействия, обжорства и лени.

Никеша действительно был встречен своими домашними с распростертыми объятиями, чуть не со слезами: об нем так сильно беспокоились, что уже собирались ехать отыскивать его. Привезенные им подарки и деньги действительно возбудили и удивление, и радость. Но уж Никеша был не прежний послушный, молчаливый, работающий малый. Он начал посматривать на родных своих свысока, потому что и они стали смотреть на него с большим уважением. В первый день по приезде домой он и не подумал заняться какой-нибудь работой; на другой день проспал дольше обыкновенного; и даже ругнулся, когда тетка хотела было разбудить его, — чего с ним прежде никогда не бывало. И все следующие дни Никеша работал уже вовсе не так, как прежде, и то как будто из снисхождения или из милости к прочим домашним, точно

делал не для самого себя и не свое дело, а чужое. Тетка не решалась уже по-прежнему приказывать и настаивать: она точно стала бояться или совеститься Никеша, точно вдруг почувствовала, что он глава дома, полный хозяин, а сама она живет у него на хлебах. На привезенные деньги хотели было сделать какое-то улучшение по хозяйству, но Никеша решительно сказал, что на эти деньги нужно купить самовар, что он необходимо нужен, что ему никак нельзя жить без самовара, что, может, когда и господа к нему уедут, а у него и самовара нет; а другая нужда не уйдет, только съездить опять к господам, они опять не оставят. Все согласились с Никешей, и самовар был куплен.

Любимым занятием Никеша в течение нескольких дней сряду было одеваться то в одно, то в другое платье, подаренное господами, и показываться домашним. Самый торжественный день в его жизни настал, когда в первое же воскресенье по приезде он пошел в свою приходскую церковь в бекеше – подарке Комкова. Он ног не слышал под собой, стоя в церкви и беспрестанно оглядывая самого себя

с ног до головы. Гордо посматривал он на серые армяки и нагольные полушубки, окружавшие его и столько ему знакомые; а серые армяки лукаво переглядывались с полушубками и улыбались, потряхивая головами и переминаясь с ноги на ногу. Отец и брат недоброжелательно и завистливо смотрели на Никешу, что, впрочем, Александру Никитичу не помешало через несколько времени попросить у сына денег, но денег уже не было, Никеша отказал отцу и тот ушел от него, окончательно озлобленный против него. Брат Иван обещался даже при случае поколотить Никешу и высказывал это намерение вслух, на что отец только молча улыбался. Но домашние, любуясь на наряды Никешы и гордясь его новыми знакомствами, чувствовали, что работы у них прибыло, потому что Никеша, видя возможность и дома поленившись, предпочитал лучше лежать на печи, нежели делать дело; а проживши дома недели две, соскучился, и вдруг, заложивши лошадь в сани, завязавши в узелок все свое хорошее платье, опять уже без приглашения поехал искать отдыха и денег у своих новых знакомых, благодетелей.

Домашние не возражали ему, надеясь, что он опять воротится не с пустыми руками, и покорно, великодушно приняли на себя исполнение всех мужских обязанностей по домашнему хозяйству... А Прасковья Федоровна даже радовалась, что Никеша сам рвется к господам, в свою настоящую компанию, и отвыкает от мужицкой...

Часть вторая

I

Тихий весенний вечер спускался на землю. После дневной жары в воздухе разливалась отрадная прохлада и веяло запахом скошенного сена. Красное солнце только что погасло на небе, но огненный след его еще горел вечерней зарею и освещал землю, обещая ей и на завтра ведренный день. Тихо и безмолвно все было в природе, лишь изредка поскрипывал в траве коростель, ожидая своих любимых потемок, да стриж, резко выкрикивая, стрелой рассекал воздух и с размаха влетал под застреху своего сарая, да лягушки булькали в воде или, выставляя из нее свои одутловатые морды, выпускали отрывочные трели, точно пробовали голос, приготавливаясь к ночному концерту. Молча смотрели друг на друга Стройки и Охлопки чрез разделявшую их речку и казались совершенно пустыми. Стройковские мужики и бабы все были на работе: сенокос стоял в полном разгаре, и все торопи-

лись воспользоваться благоприятной погодой; даже малые ребятишки – и те помогали сгребать сено, в то же время весело кувыркаясь через душистые копны. В Охлопках главных хозяев тоже не было дома: Никеша уехал к благодетелям попросить человечка на помочь в предстоящем сенокосе, а отец с сыном Иваном ушли в луга, но не для того, чтобы косить, а чтобы выделить косяки, запроданные еще по зиме двум стройковским мужикам. При этом выделе перешла в чужие руки целая половина из Никешиной доли. Последний об этом ничего не знал и весело проводил время у благодетеля, обещавшего дать ему помощника на сенокос, между тем как чужая коса уже сверкала по его сочной траве. Утешая себя надеждой, что нынче, по милости благодетеля, он живо управится с работой, Никеша не торопился домой. Правда, для сенокоса была настоящая пора: у добрых людей гумна давно были подкошены и трава с них высушена; правда, заботливая Наталья Никитична не раз советовала Никеше сходить к отцу, попросить его развести косяки (потому что Никеша и до сих пор не был еще

совершенно отделен и земля находилась в общем владении), да и приниматься поскорее за сенокос; и Никеша послушался – ходил один раз, но отец на него только прикрикнул: «Что тебе прежде людей надо! Что больно прыток стал? Разве я не знаю, когда время придет косить... Успеешь еще!.. Ишь ты!..» Никеша не стал возражать и отправился искать помощника к предстоящему сенокосу. Александр Никитич с Иваном, в дружелюбном разговоре между собою, до сей поры находили, что время для сенокоса еще не ушло. «Вот паровое запашешь, да и за сенокос приниматься надо!» – поговаривал отец. – «А вот запашу... Еще успеем: время-то не ушло...» – отвечал сын. – «Знамо, не ушло!» – соглашался отец.

Заботливое женское поколение семейства Никеша тужило про себя, видя, как люди опережают их во всякой работе, но помочь делу было нечем; выйдет Наталья Никитична за водой на речку, посмотрит на ту сторону: косят стройковские, косят, гумна уж докашивают, вот и докосили, в дальние луга пошли косить... Пора бы косить, пора, уж как пора... А

наши – нет, не косят!.. Что ты станешь делать!.. Вздохнет старуха, головой покачает, мысленно выберит брата, отчасти и племянника, да и пойдет опять домой копошиться что-нибудь в своей избе.

И теперь, в настоящий вечер, волей-неволей сидела она в четырех стенах вместе с Катериной и маленькими ребятишками; и пустыми казались снаружи Охлопки. Только двое старших детей Никешки, – мальчик лет девяти и девочка, ему ровесница, – были на воле и своим присутствием, своим веселым криком, оживляли пустынный вид усадьбы. Сначала, подобравши рубашонки, босыми ногами бродили они по реке, потом ударились бежать в перегонки один от другого, пробрались на гумно и, забывши строгое запрещение мять траву, бросились на нее, как на мягкую постель, начали кувыркаться и кататься по ней. За этим занятием застали их Александр Никитич с Иваном, возвращавшиеся домой после того, как сдали в чужие руки свои собственные луга.

– Посмотри-ка, батюшка, как Никешкины-то пострелята мнут наше гумно, – сказал

Иван. – Ведь это они назло... Это ведь их matka подучила: не балуют же в своей стороне, а в нашей... погоди ж, я их...

И Иван пошел к детям с угрожающим криком и жестом. Увидя дядю и отгадавши его намерение, ребяташки вскочили на ноги, закричали, завизжали и ударились бежать к своей избе, беспрестанно оглядываясь назад. Но Иван скоро догнал их, дал хорошую трясоловку одной, несколько тукманок другому. Дети заревели, завопили не своим голосом, точно их хотели удавить, и ударились бежать еще шибче. Эти отчаянные вопли скоро достигли до слуха и сердца матери и бабушки, и, как свирепые тигрицы, выскочили они из дома на защиту своих детенышей.

– Кто вас? Кто вас? – спрашивали они.

– Да вон, дядя Иван прибил! – отвечали они оба, всхлипывая.

– За что?

– Так... ни за что... Взял да прибил.

В это время дядя Иван подходил к ним, весело ухмыляясь. Эта улыбка еще более возбуждала гнев женщин.

– Что ты, разбойник, разбойничаешь? Что

ты, варвар, детей-то увечишь? – кричали они.

– Нет, еще это им мало: в другой раз не эдак одую... Своих не узнают...

– Да что ты, хохотово гнездо, разбойный сын, суда, что ли, на тебя нет... Убить, что ли, ты нас, перевести весь род наш хочешь?...

– А вот как я возьму полено, да почну тебя поленом жарить... – говорила тетка.

– Ну-ка, ну-ка, возьми, возьми... Попробуй сунься...

– Так что ты со мной драться, что ли, будешь?

– Так нешто тебе дам драться?... погодишь, шалишь: зубы не все съела...

– Ах ты разбойник, ах ты окаянная сила! Как тебя мать сыра-земля на себе носит!.. Харк... Тьфу!.. На же вот коли тебе... Поди, протирай зенки-то...

Наталья Никитична плюнула прямо в лицо Ивану.

– Ты, слушай, не плюйся... Я те сам так харкну... Всю рожу заслеплю!.. – говорил Иван, отираясь рукавом.

– Еще погоди: Никанор Александрыч пожалуется на вас производителю, уж пожалуется

и с батюшкой-то, потатчиком... И батька-то у тебя такой же...

– Что, батька, что такой же? – вмешался Александр Никитич, подходя к ссорящимся.

– А вот к производителю пойдём на вас жаловаться.

– Ну, что к производителю? Что, хам, лаешь?... Ну, кто тебя испугался... Что лаешься-то...

– Не лаюсь я... А нам житья нет от вас: он моих детей убил, извести хочет... А кто ему дал волю над ними?...

– Полно, холопья кровь, полно зевать-то... Не задело, что ли, он их пощипал.

– Что уж ему ребят пощипать: он на тетку родную руку хотел поднять, – говорила Наталья Никитична. – Выкормил сынка... Погоди, сам заревешь от него...

– Что ты меня холопством-то попрекаешь: сами хуже последнего холопа – нищие... Наш же холопской хлеб едите, – огрызалась Катерина.

– Да, дамся я тебе поленом драться: поленом-то до смерти ушибешь... Я еще не чужой век заживаю... – говорил, в свою очередь,

Иван.

Тут началась та перебранка, в которой все говорят в одно время и где ничего не разберешь: кричала Катерина, бранилась Наталья Никитична, бранился Александр Никитич, перебранивался Иван; подстала к общей брани жена Ивана, прибежавшая на шум, и кричала всех громче, несмотря на то что не знала даже, в чем дело... Наконец, как и следует, не переставая браниться, заплакала Катерина, заголосила Наталья Никитична и все-таки бранились, захныкали снова ребятишки; им отозвались малолетки, забытые в избе, вышли из себя и стали угрожать кулаками Александр Никитич с сыном... И все это продолжалось до тех пор, пока не выбились из последних сил и не осипли у всех голоса... А ночь незаметно для воющих спустилась и покрыла землю.

Стройковские мужички, воротясь с работы, столпились на противоположном берегу и с удовольствием прислушивались к брани, в которой ничего нельзя было разобрать...

– Ишь ты, какая у них опять перепалка идет!.. – посмеиваясь, говорили одни.

– Что им, парень, делать-то, – замечали, улыбаясь, другие.

Подобные ссоры бывали нередко. Семейная вражда возрастала с каждым годом и перешла в какую-то тупую ненависть... Первоначальный источник этой вражды была зависть. И хотя в настоящее время дела Никеша были вовсе не в таком блестящем состоянии, чтобы возбуждать это чувство, но, однажды зародившись, оно во всем находило пищу. Завидовали и тому, что Никеша знаком с господами; завидовали, когда видели на нем какой-нибудь, невиданный дотоле, поношенный сюртук, бекеш с истертым воротником, полуизорванный бархатный картуз; возмущались, когда на Катерине появилось новое платье; досадовали, что все это доставалось Никеше даром, думали, что он много получает денег, и когда видели в чем-нибудь недостатки – только радовались... А между тем семья Никеша действительно терпела такие недостатки, каких прежде, в былое время, когда Никеша не имел благодетелей, оно не испытывало. Никеша, а за ним и его семья мало-по-малу привыкли располагать свою

жизнь в расчете на помощь благодетелей. В этом расчете Никеша часто оставлял свое хозяйство для разъездов по помещикам; но эти поездки уже не приносили прежних выгод: благодетели перестали быть щедрыми, они присмотрелись к Никеше; в их глазах он не был более интересным шутком, но стал просто скучным попрошайкой. И действительно: Осташков, видя, что господа уже не забавляются на счет него так часто, как прежде, а не забавляясь, забывают его и не награждают, обратился к простейшему средству возбуждать щедрость благодетелей: к простому выпрашиванию. Но это средство оказалось весьма неудобным, по крайней мере мало прибыльным. Никеше давали иногда поношенный сюртук, давали четверик или два ржи, но денег уже он не привозил домой по-прежнему. Между тем, со времени первого его выезда в свет, семья его увеличилась: у него было уже пять человек детей, нужды стало больше, а хозяйство, часто оставляемое хозяином, шло хуже и меньше приносило выгод, между тем и Никеша вышел совершенно из-под власти Натальи Никитичны, обленился, почти

совсем бросил работу около дома, сваливши всю ее на жену, и уезжал из дома часто только для того, чтобы ничего не делать, есть и пить сладко. С горем видела эту неожиданную перемену Прасковья Федоровна и, сговорясь с Натальей Никитичной, напускалась иногда на зятя, упрекая его, что он не заботится о доме и только даром шляется, свалил всю работу на жену, точно на наемную работницу, а сам живет барином, да еще взыскивает, как что не так, да претензии свои показывает. Но уже Никеша был не прежний: он считал уже себя главным хозяином в доме и полным господином своей воли, и на упреки старух отвечал иногда такой бранью, что те только отплевываюсь да уши затыкали. В хорошем расположении духа, или при сильных доводах, когда, например, Прасковья Федоровна указывала на то, что беременная Катерина сама должна дрова рубить и в избу их таскать, что сама она и воду носит, и скотину кормит, и, со слезами на глазах показывая на дочь, говорила бывало:

– Посмотри-тка на Катерину-то: такая ли она стала, какая была, какую ты взял ее от ме-

ня. Смотри-тка, хороша ли стала: высохла да позеленела.

Тогда Никеша в оправдание свое приводил такие резоны, против которых и сама Прасковья Федоровна не находилась, что возражать:

– Так что же мне всю знать свою покинуть, что ли? – говорил он. – Не ездить к господам-то, чтобы и совсем меня позабыли. И теперь-то они уж скупы стали, а тогда и вовсе оставят... После к ним и не подступишься... А вот дети подрастают, Николая-то надо, чай, в учебу отдавать: сама говорила... А кто их станет у меня учить-то, да в ученье-то содержать, как господа-то от нас отступятся?... Что мне детей-то темными людьми, что ли, покинуть, как сам век живу темным человеком?... А как я их обучу без господской помощи? А сам не стану к господам ездить, так они, что ли, станут ходить за мной?... Дождидайся... станут...

– Кто тебе про то говорит... А надо бы и об жене-то подумать...

– Так что же мне делать-то?... Работницу, что ли, из-за нее нанять? Так не от наших капиталов.

Не знала, что отвечать на это Прасковья Федоровна, и дело тем и кончалось, а Никеша опять продолжал свои разъезды.

На следующее утро после описанной ссоры, еще до солнца, Иван вышел с косою на гумно и начал косить на половине Никеша. Наталья Никитична первая это увидела и пришла в сильнейшее негодование.

– Что ты делаешь, обидчик! – закричала она на племянника.

– А что? – отвечал Иван, нахально усмехаясь.

– Да как что? На что ты нашу-то половину косишь?

– А на то и кошу, что ваши ребятишки все гумно у меня перемяли... Так мне из-за ваших пострелят без сена, что ли, оставаться?...

– Батюшки! Что они с нами, душегубцы, хотят делать! Разорить они нас хотят... Катерина, Катерина, поди, матка, посмотри, что батюшка-то с братцом еще выдумали...

Катерина выбежала на зов Натальи Никитичны, увидела, в чем дело, также пришла в ужас и негодование, закричала и завопила; но Иван, не обращая на нее никакого внима-

ния, продолжал подкашивать густую траву. Надрывалось сердце бедных женщин от обиды и сожаления об отнимаемой собственности, но нечем было помочь горю, не к кому обратиться с жалобой: хозяина не было дома.

– Где этот Никанор Александрыч! – говорили женщины, заливаясь слезами. – Погоди, злодей, погоди, вот он придет!

– А что он мне сделает, ваш-то дуралей Александрыч! Больно я его боюсь... Захотим, так и ничего не дадим: еще чем батюшка благословит, тем и владеть будет...

Заливаясь горькими слезами, бедные женщины отступились до времени от обидчика и ушли в избу тужить о своем горе.

Около полуден приехал и Никеша, в сопровождении молодого, высокого, коренастого парня с красным лицом и рыжими волосами. Это был работник Фома, данный Никеше благодетелем на помощь к сенокосу. Никеша правил лошадью, лепясь на передке, а сзади его, раскинувшись во всю телегу и оборотя лицо к солнцу, лежал Фома и спал крепким сном.

Лишь только Никеша остановился у ворот своего дома, к нему выскочили нетерпеливо

его ожидавшие жена и тетка.

– Где ты был, где пропадал? – заговорили они в один голос.

– Где был? Известно, где был... Не на печи около вас сидел... Вот работника промыслил на сенокос. Спасибо, благодетель Яков Петрович пожаловал... – отвечал Никеша. – Эй, Фома Мосеич... а Фома Мосеич... – продолжал он, обращаясь к парню, лежавшему в телеге.

– М-м... – промычал Фома.

– Вставайте...

– Пошел к черту... – отвечал Фома, отмахиваясь.

– Хорошего работничка привез!.. – проговорила жена. – Да что косить-то будешь?... Без тебя уж все давно убрали... К пусту месту приехал...

– Кто убрал?...

– Посмотри на гумне-то: много ли осталось травы-то; всю батюшка-то с братцом про себя выкосили...

– Как так? – спросил Никеша с испугом и изумлением.

– Да так: ты вот гулял да работника искал к пусту месту, а они без тебя взяли, да и скоси-

ли... Да и нас-то изругали, иссрамили всяким гадом и ребятишек-то искалечили...

– Да что за напасть! Как гумно скосили!.. – повторял Никеша, как бы в остолбенении. – Покажь-ка...

– Поди посмотри, батюшка: таково ли тебе будет сладко, как нам... Поди, порадуйся... – повторила жена и тетка, следуя за Ннкешей, который крупными шагами шел на гумно.

– Ах!.. – вскричал только Никеша, увидя подкошенное пространство, и развел обеими руками.

– Да и в лугах-то всю траву-то испродали, Никанор Александрыч: Алешкинские мужики уж и выкосили и увезли... Нам половины супротив летошного-то не оставили... Вот ведь что сделали...

– Ах! – повторил опять Никеша, стоя на одном месте неподвижно и разводя руками.

– Да как срамились-то, Никанор Алксанрыч: какого только гаду не прибрали... Ведь срамота-то какая... Да ведь Ванюшка-то чуть не избил и нас-то...

– Ах!.. – повторил Никеша. – Что ты станешь делать...

– Как что делать... – отозвалась Наталья Никитична... – Неужели им так и позволено разбойничать... Ведь, чай, суд можно найти... Чай, не бессудные... Производителю пожаловаться можно... Неужто уж так в обиду и дадут...

– Вестимо, надо пожаловаться... И вправду они здесь над нами того и смотри убийство сделают... Вот только того и жди... Поди-ка Ванюшка-то вчера, так с кулаками и наскაკивает...

– Пожалуюся предводителю, беспременно пожалуюсь... – говорил Никеша и опять размахнул руками и произнес отчаянным голосом: – Ах ты Боже мой!..

– Пожалуйся, батюшка, Никанор Александрыч, – говорила Катерина, хныкая... – Что уж это на что похоже... Совсем житья нет, совсем заели...

– Пожалуюсь, беспременно пожалуюсь... Вот в Петров день предводитель велел к себе приезжать на праздник... Вот поеду и пожалуюсь...

– Ну, опять уедешь, опять на неделю дом покинешь...

– Так не стану ездить, кто же в нас вступится-то.

– Что не дело-то говоришь... – прикрикнул Никеша. – Теперь нече делать: пойдёмте, отложить лошадь-то да приниматься косить, что осталось... Ах... Ма!..

– Хошь бы ты пошел да хошь бы теперь посрамился со своим-то братцем, – говорила Катерина, идя назад к избе, вслед за мужем... – Хошь бы поругался-то... Ну что за напасть, ведь совсем прохода от него никому нет: вчера... ну, избил ребятишек, так избил... всех извертел...

Никеша ни слова не отвечал. Он подошел к телеге своей, где все еще спал Фома Моисеич, и начал снова будить его...

– Ну что же, вставай Фома Моисеич, – говорил он... – Ведь уж давно приехали... Вставайте...

Фома, после долгих потягиваний, наконец открыл свои заспанные глаза и сел в телеге.

– Ай, парень, на солнышке-то больно сладко спится... – проговорил он, зевая и потягиваясь... – Ну, что, барин, теперь чаем, что ли, станешь угощать али водкой?...

– Полно-ка, Фома Моисеич, пожалей-ка лучше о моем горе...

– Что за горе такое?...

– А такое горе, что совсем избидели... И работать, брат, нам с тобой, почитай, нечего: всю траву у меня выкосили...

– Вона... кто же это!..

Никеша, отпрягая лошадь из телеги, рассказал Фоме все подробно.

– Не знаю уж теперь что и делать! – сказал он в заключение.

– Так как же они так могли... ты, значит, барин, теперь должен это сено с них стребовать...

– Вот и хочу идти к предводителю жаловаться...

– Вот, жаловаться... Да где сено-то: убрано с гумна-то али нет еще?...

– Нет еще, на гумне, только на свою половину перевезли...

– Ну так что: возьми навей и свое и ихнее сено-то на телегу, да и перевези к себе... Вот и шабаш!.. А то еще жаловаться... Они у тебя скосили, а ты у них возьми кошеное – вот и важно будет... И дело без хлопот...

– Да ведь не дадут: поди-ка я ведь вон какой, а брат-от без мала не выше ли тебя – убьет меня и живого места не оставит...

– А я-то на что: обещаю полштофа водки, так я те помогу... Какой бы ни на есть твой брат, еще померяемся... Глянь-ка: вот лапа-то... хошь ли: давай полштофа – все дело оправлю... как следует сделаем...

– А что и есть, Никанор Александрыч, – вмешалась Катерина, – он добрый человек, дело тебе советует... Что и есть: не чужое возьмем, свое... По крайности, пусть не смеяться же им над нами...

– Полноте-ка, поножовщина у вас только выйдет, – возразила Наталья Никитична.

– В-вот... поножовщина! – отвечал Фома... – Моги-ка он меня тронуть только... Полно, барин, ничего не будет, я тебе говорю: обещаю только полштофа – будешь с сеном.

– Не думай, Никанор Александрыч, поезжай; ничего не бойся и есть: свое возьмешь, не чужое.

– Ладно... Выставлю полштофа: поедем... Бабы, выносите грабли...

– Вот люблю!.. Только ты смотри: не на-

дуй...

– Вот тебе на...

– То-то... зяпрягай же опять лошадь-то в телегу, да и поедем! – говорил Фома, проворно слезая с телеги. – Дай я те помогу. Я этак люблю...

– Как?

– А силодором-то сделать что-нибудь...

– А-а?!

– О, смерть моя... Никому не уступлю, коли на то пойдет... Кабы, кажись, мне не во дворе жить, а в разбойники бы идти, что вот дядя Никон у нас в сказках рассказывает... беда бы какой был... Тотчас бы в атаманы посадили... Теперь вот, когда во дворе драча какая али кондра выйдет, я уж тут всегда первый... Так руки и зудятся... Уж коли что на озорство взять, так меня кашей не корми – кликни только...

– О?!

– Пра!.. Я из этого сердцем такой вышел... Ну, готово, поедем... Где хозяйка-то?... Здесь?... Ну ладно... Поедем-те...

Когда Никанор, в сопровождении своей партии, вооруженной граблями, въехал на

гумно, Иван уже был там и докашивал лоскуток луговины. Увидя приближающегося брата, он перестал косить и смотрел, что будет делать Никеша.

– Что вы тут делаете? – закричал он, когда увидел, что телега остановилась у первой копны сена и ее начали укладывать на телегу.

– Это брат-то твой? – спросил Фома.

– Да...

– Ну, парень, эких-то видали...

– Да что вы и сам деле! – повторил Иван подходя к брату. – Ты, Никанор, что хочешь делать?...

– Сено забрать... – нетвердо отвечал Никеша.

– Да это разве твое... Это я накосил... Не трожь...

– Ну и ладно что припас... И на том спасибо, что накосил, а мы увезем... – отозвался Фома...

– А ты что за человек?...

– А я такой человек! Вишь какой: не глиняный, а жилиной да костяной... – отвечал Фома; и с этими словами поднял и бросил на те-

легу огромную охапку сена.

– Да вы что же, с озорством, что ли, приехали?... Не трожь, говорят... Это сено мое...

Тут женщины заговорили было обе в один голос, но Фома остановил их: а вы, знай, подгребай... Что вам тут разговаривать!.. – сказал он им...

– Ну, коли твое, так бери! – обратился он к Ивану. – А либо нам не давай, а мы вот знаем, что свое, так и берем...

– Да ты это и сам деле? – говорил Иван, разгорячаясь и подступая к Фоме.

– А ты что? – отвечал Фома и остановился, подпершись в бока...

– Не трожь, говорят, Никанор, а то не честью прогоню.

– Ну, подступись... – отвечал Фома, не переменив позы.

– Да ты что на глотку-то лезешь... Я ведь и кол возьму...

– Возьми, чем мне ходить: на твоей же спине будет...

– Ох ты!.. – вскрикнул Иван и с поднятым кулаком бросился на Фому.

– Ох ты!.. – вскрикнул Фома и также с под-

нятым кулаком бросился навстречу Ивану.

Они налетели друг на друга. Женщины завизжали, но противники не ударили друг друга, а схватили один другого за ворот, и в то же мгновение на обоих затрещали рубашки, разорванные через всю грудь. Противники после того оставались несколько секунд неподвижными, злобно осматривая один другого.

– Ну, катать! – сказал наконец Фома, откидывая в сторону кулак... И две тяжеловесные зуботычины огласили утренний воздух.

Женщины опять завизжали. Фома размахнулся было, чтобы повторить удар, но Иван вдруг обратился в бегство, потому ли, что почувствовал кровь во рту, или увидел, что противник ему не по силам, или испугался нового нападения со стороны Никанора, который, впрочем, бросился к дерущимся с тем, чтобы разнять их, боясь кровопролития.

– Что, сдрейфил?... Наутек? – кричал вслед ему Фома, отирая щеку, на которой выступило багровое пятно... – Я бы те дал... Что бежишь да плюешь, али зубы ронишь?... Многих ли нет... Ну что? Говорил, что сено будет наше, – обратился он к Никеше. Ну, навивай-

те же проворней... А ты мне, барин, рубаху дай другую... – И Фома преспокойно разлегся на лугу, на том самом месте, где стоял... Нет еще, жидки костя ему барахтаться со мной: я этаких-то четверых уберу...

Между тем воз был навит, но в ту самую минуту, как его утягивала веревкой, чтобы везти, на гумно поспешно пришел, в сопровождении Ивана, сам Александр Никитич. Фома, увидя их, тотчас поднялся на ноги.

– Вот еще другого ведет: какого-то старого пса... Подходи...

– Никанор, ты что разбойничаешь? – кричал Александр Никитич. – Ты что, мерзавец, разбойничаешь?

– Да на что же вы, батюшка, сено-то мое скосили?...

– Да разве твое, разве у тебя есть что твое, разве не на моей ты земле живешь?... Захочу дам, не захочу и из дома-то вон выгоню... Ах ты... Сейчас свали назад сено...

Никанор стоял в нерешимости...

– Вези, барин, что его слушать-то... старого хрыча... – говорил Фома.

Тут вступились было женщины с обыч-

ным своим криком и визгом. Но Александр Никитич не обращал на них никакого внимания.

– Никешка, тебе говорят: свали, – кричал старик.

– Вези, барин! – настаивал Фома и взял лошадь под уздцы.

– Никешка, не послушаешься – прокляну, и не будет тебе моего благословения ни в сей век, ни в будущий и во веки веков.

– Отступись, плюнь, – шепнула Никеше Наталья Никитична. – Против родителя, видно, не пойдешь... Отступись: им в прок не пойдет... За обидимых Бог накажет...

– Ну, так сваливайте! – проговорил, смутившись, Никеша.

– Что? Сваливать?... – отозвался Фома. – Не дам сваливать: вези домой.

– А ты, молодец, не буянь: я еще пойду в деревню да попрошу, чтобы тебе руки скрутили да в суд представили; чтобы ты не буянил, не дрался бы...

– Пожалуй, представляй: я господский человек, за меня мой господин ответит... Ну нечего, барин, пустого-то разговаривать: вези

сено домой, благо воз навили...

– Нету, Фома Мосеич, надо, видно, свалить: родители приказывают...

– Так сваливать будешь?...

– Надо свалить.

– Так тьфу тебе... чертово урево... Из-за чего же я хлопотал-то... А еще барин прозываешься... – И плюнув чуть не в лицо несчастному Никеше, Фома пошел прочь, с самым недовольным видом, и, отойдя несколько десятков сажень, лег на земле на самом солнечном припеке. – Наскочил бы ты на меня еще: я бы тебе дал... – бормотал он, злобно посматривая в ту сторону, где остались его враги и союзники...

Когда Фома ушел и в то время, пока сваливали воз с сеном, Александр Никитич продолжал бранить Никешу. Тот ничего не возражал, но Катерина и Наталья Никитична отбранивались.

– Да ну, что еще лаешься, – сказала наконец Наталья Никитична, когда телега была совершенно опростана. – Вот твое сено, возьми его, подавись... Разве и тебе Бог попустит, что обижаешь сына с внучатами? Не попу-

стит небось... Экой отец!.. – И уныло, с поникшею головою, на пустой телеге поехал Никеша обратно к дому, сопровождаемый смехом Ивана и бранью и угрозами отца.

– А ты не убивайся, Никешенька: пущай, Бог с ним, родительская воля... А с твоего добра он не разживется... А ты работай-ка по-прежнему, да встань на прежнюю ступень, так и будет у тебя всего много и без отцовского.

– Ну, у вас только и есть, что работай, а много ли сами-то без меня работаете... Как бы я-то не промышлял, так немного бы нажила... – бормотал про себя Никеша.

Они поравнялись с Фомой.

– Ну что, барин, все для тебя сделал: сам не умел получать, на себя и пеняй... А новую рубашку ты мне предоставь, хошь с себя сними...

– Пойдемте.

– Куда?... Завтракать что ль?

– Нет еще, завтракать-то рано, а надо косить приниматься...

Фома свистнул.

– Нет, барин, шалишь: косить-то уж я не

пойду, сыти... Нет, вон у меня скулы-то какие... За водкой пошли, так-так, выпить можно...

– Теперь не время... А надо косить: скоро роса поднимется, тогда на косу не пойдет...

– Я тебе сена-то было много накосил, да сам из рук выпустил, так наплевать тебе... Вот рубаху-то новую подай...

– Ну пойдете.

– Да куда я пойду... пошел к черту...

– Да что это, батька, – вступилась Наталья Никитична, – тебя, чай, господин-то не на боку лежать прислал сюда, а помочь покосить...

– Я вам и то помогал от всей души, а вы вон и завтракать-то не даете... С голодным-то брюхом плоха работа...

– Да дай, батька, управиться-то: всякое тебе угощение предоставим, а теперь какой еще завтрак: хлебца, коли хошь, вынесем... Вот и поешь...

– Спасибо... Ешь сама...

– Так как же это, друг любезный, ведь не станешь работать, так и господину твоему так и Никанорушка скажет, пожалуется, что ты господского приказа не исполнил...

– Да ну, отступись: подавай косу... Я те на-
кошу, чертовка этакая... Я те уважу!.. – бормо-
тал он... – Неси косу... Вишь ты: жаловаться
хочешь... Много вашей братьи нищеплетов:
на каждого не накосишься...

Принесли Фоме косу и он стал рядом с Ни-
кешей.

– Ну, смотри же, барин, поспевай, – сказал
он и быстро замахал косою, но косил так
неровно и с такими пропусками, что Никеша
решился заметить ему.

– Ну как же еще косить: вишь, на вас ни-
чем не потрафишь... Глаже, что ли, косить?...

И Фома так размахнулся косою, что она до
половины вошла в землю – и переломилась.

Обе женщины вскрикнули и чуть не за-
плакали от огорчения и досады. Никеша тоже
рассердился и огорчился.

– Что же вы это делаете... Это вы напрас-
но... Это, братец, нехорошо... Что вы даром
только добро мое – косу изгубили, а работы от
вас нет... Это я барину на вас жалобу должен
произнести...

– Эх, барин, поднес бы ты мне водки да дал
бы закусить хорошенько, так я бы тебе, зна-

ешь... не то что, а весь бы сенокос один тебе управил... А то кто на тебя станет голодный работать... Пожалуй, жалуйся барину: разве он тебя похвалит, что выпросил человека работать, да и накормить не хочешь...

– Что вы напрасно говорите... Как же можно, чтобы не накормить, а только что еще не управились... Поди, Катерина, сделай хоть яичницу поскорее...

– Да водки, барин: сам купить обещал, а то и работать не стану... Вот тебе и весь тут сказ...

– Да, стоишь ты водки... Обидчик ты, видно... – вмешалась рассерженная Катерина... – Как бы моя была воля, так не то что поить тебя да кормить, а просто напросто: пустила бы я тебя голодного домой: ступай, голубчик, пришел ты не работать, а бражничать... Нам тебя угощать не из чего... Шел бы домой, попер бы верст-то тридцать с пустым-то брюхом, так и умнее бы был... Вот, право бы сделала...

– Сделай!.. Так как-то он, барин-то твой, господин, к нам на двор нос-от покажет?...

– Ступай, Катерина, в свое место: не твое

тут дело, – возразил Никеша. – Говорят тебе – яичницу изжарь, да к дяде Николаю сбегай: возьми водки на гривенник...

– Вот так-то лучше... Угостишь – и работать стану как следует! – говорил Фома, развалясь на траве.

– Эких работничков возит! – бормотала про себя Катерина, с недовольным лицом отправляясь к избе своей.

Никеша, скрепя сердце, продолжал косить один. Наталья Никитична ничего не говорила, слушая весь этот разговор и смотря на все происходящее. «Нет, не те у нас порядки пошли, не настоящие, и Никеша стал другой...» – думала она про себя и только неодобрительно покачивала головою.

И угощение мало помогло: Фома, выпивши во дни и порядком закусивши, работал лениво и Никешу только развлекал своими рассказами и разговорами. И вышел этот работник только даровым нахлебником. Да еще на другой день после сенокоса, когда стал собираться домой, требовал, чтобы его подвезли на лошади, а когда отказали, обругал на прощанье и обещал, как приедет Никеша к его

барину, сделать ему какую-нибудь пакость... Так шло все хозяйство Миксши с помощью и под покровительством благодетелей помещиков. Но чрез неделю после сенокоса Никеша счел нужным ехать к предводителю на Петров день, а по дороге завернул и к Якову Петровичу Комкову, чтобы поблагодарить его за пожалованного работничка. Комков полюбопытствовал узнать, хорошо ли работал Фома, Никеша слегка на него пожаловался и рассказал свои похождения вместе с Фомою за сеном на отцовское гумно: Яков Петрович очень смеялся над всем этим и как будто даже остался доволен выходками Фомы. Никеша тоже улыбался, слушая веселый смех своего благодетеля, и радовался, что его рассказы доставляют удовольствие.

Предводителем на текущее трехлетие был избран Рыбинский, к великому неудовольствию и оскорблению Паленова, который рассчитывал было занять это вождеденное звание. Но трехлетие приходило к концу; будущею зимой должны были быть выборы и Рыбинский старался поддержать расположение дворян. Образ жизни его не изменился: дом его по-прежнему представлял нечто вроде трактира с цыганами, хлебосольство и расточительность оставались прежние, но сам Рыбинский держал себя с дворянами уже иначе и успел вооружить против себя многих из них. Почетность и независимость положения предводителя, раболепное низкопоклонство уездных чиновников и мелких дворян, из которых многие называли его «ваше превосходительство», а иные, в порыве восторга самоуничижения, целовали у него руки, развили в Рыбинском врожденную склонность к самоуправству, доводившему его почти до ребяческого задора. Он как будто считал своею обязанностью при всяком случае делать

назло уездным судам, умышленно заводил ссоры с губернатором и другими губернскими властями. Хотя все это и нравилось молодым людям и привлекало их к Рыбинскому, зато возмущало против него людей семейных и солидных, из которых Паленов умел составить против него оппозиционную партию. Рыбинский знал это и мало беспокоился: он понимал, что большинство на выборах останется на его стороне; он знал, что расчетливому и даже скупому Паленову, притом человеку семейному, дом которого придерживался строгого этикета, не привлечь такого сочувствия дворянства, какое привлекало его хлебосоличество, его открытый стол и дом, отсутствие всяких приличий, простота, а подчас даже и покровительственная грубость обращения. Он понимал все это если не по соображению, то инстинктивно, — и не боялся соперничества Паленова и его оппозиции на выборах; но самолюбие Рыбинского уже не удовлетворялось званием уездного предводителя: он мечтал попасть в губернские. Для этого минувшую зиму он провел в губернском городе, познакомился с помещиками других уездов, за-

давал роскошные обеды, устраивал общественные удовольствия, за которые великодушно расплачивался из одного своего кошелька, одним словом, – удивил и пленил почти весь город своей расточительностью. Теперь день своего ангела он хотел отпраздновать в деревне с особенным великолепием и приглашал на него помещиков даже из отдаленных уездов, рассылая ко всем программу предстоящего праздника, точно афишу на какое-нибудь театральное представление. И чего-чего не было в этой программе: и театральное представление на открытом воздухе, и балет в естественной роще при искусственном освещении, и бал с ужином, и народный праздник с угощением народа, и кавалькада ночью с факелами, и ночные прогулки на лодках по воде с фейерверками, и кулачные бои у простого народа, и скачка на тройках, и пр., и пр., так что один помещик, прочитавши эту программу, только плечи поднял да руками развел, примолвля: столпотворение вавилонское! Содом и Гомор, да и баста!.. А другой лаконически проговорил только: «Разорится!.. Лопнет!.. Помяните мое слово – лопнет!..»

Разумеется, на такой праздник нельзя было не ехать, хотя бы и за сто верст; но долго, однако ж, в семейных домах разрешался сомнительный вопрос: можно ли ехать дамам к холостому человеку. Впрочем, женское любопытство победило излишнюю щекотливость приличий: и за день и накануне Петрова дня на обширный двор усадьбы Рыбинского беспрестанно въезжали разнообразные экипажи, запряженные тройками, четверками, шестью и наполненные разряженными дамами. Никешина тележка также приютилась где-то скромно, в самом дальнем уголке. Ему тоже было милостиво приказано явиться на предстоящий праздник.

В день праздника после обедни все гости сошлись в парадные приемные комнаты хозяина и тотчас же сами собою разделились на группы: тысячедушные до пятисотдушных включительно составили одну группу на самом видном месте около хозяина. К этой группе примыкали молодые и холостые люди разных состояний, даже стодушные, но побывавшие хоть раз в жизни в столицах. Из прочих посетителей к этой группе подходили

иные разве только за тем, чтобы засвидетельствовать свое почтение, и тотчас же отходили к своим. Примыкая к этой группе, но все-таки отдельно, составлялась другая из помещиков, считавших себя людьми не столь богатыми и знатными, но имевшими право голоса и шар на баллотировке. Наконец третья группа, помещавшаяся большею частью в первой зале поближе к входным дверям и в бильярдной, образовалась из мелкопоместных дворян и неважных чиновников уезда; а важными, как известно читателю, считаются в уезде городничий, исправник да судья: они принадлежат ко второй группе, принимаются с любезною улыбкою и в первой, и сами с такой же улыбкою обращаются к третьей. Все эти группы образовались сами собою, без воли и распоряжения хозяина, который старался оказывать особенное внимание второй группе, как самой многочисленной и состоящей из людей более для него нужных. В первой группе шел разговор солидный, спокойный и внушительный, возникали иногда споры, но и они сопровождались и оканчивались с каким-то особенными достоинством. Во второй группе

было больше одушевления и веселости, больше шума, смеха и споров. Зато очень скромно, молчаливо и осторожно держала себя братия третьего кружка: казалось, что там чувствовалась всеми какая-то неловкость и даже преждевременная скука. Дамы, разумеется, были все вместе, но здесь еще скорее и резче обозначалось различие положений, состояния и костюмов, тем более что встретилось много между собою незнакомых, съехавшихся из разных сторон; и теперь пока, до более подробных исследований, общественное положение и право на уважение каждой из них определялось прочими только по одному костюму. В дамском кругу чины и состояние играют большую роль и имеют еще более значения, нежели в мужском. Женщина никогда не уважает другую женщину за ее личные достоинства, она даже и себя ценит не по самой себе, но или за мужа, или за родных, или за состояние и образование, которое ей дали.

Рыбинский старался быть любезным хозяином и употреблял все усилия, чтобы сблизить дам, но напрасно: они дичились друг друга, и каждая старалась держаться ближе к

тем, с которыми была знакома прежде. Единодушного разговора никак не возникало; и чем более Рыбинской старался об этом, тем выходило хуже, потому что каждая из них сердилась на другую, с которою Рыбинский заговаривал.

Между прочими гостями были и старые наши знакомые: Неводов, Комков, Тарханов. Приехал и Паленов, не желая обнаруживать своего нерасположения к Рыбинскому; но жены с собою не привез. Он, разумеется, фигурировал в первой группе и ораторствовал со свойственным ему красноречием о всевозможных предметах.

Между прочим, выбравши такую минуту, когда больше было слушателей, он обратился к Рыбинскому:

— Я, Павел Петрович, давно собираюсь обратиться к вам, как предводителю, с покорнейшею просьбой. Я уверен, что вы, как истый русский дворянин и дворянин нашего уезда, исполните мою просьбу, потому что она касается интересов одного из дворян нашего уезда. Я говорю о несчастном Осташкове. Я заметил, что он здесь, что вы удостоили

и его приглашения наравне со всеми нами, но я не знаю, известно ли вам, в какой бедности, нищете и всякого рода лишениях находится его семейство. Но бедность и лишения материальные ничего не значат в сравнении с нравственными лишениями. Я полагаю, вы в этом совершенно со мною согласитесь?

– Может быть... Но в чем же дело?...

– У этого несчастного Осташкова пять человек детей тогда, как он не имеет средств даже прокормить их, а не только дать образование, которое требует от дворянина наше время, наш век... А между тем детям надо дать воспитание...

– Что же с этим делать? Не нанять ли на общий счет гувернантку для его детей: так ведь ни одна не пойдет к нему, – отвечал Рыбинский иронически. – Эй, Осташков, поди сюда! – закричал он ему через всю комнату. Осташков поспешно бросился на призыв.

– Как ты думаешь: пойдет к тебе гувернантка, если бы мы ее наняли для тебя...

Осташков глупо смотрел в глаза и улыбался, ничего не отвечая и стараясь сообразить, к чему и о чем его спрашивают.

– Слышишь ли? Что же не отвечаешь. Вот Николай Андреич предлагает дворянству на общий счет нанять для тебя гувернантку, чтобы она обучила тебя грамоте и французскому языку вместе с твоими детьми... Говори: желаешь ли ты этого?...

Все присутствующие смеялись. Паленов вспыхнул.

– Вы шутите, – сказал он, стараясь удержать гнев, – шутите судьбой несчастного бедняка-дворянина, а я, пользуясь тем, что здесь собралось дворянство почти всего нашего уезда, хотел обратить общее внимание на судьбу этого бедняка и думал, что вы, как предводитель, примете в нем участие и захотите ознаменовать день нашего ангела каким-нибудь добрым делом...

– Э, полноте, Николай Андреич, об этом поговоримся еще на выборах: делу время и потехе час, а сегодня я хочу, чтобы все веселились вокруг меня, чтобы все забыли о своем горе, чтобы даже Осташков забыл о своей бедности и о своей многочисленной семье. Я даже приготовил для него особенную роль в живых картинах. Он будет изображать собою до-

вольство, будет сидеть на кипе книг, голова, лицо и руки будут вымазаны у него скоромным маслом; перед ним будет стоять несколько блюд с кушаньями и корзина с винами, кругом его будут стоять мешки с деньгами и одна из красивейших вакханок будет возлагать венок на его масляную голову. Весь же труд твой Осташков будет состоять только в том, чтобы сидеть смиренно да смотреть на все такими глазами, как ты обыкновенно смотришь после сытного обеда, когда тебе спать хочется... Не правда ли: это будет чудесная картина?

Все захохотали, иные обиделись, а Паленов надулся и журавлиными шагами, с выпущенной вперед грудью, красный как рак, с неудовольствием отошел от Рыбинского. Через несколько минут он подозвал к себе Никешу.

– Пока этот негодяй будет предводителем, – сказал он ему, – не жди ничего для твоего семейства: он нисколько не заботится о дворянстве, которое сдуру избрало его своим представителем. Это оттого, что он сам пария, сам случайно разбогатевший нищий. Но я и

один помогу тебе: привози ко мне своего сына, я дам ему образование на свой собственный счет... А чтобы ты был уверен, что это не одни только слова, что я сказал это не на ветер и не для того только, чтобы похвастаться или потешить тебя, ты теперь же можешь рассказать об этом всякому. Я покажу этому выскочке, этой вороне в павлиньих перьях, как должен держать себя дворянин со своими меньшими братьями.

Осташков бросился было целовать руку Паленова, но тот не допустил и строго заметил, что какие бы чувства ни волновали душу дворянина, но он не должен позволять себе никакого движения, которое могло бы унижить его в глазах прочих. Этого тебе, может быть, не сказал бы хозяин здешнего дома: он был бы даже очень рад унижению своего собрата перед собою, но то он, а это говорю я. Надеюсь, ты сам знаешь, кто из нас имеет более прав на уважение и доверие.

Между тем подали сытный завтрак, на котором так много было разных водок и вин, что любители имели полную возможность привести себя в желанное состояние.

После завтрака Рыбинский пригласил всех на престо­народный праздник. На большом господском дворе собралось несколько сот крестьян. Все мужики Рыбинского были в красных рубашках: у кого не было своей, тому была выдана от господина. Бабы также были наряжены в однообразные кокошники. Среди двора возвышалось несколько гладко выстро­ганных и намазанных салом столбов разной вышины, на вершине которых висели каф­таны, шляпы, сапоги и т. п., предназна­ченные для искусных, сумеющих влезть на столб и снять их оттуда. Несколько качелей, гора для катанья помещались по сторонам. Среди двора красовалось на возвышении несколько бо­чек вина и пива с разными закусками – са­мый любопытный предмет в глазах собрав­шегося многолюдья.

Народ давно уже и с нетерпением толпил­ся около бочек, столбов, качелей, ожидая, ко­гда выйдет барин и даст приказание начи­нать.

– А что, Ванюха, станешь ли пить вод­ку-то? – слышалось в толпе.

– Как, паря, не пить, как поднесут.

- Да, станут ли, парень, водкой-то поить.
- Ну, вот! Так не станут, что ли?
- А ну, может...
- А что?
- Так... Может, и не станут.
- Ну, так и так уйдем.
- Да нет, парень, чай, поднесут...
- Ну, как не поднести: на что же и выстав-
лять, коли подносить не станут...
- Знамо дело: на что и выставять...
- Долго барин-то не выходит...
- Долго-то, долго...
- А что, Петруха, – слышалось в другой сто-
роне, – что ты полезешь на столб али нет?
- А что?
- Да так: мол, полезешь али нет?
- Полезу...
- Ведь, чай, не достанешь ничего.
- А может...
- Да нет, не ссяжешь... Тебе не ссягчи... Ра-
зе уж как...
- А может, и ссягу?!.
- Да знамо: оно годится, не купленное.
- А что, матка, будем ли на качелях-то ка-
чаться?

– Знамо, будем... И на качелях этих, и на горе вон... Вон ребяташки поехали: не утерпели, пострелята... Вишь, вишь...

– Да что больно барин-то долго не выходит... Покатался бы, девка... Чай, ведь страшно.

– Да чего бояться-то: только сиди знай, да крепче держись... Долго барин-то нейдет...

– Долго и есть, девка.

Наконец на террасе дома, выходявшей на двор, вместе с гостями показался и Рыбинский. При виде его, вся толпа заревела ура! Именинник поклонился и махнул в воздухе шляпою. В то же мгновение сзади народа взлетела ракета: белой, едва заметной полосой прокатилась она среди дневного света, потом опрокинулась, устремилась вниз, и вдруг, не долетая до земли несколько сажен, лопнула с треском над головами зрителей. Это был сигнал для открытия праздника. Несколько человек виночерпиев явилось у бочек с вином, и народ снова огласил воздух радостными криками. В необыкновенно короткое время весь народ уже был навеселе. Начались хороводы, пение. Образовались от-

дельные толпы около качелей, горы, столбов. Некоторые из гостей сошли с террасы и подошли, чтобы посмотреть поближе на одного смельчака, влезавшего на самый высокий столб за плисовой поддевкой и сапогами. Несколько раз уже он обрывался и скользил вниз, возбуждая насмешки зрителей, но не терял присутствия духа и лез снова, поднимаясь с каждым разом все выше и выше.

– Петруха, опять в Нижний поедешь скоро! – кричали смельчаку из толпы.

– Эй, Петрай, смотри, морду облупишь...

– Столб-от, столб-от раздавишь...

– Ребята, сало лижет, сало лижет... У-у, поехал! – кричал народ, сопровождая смехом новое падение Петра. Но тот, опустившись вниз, только оглянулся сердито, да отер пот с разгоревшегося лица и пошаркал руками землю.

– Не все вам смеяться, – бормотал он, – вот как все сало-то оботру со столба брюхом-то, так и кафтан мой будет: тогда и смейтесь...

И он снова полез и еще с большею быстротою и ловкостью, чем сначала. Народ сначала смеялся над новым его покушением, но когда Петр поднялся до такой высоты, что остава-

лось сделать еще последних два-три движения и он был бы у цели, а между тем он, видимо, ослабел и как бы в отчаянии прильнул к столбу, крепко охвативши его руками, народ вдруг изменился: сначала затих, потом стал посылать ему ободрительные приветствия. Долго висел Петр в таком положении, потом вдруг быстро рванулся вверх, сделал смелое движение в сторону и схватился руками за крестообразный переклад, лежавший на вершине столба. Но при этом ноги его оборвались и он повис на одних руках в вышине семи сажен над землею. Весь народ застонал в испуге, на террасе поднялся визг и писк, с кем-то из дам хотело сделаться дурно. Но Петр уже был вне опасности: покачавшись несколько секунд на воздухе, он быстро взметнулся ногами на ту же перекладину, на которой висел, и, перевернувшись, сел на нее верхом. Все это было сделано так быстро, что народ не успел опомниться, но удовольствие его было полное, неописанное, когда Петруха, сидя там, на верху, взял в обе руки поддевку, встряхнул ее и надел на себя, а на голые ноги свои стал примеривать сапоги. Когда Петруха

спустился на землю, толпа с громкими криками окружила его и увлекла куда-то.

Гости, находившиеся на террасе, и особенно дамы, желали видеть героя, который так высоко взобрался по столбу. Рыбинский послал человека, чтобы отыскать Петра, но его долго не могли найти, и когда подвели к балкону, он был уже совсем пьян. Переваливаясь и глупо ухмыляясь, со шляпою в руке, подошел Петр к террасе.

– Что, брат, уж ты, видно, успел порядком выпить? – спросил его Рыбинский.

– Есть, Павел Петрович, есть... Было...

– Ну, ничего, ничего для праздника... Да ты мой, или нет?...

– Как же... Твой, Павел Петрович, твой... Вашей милости... Значит, Петруха Назаров...

– Ну, брат, молодец ты, Петруха Назаров, молодец... А я уж думал, что на этот столб никто не влезет...

– Гм... Петруха Назаров завсегда... для вашей милости... значит, должны служить... потому слуга твой... Можно завсегда...

– Спросите его: как это он мог сдегать, что так высоко вгез... – говорила, обращаясь к Ры-

бинскому, одна из девиц, очевидно желавшая обратить на себя внимание хозяина, для чего умышленно картавила, откидывала назад голову, принимала разнообразные позы и придавала глазам то жгучее сладострастное, то мечтательное выражение.

– Слышишь, о чем спрашивают? – спросил Рыбинский.

– Потому... господин приказал... а мы должны служить. Потому господин желает: Петруха Назаров, значит, влез... Петруха Назаров должен... Вот и...

– Какая пхеданность к вам, мсье Рыбинский... – воскликнула та же девица.

– А ты, я вижу, Петруха Назаров, большой плут... Не только я тебе не приказывал ничего, я и не знал даже до сих пор, что ты живешь на свете... Вот их преданность!.. – заключил Рыбинский, обращаясь к окружавшим его.

– Поставлен столб на производящего, для их удовольствия, для забавы, а они считают точно их на барщину выгнали, а на барщину выйдут, так не работают... Канальи – народ, плут... – заметил высокий, тучный и рябова-

тый помещик с густыми бровями и суровым взглядом.

– Пока русский крестьянин будет работать по приказанию, и праздничать тоже по приказанию, до тех пор он будет считать и всякое гулянье на господском дворе за барщину... И это я нахожу справедливым с его стороны!.. – возразил молодой человек не из богатых, но проживавший большею частью в столицах, белокурый из рыжа и с желчным выражением лица.

– Но, надеюсь, вы не думаете, что я стогнал своих мужиков палкой на этот праздник, который устроил для них... – возразил Рыбинский, недовольный и почти оскорбленный словами молодого человека.

– Помилуйте, я никогда этого не думал, я даже уверен, что нынче не у многих помещиков и на барщину палкой выбивают... Кажется, пора убедиться, что русский крестьянин и без палки способен исполнять свои обязанности...

– Ох, вы, молодые люди, – возразил угрюмый помещик, – говорите вы обо всем смело да решительно, точно все на свете испыта-

ли... Живете вы в столице, мужика русского совсем не знаете, а туда же рассуждать беретесь... Ничего, сударь мой, русский человек без кулака да без палки не сделает... Это уж как вы хотите... Поверьте моей опытности...

– Но ведь и вы русский человек: зачем же вы себя добровольно обрекаете на вечные побои и поругание...

– Я, молодой человек, – другое дело, и ко мне эти слова относиться не могут; вы, милостивый государь, слишком вольнодумствуете: хотите поставить на одну доску меня и простого мужика... что вы это проповедуете?... А?... Я бы советовал вам не очень давать волю своему языку... И не знаю, откуда вы набрались такой фанаберии... Батюшка ваш был человек смирный: бывало, ходил ко мне и за счастье почитал, когда его приглашали отобедать в моем доме, а когда я упросил дворян, чтобы его выбрали в заседатели, так он чуть в ноги мне не кланялся, руки целовал: тут он и состояние себе составил... Вот что, молодой человек, ваш родитель был человек смирный, почтительный: за то его и любили... Вот бы и вам с кого пример брать.

Молодой человек позеленел от стыда и злости, у него засохло в горле и горели глаза.

– Я жалею своего отца... Я стыжусь за него... Я никогда бы... никогда не знался с такими людьми, как... – говорил молодой человек прерывающимся и глухим голосом.

И Бог знает, чем бы кончился этот разговор, если бы не вмешался в него Паленов: желая приобрести еще нового партизана, он надумал вступить за молодого человека.

– Позвольте мне по этому поводу выразить свое мнение, – заговорил он, – век, к которому принадлежал батюшка господина Киреева, был не тот, к которому принадлежит он сам. То был век низкопоклонства, смиренномудрия, век меценатства и клиентства; тогда не стыдились просьбы и поклона, великодушно оказывали благодеяние и без гордости протягивали руку помощи неимущему... Теперь настал век личной самостоятельности, век энергической деятельности, сознание собственного достоинства развилось...

– Ну, понес... – проговорил вполголоса и со смехом Рыбинский. – Эй, Осташков, поди скажи там бурмистру, чтобы высылал гоняться

взапуски... Да, если хочешь, запустишься и сам...

Осташков, который стоял внизу у террасы, поспешил исполнить приказание. Многие из окружающих засмеялись при словах Рыбинского.

– Что такое будет? Что такое будет теперь? – спрашивали некоторые из дам.

– Будут бегать взапуски и победитель получит один из этих подарков, которые, видите, висят на арке! – отвечал Рыбинский.

Близ террасы была поставлена деревянная арка, на которой висело нарядное крестьянское платье. Тот, кто первый возвратится к арке, пробежав известное расстояние, получит это платье как приз.

Паленов взял под руку Киреева и отвел в сторону.

– Да, вот видите, чем занимается представитель привилегированного сословия и чем тешит и надеется приобрести расположение своих избирателей... То любовался, как пьяный дурак лазил на столб и чуть не сломил себе шею, а теперь предлагает посмотреть, кто из его пьяниц скорее бежит взапуски... Ну, что это такое, скажите пожалуйста... И не

забудьте, что этим занимается представитель дворянства. А настоящим своим делом, настоящими своими обязанностями не хочет заняться... Подобные ребячьи забавы важнее для него дворянских интересов...

– Признаюсь, я сначала думал, что Рыбинский умнее и дельнее, нежели как выходит на самом деле! – отвечал желчный молодой человек.

– Рыбинский умный и дельный человек! Помилуйте, что вы... Нет человека пустее его... Ведь это только наше дворянство решается выбирать таких людей в предводители. Я не говорю уже о его развратной жизни... Но эта небрежность, невнимательность, даже какое-то обидное презрение к дворянству и его интересам!.. Конечно, может быть, и потому, что он и сам рагвену в нашем сословии и каким-то двусмысленным способом получил это состояние... И представьте, этот-то человек, говорят, решается баллотироваться в губернские и надеется быть избранным...

– Ну, в губернские-то прикатят...

– Уж, признаюсь вам, если наше дворянство осрамится этим выбором, в таком случае

лучше не числиться дворянином нашей губернии... Я, по крайней мере, уверен, что вы, как современный и развитый человек, не положите свой шар направо этому господину...

– Я полагаю... – отвечал желчный молодой человек.

Между тем несколько молодых ребят, совершенно одинаково одетых, в красных рубахах и легких полосатых шароварах, выстроились в ряд у арки.

– Ну, смотрите, ребята, – говорил Рыбинский, – как ударю в ладоши три раза, так и бежать. Ну, слушайте: раз...

– А ты, Андрюха, не порывайся: что ногу-то выставил...

– Где выставил?... Что тебя тут... А ты знай свое дело: мотри, не зевай...

– Не прозеваем мы... А ты вперед-от не забирай... Держи линию...

– Ну, молчите же, ребята... слушайте... Осташков, командуй же, коли сам не хочешь бежать...

– Сейчас-с, Павел Петрович... Я их уставляю... Ну, ребята, р-а-аз, два-а... Стойте, стойте... Ведь еще не сказала три, так чего бежишь...

– Да вон все Андрюха рвется... Его коли ин из кона вон...

– Да что все Андрюха у вас... Васька, чай, первый принял...

– Ну, стойте же, братцы, пожалуйста, стойте... Вот как скажу три, так и бегите... – распоряжался Осташков. – Ну... Раз, два, три...

Закинувши головы назад, выпуча грудь и живот и размахивая руками ударились бежать состязающиеся.

В этом зрелище, по правде сказать, не было ничего интересного, но большинство гостей, находящихся на террасе, принимало, по видимому, большое участие, кто кого опередит из этих бегунов. Но все они бежали тихо и тяжело. Вдруг из-за одного надворного строения, с которым только что поравнялись они, выскочил невысокий ростом, худощавый, растрепанный мужичонка, босой, в клетчатой затасканной рубахе. Он в несколько прыжков опередил бегущих и в одно мгновение оставил их за собою. До цели, от которой бегуны должны были возвращаться назад, он добежал задолго прежде всех прочих, перекувырнулся несколько раз через голову и сел на

земле в ожидании бегущих. Вся толпа народа пришла в движение при появлении этого нового лица.

– А, Кутруга бежит, Кутруга бежит, – кричали многие. – Вот бы тому бежать-то надо. Уж этого бы никто не выпередил... Где его выпередить... Ловок больно, черт, бегать-то... Мотри-ка, мотри, что делает... Что делает-то, ребята... Ах ты, рви тебя горой... что делает...

Появление Кутруги оживило всех мужиков. В толпе поднялся шум, смех, гвалт. Между тем присяжные бегуны, добежавши до моты, спокойно повернули назад и, не считая Кутругу своим соперником, заботились только, чтобы не отстать друг от друга. Кутруга опять дал им убежать вперед себя на несколько десятков сажень, потом вскочил, сразу обогнал их и, не добегая до террасы, вдруг встал на руки, прошел на них несколько шагов, к общему удовольствию, прокатился колесом мимо террасы, почти через весь двор, и при громком восторженном крике народа скрылся в толпе и исчез. Никто уже не хотел и смотреть на остальных бегунов, никто не заметил, когда и кто первый из всех стал под аркою.

Рыбинский пришел в совершенный энтузиазм, забыл о гостях и об искусственной солидности, которую накинул на себя ради важности и предводительского своего достоинства.

– Поймайте мне его, приведите сюда... Я хочу видеть его поближе! – кричал он. – Это замечательное явление... необыкновенная личность!.. Ребята, да кто он, откуда?..

– Да это наш, батюшка, пастушонка, вот из деревни Нефедовки, так мужичонка ледащий, а смотри-ка ты, что делает... – отвечал один из мужиков.

– Что же мне давно про него не сказали?..

– Станный человек, Павел Петрович, – говорил Паленов с иронической улыбкой, стоя в другой стороне террасы, – от каких пустяков воодушевляется, приходит в совершенно детский восторг!..

– Вот он, вот!.. Ведут наконец! – говорил Рыбинский, увидя, что двое мужиков вели Кутругу, который упирался, приостанавливался, шел робко и нехотя...

– Поди сюда, поди сюда, Кутруга... Молодец, брат, молодец... Не бойся же, поди сюда...

Вот возьми себе все это платье, что висит тут: и кафтан, и сапоги, и шляпу, все возьми: ты это выиграл...

Тщедушное крошечное лицо Кутруги, похожее на засохший лимон, съежилось еще больше, лукавые глаза запрыгали от радости; но он только посматривал на нарядное платье и не брал его, как бы опасаясь не смеются ли над ним...

– Возьми же Кутруга: что ж ты не берешь?... Эй, отдайте ему все, что есть на арке... Поди же нарядись во все это и приходи сюда скорее... Я хочу, чтобы ты еще прошел колесом, как давеча... Поди же, переоденься поскорее...

Кутруга взял платье, поклонился в ноги Рыбинскому и, засмеявшись громко, детским смехом, бросился бежать, точно боялся, как бы у него опять не отняли подарка.

– Ну а вы, ребята, все осрамитесь перед ним! – продолжая Рыбинский, обращаясь к гонявшимся. – Награда принадлежит по всем правам ему. Нате вот вам целковый: подите выпейте...

Пристыженные, с опущенными головами,

пошли они к Лолле, ругая Кутругу, и бранясь между собою.

Кутруга явился одетый в новое нарядное платье, с сияющим от радости лицом.

– Ну, Кутруга, поди прежде всего выпей водки, – сказал ему Рыбинский. – Ты ведь любишь водку?...

– Хе, хе, хе! – засмеялся Кутруга дребезжающим смехом. – Как можно не любить водочку...

– Ну так поди выпей и потом потешь нас: пройдишь колесом...

Кутруга живо исполнил приказание: выпил залпом несколько рюмок и прокатился вокруг всего двора. Народ оставил свои песни и хороводы, чтобы посмотреть на этого доморощенного акробата.

– Не правда ли, господа, это замечательный господин? – обратился Рыбинский к гостям.

– Да-с, удивительный! – отозвалось несколько голосов.

– Меня просто приводит в негодование этот восторг; вот чем занимается наш предводитель! – пожимая плечами, вполголоса гово-

рил Паленов.

Между тем объявили, что готово кушанье. За столом гости сами собою, без указания хозяина и без предварительного совещания, расселись по достоинству. Хотя большинство из гостей с презрением отозвалось бы об этом, вышедшем из моды, несовременном размещении гостей по чинам, хотя сам хозяин казался либералом; но тем не менее это размещение совершилось само собою: все ничтожное, мелкое, все, что составляло третью группу общества, по какой-то особенной силе тяготения потянуло к нижнему концу стола, напротив все значительное, тяжеловесное, самоуверенно разместилось около хозяина, на верхнем конце стола. Но, к величайшей обиде этого верхнего конца, и особенно одного генерала, бывшего в числе гостей, а также и Паленова, считавшего себя тоже на правах генерала, Рыбинский посадил рядом с собою, по правую руку, и просил быть хозяйкою, постороннюю, мало известную даму, — и пускай бы еще из важных, а то из очень средних, по понятиям общества: жену лесничего, у которого Рыбинский обыкновенно останавливал-

ся, когда бывал в городе. Здесь следует оговорка: в уездах, богатых лесами и производящих лесную торговлю, должность лесничего вовсе не маловажная и личность его довольно значительна: там он живет иногда очень роскошно, нанимает на зиму в городе прекрасную квартиру, держит лошадей и экипажи, знаком со всем околотком, дает вечера и обеды, на которых шампанское иногда льется рекою. Если бы лесничий, жене которого Рыбинский сделал такой преферанс, принадлежал к описанному сорту лесничих – ну, пусть бы еще так: общество могло бы оправдать Рыбинского; но в настоящем случае и этого оправдания не существовало: количество казенных лесов в уезде было самое незначительное, лесной торговли не производилось, а вследствие этого и самая личность лесничего считалась весьма незначительною. Общество было возмущено и скандализировано крайним образом. Генерал, поместившийся за столом по левую руку хозяина, пыхтел и краснел от неудовольствия; Паленов двусмысленно улыбнулся и что-то с жаром нашептывал своему соседу, кидая презрительные взгляды на

хозяина и жену лесничего; маменьки невест вдруг почувствовали ненависть и даже какое-то омерзение к Рыбинскому: они снова разочаровались в его нравственности, особенно когда некоторые из них припомнили, что Рыбинский, бывая в городе, останавливается у лесничего. Разумеется, все эти ощущения были скрыты с тонким приличием; новее, однако, обед начался как-то невесело и молчаливо – более молчаливо, нежели начинаются вообще всякие обеды. Впрочем, роскошь кушаний и изобилие вина скоро развязали языки на нижнем конце стола; верхний конец хотя не скоро, но тоже разговорился, и к концу обеда уже все общество единодушно и шумно беседовало: и негодование общества как будто совершенно изгладилось или затихло... Но общество не знало, что в этой самой зале, где оно обедало, находилось одно существо, никем не замеченное, не многим и знакомое, в душе которого кипела ключем злоба против лесничихи... На хорах залы находились музыканты, которые должны были услаждать слух гостей, в то время как насыщались их желудки. Среди их за колонною

скрывалось одно лицо, которое не сводило глаз с Рыбинского и его соседки. Это была старая наша знакомая Параша, смотревшая уже теперь не ребенком-баловнем, но совершенно сформировавшейся женщиной. С годами Параша стала хуже: черты лица ее сделались очень резки, а выражение глаз сурово. Страсть и в то же время какая-то сдержанная, замкнутая злоба светилась в этих черных глазах, когда они устремлялись на Рыбинского и лесничиху. Параша некоторое время пользовалась большим расположением своего барина: одевалась франтовски, ела с барского стола, имела особенную комнату и величалась во дворне уже не Парашей, а Прасковьей Игнатьевной; даже начинала приобретать некоторое влияние на Рыбинского, как вдруг знакомство его с женой лесничего совершенно охладило его к Параше. Хотя она пользовалась еще прежними преимуществами и удобствами, но Павел Петрович почти не обращал на нее внимания, а вслед за бариним и догадливая на этот счет дворня начала выражать покинутой фаворитке свое недоброжелательство. Все это чрезвычайно оскорбляло страст-

ную и самолюбивую натуру Параши; она догадывалась, кто был причиною ее страданий, и сегодня нарочно пришла посмотреть на свою соперницу. Жена лесничего была маленькая, очень веселая и живая женщина, с выпуклыми влажными губками, бойкими черными глазами и необыкновенно свежим цветом лица. Но мнению Параши, она не имела в себе ничего особенного и не заслуживала предпочтения, какое оказывал ей ее барин: тем обиднее и больнее было для нее это предпочтение. Не спуская глаз смотрела она на свою разлучницу, бледнела, вздрагивала и придумывала мщение.

Между тем к концу обеда гости повеселели и разговорились; даже Паленов забыл, по-видимому, и свое недоброжелательство к хозяину, и свои цели, сделался весел, любезен и многоречив.

Этот легкий обмен колкостей не остался незамеченным и обнаружил две партии: все молодое поколение, к которому, впрочем, относили себя и некоторые очень пожилые и даже женатые люди, втихомолку посмеивались над Паленовым и готовы были рукоплес-

кать Рыбинскому; за то дамы и все степенные, солидные люди, оскорбленные предпочтением, оказанным лесничихе, были на стороне Паленова.

Соперники замечали впечатление, производимое их разговором, и, конечно, он на этом не кончился бы, но в это время налито было шампанское и музыка заиграла туш: гости поднялись с бокалами в руках, чтобы принести поздравление имениннику. Лишь только позатих шум от двигавшихся стульев и шаркавших ног и все гости заняли снова свои места, как вдруг поднялся, с бокалом в руках, какой-то черный, грязный и растрепанный господин. Это был помещик шестидесяти душ, Кочешков, присяжный уездный поэт, воспевавший всевозможные события уездной жизни, одержимый бесом стихописания к великому огорчению супруги своей, женщины с болезненным плаксивым лицом, которая жаловалась каждому встречному, что муж у нее на погибель ей дан: навел детей целый дом, а ни о семействе, ни о хозяйстве, ни о чем не хочет подумать. В службу не идет, а только пьет целый день для какого-то вдохновения

да бумагу переводит. Имение все расстроено, ничем заняться не хочет, де еще чем жену успокаивает: вот, говорит, я скоро умру от душевных каких-то страданий; тогда все мои стихи отпечатают и будут продавать дорогой ценой, и ты разбогатеешь. А какие страдания! Весь жиром облился, никогда болен не бывает, поясница от роду не баловала, да еще уверяет, что я, больная женщина, здоровее его, что я только телом страдаю, а он духом, что он нарочно от Бога создан таким непохожим человеком в отличку от других людей, что с виду здоров и толст, а всегда будто бы страдает и мучится... и жить ему недолго... Не умрет, не причешется никогда: красота, говорит, моя внутри... Так, блажит весь век, дурит, да еще меня же упрекает, что у него возвышенная душа, а у меня не возвышенная... Да и не желаю я этакой возвышенной души... Погубил он меня с ней...

– Позвольте вас приветствовать, дорогой именинник, от лица муз, языком поэта! – сказал Кочешков, обращаясь к хозяину.

– Ах, очень приятно! Благодарю поэта за честь, которой он хочет меня удостоить... – от-

вечал хозяин.

Поднявши над головою бокал с шампанским, Кочешков начал декламировать:

*Ты предводитель наш любимый,
Избранник наших всех сердец,
От дворянства всего чтимый,
Добрый, как детьми, отец...
Прими, руками муз сплетенный
Тебе, хвалебный сей венец!..*

Далее следовало воспевание разных добродетелей именинника. За тем выражались желания благодарных сердец всех дворян уезда. По мере чтения поэт одушевлялся и наконец пришел в такой экстаз, так замахал руками, что облил шампанским и себя и соседей.

*Теперь, поэтом увенчанный,
Ты смело совершай свой путь.
Венец от муз, поэтом данный,
Славней наград всех – не забудь!..
И как ты счастлив в день сей
славный,
Так и всю жизнь ты счастлив
будь...*

– Bravo! Ура! Ура! – с одушевлением закричало несколько человек, для которых всякая

рифмованная галиматья кажется верхом мудрости, которые способны увлекаться и приходить в одушевление от всякого вздора, лишь бы он был высказан торжественно и с азартом. Иные смеялись втихомолку, другие хохотали не стесняясь, но всех громче, всех откровеннее раздавался хохот нашего старого знакомого, добряка Комкова, так что заглушил и говор, и крики и обратил на себя общее внимание. Упершись руками в бока, закинув голову назад, раскрывши рот, покачиваясь и колеблясь тучным туловищем, хохотал Комков до слез, до удушья.

– Да что с вами? Да что с ним? – спрашивали гости, смотря на Комкова и невольно улыбаясь.

Кочешков, несмотря на всю свою самоуверенность и самообольщение, принял этот смех на свой счет и обиделся.

– Как бы ни было дурно поэтическое произведение, – сказал он, – но такое глумление во всяком случае неприлично и доказывает только грубость душевную... Над произведением чувства и вдохновения посмеются разве только невежды...

– Ох!.. Ох!.. Отстань... не над тобой... – едва в силах был выговорить Комков, и с новой силой залился тем же неудержимым хохотом.

– Да что с тобой, Яков Петрович?... Что ты, братец, с тобой истерика, – сказал хозяин. – Хоть скажи, над чем хохочешь...

– Не... не... не могу... Ох!.. Ха, ха, ха!..

– Это, однако же, обидно... Что это такое?... В такую торжественную минуту... – бормотал Кочешков.

– Да отстань, не над тобой... Вот над кем!.. – проговорил Комков, указал на Осташкова и снова залился смехом.

Глаза всех с любопытством обратились на Осташкова, и он, бедный, то со смущением осматривал самого себя, то нерешительно, робко и вопросительно обводил глазами окружающих.

Насилу-насилу Комков прохохотался и мог объяснить, в чем дело.

– Когда Кузьма Иваныч читал свои вирши, я взглянул нечаянно на Осташкова... и если бы вы видели, господа, какая у него была рожда... ха, ха, ха!.. Он не знал, что ему нужно делать при таком обстоятельстве: плакать ли,

смеяться ли; посмотрит на всех – видит, что все слушают; и он уши наставит, слушает, а видно, что ничего не понимает... рожу старается сделать плаксивую... Ох, ох!.. И вспомнилось мне, как он только что вступал в свет, как мы у Неводова упрашивали его, чтобы он имений нас не лишил... и как Параша у тебя его прельщала, а потом плюху дала... Вспомнил все это, да как взгляну на него... Ну не могу видеть: смех так и одолевает... Ух, уморил!..

Комков вытер слезы на глазах.

– Что вспомнили! – проговорил Осташков.

– Да, Осташков, давно это было, а вот – вспомнилось... Помнишь, как ты хотел поцеловать Парашу, а она тебе дала туза... Помнишь?...

– Ну, что вспоминать старое... Яков Петрович... Помоложе был... неопытней, – отвечал Осташков, застыдившись.

– Что это за Параша? – спросила лесничиха с коварной улыбкой.

– Это девка у меня, которая отлично плясала по-цыгански.

– А теперь где же она?

– И теперь у меня.

– Я бы хотела посмотреть, как она пляшет. Можно заставить?

– Можно... Завтра во время спектакля она будет плясать...

– Пожалуйста... Ах как мне хочется видеть... Хорошо она пляшет?...

– Удивительно... когда воодушевится...

– А кто же этот Осташков? Он дворянин?...

– Да... однодворец...

– Что это значит?

– Дворянин без крестьян.

– Значит, он очень бедный...

– Совсем нищий...

– Чем же он живет?

– Работает, землю пашет... Да он-то прожил бы хорошо: он таскается от помещика к помещику, его кормят, одевают, денег дают... А вот семья его несчастная, так нуждается...

– А у него и семья есть?

– Большое семейство... кажется, пять или шесть человек... Ах, знаете что пришло мне в голову... У вас нет детей... возьмите у него дочь к себе на воспитание...

– Ах... что же... это чудесно... Я с радостью возьму, особенно если хорошенький ребеночек...

нок... Ну вот если какой-нибудь больной или безобразный... уж не люблю... А здорового, хорошенького ребенка с радостью возьму...

– Непременно возьмите, – продолжал Рыбинский очень тихо и наклонился к лесничихе: – Это будет очень полезно для нас. Во-первых, придаст смысл нашим отношениям и даст нам возможность чаще видаться... Ребенок будет на моем содержании, но мне нельзя взять к себе в дом девочку: я холостой человек... у меня некому присмотреть... и потому я прошу вас заняться ее воспитанием... Вы понимаете?... Во-вторых: для нас очень может быть полезен сам этот дурак Осташков... Он, как отец, может часто бывать у вас... и через него, в случае надобности, вы безопасно можете передать ко мне все, что будет нужно... А главное, меня утешает то, что вы пристыдите всех этих наших уездных дур тем, что прежде всех их вызоветесь сделать доброе дело для одного из дворян нашего уезда... Так вы согласны?...

– Совершенно...

– Отлично... После обеда же и объявите Осташкову... Ну а потом ведь, если надоест ре-

бенок, от него отделаться недолго: отдали в пансион – и дело с концом... Ну а это помните же: содержание ребенка на мой счет...

– Да это все равно... Об этом не стоит говорить...

– Само собою разумеется, это останется между нами: я не хочу оглашать таких пустяков... Но муж ваш на всякий случай должен знать об этом... Вы понимаете – на всякий случай...

– Ах, тонкий политик! – с улыбкой проговорила лесничиха.

– Я не люблю компрометировать женщину... и делать ее жертвою сплетен...

– А что, Параша будет плясать?...

– Непременно...

– Что, она хорошенькая?

– Была...

– Была?... А теперь? – И по лицу лесничихи опять скользнула лукавая улыбка.

– Теперь подурнела.

– Как бы мне хотелось ее видеть поскорее!

– Увидите.

– А сегодня нельзя?... Послушайте: велите ей быть моей горничной, пока я здесь, у вас...

– Что за фантазия... Однако мы так долго шепчемся, что обратим на себя общее внимание... Ваш благоверный уж, кажется, дуется...

Рыбинский мельком взглянул в ту сторону, где сидел лесничий, белокурый, еще молодой человек, но уже с истощенным, осунувшимся лицом и впалыми щеками. Воспаленные покрасневшие глаза и зарумянившийся нос его доказывали, что лесничий покутил-таки на своем веку. Он, действительно, смотрел на Рыбинского и жену, но полузакрытые глаза его выражали скорее усталость, нежели досаду или ревность.

– Ему просто спать хочется! – проговорила жена его в полголоса и с улыбкой.

Обед кончился. Рыбинский поднялся с своего места и с поклоном пожал руку лесничихи, благодаря ее, как хозяйку. Затем уже обратился к прочим дамам. Молодые люди, следуя примеру Рыбинского, с любезностями окружили временную хозяйку. Гости-тузы не хотели признать ее и, раскланявшись с хозяином, неловко отворачивались от жены лесничего и уходили прочь. Незнакомые с нею, особенно богатые дамы, окидывали ее гордым, пре-

зрительным взглядом и проходили мимо; но знакомые и принадлежавшие к тому уезду, которого Рыбинский был предводителем, не выдержали и, победивши внутреннее неудовольствие, с улыбками и приветствиями подавали руку ненавистной лесничихе; некоторые даже, не будучи знакомы, заговаривали и просили позволения познакомиться.

– Mesdames, – сказал Рыбинский, умышленно громко, ведя под руку Осташкова, который был в смущении от такой чести и беспрестанно целовал предводителя в плечико. – Сегодня за обедом Юлия Васильевна объявила мне свое намерение сделать доброе дело для одного из наших дворян, именно вот для монсьера Осташкова: она хочет взять на воспитание к себе его дочь. Не правда ли, что это доброе дело? Она меня даже сконфузила, когда я вспомнил, что я ничего еще не успел сделать для его семьи. Юлия Васильевна, – продолжал он, обращаясь к жене лесничего, – вот рекомендую вам, тот господин Осташков, многочисленность семейства которого так тронула ваше доброе сердце.

Юлия Васильевна несколько сконфузи-

лась.

– Но зачем же вы объявляете об этом с такой помпой! – сказала она с легким упреком.

Осташков, немного навеселе, скоро расчувствовался и со слезами на глазах поцеловал ручку Юлии Васильевны.

– Не оставьте вашими милостями. Заставьте за себя вечно Бога молить. Покорнейше вас благодарю за ваше такое неоставление... Бог вас наградит, что не оставляете бедного человека... – говорил он, отирая глаза.

– Ах, господин Осташков, мне, право, известно... Пойдемте отсюда куда-нибудь... Мы поговорим с вами наедине... И она ушла с Осташковым в другие комнаты...

– Юлия Васильевна, кажется, рассердилась на меня, что я объявил об ее намерении; но доброта ее сердца привела меня в восторг, и я, как предводитель, счел себя обязанным торжественно высказать ей благодарность за одного из наших дворян. Ведь никому же из нас, господа, не пришло в голову сделать что-нибудь для детей Осташкова... На будущих выборах, господа, нужно пристроить кого-нибудь из его сыновей.

– Конечно, конечно! – слышалось несколько голосов.

– Я еще утром сегодня имел честь говорить вам об этом, – заметил Паленов с горькою улыбкой, – но вам не угодно было обратить внимания на мои слова... И я объявил тогда же Осташкову, что так как дворянство не желает обратить внимания на его бедственное положение, то я один беру на себя воспитание и образование его сына. Еще давеча утром объявил я ему об этом.

– Я этого всегда ожидал от вас, Николай Андреич, – отвечал Рыбинский, – я это предвидел – и потому не торопился говорить об этом. Я убежден, что все наше дворянство всегда считало вас способным и готовым на всякое доброе дело, если бы вы даже и не изволили объявить о вашем намерении облагодетельствовать Осташкова... Но тем лучше: теперь судьба двоих из его детей устроена: нам надобно будет подумать на выборах, куда бы поместить другого его сына... Однако, господа, до выборов еще долго... Пойдемте курить.

И гости шумною толпою двинулись вслед за хозяином на террасу.

— Ну, так как же, господин Осташков, вы отдадите мне вашу дочь?... — спрашивала Юлия Васильевна Осташкова в другой комнате... — Да как вас зовут?

— Так точно-с: то самое прозвание... Осташков... прозываюсь... от своего рода.

— Нет... Ваше имя?

— Никанор-с...

— А отчество?

— Александрыч...

— Ну-с, Никанор Александрыч, так вы отдадите мне вашу дочь?

— Как же я могу это сделать, чтобы не отдать... Я должен это за великое счастье почитать... Вы хотите мне этакую добродетель сделать, а я бы стал еще ломаться...

— И вам не жалко будет?

— Эх, матушка, их у меня много... конечно, как своего детища не жалко; да ведь я ее не на бездолье отдам, для ее же счастья. А у меня-то, при моей бедности, чтобы она увидела... Какое бы я ей мог образование или ученье предоставить...

– Я ее буду держать как барышню, учить по-французски, на фортепьянах... Вы рады будете?...

– Как же не радоваться... что же уж этого лучше...

– А у вас много детей?

– Да ни много ни мало: шестеро, да седьмой скоро будет. Три сына да три дочери... Это добро, матушка, скоро копится... не что другое... У меня жена, слава Богу: что ни год, то и ребенок...

Юлия Васильевна смеялась и закрылась платком. Осташков тоже засмеялся...

– Да что делать-то, сударыня... люди мы еще молодые...

Юлия Васильевна засмеялась еще громче.

– Ах, что он говорит...

– Вы на меня, матушка, не прогневайтесь: я человек не ученый, темный... Может, что и не так скажу: не осудите...

– Нет, нет, ничего... Вы очень любите вашу жену?...

– Как же не любить жены... Кого же и любить, коли не жену...

– Уж будто и нельзя не любить жену...

– Да как же это можно... Зачем же и жена, коли ее не любить...

– О, хитрите!.. А как же давеча рассказывали, что вы хотели поцеловать какую-то Парашу...

– Ну да что это... это ничего больше, как одно баловство было... Да ведь уж это давно же и было... Молодо тогда еще был, неопытен...

– А что это за Параша такая?...

– Так девчонка в то время была у Павла Петровича... насчет танцев.

– Хорошенькая?

– Ну уж знатная девка, писанная... да и вор же была...

– А теперь где же она?

– И теперь при здешнем доме находится...

Ну да теперь совсем не то стала...

– Что же, подурнела?

– Нет, она и теперь еще из лица-то авантажна... Ну, уж известно все не то, что прежде... А то, что гораздо степеннее стала... Тоже годы... Опять же и детная стала...

– Как детная? Что это значит?

– А так... значит, своими детьми обзавелась... Вот и присмирела... Дети-то, ведь, ма-

тушка... они... ой, ой, ой! сколько заботы-то прибавляют...

– Разве она замужем?

– Нет, какое же замужем... Она так-то есть в комнатах... – Осташков подмигнул. – Что делать-то, сударыня!.. Это уж этакое дело. Без этого мужчине нельзя, хоть весь белый свет изойди... Барин тоже холостой, молодой... не на стороне же искать... Известно, как бы женат был, так об этом бы не думал: свой бы закон был... Да вот нет, не женится... Видно, по сердцу не находит...

Юлия Васильевна молчала и сидела задумчивая и сердитая, нахмуривши брови и надувши губки.

– Что вы, матушка, не на меня ли за что прогневались... не сказал ли чего в обиду?

– Нет... так... голова что-то болит... Что же эта Прасковья здесь как хозяйка, как барыня?...

– Э, полноте-ка, матушка. Разве Павел Петрович такого ума человек, чтобы дал холопской крови властвовать... Нет, ведь он из умных умный: сами изволите знать... Это дело такое... Ведь не холоп и сам деле... Известно,

русская пословица говорится: полежала кость на столе, пока не оглодали... а оглодали – и под лавкой навалается... Была и Прасковья Игнатьевна в чести, а все полной хозяйкой не была... А теперь, вот уж с год... кажись, и совсем ее честь отошла... Кажись, уж совсем ее отставил от себя... Нет, ведь это такое дело: потешился, надоела... Ну, и пошла прочь...

Юлия Васильевна повеселела.

– Ну, так привозите же, Осташков, вашу дочку... Вы мне которую же отдадите?...

– А вот, матушка, позвольте... тоже с женой надо переговорить... Надо полагать, уж станем просить вас взять старшенькую...

– А что, она хорошенькая?...

– Ну, уж знатная девочка... Такая девчонка... веселая да вострая... Уж откуда бы ни приехал: тятка гостинку подай... затормошит... Кажись, кабы не наша бедность, не расстался бы с ней ни за что... Да что делать, сударыня... бедность!.. И жаль да отдашь...

– Ну, так привозите же!.. – проговорила Юлия Васильевна, вставая.

– Так позвольте же, матушка... Ведь я вот говорил с вами, и дочку отдать хочу... как по

Павлу Петровичу... А ведь ни имени вашего, ни отчества не знаю... Извините, матушка.

– Меня зовут Юлия Васильевна Кострицкая... Муж мой лесничим в здешнем городе.

– Ну, матушка... буду помнить... Позвольте же ручку вашу поцеловать... Покорнейше вас благодарю... Такое вы милосердие делаете, что... уж зреть не можно...

Осташков старательно тер платком глаза, ожидая, что из них польются слезы.

Юлия Васильевна пошла отыскивать своего мужа. Она отыскала его в стороне на террасе, дремлющим, с полузакрытыми глазами. В одной руке он держал трубку, а в другой карту.

– Пройдемся со мной по саду: мне надобно поговорить...

– Нет, матушка, не могу: глаза слипаются, спать хочется... А вот еще карту всучили: играть надобно... Да говори: здесь никто не услышит...

– Ты знаешь, mon cher, – сказала Юлия Васильевна, – я беру к себе приемыша...

– Слышал, матушка, что-то такое, да не понял хорошенько... Какого приемыша!.. Что ты

тут еще затеяла...

– Тут есть дворянин Осташков, очень бедный человек, а у него большое семейство, так я хочу взять у него дочь на воспитание.

Лесничий захохотал.

– Чего не выдумает... Да зачем она тебе... что ты с ней будешь делать?...

– У нас нет своих детей: она будет у нас вместо дочки...

– Очень нужно... навязать себе на шею какого-нибудь постреленка...

– Что же, она будет занимать меня, служить мне развлечением...

– Черт знает что такое!.. Чего женщинам не придет в голову...

– При том она нам ничего не будет стоить... Все содержание ее Павел Петрович берет на себя...

– Иван Михайлович, пойдете... Пора!.. – позвал лесничего один из его партнеров, показывая ему издали карту.

– Иду, иду, – отвечал лесничий, поспешно поднимаясь со своего места... – Ну, как знаешь, матушка... Это не мое дело... – проговорил он наскоро, уходя от жены.

IV

Вскоре после обеда некоторые из гостей, Впрочем весьма немногие, и в том числе Паленов, уехали домой: Рыбинский не сказал ни одного слова, чтобы остановить их: хотя такой скорый отъезд и не был для него приятен, но он знал, что уезжают его недоброжелатели. Прочие гости также мало-помалу разбрелись: иные, по привычке, соснут после обеда, многие сели играть в карты, другие пошли шляться по саду, любители вмешались в толпы гуляющего народа, где много алело красных платков и передников, дамы разошлись по отведенным для них комнатам, чтобы приготовиться к предстоящему балу, который назначен был в 9 часов вечера. Осташков, полусонный, с мигающими, едва смотрящими на свет Божий глазами, в надежде будущих благ, поместился возле карточных столов, с полным самоотвержением предназначая себя на закуривание трубок, подавание огня и т. п. услуги играющим. Рыбинский отказался играть в карты под тем предлогом, что ему нужно осмотреть приготовления к

предстоящему вечеру. Он вышел в сад, мимоходом заглянул в павильон, где сегодня должен быть бал, а завтра балет и спектакль, поглядел на приготовления к фейерверку и потом углубился в отдаленную и запущенную часть сада. Эта часть сада составляла совершенный контраст с другою его половиною, прилежащею к дому, вычищенной, подстриженной, прибранной. Здесь вековые угрюмые сосны, кудрявые веселые березы, роскошные липы росли беспорядочно, но во всей безыскусственной красе своей. То сбивались они в сплошную непроницаемую для солнечных лучей чащу, в которой светло-зеленая листва и белый ствол берез ярко оттенялись на темной зелени сосны и липы; здесь и днем царствовал полумрак, сюда никогда не проникали солнечные лучи и грудь жадно вдыхала сырой, напитанный древесным дыханием, воздух. То вдруг, как бы с умыслом, деревья расступались, оставляя среди себя всю освещенную солнцем, всю радостно сияющую луговину. Рыбинский вышел на просеку, разделяющую этот парк, сквозь которую с одной стороны виднелся его дом, и остановился

здесь. Он, видимо, кого-то ожидал, потому что оглядывался в ту и другую сторону, прислушивался и ходил нетерпеливо взад и вперед. Место это казалось очень уединенно и пустынно, особенно после того шума и движения, который остался назади и гул от которого долетал даже сюда. С четверть часа ходил Рыбинский таким образом, наконец ему, как видно, надоело это ожидание; он лег в тени и довольно равнодушно закурил сигару. Впрочем, через несколько времени вдали от дома показалась женская фигура; Рыбинский заметил ее, бросил сигару и пошел к ней навстречу. Это была Юлия Васильевна.

– Юлия, ангел мой, что ты так долго, – говорил Рыбинский, воротясь с нею и протягивая руку.

– Я не хотела было совсем идти! – сухо отвечала она.

– Отчего это? Посмотри, как здесь хорошо: прохладно и уединенно. Здесь нас никто не увидит. Я нарочно выбрал это время, после обеда: теперь никому не придет охоты идти сюда: все либо отдыхают, либо играют в карты, а ваша братья, барыни, погружены в

осматриванье и приготовление своих тряпок к вечеру. Следовательно, эти минуты принадлежат нам. Это наше время.

Из просеки они повернули в чащу, и при последних словах Рыбинский хотел обнять Юлию Васильевну.

– Оставьте меня, – сказала она, уклоняясь от него.

– Что это значит? – спросил Рыбинский с удивлением.

– Я досажую на себя, что решилась исполнить свое обещание и пошла сюда; этого мало сказать, что досажую, – я презираю себя.

– Юлия, да что с тобой? Это не ты, это не твои слова, не твое лицо! Зачем эти сердитые взгляды, эти надутые губки... Ты шалишь, шутишь?...

– Да... А вот эти слова, так похожи на вас: вы думаете, что женщина всегда должна быть весела, мила, забавна, потому что она служит игрушкой для вас: даже иногда может казаться и сердитою, огорченною, несчастливою, но только ради шутки, для того чтобы заинтересовать вас новостью, разнообразием.

– Послушайте, Юлия Васильевна: это становится наконец скучно. Вы или объясните мне, в чем дело, или лучше прекратите нашу прогулку. Я вас ожидал вовсе не для того, чтобы видеть вас в дурном расположении духа. Вы знаете, что я люблю вас вовсе не такую, какую вижу вас теперь.

– Вы любите! – с горькой усмешкой проговорила Юлия Васильевна. – Как вы решаетесь повторять эти слова, когда я знаю, что вы находились, а может быть, и теперь еще находитесь в связи с одной женщиной...

Рыбинский засмеялся.

– Это было бы очень смешно и наивно, если б я стал уверять вас, что до тридцати слишком лет (Рыбинский не хотел сказать, что ему минуло сорок) я не знал женщин и вы были первая, с которой я сблизился.

– Но вы уверяли меня, что любите; вы клялись, что не любите ни одну женщину так, как меня.

– Да, это правда...

– Правда... Какая же правда, когда вы держите около себя другую женщину, которую любите!..

– Да про кого вы говорите? Растолкните мне, ради Бога!

– А, вы не знаете... А Параша?...

Рыбинский захохотал.

– Ну послушайте, Юлия, как вам не стыдно: к кому ты меня ревнуешь, с кем ставишь себя на одну доску?... С девкой, с горничной...

– Но ведь ты любил же ее?...

– Да разве ты не понимаешь, какая это любовь?... Это такая же любовь, как, например, любовь к рюмке водки, которую пьешь до обеда, к сигаре, которую любишь выкурить после обеда, это одно физическое, так сказать, ощущение... о котором даже и говорить известно. Притом если бы и можно было, положим, назвать любовью то, что я чувствовал к Параше, так я уже не люблю ее теперь, с тех пор как встретил тебя...

– Вот, может быть, придет время, когда и обо мне ты тоже скажешь, что любил меня такую... Теперь я уверена, что ты и меня бросишь впоследствии, как игрушку, которая тебе надоела... А прежде я думала, я мечтала было, что ты никогда меня не разлюбишь, никогда не бросишь... Скажи, Поль, это может слу-

читься или нет?...

– Эх, как я не люблю обращаться с вопросами к будущему или вспоминать и думать о прошедшем... По-моему, человек должен жить только в настоящем, потому что только о настоящей минуте он может сказать, что она ему принадлежит... Мне кажется, все эти ваши думы, мечты и ожидания только мешают вам жить: зачем я буду вспоминать печальное прошедшее, когда так хорошо настоящее, зачем мне отравлять это настоящее ожиданием худого в будущем, или тешить себя, может быть, несбыточными мечтами о будущем счастье, тогда как оно под руками... И кто может поручиться за будущее? Думала ли ты, выходя замуж, что эти цепи, которые ты добровольно надевала, будут тяготить тебя; что этот господин, твой супруг, который казался тебе в то время совершенством, образцом всех мужчин, сделается в твоих же глазах таким пошлым, ничтожным существом...

В это время чаща леса, которою они шли, вдруг раздвинулась и зеленой, непрерывной рамкой окружила большой широкий пруд. Светлый, прозрачный и неподвижный, свер-

кая солнечными лучами, отражая в себе небо и прибрежные деревья, блестел он, точно огромное зеркало, положенное здесь в густоте леса для того, чтобы в него могли смотреться с вершин деревьев лесные нимфы.

– Ах, посмотри, как здесь хорошо! Вот сядем здесь... – говорил Рыбинский, опускаясь на траву и привлекая к себе Юлию Васильевну. – Ну подумай, – продолжал он, – было ли бы это хорошо или умно, если б теперь вот, в настоящую минуту, когда на душе у меня так весело, когда я чувствую, что люблю тебя и когда мне хочется выразить тебе эту любовь, я вдруг стал бы смущать себя вопросами: а что, Юлия, всегда ли ты будешь любить меня... И зачем мне об этом думать, когда я знаю, что моя Юлия любит меня, что от меня зависит, чтобы она любила меня всегда...

– Ах, какой самоуверенный... А почему вы знаете: может быть, я не люблю вас...

– Потому что меня не может не любить та, которую я люблю... – отвечал Рыбинский, крепко обнимая и целуя Юлию...

– Гадкий... Он всегда делает из меня все, что хочет... – лепетала она, страстно обвивая

руками его шею...

Вдруг что-то невдалеке от них с шумом упало в воду. Наши влюбленные встрепнулись. После первого движения невольного испуга Рыбинский скоро пришел в себя и потихоньку приподнялся над берегом пруда, чтобы рассмотреть в чем дело. Юлия Васильевна, напротив, как бы замерла на месте. Это был Осташков. Бесплодно просидев часа два около карточного стола, он наконец чувствовал, что не в силах более одолевать сон, и надумал, для ободрения себя, выкупаться; но так как около ближайших прудов был постоянно народ, поэтому он и рассудил отправиться в так называемый лесной пруд, уединенность которого ему была известна.

Когда Рыбинский объяснил Юлии причину их испуга, она всплеснула руками и закрыла лицо.

– Ах, какой срам, он, вероятно, все видел и расскажет по всему уезду... Я убедилась, что он страшный болтушка: он ведь мне и про тебя и Парашу все рассказал. Ах, какой срам, Господи!

– Что он нас не видал, в этом нет сомне-

ния, иначе он не осмелился бы купаться так близко от нас. Впрочем, я это сейчас узнаю... Ты поди вперед, а я пойду к нему и поговорю с ним: я тотчас узнаю по его лицу и словам, видел он нас или нет... В просеке ты подожди меня: я тебя нагоню вместе с ним и покажу вид как будто нечаянно встретились.

Юлия Васильевна мигом прынула в лес; но лишь только она сделала несколько шагов в лесу, как лицом к лицу очутилась перед незнакомой ей женщиной, которая стояла неподвижно на дороге. Черные глаза ее, прямо устремленные на лесничиху, сверкали зловещим огнем, бледное суровое лицо выражало ненависть и злобу. При взгляде на нее Юлия Васильевна задрожала и чуть не вздрогнула от испуга. Мгновенно, по инстинкту, она отгадала, что это была Параша.

– Что вы, барыня, али заблудились? – спросила она ее, злобно усмехаясь.

– Нет... я не заблудилась... – чуть слышно пролепетала сконфуженная Кострицкая.

– Так как же вы сюда зашли: в такую глушь и даль...

– Так... я гуляла... – отвечала Юлия Васи-

льевна, стараясь пройти мимо Параша.

– Неужто вы здесь одни... гуляли-то... без кавалера? – продолжала Параша, следя за нею.

– Одна... – машинально отвечала Юлия Васильевна.

– Как же вы это так одни?... Этак вы еще напугаетесь чего... Вы бы хоть вот Павла Петровича попросили проводить... Он вот тут неподалеку... прошел с какой-то барыней...

При последних словах Параша насмешливо улыбнулась, стараясь заглянуть в лицо Кострицкой.

– Вы не видали его?... – приставала она.

– Нет... не видала...

Параша злобно усмехнулась.

– Не видали... Мудреное это дело, как это вы с ним не встретились... Он тут близехонько сидел с одной барыней... И барыня-то эта больно на вас похожа... Ну как есть одно лицо с вами... М-м... не видали...

Юлия Васильевна совершенно растерялась и шла молча, стараясь уйти от своей преследовательницы; но Параша заметила смущение ее и со злою радостью тешилась им.

– Так не видали, барыня?... – спрашивала она, опять заглядывая в лицо соперницы... – А я видела... И барыню-то знаю... Замужняя ведь... А от живого мужа с чужим мужчиной в лесу гуляет... Ай да барыня!.. Вот бы мужу-то сказать... Пускай бы поучил хорошенько... Да и на что только барин польстился, как я посмотрела: ничем, ничего в ней нет хорошего... Так, ровно белка... выжига какая-то.

Юлия Васильевна увидела наконец, что ей не уйти от преследования этой женщины, она поняла, что Параша заметила их свидание и говорила прямо на ее счет и с намерением оскорбить ее. Смущение и страх мало помалу уступили в душе ее место досаде. Она вдруг остановилась и сердито проговорила Параше:

– Послушай, что ты пристала ко мне?... Я с тобой не говорила и не хочу говорить... Как это ты смеешь беспокоить меня?... Поди прочь!..

– Барыня, да нам дорога-то одна... Я только вас провожаю, чтобы с вами кто не встретился, да не подумал бы про вас чего, что вы так далеко гуляете... Вот ведь я только для чего...

– Поди... я не прошу тебя... Мне не нужно,

чтоб ты меня провожала...

– Что же? Али Павла Петровича будете дожидаться? – спросила Параша и захохотала...

– Да, его дожидаюсь: и когда он придет, я нажалуюсь на тебя, мерзкая, чтоб ты не смела говорить дерзости... И не смела подсматривать... И как ты смеешь со мной говорить...

Параша вся побелела от злости и нимало не испугалась угроз Кострицкой. Она как будто только того и ждала, чтобы раздражить ее, вывести из себя и развязать свой язык, до сих пор стесняемый невольным чувством если не уважения, то осторожности перед барыней. Теперь гнев вполне овладел ею и она даже не хотела скрывать его.

– Да что мне не говорить-то с тобой! – отвечала она на то. – Что ты лучше. что ли, меня, хоть и барыня называешься... Ты такая же любовница барина, как и я, только еще после меня... Я по прежде тебя была у него... вот что... Да еще, видно, и почестнее тебя буду, я девка, никем не обвязана, а ты от мужа гуляешь... Слышала?... Так нечего тебе стращать меня барином... Я его знала по прежде тебя: ничего он не посмеет со мной сделать: у нас

дети есть... Вы думали увороваться от меня?... Нет, не уворуетесь... Везде найду... Ты думаешь, я не догадалась, зачем он тебе эту угольную комнату отвел и ход особенный... Нет, голубушка, не дам я тебе отовладеть его у меня... И не думай... Пусть лучше жизни своей лишусь, пусть он меня разобьет, а уж не дам вам надругаться надо мной... Вот возьму, да так глаза и выцарапаю, все волосы твои растреплю...

И Параша с угрожающим жестом подняла руку. Юлия Васильевна оледенела от ужаса и, ни слова не говоря, ни смея пошевелиться, смотрела на нее: Параша была выше целой головой, а угрюмое лицо, искаженное бешенством, и мрачные, сверкающие глаза были действительно страшны.

Между тем Рыбинский, оставшись один, подошел к тому месту, где купался Осташков. Тот, увидавши его, удивился и сконфузился: глупо ухмыляясь, он присел в воду по горлышко, чтобы не показать предводительским очам своего обнаженного тела.

– Эй, Осташков, что это тебе вздумалось здесь купаться?... Ну, если бы кто из дам взду-

мал прийти сюда гулять и застали бы тебя в таком виде...

– Виноват, батюшка, Павел Петрович... А я так думал, что сюда никто не зайдет: место глухое... А в дому-то больно вспотелось... Виноват, извините...

– Да хорошо, что никто не пришел, а я давеча говорил барыням про этот пруд и они хотели прийти посмотреть на него...

– Уж так я глупо сделал, вижу, что сгнул... Простите, батюшка, Павел Петрович.

Рыбинский ясно видел, что Осташков их не заметил.

– Ну, да что ж ты не выходишь: выходи скорее... Мне нужно еще с тобой поговорить...

– Вы только позвольте... поотойдите... А то мне зазорно при вас нагишом-то... Кажется, и не выйти...

Рыбинский захохотал.

– Вот еще, какой стыдливый... Ну, пошел, пошел, выходи скорее... Мне некогда тут тебя дожидаться...

– Ах, вот греха-то наделал... Вот дурость-то что значит... Батюшка Павел Петрович, не обессудьте... – И Осташков козлом выпрыгнул

из воды и стал торопливо одеваться.

– Послушай, Осташков, – начал Рыбинский, когда Никеша совершенно оделся и целовал его в плечико, снова извиняясь в том, что осмелился здесь выкупаться, – послушай, сначала я тебе объясню, что я для тебя делаю. Ты должен знать, но не смей только никому сказывать: я тебе так приказываю!.. Дочь твою я беру на свое содержание, по так как я мужчина, то и отдаю ее к Юлии Васильевне. А деньги за ее ученье и содержание буду платить я... Слышишь?... Потом на выборах я непременно пристрою твоего сына... Целовать рук нечего...

Ты должен только знать и чувствовать, что предводитель о тебе заботится. А ты чем ему платишь!.. А?...

– Что такое, батюшка, Павел Петрович? Уж кажется, я ни не ценю и не чувствую всех ваших великих милостей... уж кажется, мне зреть не можно...

– То-то зреть не можно! Как это ты смел рассказывать про меня, что я живу с Парашкой, что она моя любовница? А? Ты думал, что я об этом не узнаю? Нет, голубчик, я знаю

все, что ты делаешь, что говоришь, даже знаю, что думаешь... Я слежу за каждым твоим шагом... И про кого же это ты смел говорить? Про своего предводителя, про благодетеля своего, от которого зависит все твое благополучие... А?

– Батюшка, Павел Петрович, почтенный благодетель, не гневайтесь, простите... Все от глупости, от необразования своего сболтнул... Не из чего... Окажите вы мне такую милость: простите меня, дурака... Не буду, ни впредь, никогда...

Осташков плакал и хватал руку Рыбинского, чтоб поцеловать.

– Ну если ты, дурак, и сделал это от глупости, так слушай же, что я тебе скажу. Слушай, да заруби мои слова у себя на носу... Если ты когда-нибудь осмелишься хоть что-нибудь говорить про меня, что ты видел или слышал, так знай, что я тебя уничтожу со всем твоим семейством... последнего куска хлеба лишу, нищим сделаю... Туда упеку, где ты и свету Божьему не рад будешь... Слышишь?... Ты вон жаловался мне и просил помощи, что отец тебя обижает, земли тебе мало дает, и я за это

сделаю так, что ты клочка земли не получишь... Слышишь?... Как это сметь говорить дурное, сплетничать, про своего предводителя... Да ты знаешь: мне черт не брат, меня и губернатор боится... А не буду я предводителем, так за это я просто тебя убью... из своих рук убью... Ты знаешь меня или нет?... Это он предводителя своего срамит, разные гадости про него рассказывает... Каково! Да если бы ты что такое услышал, что другие про меня говорят, так должен бы за меня вступиться, а не то что самому рассказывать...

– Батюшка, Павел Петрович, простите же вы меня, темного, неученого человека... Вот вы мне теперь дали науку, так не то что про вас... да ни про кого у меня рот не раскроется... Не будет этого никогда, ни впредь, ни после...

– Ну, смотри же... Помни... Я для тебя все сделаю, и ты должен быть мне верным слугой, а не то что сплетником на меня... Что бы ты ни узнал, что бы ты ни увидел, что до меня касается... и рта не разевать... Ну, Бог с тобой, на первый раз прощаю... А то берегись... Ну, пойдём...

Рыбинский спешил нагнать и успокоить Юлию Васильевну. Он увидел ее вдали именно в ту минуту, когда Параша подняла над нею свои руки. Рыбинский подбежал к ним. Юлия Васильевна, увидя его, бросилась к нему с криком и со слезами.

– Что с вами, что с вами? – спрашивал Рыбинский, поддерживая ее трепещущую, едва держащуюся на ногах.

– Ах, Павел Петрович, спасите меня от этой женщины: она хотела убить меня... она наговорила мне Бог знает каких дерзостей.

Рыбинский грозно взглянул на Прасковью, велел Осташкову остаться около Кострицкой, а сам подошел к Параше, которая стояла неподвижно, как статуя, с опущенными руками; глаза ее горели прежним бешенством, и она прямо и бесстрашно смотрела ими на Рыбинского.

– Ты зачем здесь? Ты что это наделала?... Ты знаешь, что я с тобой сделаю за это?... – говорил он, сдерживая гнев, задыхающимся голосом.

– Что вы мне сделаете? Бейте меня, рвите... Я не боюсь... И то уж все мое сердце разорва-

лось, вся душа моя надселась... Зачем вы меня к себе приворожили?... Зачем бросили?... Чем я хуже этой выдры, этой кошки ободр...

– Молчать! – заревел Рыбинский и ударил Парашу.

Она покатила на землю, точно дерево, у которого подрубили корень.

– Ах, вы убили ее! – запищала Юлия Васильевна.

– Нет, не бойтесь: опомнится, встанет... Пойдемте, Юлия, а ты, Осташков, останься здесь, около этой твари, и когда она придет в себя, посмотри, что будет делать, и потом приди сказать мне.

– А как она, батюшка, Павел Петрович...

– Что еще?

– Как она уж... чего Боже избави, может, побывшилась...

– Э, говорят тебе, нет... Ведь я знаю, как ударил ее.

– Ну а если меня кто увидит, да подумают, что это я ее...

– Ну, так спрячься где-нибудь, да смотри издали... Ну, останься же... Пойдем, Юлия.

Они пошли по направлению к дому, а бед-

ный Осташков не посмел послушаться и остался.

– Ах, какая она злая... Что она говорила, если б вы слышали... А она все видела, она подсматривала за нами... Ах, какой срам... Пожалуй, теперь все узнают...

– Никто ничего не узнает, а я приму меры, чтобы ее завтра же не было в доме.

– Куда же вы ее девааете?

– Уж я найду ей место: велю отвезти в дальнюю деревню и выдать замуж за мужика.

– А ну, если ты ее убил...

– Не может быть... А если и так – что же делать... Надо как-нибудь выпутываться из беды...

– Ах, Paul, кажется, я тогда не в силах буду любить тебя: тогда ты будешь убийца... Ох, как страшно!..

– Убийца... из-за тебя же ведь... Ты должна будешь любить еще больше...

– Ах, избави Бог, чтобы этого не случилось... Как мне тошно и страшно, если б ты знал... Что она мне говорила... Как унижала меня...

– Ну, полно, мой ангел, стоит ли обращать внимание на сумасшедшую женщину... Забудь всю эту историю...

– Нет, это мудрено забыть... И в самом деле, что я делаю?... У меня есть муж, а я...

– Послушайте, Юлия Васильевна, если вы раскаиваетесь, что любите меня, и сожалеете о вашем муже, то мы расстанемся сегодня же. Я не буду дорожить женщиной, которая не дорожит моею любовью... Я оставлю вас, несмотря на то что после этого случая я чувствую, что люблю вас еще более прежнего... И вы бы должны были понять, что я все-таки чувствовал некоторую привязанность к той женщине и принес ее в жертву вам. А вы начинаете говорить о вашем пьянице и дураке муже... Ну, подите к нему... Я вас не держу... Я найду многих и кроме вас, которые будут любить меня...

– Нет, нет, Paul, не сердись на меня... Я люблю тебя... Я боюсь только одного...

– Чего?

– Что ты бросишь и меня, как эту женщину...

– Я уж сказал тебе, что будущего я не знаю,

никогда о нем не думаю и думать не хочу...
Об этом нечего и говорить.

– Боюсь и еще одного...

– Еще чего?

– Ну, если ты ее убил... Ты ведь будешь убийца...

– Настоящая женщина!.. Тебя пугает слово... Но ведь я не хотел ее убить, и не мог же я позволить, чтобы она срамила и оскорбляла тебя... Но об этом тоже не стоит говорить, потому что она жива... И я оставил Осташкова для того, чтобы она не наложила на себя руку, когда опомнится... Вот это дело более возможное!.. А ты лучше позаботься о том, чтобы быть на бале веселой и спокойной... А теперь пора нам расстаться... Ты поди в свою комнату, а я пойду в сад...

Оставшись один, Осташков не смел даже и подойти к Параше, но забился в кусты неподалеку от нее так, чтобы его не было видно, и искоса стал посматривать на убитую, по его мнению, женщину. Но Рыбинский не ошибался: она не была убита, а только оглушена ударом, падением и обессилена бешенством. Через несколько минут она пришла в себя и,

вряд ли не к большему еще страху Никеша, приподнялась на одну руку, осматриваясь во все стороны: лицо ее, бледное, осунувшееся, с багровым пятном на виске, глаза мутные, почти безумные, наводили на него ужас. Он сидел, не смея пошевелиться, боясьдохнуть. Осмотревшись кругом, Параша как будто вдруг вспомнила все, что с ней было: дотронулась рукой до багровой щеки, выплюнула изо рта кровь и вдруг завывла и заголосила страшным образом, бросилась на землю и начала биться и кататься по ней, рыдая и стона, как раненый, дикий зверь. Она рвала на себе волосы, била себя в грудь, царапала лицо и грызла землю... Наконец, выбившись из сил, снова затихла и, казалось, лишилась чувств. Потом вдруг она поднялась на ноги, с полным отчаянием во взоре и с сухими глазами, и, ломая руки, скорыми шагами пошла к пруду, как будто с намерением утопиться; но на самом берегу его она приостановилась, взглянула на небо, перекрестилась и вдруг заплакала обильными, но тихими слезами, и упала на траву в истерических конвульсиях. Никеша, который было уже совсем собирался бежать,

чтобы объявить, что Параша бросилась в пруд, и приостановился только за тем, чтобы посмотреть – нельзя ли будет ему ее вытащить, теперь снова отложил свое намерение и стал ждать, что будет, не подходя близко к Параше. Она долго плакала, потом затихла, встала, опять перекрестилась и, махнувши с отчаянием рукою, уныло опустила голову, пошла тихими шагами к дому. Никеша издали следовал за ней. Она ни разу не оглянулась и не заметила его присутствия. С радостью побежал Никеша сказать Рыбинскому, что Параша жива и воротилась домой.

В назначенный час бал открылся и Кострицкая явилась на него, по обыкновению, бойкая и веселая, лишь с легкою бледностью в лице. Рыбинский открыл бал с нею. Проходя Польский, он сказал ей вполголоса:

– Успокойтесь, Парашка жива и в добром здоровье. А завтра ее не будет у меня в доме.

– Что же ты с нею сделаешь?

– Увидим.

– Но ведь у нее есть дети...

– Почему же я знаю, чьи это дети...

Рыбинский захохотал. Кострицкая тоже улыбнулась.

Бал прошел своим чередом: за вальсом следовала кадрили, за кадрилию полька и т. д. до мазурки включительно. Дамы или увлекались танцами, или с наблюдательностью осматривали одна другую, изучая костюм до мельчайших подробностей, или прохаживались по зале, прохлаждая себя разными питьями и лакомствами, которые подавались в избытке. Мужчины или напрягали все свои мыслительные способности, чтобы развле-

кать дам разговорами во время танцев, или шептались по углам залы маленькими группами, переливая из пустого в порожнее, или стремительно, с чувством самоотвержения кидались на середину залы вертеть засидевшихся барынь, или еще с большим самоотвержением обрекали себя на расточение любезностей. Словом, бал прошел в настоящем порядке. Не было недостатка ни в чем, что составляет обыкновенно необходимую принадлежность балов. Было несколько сердец, загоревшихся нежною страстью в продолжение самого бала за прекрасные, полуобнаженные плечи, за прелестную саму по себе и прекрасно обутую ножку, за восхитительную талию – с одной стороны; за необыкновенное искусство и неутомимость в танцах, за неистощимое остроумие и способность говорить обо всем, не говоря ни о чем, за насмешливый нрав и умение заметить смешное в каждом, за дерзость взгляда или наглую лесть – с другой стороны. Было две пары, признавшихся в нежной симпатии во время мазурки, была даже одна счастливица, получившая формальное предложение. Были дамы счастливые и

довольные, потому что не просидели ни одного танца; были обиженные и недовольные, потому что их редко ангажировали. Словом, здесь было все то, что бывает и на всех других провинциальных балах. Разница состояла только в том, что бал у Рыбинского начался как следует, Польским в зале, а продолжался в павильоне, нарочно для этого выстроенном на берегу пруда. Дорога из дома к павильону была освещена горящими смолеными бочками, плоскими, иллюминированными щитами с вензелем хозяина. Эта выдумка так понравилась гостям, что некоторые из задорных танцоров дорогою вздумали ангажировать дам и полькировали на открытом воздухе до самого павильона. В иных это обстоятельство возбуждало особенную веселость, для некоторых показалось весьма неприличным. Ровно в полночь на берегу пруда был сожжен фейерверк.

Некоторые из мужчин, не принимавших участия в танцах, оставили павильон и воротились в дом. Кто-то заметил, что теперь, пользуясь отсутствием дам, на свободе, хорошо бы послушать цыганский хор. Это замечание было принято с восторгом, и Осташков

был командирован в павильон к хозяину, просить на это разрешения. Рыбинский, который сам не танцевал и которому монотонность и однообразие бала надоели, с удовольствием согласился на исполнение этой просьбы и сам обещал прийти туда. Хор в минуту был собран, и когда Рыбинский подходил к дому, до него уже долетали, всегда приятные для его ушей, гик, визжанье и топанье его настоящих и искусственных цыган... Эти звуки всегда воодушевляли его и возбуждали в нем бешеные порывы веселья. Он весело и быстро вошел в ту комнату, где пели цыгане, подкрикнул им в песне, что придало еще более энергии певцам, и потребовал вина. Скоро вся компания охмелела и развеселилась.

– Нет, брат Павел Петрович, не было и нет у тебя такой плясуньи, как Параша... – говорил Комков. – Что ты ее никогда нынче неставишь поплясать...

– Устарела, брат.

– Так неужто она стала старше вон этой ведьмы цыганки... Неужто она хуже ее пляшет... Пустяки... Ах, как плясала... Просто, бывало, кровь закипит, как смотришь на нее.

– Нет, уж нынче не то стала: завелись ребятишки – отяжелела, опустилась...

– Пустяки, брат... Не такая она девка... Мне так, кажется, ты просто ее ревнуешь и держишь взаперти, никому не показываешь... Вот что...

Рыбинский захохотал.

– Перестань врать: она мне и то надоела... Не хочешь ли подарю и вместе с ребятишками...

– Нет, спасибо, а ты лучше велика ей прийти да поплясать. Вели, пожалуйста... – Многие из гостей также присоединили свои просьбы.

– Да по мне пожалуй; только я вам говорю, господа, что уж далеко не то, что была прежде... Эй, Осташков, сходи, брат, к Параше: скажи ей, чтобы оделась по-цыгански и сейчас бы шла сюда плясать.

Осташков, вспомнив, как недавно еще она лежала без памяти, а потом металась и, видимо, страдала, не спешил исполнить его приказание и смотрел на Рыбинского вопросительно и в недоумении.

– Ну, что стоишь? Поди, я говорю, и скажи

Прасковье моим именем, чтобы она сейчас шла сюда плясать...

– Да ведь она находится при болезни, Павел Петрович.

– Эх, дуралей какой! Да мне-то что до этого за дело? Тебе говорят: поди и пошли ее сюда.

Осташков повиновался. Он пробрался в комнату Параши. Она лежала на постели бледная, унылая, устремивши неподвижный взгляд на маленькую девочку, дочь свою, которая сидела тут же у ней на кровати и играла какими-то тряпочками. Покрасневшие от слез, но теперь сухие глаза ее выражали тупое горе и отчаяние. Услышавши скрип отворяющейся двери, Параша быстро перевела глаза с ребенка на входящего Осташкова. Взор ее опять вдруг заискрился.

– Здравствуйте, Прасковья Игнатьевна, – сказал Осташков, подходя к постели. – А я к вам-с...

– Что тебе надо, барин? – спросила его Параша.

– Меня к вам прислали Павел Петрович...

Параша невольно вздрогнула при этом имени.

– Приказали вам сказать, чтобы вы приходили туда в залу, плясать... и оделись бы по цыганскому...

– Что?... Он меня зовет плясать?...

– Точно так-с... Приказали сказать...

– С этим-то?... – спросила она, указывая на багровое пятно, которое покрывало часть ее левой щеки и висок, – следствие удара, который она получила от Рыбинского. – С этим идти плясать?...

– Я не могу знать... Мне только приказано сказать, чтобы непременно приходили плясать... Я было пытал говорить, что вы теперь при болезни находитесь, так ни на что не взирают, а чтобы ну непременно явилась...

– Да что ему тварь-то, что ли, свою любовницу-то хочется мной потешить? Так скажи ему, что не пойду, у меня еще ноги не ходят, стоять на ногах не могу... а не то что плясать... Скажи-ка ты ему: заставил бы лесничиху вместо меня плясать... Так и скажи... А я еще не стану...

– Как же я могу это им сказать, Прасковья Игнатьевна... Они ваш есть господин... Они прогневаются на такие слова...

– Мне все равно... Я ничего не боюсь теперь: видно, хорошего уж мне ждать нечего...

– Вы бы уж лучше покорились: шли бы да плясали... исполнили бы его приказ...

– Это чтобы я пошла тешить эту сволочь, его любовницу... Да лучше он меня изрежь, в куски изорви, а не дам ей над собой потешаться... Не пойду... Так и скажи, что нейдет, мол, не хочет...

– Да ведь их нет там совсем...

– Кого нет?

– А Юлии Васильевны... Одни господа мужчины...

– А ты что у них, барин, в слуги нанялся, что ли?

– Напрасно вы это говорите... Напрасно обижаете...

– Что напрасно-то?... Разве я не видала, как ты давеча кланялся да ручки-то целовал у нее, а после шептаться пошли...

– Так что же?... Она мне благодеяние хочет сделать: дочку у меня берет к себе на воспитание...

– Ах ты... Кому хочет дочку отдать на воспитание: что ни на есть самой распутной... Эх

ты... барин!.. Чего она у ней насмотрится, чему научится... Еще барином себя называет... дворянином... Да я бы близко-то ее не подпустила к дочери-то...

– Опять же это не ваше дело... И вам порочить эту госпожу не приходится... Мне ее сами Павел Петрович рекомендовали и хвалили, так я ничьих слов, после ихних, не слушаю... Вот что...

– Да как ему ее не хвалить, коли она от живого мужа с ним гуляет...

– И опять же не за тем я пришел, чтобы это слушать... И вам про своего помещика так говорить не должно... Вы и сами его милостями были взысканы... из вашего рабства... Так вам бы это надо чувствовать... Вот что...

– Чувствую, чувствую!.. Как не чувствовать его благоденствий: навеки осчастливил!.. Отольются ему, Ироду, мои слезы... кровью отольются...

– Так что же вы, пойдете али нет?...

– Нет, нет, не пойду: ведь уж я тебе сказала одна... Скажи... что нейдет, мол, силы нет... Мне не до плясок:... Меня ноги не держат...

– Я так и скажу...

– Так и скажи... отпраздновала, мол, она именины... сыта, довольна, угощена...

Параша истерически захохотала. Осташков поспешил уйти от нее. Он воротился к Рыбинскому с ответом, что Параша отказалась плясать, отзывается болезнью.

Павел Петрович рассердился не на шутку: он не любил противоречия.

– Ну, так она, видно, ждет, чтобы я сам сходил за ней... Ну, хорошо, я схожу... Сейчас, господа, явится... – проговорил он, вставая.

Параша не ждала этого посещения. Она обомлела и задрожала, когда увидела Рыбинского в своей комнате, но не пошевелилась и осталась неподвижною в том положении, как застал он ее.

– Я присылал за тобой, чтобы ты шла плясать, а ты не слушаешь моих приказаний... – проговорил Рыбинский, свирепо смотря на Парашу. – Это что значит?... А?... Ты с кем шутишь?

Параша смотрела на Рыбинского во все глаза и ничего не могла отвечать: страх, гнев, огорчение сдавили у нее горло так, что она не в силах была говорить...

– Что же ты молчишь... Тебя спрашивают: почему ты не послушалась моего приказа... Что же ты не отвечаешь?...

Параша до сих пор неподвижно смотрела на Рыбинского. Вдруг ее глаза наполнились слезами, она зарыдала, сползла с постели на пол и обхватила руками ноги Рыбинского.

– Батюшка... батюшка... Солнышко мое... Золотой мой... за что ты разлюбил меня... – лепетала она, едва внятно, судорожно обнимая его колена и стараясь поймать его руку.

Рыбинский уже не чувствовал к ней ни малейшей любви, а воспоминание прошедшего не могло тронуть его; притом Параша, бледная, растрепанная, с красными заплаканными глазами и синяком на щеке, показалась ему отвратительна. Он с гневом и презрением оттолкнул ее от себя.

– Это что еще за непрошенные нежности... Ты забылась... что с тобой барин говорит, а не какой-нибудь лакей, с которым ты таскалась... Встань сейчас...

– Никого, никого я не знала, кроме тебя... Бог видит... Ох, ох!..

Параша сидела на полу в самой жалкой по-

зе, рыдания захватывали у нее дух, давили горло; она отчаянно ломала руки и с невыразимой тоской смотрела на него. Ребенок, который до сих пор смотрел на всю эту сцену испуганными глазами, вдруг тоже заревел. Это окончательно вывело Рыбинского из терпения.

– Встань сейчас и уйми своего постреленка... – вскрикнул он запальчиво.

– Твой это... Богом клянусь, что твоя дочь... Никого я не знала.

– Молчать... – закричал Рыбинский так грозно, что ребенок умолк, а Параша невольно наклонила голову, ожидая удара... Но удара не было.

Прошло несколько секунд молчания. Параша приподняла голову.

– Разбей меня, убей до смерти... только полюби по-прежнему хоть один часочек, хоть на минуточку... Сердце во мне все изныло...

– Слушай, Прасковья, если ты еще хоть слово одно скажешь, если не встанешь сейчас и не пойдешь плясать, я тебя сейчас же велю отвезти в дальнюю деревню и выдам замуж за мужика... Слышишь... Встань же сейчас и

иди плясать...

– Да какая я плясунья... Посмотрите вы на меня...

– Набелись и нарумянься... А чтобы тебе было веселее, так я пришлю тебе вина... Выпей и приходи... Ну же, не выведи меня из терпения... Да плясать хорошенько, как прежде бывало...

Рыбинский вышел.

Последние слова его блеснули для Параши лучом надежды.

«Попробую плясать хорошенько, – думала она. – Он любил меня за то, что я хорошо плясала... Может быть, и теперь...»

И вдруг Параша как будто ожила: слезы ее высохли, глаза загорелись. Она быстро встала, хотя и дрожала всем телом, подошла к зеркалу и дрожащими руками начала причесывать свои, все еще прекрасные волосы. В это время человек принес ей стакан вина. Она залпом, с жадностью его выпила. Вино мгновенно ее оживило и ободрило: горе и тоска как будто замерли в сердце, лишь что-то такое дрожало внутри, позывая ее к истерическому смеху.

– Скажи барину, что я сейчас иду, да пошли ко мне Палашку, чтобы помогла мне одеться поскорее, – сказала она слуге, почти весело и повелительно.

«Али опять в барыни норовишь», – подумал он, молча выслушивая ее приказания.

Параша живо одевалась и скоро была готова. Она нарядилась точно так, как бывало являлась свеженькая, юная и улыбающаяся, восхищать и доводить до бешеного восторга и Рыбинского и гостей его: руки и плечи ее были обнажены по-прежнему, черные длинные косы, как и прежде, ниспадали на красный платок, перекинутый через одно плечо, и ярко обозначались на нем своими роскошными прядями, и платье было такое же и даже больше против прежнего оставляло открытыми и плечи и грудь; но сама Параша была уже не прежняя: от нее не веяло уже обаянием молодой, цветущей жизни, улыбка ее не дышала беззаботной веселостью юности, взгляд ее уже не говорил о внутреннем счастье, о полном самодовольстве беспечной неосознанной жизни, и развившийся стан ее не был уже так гибок и эластичен, как прежде. Но она все

еще была хороша красотой другого рода. Ее лицо получило больше смысла и определенности, ее черные глаза, окруженные легкой тенью – след годов, любви и горя, – были выразительны и горели жгучим огнем знойной страсти, горячий румянец на похудевших щеках, полная грудь и округленный роскошный стан дышал сладострастьем. Синяк на виске был ловко прикрыт волосами и низко опущенные для этого на щеку волосы придали лицу особенную резкость и выразительность.

«Может быть, и полюбит опять!» – думала Параша, смотря на себя в зеркало.

Появление ее в зале было встречено шумными кликами несколько опьяневших уже гостей. Все окружили ее одни с вопросами, другие с приветствиями, иные подошли только для того, чтобы поближе рассмотреть хваленую плясунью. Никто не стеснялся вслух высказывать о ней свое мнение, только одни выражали свой образ мыслей по-французски, другие по-русски. Большинство голосов было в пользу красоты Параша: не многие открывали в ней признаки увядания. Впрочем, Рыбинский поспешил прекратить этот осмотр:

он боялся как бы не был открыт знак, наложенный на нее его мощной десницей. Он налил стакан шампанского и из своих рук подал его Параше. Она взглянула на него взглядом, полным беспредельной любви и благодарности, и выпила шампанское. Рыбинский просил гостей садиться и приказал начинать песню, под которую Параша должна была плясать.

Разгоряченная вином, возбужденная надеждою на возможность возвратить потерянное счастье, трепещущая от страстных ощущений, Параша превзошла самую себя в этой пляске, исполненной одними сладострастными движениями. Весь пыл и зной, всю негу и упоение страсти умела она передать своей безыскусственной мимикой, бывали мгновения, когда казалось она упадет и задохнется под влиянием передаваемого ею ощущения, глаза ее горели и метали искры, она дрожала как лист, изгибалась и трепетала, как гибкая ива под дуновением ветра. Каждый нерв, каждая фибра ее тела, казалось, говорили какое чувство клокочет в этой крови, чем полно или чего требует это сердце. У многих зрите-

лей захватывало дух от восторга, некоторые не в силах были сидеть и вскакивали с своих мест; один только человек оставался холоден и спокоен, хотя и смотрел на плясунью с довольной улыбкой. И это был тот, кто зажег, или, по крайней мере, раздул этот огонь, кем была возбуждена и кому принадлежала эта страсть, для кого она только и выражалась. Он был пресыщен этою красотой и этою страстью. Он ничего уже не находил в них нового и привлекательного: они надоели ему. В иные минуты казалось, что одушевление Параша сообщалось ему: глаза его загорались и лицо оживлялось, но он ни единым движением не позволял выразиться своему восторгу: на дне души его лежало какое-то отвращение к несчастной женщине и как будто боязнь снова увлечься ею.

Вдруг Рыбинский что-то вспомнил, подождал к себе Осташкова и шепнул ему на ухо несколько слов. Тот проворно вышел вон и через несколько минут возвратился, сопровождая Юлию Васильевну, которая села рядом с Рыбинским.

— Я вспомнил, что вам хотелось посмот-

реть, как пляшет Параша, и нарочно послал за вами, – сказал он ей. – Видите: она не только жива, но еще вон с каким увлечением действует... Эта порода живуча... А не правда ли, ведь славно пляшет?...

– Отлично... Только...

– Что?

– Сказать правду?

– О, сколько угодно...

– Не хороши манеры и самая пляска не совсем прилична... Очень уж выразительна... Совестно смотреть...

– Она, бедная, употребляет сегодня все свои силы, чтобы отличиться... Чувствует ли она, что пляшет в последний раз передо мною и в моем доме?... Сегодня в ночь ее уже не будет здесь...

– Несмотря даже на то, что она так хорошо пляшет?...

– Я не хочу, чтобы одно маленькое сердечко, очень дорогое для меня, страдало от ревности, хоть и понапрасну. Я решил устранить мнимую соперницу...

Юлия Васильевна презрительно улыбнулась и взглянула на Парашу.

– Куда же ты денешь ее...

В эту минуту Параша, до сих пор увлеченная пляскою и не замечавшая присутствия Юлии Васильевны, вдруг увидела ее возле своего господина. Она увидела, как они ласково, дружелюбно разговаривали между собою, заметила, что Рыбинский не обращал на нее внимания, а Юлия Васильевна с презрением смотрела на нее. Все очарование, весь экстаз, все надежды в одно мгновение потухли в душе Параша. Она побледнела как полотно и вдруг неподвижно остановилась, среди самого разгара песни и пляски. Зрителей удивила эта неожиданная остановка, эта бледность.

– Что же ты, Параша?... Пляши!.. – приказывал Рыбинский.

– Погодите, ей надо дать отдохнуть: она устала... Посмотрите, как побледнела... – говорил кто-то из гостей.

– А, устала!.. Ну, так дайте ей шампанского... Она выпьет, и опять соберется с силами... Э, Прасковья, устарела: стала уставать!.. – сказал Рыбинский.

Слуга подал Параше стакан шампанского, но она не приняла его.

– Что же ты не пьешь, Параша, выпей, милая... Это тебя освежит!.. – говорили ей с разных сторон.

Но она никого не слушала, никому не отвечала. Пение прекратилось само собою.

– Она увидела меня и не хочет более плясать... – сказала Кострицкая Рыбинскому.

– Ну, что же вы стали? Пойте... Прасковья, пляши же... – приказывал он, возвышая голос.

Песенники снова затянули песню, но Параша, как статуя, стояла на одном и том же месте, не спуская глаз с Кострицкой. Рыбинский подошел к ней.

– Послушай: станешь ты плясать или нет? – спросил он ее грозным полусшепотом.

– Не стану... не могу!.. – отвечала Параша с тяжелым вздохом, близким к стону. – Нет, не могу я плясать для нее...

– Так помни же ты, что я сказал тебе давеча... Пошла вон отсюда... Не жди же от меня никакой милости...

Параша готова была упасть и зарыдать. Рыбинский заметил это.

– Эй, – вскричал он людям, – выведите ее, с ней дурно сейчас делается...

Измученную, усталую, убитую, ее вынесли почти на руках.

– Ну, цыгане, плясать: эй Петр, Дуняша, ну-те-ка вы...

Песня снова потянулась, цыгане начали пляску, гости несколько времени поговорили о Параше, потом занялись новыми плясунами, – и никто не догадался, какая страшная драма совершилась на их глазах, никто не пожалел бедной Параше.

Рыбинский предложил Юлии Васильевне проводить ее до павильона, где танцевали...

В ту же ночь на рассвете Парашу, вместе с обеими ее детьми, посадили в телегу и увезли по приказанию барина в одну из самых отдаленных и глухих деревень его.

VI

Целую неделю продолжались увеселения в Цусадьбе Рыбинского. Наконец гости разъехались, чтобы разносить по губернии, по своим углам и закоулкам, славу или бесславию хозяина, чтобы хвалить его, злословить, насмеяться и удивляться его гостеприимству, хлебосольству, роскоши или мотовству, чтобы рассуждать и оценивать: достоин или недостоин он звания губернского предводителя.

Осташков собрался последним. Пред отъездом он с подобострастным видом подошел к Рыбинскому.

– Как же, батюшка Павел Петрович, – сказал Осташков, – я хочу вам жалобу произнести... милости вашей просить...

– На кого это?...

– На родителя своего и на братца родного... Большие обиды делают, Павел Петрович... Все сено у меня скосили и жену с тетенькой избрали так... срамно избрали, батюшка Павел Петрович... Защитите... Теперича мне даже не чем лошадку прокормить... Совсем

обидели... А братец, Павел Петрович, еще похваляется избить меня... Изобью, говорит, как собаку...

– А ты не поддавайся...

– Да как же не поддаться-то, батюшка Павел Петрович... Он вон какой: в косую сажень... а я велик ли человек... Много ли мне надо... Изломает меня совсем...

– Разве очень силен?

– Да как же не быть сильному, Павел Петрович... Человек он не ломаный... Не оставьте... защитите...

– Да чего же тебе хочется?

– Хоть бы сено-то отдали... Али бы деньгами, что ли... Да и то боюсь, Павел Петрович, родителя-то прогневать: пожалуй, и усадьбу-то продаст, а я ведь еще не отделен... Без куска хлеба останешься...

– Ну вот то-то и есть... Ты сам не знаешь, чего тебе хочется...

– Хошь бы уж он отделил меня, что ли, по настоящему, бумагой...

– Ну, хорошо, я когда-нибудь вызову его к себе и поговорю с ним...

– Не оставьте... Будь отец и благодетель, ба-

тюшка Павел Петрович...

Осташков поклонился в ноги Рыбинскому.

– Так уж как же, Павел Петрович, я коли уж привезу доченьку-то... Юлия Васильевна приказали через неделю...

– Ну да, и привози...

– Только не знаю как: больно уж она у меня не нарядна... и везти-то зазорно... А понашить одежонки не на что...

– Там, привезешь, – всего нашьют...

– Да привезти-то не в чем, Павел Петрович...

– Хорош отец!.. Что же, ты их нагишом водишь?...

– Как можно нагишом... Да ведь какая наша одежда...

– Ну, ну, отстань: понимаю, к чему подбираешься... На вот тебе пять целковых...

– Я, батюшка, благодетель, не к тому... уж и без того вашим милостям несть числа... Зреть мне не можно на вас...

– А ты, Осташков, очень образовался, как я на тебя посмотрю... Попрошайка стал отличный...

– Бедность заела, Павел Петрович...

– Полно, лентяй... Дома бы больше сидел, да работал... А то только таскаешься по гостям... Ну, поезжай же домой... Вот жалуешься, что отец все сено скосил... Поневоле скосит, коли дома не живешь...

– Напрасно, Павел Петрович...

– Ну, уж какое напрасно...

– Прощайте, батюшка Павел Петрович... Давно бы и есть уж пора домой-то...

– То-то и есть... А лень работать-то... Вот и шляешься...

– Нет, батюшка... Я работать, кажется, за всяк час готов... А и езжу, для семьи же хлопоту... Коли ездить не стану по благодетелям, и они меня забудут... А я вашими благодеяниями и на свете-то жив... Где уж мне такую семью одной своей работой прокормить... С голоду бы померли без благодетелей...

– Ну, ну, пошел же... Надоел...

Осташков привык уже к подобным замечаниям: он знал, что благодетели всячески над ним тешатся и что, побранивши его за бездомство и попрошайство, они в другой раз опять его позовут к себе и, если им вздумается, продержат у себя целую неделю и не отпу-

стят домой хоть бы и просился... и потому он не обратил особенного внимания на слова предводителя, а объяснил их тем, что он в дурном духе, и уехал с радостным сознанием, что у него пять целковых в кармане.

Он поехал не домой, а к Паленову. Здесь он застал того генерала, который был у Рыбинского и больше всех обиделся, что хозяин посадил рядом с собой и по правую руку маленькую лесничиху, а не его, единственного в околотке генерала. Это был полный, но маленький господин, с большими, впрочем, бакенбардами, который, как видно, очень был недоволен судьбой за то, что она обидела его ростом, и постоянно держал себя прямо и закидывал назад голову, чтобы казаться хоть немножко повыше. Несмотря на свой малый рост, генерал смотрел на весь род человеческий с висока и оценивал людей по тому, насколько они подвинулись по чиновной лестнице к вождеденному титулу его превосходительства. Вообще, он держал себя очень важно и величаво, говорил тоном человека, решающего окончательно вопрос и не ожидающего возражения. При встрече с людьми ни-

чтожными, по его понятиям, вследствие малого чина или небольшого состояния, он ломался и гримасничал невероятно: кряхтел, пыхтел, выпячивал вперед грудь, хмурил или приподнимал брови, жевал губами, многозначительно и тяжело вздыхал, зевал во весь рот, с усталостью потирал рукою под ложечкой, вытягивал во всю длину свои коротенькие ножки, – вообще становился как-то особенно беспокоен, как будто воздух, которым он дышал, был отравлен присутствием какой-нибудь нечистой твари. Генерала не любили за его преувеличенную гордость и чванство и втихомолку посмеивались над ним, но в лицо оказывали уважение, потому что он был не только генерал, но сверх того имел и довольно значительное состояние.

Появление Осташкова напомнило и генералу и Паленову оскорбление, которое они получили на именинах у Рыбинского.

– Откуда Бог принес? – спросил Осташкова Паленов.

– А все у Павла Петровича пировали!.. – отвечал Осташков, осклабляясь.

– Пировали!.. Хорош, я воображаю, был

этот пир... особенно, когда мы уехали... – заметил презрительно Паленов.

– Воображаю!.. – сказал генерал и вздохнул с напряжением.

– Кто же там оставался?

– Да почитай все... Только вчера стали по-разъезжаться...

– Однако, ваше превосходительство, наше дворянство удивительно мало себя ценит. Скажите, пожалуйста: человек торжественно нас унижает, оказывает нам явное пренебрежение, а мы гостим у него целую неделю, едим его хлеб, сами великодушно подвергаем себя оскорблениям невежи... и для чего?... Чтобы забавляться его глупыми выдумками, которых можно досыта насмотреться на любой ярмарке... И наши дамы охотно компрометируют себя этим обществом, этим знакомством с особой подозрительной нравственностью... Это для меня непостижимо!..

– Признаюсь!.. – произнес генерал, приподнял брови и отдулся.

– Ну а что эта лесничиха и теперь еще там?

– Нет, уехала еще вчера... все уж разъехались... Я уже был останний...

– Ну, да тебе-то еще простительно: тебе все в невидаль... Ну а что же ты отдаешь свою дочь этой... как ее зовут?...

– Юлия Васильевна... что ли?

– Ну да... все равно...

– Да, нечего делать, хочу отдать, батюшка Николай Андреич...

– Что же ты думаешь: она может воспитать ее как следует, принести ей пользу?...

– Уж это как Бог даст, Николаям Андреич... Что делать?... Бедность наша!.. Но крайности-то буду знать, что при месте, и в доме не в каком-нибудь, а все в благородном.

– В благородном!.. – повторил генерал с презрительной улыбкой и, откинувши назад голову, зевнул, крякнул и отворотился от Осташкова.

– Жалко мне твоего ребенка, братец Осташков... Жалко, признаюсь!..

– Что же делать-то, благодетель... И самому жалко: тоже дочь... Да нечего делать-то... У меня бы, при моей бедности, и того бы хуже было...

– Бедность!.. Давно бы грамоте выучился: в службу бы шел... – проговорил генерал, за-

крывая глаза.

– Года мои ушли для этого... Хоть бы уж де-тей-то, Бог привел...

– Что за вздор... года ушли... Действительно, мысль его превосходительства прекрасная. Если бы у меня было время, я бы сам занялся с тобою, и уверен: в три-четыре недели ты выучился бы у меня читать и писать... Больше для тебя ничего не нужно... Тогда мы могли бы выбаллотировать тебя в какую-нибудь должность... Я считаю это мнение – что человек бывает особенно способен к учению только в детстве – совершенно нелепым, и могу доказать фактически противное... Когда я был ротным командиром, ваше превосходительство, у меня почти все солдаты знали грамоте и я всех их сам обучил... Для этого у меня была изобретена особенная система, и солдаты после каждого урока грамоте получали от меня винную порцию, что очень их поощряло...

– Я не любил грамотных солдат, – заметил генерал, – для солдата грамота совершенно лишнее... Он должен знать свое ружье и амуницию, ему некогда да и незачем заниматься

чтением... Фельдфебель – дело другое...

– Признаюсь; ваше превосходительство, что распространение грамотности и образования составляет мою болезнь, мою постоянную *idée fixe*... я даже много терпел за это на службе. Однажды дивизионный, по жалобе полкового командира, распекал меня перед всем полком за то, что я избаловал солдат, обучая их грамоте; что я распространяю таким образом в солдатах дух вольности и неповиновения; ослабляю дисциплину и отвлекаю солдата от его настоящих обязанностей... Конечно, может быть, я был и действительно виноват... Но что же вы хотите?... Повторяю: это моя страсть, моя болезнь... В этом отношении я не только не отстал от своего века, я опередил его... И ваша мысль, ваше превосходительство, о необходимости Осташкову учиться грамоте, меня восхитила, привела в восторг...

– Нет, ведь я это только к тому, что, умея читать, он скорее бы мог получить какое-нибудь место, а впрочем...

– Но помимо этого, ваше превосходительство, умение читать дало бы ему возможность

дальнейшего образования, помогло бы ему сознать свое дворянское достоинство, развило бы его мышление, облагородило сердце...

– Где уж мне, батюшка, Николай Андреич, все это произойти, – вмешался Осташков, испуганный предстоящими ему трудами: человек я не так чтобы молодой, имею при себе семейство, да и понятия у меня тупые... Где уж мне... Вот сынка-то не оставьте своими великими милостями... Ему еще спонадобится грамота... А я уж что... какой я грамотей...

Генерал запыхтел, заворочался на кресле и, кинувши на Осташкова взгляд, полный презрения и недоумения, отвернулся от него и стал смотреть в окно: он еще мог снизойти до того, чтобы рассуждать об Осташкове с подобным себе человеком, но не мог же он выносить равнодушно, чтобы какой-нибудь Осташков осмелился вмешиваться в их разговор и выражать свое собственное мнение... хотя бы и о самом себе...

– Как вы можете думать, что эти люди способны на что-нибудь... – сказал он, обращаясь к Паленову и с пренебрежением указывая глазами на Осташкова.

– Да, к сожалению, наши дворянские доблести вырождаются с веками... Поверите ли, генерал, что этот Осташков – потомок одной из древнейших фамилий в России... Грустно, грустно, Осташков, что ты дошел до такого, так сказать, нравственного убожества... Нынче простой мужик начинает сознавать пользу знания грамоты, а ты... потомок древних русских сановников... постоянно вращающийся в нашем образованном кругу, ты не умеешь понять того, что в настоящее время безграмотный дворянин... ну, просто немыслим... Я начинаю опасаться, что твой род окончательно утратил все интеллектуальные способности... Вот ты просишь об образовании твоего сына... Но будет ли он уважать науку, если он услышит от тебя такое пренебрежение к ней?...

– Что вы, батюшка, благодетель, Николай Андреич, да я, кажется, велю ему умереть на ученье... Как же ему не чувствовать, что ему делают этакое милосердие: хотят сделать человеком... Ведь и я бы не то чтобы не хотел ученья... Как это можно... Всякому хочется хорошенького получить... Да только что докла-

дываю вашей милости, что года мои ушли для того, понятий уж нет таких... А сынку, как ему не учиться: он еще ребенок, и понятия у него детские; по своим детским годам должен все понимать и во внимание себе брать... А то бы и я... будь я помоложе... неужто бы я не захотел себе хорошенького... Стал бы учиться не хуже кого другого... Да то страшно: года мои ушли...

– Учиться никогда не поздно...

– Семейство меня смяло, Николай Андреич... Его покинуть никак нельзя...

– Да зачем его покидать: в два-три месяца ты выучишься грамоте и если что упустишь в хозяйстве, так впоследствии вознаградишь свое семейство в десятеро...

– Неужели это, батюшка Николай Андреич, возможно, чтобы в два месяца грамоту всю произойти...

– Да, читать и писать научишься: я тебе в этом отвечаю...

– Так этак-то бы я с полным моим удовольствием... Два месяца не Бог знает что...

– Ну, так слушай: сына ты своего привози в город: я его отдам в уездное училище... А на-

счет тебя я попрошу Аркадия Степаныча Кареева: он так любит образование, что с удовольствием возьмется выучить тебя грамоте.

– Дай вам Господи... уж я не знаю, батюшка Николай Андреич, как мне и благодарить-то вас, истинный мой благодетель... – Осташков бросился целовать руку Паленова.

– Ну, полно, полно...

– Когда же прикажите привозить мальчишку-то?...

– Да привози ровно через четыре недели... Теперь в училище вакация... А с того времени начнутся классы...

– А нельзя теперь привезти?... Потому мне за одно: дочку повезу, так и его бы захватил...

– Какой ты глупый, братец... Что же он будет делать теперь?... Говорят тебе – ученья у них нет... Ну что за дуралей!..

– Слышу, слышу, батюшка... Виноват: я так только... спросить...

– Откуда у этих людей берется смелость и дерзость, как только немножко позволишь им перед собою забыться... – заметил генерал, надуваясь больше обыкновенного и всей маленькой особой своей выражая чувство

оскорбленного достоинства...

Паленов, напротив, старался рисоваться пред генералом своею доступностью, своею любовью к ближнему и образованию. Он знал, что генерал будет рассказывать об этом, – может быть, даже с негодованием, но слушатели генерала, конечно, сумеют понять настоящий смысл его поступков и оценят все величие и благородство его души...

– Ну, послушай: я вот что еще могу для тебя сделать: привози сына ко мне, я прикажу его пока поучить земскому, займусь и сам...

– Много уж очень вам беспокойства, батюшка Николай Андреич... не стоим мы этого...

– Ну, мой друг, я не люблю делать дело вполтину... Я тебе сказал, что твоего мальчика беру на свое попечение... Тебе не надо будет о нем заботиться... Я его накормлю, и одену, и квартиру для него найду, одним словом – сделаю все, что только от меня зависит, а тебя избавлю от всяких хлопот и забот о нем.

По мере того как Паленов высказывал свои обещания, лицо Осташкова морщилось и все более и более принимало плаксивое выраже-

ние: он спешил вытирать рукавом глаза еще прежде, нежели показались на них слезы; а при последних словах Паленова, громко хныкая и действительно прослезившись, бросился в ноги своему благодетелю.

– Ну вот, Осташков, сколько раз говорить, чтобы ты держал себя как прилично дворянину и так не унижался... – заметил Паленов.

– Батюшка... Отцовское дело!.. Я знаю перед кем мне следно себя понизить...

– Ну, поди, братец... Поди с Богом!.. Меня это возмущает до глубины души... – сказал Паленов, обращаясь к генералу.

– А мне так, напротив, нравится эта чувствительность и благодарность его... Это меня мирит с ним... Значит, он понимает свое положение и чувствует, что для него делают... Поди сюда, братец...

Осташков смиренно приблизился. Генерал вынул бумажник и начал рыться в нем. У Осташкова замерло сердце от ожидания. Генерал вынул пятирублевую ассигнацию.

– На вот, братец, тебе; и помни, что если ты всегда будешь чувствовать благодеяния, которые для тебя сделают, и понимать, что хотя

ты и дворянин, но так беден и ничтожен, нигде не служил и не имеешь даже никакого чина, следовательно, должен держать себя с полною скромностью, даже с унижением перед людьми заслуженными; если ты будешь так поступать, то, поверь мне, ты никогда не будешь оставлен... Я люблю говорить откровенно и прямо: не перенимай у этих нынешних нахалов, у которых еще ус не пробивался, которые еще только понюхали службы, а уже думают о себе Бог знает что и знать никого не хотят... Не бойся, что ты унизишь себя тем, что поцелуешь руку или поклонись в ноги...

– Наша бедность это позволяет, ваше превосходительство...

– И бедность твоя... и твое ничтожество... все позволяет... Да никогда не умничай, сам не рассуждай и не перебивай, когда говорит с тобою старший... старайся только слушать и понимать... Это тоже возьми себе за правило... и сыну своему тоже толкуй... И кто бы тебя ни учил другому – не слушай и не верь... А помни, что тебе генерал говорил... Будут смеяться, осуждать: не обращай внимания; ска-

жи: меня так генерал учил, он мне так советовал... Ну, на, возьми... С этими словами генерал отдал Осташкову деньги, которые до сих пор держал в руке и для большего назидания только помахивал ими перед носом Осташкова.

– Покорнейше благодарю, ваше превосходительство, на ваших наставлениях и милостях! – говорил Осташков, принимая деньги и подобострастно целуя руку генерала, которую тот и не думал отнимать, но спокойно принимал воздаваемую ему честь.

– Я бы дал тебе и больше, но знаю, что пять рублей для бедного человека значительные деньги и он может на них приобрести много полезного и необходимого... А дать тебе больше – ты либо пропьешь, либо пролакимишь... А будешь вести себя так, как я говорю, и придет нужда – обращайся ко мне: я тебя не оставлю...

Осташков опять поцеловал десницу его превосходительства и невольно взглянул на Паленова, который внушал ему совсем иные правила, но теперь молчал из уважения к генералу.

– Ну, Осташков, теперь поезжай домой, а после мы еще с тобой потолкуем, – сказал Паленов... – Если хочешь, спроси там себе поесть.

Прощаясь, Осташков опять поцеловал ручку генерала, а Паленова поцеловал в плечико, потому что он не допустил приложиться к своей руке.

– Балуете вы его, портите!.. – заметил по этому случаю генерал.

– Виноват, ваше превосходительство!.. Но я имею свои убеждения... – возразил Паленов, пожимая плечами.

Часть третья

I

Прасковья Федоровна была в совершенном восторге, когда узнала, что двое из ее внучат пристроены. Она отдавала должную справедливость успехам зятя на житейском поприще, хвалила его, что он умел так расположить к себе дворянство, но тем не менее главной виновницею всей этой благодати внутренне считала только себя одну.

«Кто его на путь наставил? – думала она. – Кто его в люди пустил? Кто его в господскую компанию ввел? Что бы он был без меня?... Жил бы себе весь век мужиком необразованным, да землю пахал, и дворянство-то бы свое растерял...»

– Говорила ли я, – продолжала она вслух, – что мой Коленька офицером будет, в эполетах... И вот все так и будет, как я говорила: попомните мои слова, и офицером будет, и женится на барышне, и души у него будут свои... А уж я поеду с тобой, Никанор Александрыч,

отдавать детей, уж как ты хочешь... А особенно Сашеньку... Пусть мать едет, ей нельзя не проводить, матери; надобно и с благодетельницей своей познакомиться, а уж и я поеду... Я хоть и старуха... и не дворянского рода, а дворянские порядки все знаю; скорее, может, вашего все рассмотрю.

– Так как же, матушка, уж которой-нибудь одной ехать! Коли ты поедешь, так, видно, Катерине надо остаться... А то больно в телеге-то уж у нас утеснение большое будет да и лошади-то тяжело...

– Нет, мать пусть едет: ей не ехать нельзя... А уж и меня, старуху, вы не покидайте: дайте внучаткам послужить, может, уж останные... Ну как быть, что тесненько будет... Ведь не в гости поедем. Да и много ли я, старуха, места займу?... Меня хоть в передок ткните, да возьмите с собой... Право, может, пригожусь... А она, моя голубушка, хоть вспомянет после, что старая бабушка ее провожала в чужие люди... – Прасковья Федоровна отерла слезы на глазах.

Целую неделю вся семья была занята обмундированием молодых новобранцев. И

мать, и бабушка, и тетка целые дни, с утра до вечера, усердно вымеривали, кроили, шили, вязали; но все, что они ни мастерили, все, что ни делали для детей, казалось им мало и недостаточно. Один Никанор Александрыч, руководствуясь здравым мужским смыслом, находил, что бабы хлопочут из пустяков, что все их труды ни к чему не послужат, и не давал денег на их затеи, тем более что сам задумывал сшить себе новый сюртук.

– Ну что вы тут попусту хлопочете? – говорил он. – Неужто вы думаете, что ваша работа пойдет в дело?... Ведь ни к чему не послужит... Ну, еще Николая и так и сяк – мальчишка: ему что не сошьете, все истаскает. А неужто вы думаете, Юлия Васильевна даст Сашеньке носить ваши тряпки: она, чай, в дочки ее берет, так оденет ее, как барышню... для себя... Погодите, еще как разоденет-то... А ваше тряпье покидает все в печку...

– Ах, Никанор Александрыч, – возражали ему, – так неужто уж так и отпустить ребятишек-то, и босо и голо... Ведь тоже, чай, стыдно: каковы мы ни есть бедны, а тоже, чай, родители, из родного дома отпускаем...

– Ну и то сказать: как хотите, а у меня денег про вас нет...

Переглядывались между собою бедные женщины, припоминали, что Никеша то и дело покупает для стола говядину да пшеничную муку на пироги и пьет чай раз по пяти в сутки; переглядывались, но молчали, зная, что бранью да ссорой ничего не возьмешь с хозяином, и молча резали еще одно последнее материно или бабушкино платье на платьице да на фартучки маленькой Саше или на рубашки Николеньке.

В семейном совете решено было отвезти сначала дочь, так как назначен был Юлиею Васильевною день для этого, а сына свезти к Паленову по возвращении из города. Наконец день отъезда настал. Наталья Никитична с петухов принялась застряпню, чтобы досыта накормить отъезжающих и отпустить побольше всякой всячины им на дорогу, хотя дорога была и недалняя.

Когда все сборы были кончены: Сашенькино убогое приданое завязано в узелок, а колбки, конуры и пироги дорожные в другой, и когда все это было уложено в телегу, а детям –

и расстающейся с родным домом Саше, и остающимся еще дома – дано, для утешения, по кокуре в руки, Прасковья Федоровна заметила, что следовало бы сходить к дедушке, Александру Никитичу, и попросить его благословения внучке.

– Каков он ни есть, а все дедушка и тебе отец, Никанор Александрыч...

– Пусть он тебя обижает, пускай он может и к сердцу этого не примет, что его внучка в чужие люди идет, а ты все свое справь, почтение родителю отдай! – говорила Прасковья Федоровна наставительным тоном. – Пускай же ему будет стыдно, а не тебе...

Против этого предложения сделали было несколько замечаний Катерина и Наталья Никитичны, но Никанор Александрыч, молча, согласился с советом тещи и пошел звать отца на проводы внучки.

В Александре Никитиче еще не остыло неудовольствие на сына по поводу истории с сеном, и он встретил его враждебно.

– Что, барский угодник, зачем пожаловал? – спросил он его. – Али предводителю жаловался, так с судом на меня пришел...

– Никак нет, батюшка; напрасно обижаете только меня завсегда. А пришел я вот за каким случаем: одна барыня делает нам добродетель: берет мою Сашеньку себе в дочки... Так пришел: пожалуйста к нам да благословите внучку-то... Тоже ваша внучка, а в чужие люди идет...

– Так что мне?... Отец с матерью отдают, так мне-то что?...

– А может, не дашь ли чего?... – вмешался Иван, который лежал в то время на полатях и не был замечен Никешей. – Они привыкли чужим-то хлебом жить, вот и детей к тому же приучать хотят... Так, может, мол, дедушка-то не раздобрится ли: не даст ли чего...

– Полно ты, братец, грешить-то...

– Что грешить! И к нам приходил разбоем да еще хотел предводителю жаловаться: землю обещал у родителя-то отнять. Так что не отнимаешь?... Отнимал бы...

– Полно, я говорю, братец, полно... Ваши же обиды были – не мои... Не просить я чего у родителя пришел, ничего мне не надо, сам собой проживу... А хотел только его родительского благословения...

– Полно казанской-то сиротой прикидываться... Наши обиды... Точно не он разбойника того подкупил сено-то у нас отнять да избили тогда меня... Небось не ты... Тебе сполгоря жить-то: у тебя все даровое, незаработанное, чужой хлеб в зубах не вязнет...

– Да что ты и вправду меня чужим-то хлебом коришь... Твой, что ли, я ем?... Кто больше земли-то владеет: я али ты?...

– Не я владею, а батюшка...

– Ну, да то сказать: ведь я не ругаться с тобой пришел... Что же, батюшка, придешь ко мне али нет?...

– Нет, нету, нечего мне делать... Ты в дворянскую компанию пошел не через меня, дочку отдал тоже не с моего совета, так на что меня и теперь... Ты ведь через холопство к господам-то пошел... Так, чай, лакейство то весу тебя... благословят и без меня...

– Только на что я приходил-то к вам... От вас одне обиды кровные только и получишь... Прощай, батюшка...

– Прощай, сынок... И дело: зачем тебе отец... Тебя напоят, накормят, оденут и без отца... И детей вон воспитывают все добрые лю-

ди... Да детям-то твоим и весь след чужие тарелки лизать: кровь-то ведь у них не все твоя дворянская, ведь холопской-то крови, чай, еще больше...

Никеша ничего не нашелся сказать, только крякнул да, уходя, с досады, крепко хлопнул дверью. Из избы провожал его громкий смех Ивана и его жены. Пришел он домой совсем пасмурный.

– Что, не пошел аспид старый? – спросила его Прасковья Федоровна.

– Да, пойдет, дожидайся... Ходить-то к нему, только обиды слышать... А все ты, матушка, мудришь...

– Ну, ничего, Никанор Александрыч: от отца и стерпеть, не от кого другого, а ты по крайности...

– Так тобой же попрекает, твоей кровью...

Прасковья Федоровна ничего не отвечала, только зажевала губами да старческое лицо ее вдруг еще больше сморщилось и вся она как будто съежилась.

– Ну, собирайтесь: ехать пора, – сказал наконец Никеша.

Наталья Никитична при этих словах бро-

силась к Саше, обняла ее, посадила к себе на колени и начала плакать и приговаривать над нею:

– Матушка ты моя, сердечная моя, родное мое дитяtko, увижу ли я тебя опять когда... Будешь ты жить в чужих людях, будут ли тебя ласкать, миловать... Сашенька, милая, станешь ли вспоминать-то меня... Али будешь барышня умная, ученая, нарядная и забудешь свою бабуку, дуру глупую...

Саша, веселый, резвый ребенок, с бойкими, беззаботными глазками, вдруг как будто смутилась и задумалась. Детское личико ее сделалось серьезно и грустно, потом вдруг она заплакала и прижалась лицом к груди ласкавшей ее бабушки. Прочие дети, не выпуская из рук кокур, которые они ели, с полными ртами и беззаботно-любопытными лицами, окружали бабушку и смотрели на нее и сестру Сашу. Много причитала Наталья Никитична над своей любимой внучкой и долго бы она не кончила, если бы не остановил ее Никеша.

– Да что, батька, больно торопишься: еще успеешь с рук-то сбыть... – с невольной доса-

дой проговорила Наталья Никитична и сама спохватилась, что сказала неладно.

– Что это ты говоришь, Наталья Никитична!.. – заметила Прасковья Федоровна.

– И то, матка... сама не знаю, что говорю с горя... – отвечала Наталья Никитична. – Ну, надо присесть да Богу помолиться... – сказала она, привставая и снова садясь на лавку.

Все прочие также присели, приказали усесться и детям. Затем начались общие слезы над головой Сашеньки, которая наконец тоже расплакалась. Осташков, благословивши и поцеловавши дочь, вышел к лошади и вывел ее под уздцы за ворота. В ожидании своих спутниц он не раз поправил хомут на своем бурке и осмотрел самого себя спереди и по возможности сзади. Наконец постучал в окно кнутовищем и велел выходить поскорее.

Наконец женщины показались в сопровождении детей, которые бежали вслед за ними, заглядывая в заплаканные лица матери и бабушек. Растрепанная и вся красная от слез, Наталья Никитична вынесла Сашу на руках и сама посадила ее в телегу возле Прасковьи

Федоровны, которая больше всех сохраняла присутствие духа и даже выражала на лице своем какую-то особенную важность и торжественность.

– Прощай, моя ласточка, прощай, мой соколик, прощай!.. – твердила Наталья Никитична, следуя за тронувшейся телегой и приносиваясь как бы еще разок поцеловать уезжающую Сашу.

Но Никеша взмахнул кнутом, бурка побежал рысью, и Наталья Никитична оторвалась от телеги. Грустно, сквозь слезы, смотрела она вслед уезжающей внучке, потом подперла рукою щеку, покачала головой и грустно проговорила:

– Что-то будет с тобой, мое солнышко!..

Накануне прибытия Осташкова Рыбинский тоже приехал в город и остановился, по обыкновению, у лесничего. Он был очень дружен с ним. Приезд Павла Петровича, постоянно проигрывавшего Кострицкому в карты, всегда был праздником для лесничего. Избалованный вкус богатого Рыбинского не переносил вин, продававшихся в местном погребе; он постоянно выписывал вина из Петербурга или Риги, и потому, приезжая в город, он привозил с собою по нескольку дюжин бутылок, которые или выпивались им вместе с хозяином, или оставлялись в распоряжение последнего, если гость уезжал, не истребивши всего запаса. По должности предводителя, Рыбинскому нужно было часто приезжать в город, и, чтобы не стеснить своего небогатого хозяина, он привозил с собою повара и закупал провизию всякого рода на целые месяцы, хотя оставался иногда в гостях не более недели: ведь, не везти же ему все это в деревню; и лесничий, ничего не покупая, имел постоянно изобильное продовольствие. Каждый

раз, с приездом Рыбинского, у лесничего шел пир горой; все уездное общество собиралось у него, карточная игра почти не прерывалась; все, начиная с хозяина до последнего гостя, были веселы и пьяны; хозяин постоянно выигрывал, а Рыбинскому не везло в картах до такой степени, что иногда он даже сердился и, проигравши значительный куш, бросал карты и уходил спать раньше всех, оставляя хозяина с прочими гостями сражаться всю ночь до самого света. Такая постоянная, неутомная кутерьма в доме утомляла Юлию Васильевну, и когда не было у нее в гостях дам, она тоже очень рано уходила спать. Она даже несколько раз замечала мужу, что ей не нравятся эти частые посещения Рыбинского и сопровождающие их кутежи; но Иван Михайлыч отвечал на это с улыбкой беззаботности, что он очень любит Рыбинского, а кого любит муж, того должна любить и жена. Юлия Васильевна на это иногда возражала слегка, а иногда и вовсе ничего не возражала. Понимал или нет Иван Михайлыч настоящие отношения своей жены к Рыбинскому – нельзя было сказать наверное, но вероятнее всего,

что он об этом вовсе не думал и не хотел думать: с некоторого времени вино и карты составляли для него главный интерес в жизни, гораздо более важный, нежели верность жены.

Юлия Васильевна была дочь петербургского чиновника, отца многочисленного семейства. Чиновник жил хорошо, даже роскошно, дал дочерям приличное, в известном смысле, воспитание, т. е. научил их говорить по-французски, даже по-немецки, играть на фортепьянах и держать себя в обществе свободно и даже самоуверенно. Затем он не мог дать им ничего более, потому что лишних денег у него не водилось: он проживал все, что получал. Дочерям, со дня их выезда в свет, внушалось, что они бесприданницы и что первое счастье девушки состоит в том, чтобы выйти замуж. Вследствие этого, когда дочери подросли, дом чиновника постоянно наполнялся холостыми мужчинами, и девицам дозволялось возможно свободное обращение с ними, лишь бы не нарушались приличия. Иван Михайлыч Кострицкий познакомился с домом Печальникова (такова была фамилия чинов-

ника), еще бывши кадетом лесного корпуса, впрочем, незадолго до выпуска из него, и, как следует, почел долгом влюбиться в одну из знакомых девиц. Выбор его пал на Юлию Васильевну. Он был мальчик красивый, бойкий и беззаботно веселый. Юлия Васильевна, в силу данного позволения, тоже поспешила влюбиться в молодого человека. Сначала они пожимали друг другу руки, потом объяснились в танцах, затем стали, неизвестно для чего, пересылаться записочками, хотя могли видаться каждый день, потом дали друг другу клятву в вечной верности и, сидя в полутемном уголке залы, начали мечтать о счастье супружеской жизни и о том, как он, по окончании курса, сделает предложение, а она даст свое согласие: и будут они счастливые муж и жена. Правда, что они в разлуке друг с другом не тосковали, но свидания ожидали с нетерпением, письма писали друг к другу охотно, целовались втихомолку с необыкновенным сердечным замиранием, и думали, что жить один без другого решительно не могут. Верный своему слову и своим чувствам, Иван Михайлыч, в первый же день выпуска, при-

целивши совершенно новенькие и блестящие эполеты, явился к родителям Юлии Васильевны с предложением, наперед предвкусывая блаженство счастливого жениха. Юлия Васильевна уверяла его, что препятствия со стороны родителей быть не может; но, сверх ожидания, родители имели свои соображения: их беспокоила молодость жениха, незначительность его чина, а главное – неизвестность его состояния; ему не отказали решительно, но просили подождать, под предлогом молодости его собственной и его невесты; впрочем, убеждали надеяться, не прекращать знакомствами, поспешили навести справки о его состоянии. Это неожиданное препятствие усилило страсть влюбленных, но Иван Михайлыч был сын очень небогатых родителей и, конечно, несмотря на постоянство своей любви, не получил бы руки Юлии Васильевны, если бы на его счастье или несчастье не умерла у него какая-то тетка, которая оставила ему 15 тысяч серебром наследства. Известие об этом радостном событии пришло в самые горькие минуты для Ивана Михайлыча: он получил назначение в очень малолесную,

следственно дурную губернию, потому что за молодого человека некому было замолвить слово; с другой стороны, и родители Юлии получили достоверное известие о бедности молодого человека. Принимая все это в соображение, т. е. и дурное назначение и скудость собственных средств, родители Юлии на вновь повторенное предложение молодого человека ввиду предстоящего отъезда сделали ему решительный и безцеремонный отказ, объяснивши, что дочь их привыкла к роскоши и что его средства не позволят ему сохранять все привычки Юлии, а они не могли бы вынести, что их милая дочь будет терпеть лишения и даже бедность. Иван Михайлыч сначала хотел было застрелиться, о чем объявил с упреком и родителям Юлии, но, приехавши прямо от них в гостинный двор, — где намеревался купить некоторые необходимые для дальней дороги вещи, а в том числе и пистолет для само убийства, — дорожные вещи купил, а пистолет как-то позабыл, и чрез то спас свою жизнь. Но тем не менее он ужасно убивался, писал по нескольку записок в сутки к своей возлюбленной, умолял ее бежать с ним

и выйти на тайное последнее свидание. Неизвестно, чем бы кончилась вся эта трогательная история, если б не роковое известие о наследстве. Получивши его, Иван Михайлыч тотчас же поспешил в дом своего будущего тестя, и, показывая документы на 15 тысяч, опять просил руки бесценной Юлии, без которой для него жизнь не нужна. Теперь Иван Михайлыч недолго должен был вымалывать согласие. Сметливый родитель Юлии Васильевны объяснил молодому человеку, что, видя ее истинную любовь, он готов отдать ему руку дочери, но чтобы он не соблазнялся надеждами на изобильную жизнь с этими деньгами, что 15 тысяч проживутся скоро и что молодому человеку необходимо позаботиться о более прочных источниках дохода, т. е. хлопотать о получении более выгодного места.

– Чтобы получить более выгодное место, – говорил г. Печальников, – по моим соображениям, достаточно пяти тысяч серебром, но нужно, чтобы этими деньгами распорядился опытный человек. Сами вы не сумеете этого сделать... Хотите ли вы мне доверить эти пять

тысяч с тем, чтобы через год получить такое место, которое будет давать вам ежегодно по 10 тысяч?...

Иван Михайлыч, разумеется, поспешил вручить будущему тестю требуемую сумму без всяких возражений, а тот ему отдал со слезами на глазах руку своей дочери и умолял беречь это сокровище, которое должно составить счастье каждого смертного, кому бы оно ни досталось. И вот Иван Михайлыч – счастливый муж, Юлия Васильевна – счастливая супруга. В неистощимых нежностях и ласках, в нескончаемых поцелуях провели они первые две недели своего супружества, а с третьей принялись за радикальное проматывание 10 тысяч, посланных судьбою на счастье юной четы. (Юлия Васильевна, кроме воспитания, платьев и благословения с горькими слезами, ничего не получила от своих родителей.) Это проматывание молодые люди совершали с такой любовью, с таким увлечением, что удивили весь уезд, в который был послан Кострицкий на службу, и умели повести дело так, что к концу года у них не осталось ничего от 10 тысяч. В течении этого года

страсть супругов охладела и перешла в так называемую тихую дружбу: возможность удовлетворять малейшие прихоти поддерживала эту тихую дружбу, но явившаяся вдруг неожиданно в конце года нужда сильно ее поколебала: слышались с обеих сторон требования и упреки, взаимное неудовольствие и скука. Но г. Печальников, верный своему слову, успел выхлопотать перемещение зятя на выгодное место. Здесь деньги снова появились в руках Кострицкого, и тихая дружба снова могла восстановиться: и она действительно пришла, но уже не по-прежнему невозмутимая и безоблачная. Хотя денег было опять много, по Иван Михайлыч уже успел понять, что деньги вещь непрочная, что их можно прожить; прежде он вынимал их только из бумажника и не знал, что нужно некоторое усилие, чтобы снова заманить их туда; теперь, напротив, он видел, что приобретение денег все-таки стоит ему некоторых забот, трудов, что он должен ради них часто рисковать своею безопасностью, подвергать себя ответственности... Тихая дружба не помешала ему также заметить, что вкладчиком

В кошелёк остается все он один, а расходчиками не только он, но и жена его; вследствие этого, естественно, он заботился больше всего об удовлетворении собственных желаний, предоставляя жене пользоваться только остатками средств, хотя, по беззаботности и легкости характера, не хотел ни в чем стеснять ее определенно. Само собою разумеется, что и жена, с своей стороны, спешила точно так же захватить средства в свои руки. Вследствие этого деньги проживались скорее, нежели получались. В характере Ивана Михайлыча вдруг развился какой-то задор мотовства, супруга не считала нужным уступать ему и в этом. Между тем сношения с лесопромышленниками, сделки и стачки, требовавшие иногда большой смелости и риска, пугавшие даже беззаботность Кострицкого, приучили его к употреблению возбуждательных средств. Смышленные лесопромышленники, смекнувшие, что лесничий под веселый час, под куражем, способен согласиться на все, старались как можно чаще его куражить и втянули его в это дело так, что он почти не выходил из полупьяного состояния. В этом со-

стоянии он стал делать такие дела по своему лесничеству, что начальство испугалось и поспешило перевести его на более скромный пост. Тут вдруг Иван Михайлыч и его супруга увидели себя в новом, весьма неприятном положении: привычки развились разнообразные, потребности в жизни широкие, а денег нет и взять их негде. Иван Михайлыч, с отчаяния, поставил последний рубль на карту – хорошо!.. Хоть непрочно и не всегда и верно, зато жутко... К тому же всегда сыт и пьян и всегда на людях... хорошо! Юлия Васильевна уже очень давно охладела к своему супругу, но когда пьяный и картежник муж начал оставлять ее часто не только без денег, но даже без чаю и сахара, когда она открыла, что он носит с собою какой-то особенный, неприятный для обоняния, спиртуозный запах, – она оправдала в глубине души свое равнодушие к нему и сочла себя в полном праве открыть давно пустое сердце для новых ощущений. Тогда тихая дружба снова и окончательно возвратилась и воцарилась между счастливыми супругами. В такую-то пору познакомился Рыбинский с лесничим и его женой,

все еще молоденькой и хорошенькой: мудро ли, что он так сблизился и подружился с этим семейством!

III

Рыбинский, по обыкновению, остановился у лесничего и, по обыкновению, в первый же день его приезда была попойка и картежная игра. На следующий день приехал Осташков. Целый день тащился он на своем бурке до города. В продолжение всей дороги Прасковья Федоровна внушала Саше, что она едет к новой богатой маменьке, что она должна любить ее, уважать и во всем слушаться, что за это она будет барышня, ученая и нарядная. Подъезжая к городу, Остатков выразил недоумение, где остановиться; на постоялом дворе с такой семьей дорого, а прямо ехать к Костицкому он не решался. Прасковья Федоровна настоятельно советовала въехать прямо к лесничихе.

— Она берет у тебя дочь на все свое содержание и воспитание: вот какую тебе делают благодетель... Так неужто уж ей жаль будет дать нам уголок и покормить нас? Полно-ка,

это в господских домах ни во что считается. Неужто ты еще не привык?... Чтобы в господском доме вольготней было, надо больше в низких людях искать: они ведь господ больше всего наущают, они захотят, и в ласку введут... Нет, не бойся ничего, поезжай прямо... Ну а там видно будет, коли не помысли, что приехали: тогда можно ведь и в другое место уехать.

Осташков согласился. Они въехали на двор квартиры лесничего часу в восьмом утра. В доме все еще спали, на дворе лениво ворочались около каретного сарая и конюшни кучера Рыбинского и лесничего. Они оставили свое дело и с любопытством смотрели, как въезжала на двор телега с семейством Осташкова.

– Кто это? – с недоумением спросил кучер Кострицкого.

– Кто? Разве ты его не знаешь... Это, братец ты мой, знай ты его... Мы его от скуки иной раз собаками травим.

Кучер лесничего захохотал.

– Видно, что барин значительный...

Осташков подъехал и поклонился знако-

тому кучеру Рыбинского. Тот небрежно по-
двинул на голове шапку и запихал руки в
карманы.

– А Павел Петрович уж, видно, здесь? –
спросил Осташков заискивающим голосом.

– Здесь.

– Давно ли?

– Вчера.

– Ну... Вот как... Можно тут мне лошаденку
привязать? – обратился Никеша к другому ку-
черу.

– Привязывай, пожалуй... Ничего.

– Вы здешние кучера?

– Здешний.

– Юлии Васильевны?

– Ну нечто... Юлии Васильевны, Ивана Ми-
хайлыча...

– Нанятые?

– Собственный свой...

– Не знаете, еще не встали господа?

– Где еще встать... чай, и лакейство-то еще
дрыхнет... – И кучер с пренебрежением отвер-
нулся, зевнул, вскинувши руки кверху, и,
отойдя в сторону, облокотился на бочку с во-
дой, стоявшую тут же неподалеку.

Осташков с недоумением обратился к своим.

– Ну, так что делать-то?... Подождать надо... – спокойно проговорила Прасковья Федоровна.

– Да вот бурка-то проголодался: есть хочет.

– Так попроси у кучеров-то: может, дадут сена-то.

Осташков подошел к кучеру лесничего.

– А что, нельзя ли одолжить маненько сенца лошаденке?...

– Сенца?...

– Да-с...

Кучер, не переменяя позы, как будто немного подумал...

– Возьми вон, пожалуйста, там на сеновале...

– Покорнейше благодарю.

Осташков полез на сеновал.

– А что любезненький, есть у вашей барыни этакая старшая женщина? – обратилась Прасковья Федоровна к кучеру лесничего.

– Чего?

– Этакая женщина постарше других, значит поопытнее: там ключница али экономка, есть при вашей госпоже?...

– Из кого выбирать-то: Машка да Ульяшка... Всего-то у нас две...

– А наша-то? – заметил кучер Рыбинского.

– Ну, что ваша... Это особ-статья...

– Что же ваша женщина в услужении находится при барыне в горничных или для ключей?... По какой части?...

– Но всем частям... – проговорил кучер лесничего и с лукавой улыбкой взглянул на другого кучера. Оба фыркнули.

– Экой нынче народ стал грубый, необходимый... – подумала про себя Прасковья Федоровна.

– А как их зовут? – спросила она.

– Зовут зовулькой, а прозывают рогулькой... – проговорил со смехом кучер Рыбинского и пошел к конюшне. Кучер лесничего пошел вслед за ним и, отойдя уже далеко, не оборачиваясь, вдруг крикнул в ответ Прасковье Федоровне: «Афанасья Ивановна...»

– Экой, экой нынче народ стал!.. – говорила вслух Прасковья Федоровна, покачивая головой. – Применить нельзя к прежним: и впрямь, что последние времена пришли...

Между тем Осташков вынес сена, рассупо-

нил лошадь и дал ей корму. Кучера вышли из конюшни, ведя лошадей на водопой.

– Да вам зачем Афанасью-то Ивановну? – спросил кучер Рыбинского, останавливаясь с лошадьми, которых обеими руками держал сзади себя.

– Так я спросила: из одного любопытства.

– Да вы к кому: к Павлу Петровичу или к здешней барыне?

– Да и к Павлу Петровичу и к здешней барыне.

– Ну, так подождите: еще не встали...

И он повел лошадей далее. Кучер лесничего последовал за ним.

– А зачем больше? – вдруг опять спросил он, почти выходя уже из ворот, как будто вспомня, что не спросил о самом главном.

– Так... дело есть у нас... вот насчет девочки. По ихнему приказу приехали...

– А-а... Подождите... Вот встанут...

– Да вы бы хоть в кухню шли покуда, – прибавил кучер лесничего. – Подите... Ничего...

– Собак-то с нами нет, барин... не бойся... – кричал кучер Рыбинского уже с улицы.

Целый час дожидалась семья Осташкова,

когда проснутся в доме. Наконец выбежала с крыльца девочка с заспанным лицом и начала плескаться водой из повешенного у кухни умывальника. Прасковья Федоровна подошла к ней.

– Тебя как зовут, миленькая? – спросила она.

– Уляшкой.

– Ты в горницах?

– Да-с...

– Юлии Васильевны?

– Да-с.

– Встали оне или нет?

– Нет, еще не встали.

– И никто из господ не встал?

– Где еще встать: только что мы поднимаемся.

– А Афанасья Ивановна... проснулась или нет?

– Нет... Она иной раз дольше господ спит...

– Что она у вас строгая, взыскательная?...

– Нету, веселая... Редко когда толкнет разве только, а не дерется...

– Ведь у вас барыня-то, Юлия-то Васильевна, очень добры...

– Ну, барыня-то скорей рассердится... Да вы от кого? Что вам надобно?...

– Я, миленькая, сама от себя... к вашей барыне, да вот и Афанасию-то Ивановну мне бы повидать нужна. Как проснутся, так прибеги мне сказать радость... Я тебе колобок дам за это. Прибежишь?

– Отчего не прибежать... Да погодите: я сбегаю посмотрю... Коли проснулась, так я и прибегу: скажу вам...

«Ну это еще, слава Богу, что старшая-то не сердита, – подумала Прасковья Федоровна. – Для чужого ребенка нет того хуже зла на свете, как бывает от нашего брата, коли зол да сварлив».

Через несколько минут явилась Уляшка на всех рысях с известием, что Афанасья Ивановна проснулась, получила обещанный колобок и осталась очень довольна. Глодая его, она с любопытством посматривала на Катерину, на Осташкова и особенно на маленькую Сашу.

– Ну, Уляша, а ты меня проводи же теперь к Афанасье Ивановне, да как-нибудь с заднего крыльца, чтобы господ как не беспокоить.

– Пойдемте... Я вас в девичью провожу, а тут рядом и Афанасья Ивановна спит. Пойдемте.

Прасковья Федоровна последовала за Ульяной.

– Да вы, маменька, что же хотите делать? – спросил ее вполголоса Осташков.

– Уж пусти же ты меня, Никанор Александрович... уж поверь ты мне! Я знаю все эти порядки. Ничего к худому не сделаю, не бойся...

– То-то, смотрите... чтобы после как до господ чего не дошло...

– Уж будь ты покоен... Неужто уж так-таки я совсем из ума выжила... Ах, батюшки мои... говорю – побеспокойся... Пойдем, Ульяша.

– Пойдемте... Ничего... Она у нас веселая... Ничего...

– Да она у вас за барыней, что ли, ходит, или при ключах?...

Девочка на минуту как будто задумалась.

– Да она завсегда с барыней... И одевает уж всегда она.

– Ну а насчет кладовой, кто же у вас? Там выдать что, принять?... Она же, Афанасья

Ивановна, али сама барыня?...

– Да когда Маша, когда и Афанасья Ивановна ходит... А то повар...

«Ну, уж это порядка немного... – подумала Прасковья Федоровна... – Эх, лета мои ушли! Послужила бы я здесь... А может, и возьмет... На такой порядок не мудрено потрафить...»

В это время Уляша ввела ее в девичью, где Маша, горничная лет двадцати с глуповатым лицом, гладила юбки.

– Ну где, пострел, бегаешь, барынины воротнички до сей поры не подсинены... Я, что ли, все буду за тебя делать?... Вот надеру вихор, пострел этакой... – такими словами встретила Марья девочку.

– Да вот к Афанасье Ивановне, – отвечала она. – Я сейчас подсиню, мне недолго.

– Здравствуйте, Марья... Не имею чести знать, как по отчеству...

– Здравствуйте... На что вам Афонасью Ивановну?... Знакомая, что ли?

– Нет, еще не знакома, а желаю получить ихнее знакомство, также и ваше...

– Да Афонасья-то Ивановна спит еще, кажись.

– Нет, не спит. Я заглядывала: так лежит... – вмешалась Уляша.

– Да вы кто такие?...

– Да я ваша же сестра была, из дворовых, да только что Господь за простоту видно превознес: госпожа отпустила на волю, а дочку Бог привел выдать за дворянина, за благородного, помещика.

– Ну вот-с. Так поди скажи – коли, Уляшка, Афонасье-то Ивановне да приходи, пострел, чисти воротнички.

Уляшка бросилась было исполнять приказание, но дверь в каморку Афанасьи Ивановны отворилась, и сама она выглянула из нее. Услыша чужой голос и свое имя, она встала с постели в чем была, чтобы посмотреть на незнакомое лицо.

Прасковья Федоровна ей поклонилась.

– Здравствуйте, Афанасия Ивановна... Позвольте с вами познакомиться... – сказала Прасковья Федоровна, раскланиваясь.

– Извините, я еще не оденшись... Да ничего... войдите... уж не обессудьте: в чем застали.

– Э, полноте, матушка... Мы старые люди,

не взыскательны... Желала очень найти ваше знакомство, Афанасья Ивановна.

– Очень приятно... Уляшка, Уляшка, а ты приготовь мне умыться-то да самовар поставь.

– А я к вам, Афанасья Ивановна... Не лишите вашего приятного расположения... так как вы теперь находитесь при Юлии Васильевне и много от вас будет зависеть... Вы, может, слышали о дворянине Осташкове... Я теща ему буду.

– Как же, мне говорила Юлия Васильевна. Она вашу внучку берет к себе в дочки, так вы, верно, по этому случаю...

– Именно... точно-так... Прошу вас: не оставьте и вы своими ласками девчонку... Что еще она?... Прыщик, ничего не понимает... Ей нужно доброе наставление...

– Ну уж, матушка, я с ребятишками возиться не люблю и не умею: в няньки я не го-жусь... Я и барыне так сказала...

– Да где уж вам возиться... Я не к тому и говорю... А как наслышана о вашем добром сердце, так прошу только не оставить ребенка, и чтобы обижен не был, потому доброго

человека найти днем с огнем, а злых сердцов несть числа...

– Я, матушка, такой характер имею: никого не трону, только меня не троньте... У меня характер веселый: у меня, чтобы все пело да плясало вокруг – вот у меня какой характер... Да здесь скучно... Вот у нашего барина, так этим весело... Право, у меня такой характер... А чтобы обидеть человека изнапрасна – этого у меня нет...

– Это и всего лучше, Афанасья Ивановна: за это вас Господь не оставит...

– Ну, уж оставит ли, нет ли, а только у меня характер такой... Кабы мне жить в большом городе, да на своей воле, да при деньгах, я бы, кажется, все пиры сводила... Право...

Прасковья Федоровна подобострастно улыбнулась.

– Годы это все делают, Афанасья Ивановна, молодые годы!..

– Полноте-ка, какие уж годы: мне ведь уж за тридцать много перевалило... Нет, а так, уж такой характер...

– Что же, это счастливый характер... Афанасья Ивановна...

– Ну, уж не знаю как вам сказать... Не взыщите: я умываться стану...

– Умывайтесь, матушка, умывайтесь.

Разговор на время прекратился. Прасковья Федоровна внимательно смотрела на Афанасью Ивановну. Природа, как видно, одарила последнюю не только веселым характером, но и здоровым телосложением. Здоровье так и прыскало с ее румяных щек, полных плеч и круглых мускулистых рук. В глазах ее светилось добродушие, но в тех же глазах, а особенно в улыбке, ухватках, во всей фигуре проглядывало какое-то нахальство и беспутство. Видно было сверх того, что она никогда ни над чем не задумывалась, ничего не принимала близко к сердцу, а жила так себе беззаботно, руководствуясь только побуждениями своей плоти; была весела, потому что не могла и не умела скучать; не делала зла, потому что природа дала ей доброе, беззаботное сердце. Любовные похождения были ее коньком, ее страстью: она никогда не задумывалась удовлетворять всем своим сердечным ощущениям, знала, как это приятно, и потому была всегда готова покровительствовать другим в

их любовных шашнях. Ленивая от природы, она не затруднилась бы просидеть целую ночь, сторожа спокойствие счастливых любовников и внутренне сочувствуя их счастью. Чем дольше жила она, чем спокойнее становилось ее собственное сердце, тем более возрастала ее готовность служить на пользу любящихся. Рыбинский, под предлогом недостатка и неопытности двух горничных Юлии Васильевны, предложил ее в услужение. Выбор этот был очень удачен: ею оставались довольны все – и лесничиха, и Рыбинский, и даже сам лесничий. Прошедшее Афанасьи Ивановны рассказывалось несколькими словами: она была дочь дворовой женщины старого барина, подарившего Рыбинскому имение. Павел Петрович сблизился с нею еще при жизни покойного владельца, когда услаждал душеспасительною беседою его последние минуты, – сблизился очень скоро, но скоро и оставил, без горя для себя, не огорчивши и возлюбленную. Она не только не огорчилась, но когда Рыбинский сделался ее господином, то воспользовалась первым же случаем, чтобы быть ему полезною. Такое благо-

душие и бескорыстие понравились Рыбинскому, и он дал ей очень почетное положение в своей дворне. Афанасья Ивановна пила, ела и делала что хотела, не давая никому отчета в своих поступках, и пользовалась совершенною свободою до тех пор, пока не представлялась нужда в ее услугах. В дворне Рыбинского Афанасья Ивановна была общим другом, никто не завидовал ее льготам и все в один голос называли ее: веселая девка. У Юлии Васильевны Афанасья пользовалась почти такой же совершенною свободою: она только делала вид, что ходит за барыней, а на самом деле у нее были другие обязанности, которые никому не должны быть известны и которые она сохраняла в большой тайне.

«Для чего держит Юлия Васильевна такую девку? – думала про себя Прасковья Федоровна. – Кажись, не надо быть ей больно-то ручной к делу, а ведь веселье-то ее не больно кому нужно...»

– Ну-с... как вас звать-то? – спросила Афанасья Ивановна, умывшись и помолившись на образ.

– Прасковья Федоровна...

– Ну, Прасковья Федоровна, теперь чайку попьем, что ли?...

– Очень благодарна, Афанасья Ивановна, только не было бы какого неудовольствия после от господ...

– Из-за чего это? Из-за чаю-то?... Чтой-то Господи помилуй... да у нас об этом и в голову-то никому не придет подумать...

– Хорошо же вас Юлия Васильевна содержат, благородно...

– Я у своего барина так привыкла: мне везде хорошо... Я своими господами довольна... Ну, Уляшка, подавай самовар проворнее...

– Да вон, Афанасья Ивановна, Маша все бранится, что воротничек барыне не вычистила...

– Так что же ты, постреленок, и сам деле не вычистила... Ну подавай скорее самовар-от, да и Машу сюда позови: она тоже изопьет чайку-то... с нами... И ругаться не станет...

Через несколько минут самовар кипел на столе. Явилась и Маша. Это была глупая и вздорная девка, но работала, как машина, бессознательно, без любви и без скуки. Она исполняла свои обязанности аккуратно, и толь-

ко ее машинальная деятельность спасала гардероб беззаботной Юлии Васильевны от совершенного беспорядка.

– Попей-ка с нами чайку, Маша: полно тебе там руки-то мозолить...

– Давайте... Да вот Ульяшка у меня от рук отбивается... До сей поры ничего барыне не приготовила, а она, чай, скоро встанет...

– Нет, еще долго не встанет... – утвердительно сказала Афанасья.

– Да ведь вчера рано легла...

– Легла-то рано, да ночь-то не спокойно спала: зубами билась, я часа два около нее сидела.

– А я и не слыхала...

– Да я нарочно тебя не будила: что, мол, пускай ее спит: завтра ей рано вставать...

– А Ульяшку не будили?

– Нет... Ну что ее... ребенок!.. Что она поможет...

– Вот ведь пострел, никогда не услышит... Все бы, однако, посидела... Нет, вы напрасно ее балуете, Афанасья Ивановна... После с ней не сладишь... Вчера говорю: «Слушай, Ульяшка, встань завтра раньше и чтобы до моего

вставанья все у тебя было готово...» Что же? Сегодня встаю, а она еще изволит нежиться, протяня ножки... Ну, уж я ей хорошего же пинка дала: вскочила у меня, как встрепанная... Терпеть не могу...

– Молоденька еще: заботни-то мало... Постарше будет, станет больше заботиться... – заметила Прасковья Федоровна не без умысла.

– Да ведь пес она этакой: ей уж ведь пятнадцатой год... Вот, подите-ка, чай, как теперь машет: все кое-как, все кое-как, чтобы только с рук свалить, а ужо подаст барыне рукава – синьку не отмочит, либо гладить будет – припалит... Мне же достанется, я же отвечаю за нее...

– Вот не могу надивиться этаким карактерам, как Маша... Целый день она возится: что-нибудь делает... Ни поговорить, ни погулять ей не хочется... Да не то, что свое только дело справила – ну и шабаш, мол, гуляй теперь... знать ничего не хочу... Нет, она смотрит, чтоб и девчонка, и та, чтобы без дела не шата-лась...

– Терпеть не могу.

– Это правда, что все от характера, – заметила Прасковья Федоровна... – Один человек веселости любит, другой без дела умрет... Это человеком... «А эта подельней будет, чем та... – подумала про себя Прасковья Федоровна, – да и позубастей. Надо эту больше просить на счет Сашеньки».

– Вот, матушка, Марья... все по отчеству-то вас не знаю...

– Марья Алексеевна...

– Вот, Марья Алексеевна, не оставьте моей внучки вашими наставлениями... Ведь вы, чай, слышаны, что Юлия Васильевна мою внучку берет к себе в дочки...

– Нет, не слыхала ничего...

– Как же, матушка... Я вот сюда и ребенка-то привезла...

– Да что ей это вздумалось: сама молода, еще народит...

– Ну, такое уж их рассуждение: значит хотели добро бедным людям сделать, а может, и для того, что говорят: коли своих детей нет, да чужого возьмешь, так и свои начнут родиться... Юлия-то Васильевна сколько лет замужем?

– Да уж лет восемь, а может, и все девять есть...

– А деточек ведь не было своих?

– Нет, не было...

– Ну, так вот видите: может, для этого самого и берут, чтобы свои дети пошли... Так вот, матушка, уж вы мою Сашеньку не оставьте... Конечно, она хоть и от бедности, а все благородное дворянское дитя, от нее того не спросится, что с нашей сестры... а все когда и остановите в чем, по ее глупости, когда и за работку какую легонькую посадите... уж не оставьте... прошу я вас... Вас Бог за это наградит... Ведь хоть Юлия Васильевна и в дочки ее изволит брать, да где же ей каждую минуту ребенком заниматься... Известно, что часто и в детской, али там в какой своей комнатке будет... Тоже когда в гости уедут, или к самим когда гости приедут... Вот тогда уж вы ее и научите... завсегда вам буду за это благодарна...

– Извольте, что же... Я уж баловаться не дам... Терпеть не могу...

– Ну, уж она теперь вашей внучке пошевелиться не даст... Заморит за работой, – сказала Афанасья Ивановна смеясь.

– Ну да еще теперь какая она работница... Я только прошу, чтобы не больно баловался ребенок, так ему дать когда что в руки, заместо игрушки, чтобы хоть к иголке-то приучилась. А то где еще: какая с нее работа...

– Ну, напилася, – сказала Маша, опрокидывая пятую чашку. – Теперь пойду посмотрю, что мой пострел делает...

– Надо и мне наведаться к своим: чай, дожидаются-поди меня... – прибавила со своей стороны Прасковья Федоровна, приподнимаясь... – Прощайте покудова, Афанасья Ивановна... Покорнейше благодарю за ваше угощение и приятное знакомство... Пришлите сказать, как Юлия-то Васильевна проснутся, да и их-то повестите, что, мол, дворянин Осташков дочку привез.

– Хорошо, хорошо... Да вы где же дожидаетесь-то?

– Да тут у вас, на дворе...

– Ах, так как же это: вы хоть сюда бы вошли, в девичью...

– Очень бы хорошо, Афанасья Ивановна... Со мной и дочка... Да как бы господ-то не прогневить... Им-то не сделать противность...

– Нет, ничего, приходите... Что за беда такая – вы шуметь не станете, не разбудите никого...

– Так очень хорошо-с: мы сейчас придем...

– Ну а я коли покудова одеваться стану: чай, и барыня скоро встанет.

Прасковья Федоровна, возвратившись к зятю и дочери, нашла их в беседе с кучерами, которые подтрунивали над Осташковым, к большому огорчению и беспокойству Катерины, не выдавшей еще, как холопы тех господ, к которым ее глава ездит в гости, обращаются с ним. Она и не подозревала, что Никеша очень привык к этим неприятностям и что от самых господ он слышит и переносит и не такие речи, когда они развеселятся и захотят потешиться на счет своего бедного собрата.

Прасковья Федоровна, по сконфуженному виду зятя и беспокойному лицу дочери, а еще больше по оскаленным зубам кучеров, отгадала положение своих присных и, желая сделать приличное внушение невежам, торжественно объявила, что она познакомилась с Афанасьей Ивановной, что та, вероятно с приказания господ, напоила ее чаем и что их про-

сят в дом: пока господа почивают, так в деви-
чьей подождать...

– Ну, ты, барин, там девкам-то спуску не
давай!.. – сказал кучер Рыбинского. – Ты за
Афанасьей-то Ивановной там примыхнись...

– Как вам не стыдно, – возразила с упреком
Прасковья Федоровна, – какие вы речи гово-
рите женатому человеку, да еще и при жене
его...

– Что же не говорить-то: он по этой части
ходок... К нам приедет когда, девки не зна-
ют, куда от него прятаться...

– Ну уж это вы напрасно... – говорил Нике-
ша, тряся головой и, видимо, обиженный...

– Как вам не стыдно: ах, я, право, удивля-
юсь, – говорила Прасковья Федоровна. – Нет, в
наше время деликатнее были люди... Что он
бедный человек, так и надобно его обижать:
однако же ведь он хоть как ни беден, а все-та-
ки дворянин, благородный... Ваш господин
им не гнушается – в гости к себе принимает...
А вы так его обижаете кровно...

– Да чем я его обижаю... – отвечал несколь-
ко смущенный кучер. – Вот еще какая!.. Отку-
да пожаловала, из какой столицей!.. – обра-

тился он со смехом к другому кучеру.

– Не говори, парень... Фу ты, ну ты, шире грязь, навоз едет...

– Да не хорошо, не хорошо, господа, – продолжала оскорбленная Прасковья Федоровна, не обращая внимания на оробевшего Никешу, который дергал ее за рукав, чтобы прекратить дальнейшую ссору: он знал по опыту, как неприятны бывают для него последствия подобных столкновений.

– Перестаньте, маменька, пойдемте! – твердил он, переминаясь на месте.

– Кого хотите спросите, господа кучера, никто вас за это не похвалит, – продолжала Прасковья Федоровна. – И опять вы порочите такую уважаемую женщину, Афанасью Ивановну... Неужто она станет такими пу-
стяками...

Оба кучера вдруг громко захохотали.

– Тут смеяться нечему, а совеститься следует, что такую мораль нехорошую на добрых людей пускаете. Вот я бы пошла да рассказала Афанасье-то Ивановне, что вы про нее говорите; не больно бы, чай, она спасибо вам сказала... Тоже при барыне находится: худую-то

славу про нее распускать по одному этому так не следует...

– Да что ты разносилась больно, знаем мы Афанасью-то Ивановну, по прежде, чай, твоего... Полно фуфыриться-то... Ишь ты!.. Сбируны какие приехали, даряще ломаются... Знаем мы вашу братью... Ишь ты... чванство какое показывают... Видали мы, нас не испугаешь...

– Маменька, да пойдете... отстаньте.

– Только, что не приходится мне, старухе, с тобой, мой любезненький, говорит-то, да и некогда, а то бы я с тобой поговорила. Пойдете-ка: нас, чай, там дожидаются...

– Подите-ка!.. – говорили вслед ей со смехом кучера. – Ишь ты, распустила какие известия. Извольте чувствовать... А вот не дам клячонке-то ни сена, ни овса, как приедет к нам барин-то большой, так и будет знать... Всякая тоже сволочь уважения требует... Гольтьба этакая...

– Напрасно вы это, маменька, связались... – говорил с упреком Никеша.

– Не все ведь им уважать надо, Никанор Александрыч, иной раз следует и себя пока-

зять... Хамы ведь они... чего от них ждать...

Прасковья Федоровна ввела Осташкова с дочерью в девичью. Здесь они застали Машу, которая, держа в одной руке кисейный рукав, а в другой ухо Ульяши, с большою горячностью делала ей какие-то замечания.

– Это чисто? Это называется чисто? Это?... Этак ты чистишь?... Этакие ты рукавчики барыне приготовила? Этакие?... – спрашивала она, потрясая рукавом и после каждого вопроса дергая Уляшу за ухо, вследствие чего Уляша после каждого вопроса приседала, морщилась, вытягивала вперед шею и поднимала обе руки кверху. Осташковы в молчании остановились перед это сценой.

– Я тебе дам, пострел... погоди ты у меня... – сказала Маша, заметивши посторонних и оставляя ухо своей жертвы.

– Али провинилась девочка? – заискивающим голосом спросила Прасковья Федоровна.

– Надоела окаянная... Каждый день с ней у меня битва!..

– А ты бы, девочка, старалась, не доводила бы себя до этого... вот тебе и было бы хорошо... Вот это моя дочка, Марья Александров-

на, а это вот внучка... барышня наша... вон еще какой птенчик...

– Ну вот ты у меня, барышня, смотри же не шали, не перенимай с Уляшки, а то и тебе так же будет... Видела, как кто шалит-то?...

– Зачем же?... Она себя до этого не будет доводить... – возразила несколько обиженная Прасковья Федоровна. – Она должна помнить, что она барышня. Станет ли она брать пример с горничной девочки. А что, Марья Александровна, барыня еще не изволили вставать?...

В эту минуту послышался из соседних комнат звонок.

– А вот звонит, значит, проснулась... Ну, Уляшка, коли барыня будет что говорить, право засеку, вот те Христос... Приготовила ли, пострел, воды-го умываться?... – С этими словами Маша ушла из девичьей.

– Черт, дьявол этакой, только и знает, что дерется... – бормотала про себя Уляша.

– Что, али Марья-то Алексеевна не в Афанасью Ивановну – взыскательна, сердита?...

– Куда ей равняться с Афанасьей Ивановной, дьяволу этакому... От нее только и жди,

что разве обругает да прибьет...

– Сама, душенька, видно, себя до того доводишь... – наставительно сказала Прасковья Федоровна.

– Как же?... Да с кем она не ругается?... Со всеми... Небось как с поваром с Данилом все ночи напролет гуляет, так с тем не ругается, не смеет... Тот и сам прибьет.

– Ах, ах, девочка, разве тебе можно это говорить... Поделом, видно, тебя и наказывают... Разве ты это должна знать и понимать... а?... Ах!.. Нехорошо, девочка, плохо!..

– Чего плохо-то... Как мне не знать, она сама когда меня за ним посылает сказать, что господу улеглись, чтобы приходил... И Афанасья Ивановна сколько раз видала.

– Перестань, девочка, перестань... Не твое это дело... Тебе и говорить об этом нейдет... – говорила Прасковья Федоровна, сердито потрясая головой.

«Однако как дворня-то распущена, – думала она между тем, – вот что значит старшего-то человека не было... Ну уж, будь я здесь, у меня бы в девичью мужчина не пришел ночевать... После надо будет, познакомившись, и

об этом внушить Юлии Васильевне. Ей, чай, этого и в воображение не приходит... Пожалуй, этак и ребенок того насмотрится... Долго ли... Нет, надо будет сказать...»

Афанасья Ивановна приотворила дверь в девичью и велела подавать умываться барыне...

– Про вас я говорила, что вы приехали, – сказала она, обращаясь к Прасковье Федоровне. – Подождите: вот сейчас оденется и позовет вас.

Но Осташковым пришлось еще долго дожидаться; одеванье Юлии Васильевны продолжалось часа два. Прасковья Федоровна и Катерина, с Сашей на коленях, скромно и терпеливо сидели в уголку, потихоньку разговаривая между собою, и торопливо останавливали и приказывали молчать Сашеньке, когда она, по неопытности ребенка, раскрывала рот, чтобы спросить о чем-нибудь мать или бабушку. Осташков, наскуча сидеть, ходил по девичьей тихими и нервными шагами, каждый раз останавливаясь и оглядываясь, когда, бормоча себе что-то под нос с недовольным видом, входила Маша, брала какую-нибудь

принадлежность туалета барыни и снова уходила или стремглав пробегала чрез девичью Ульяны... В эти минуты и Прасковья Федоровна с Катериной прекращали свою беседу, ожидая, что позовут их к барыне, взглядывали на Сашу и охорашивали ее.

– Как еще оне дело-то делают, как они еще служат-то!.. – говорила Прасковья Федоровна дочери, смотря на суетню горничных. – Старшего человека в доме нет!..

Наконец Афанасья Ивановна позвала их и велела идти за собою.

IV

Вследствие своих роскошных привычек, а отчасти по бестолковости и беззаботности характера, Кострицкие, приехавши в городок, где застаёт их наша история, наняли самую большую квартиру, какая только была в городе, несмотря на то что новое место было невыгодное и не могло дать прежних средств для жизни. До самого знакомства с Рыбинским половина комнат в этой квартире стояла пустая, без всякой мебели, но с тех пор, как предводитель стал останавливается у лесни-

чего, вся квартира мало-помалу наполнилась мебелью и приняла очень приличный вид. Юлия Васильевна имела свой особенный будуар, в котором, разыгрывая роль великосветской барыни, совершала свой туалет с помощью Афанасьи Ивановны, Машки и Ульяшки. Она еще была в утреннем пеньюаре, когда к ней ввели Осташкова с дочерью, женой и тещей. Никеша подошел к ручке.

– Здравствуйте... Покажите-ка мне мою будущую дочку...

– Вот, матушка, Юлия Васильевна, отдаем в полное ваше покровительство: не оставьте...

– А, да она прехорошенькая... Ну, поди сюда, поди ко мне... Как ее зовут?

– Сашенька... Александра...

– Саша... Ну, поди ко мне, Саша.

Сашенька почему-то оробела и уцепилась ручечками за платье матери.

– Поди же, глупенькая, поди к своей маменьке. Целуй у нее ручку... – говорила Прасковья Федоровна, подводя Сашу к Юлии Васильевне.

Саша подходила боком и недоверчиво, ис-

коса посматривая на названную маменьку и держа палец во рту.

– Зачем же палец-то в рот запихала? – говорила бабушка. – Вынь пальчик, опусти ручку... Экая глупенькая... Глупа еще, матушка... Ничего не видала.

– Да вы ее не троньте... Право, прехорошенькая будет... Какие глазки у ней славные, веселые... Атонази (так звала Юлия Васильевна Афанасью Ивановну), посмотри – ведь, право, прехорошенький ребенок... Только как она смешно у вас одета... Ха, ха, ха! Что это, разве можно так одевать ребенка! Ха, ха, ха... Платье с глухим воротом, с длинными рукавами, длинное, до самых подошв... Бедненькая...

– Ну, матушка, извините: мы ведь в деревне мод-то не видим... – оправдывалась Прасковья Федоровна.

– И как она запылилась, бедная, от дороги, и голова как намазана... Фи! Маслом... Нет, Атонази, ее надо вымыть, причесать, намазать... Прикажи Маше. Да сейчас же сшить ей платье и панталончики... Ее надо привести в порядок... Она будет славная девочка... Саша,

хочешь ко мне в дочки?...

– А?

– Хочешь быть настоящей барышней? Хочешь, чтобы я тебе сшила платье, хорошее платье, не этакое... а хорошее, нарядное... ах какое!.. Хочешь?...

– Хочу...

– Хочешь... Ну и хорошо... Мсье Осташков, что же вы меня не знакомите: кто же это, верно, ваша жена?...

– Вот это жена-с... А это ее маменька.

– Ну, очень приятно...

Катерина поклонилась, подошла и хотела поцеловаться. Юлия Васильевна поняла ее движение, но по какому-то барскому высокомерию хотела притвориться, что не поняла, и откинулась в сторону; Катерина смутилась и отступила шаг назад. Юлия Васильевна улыбнулась.

– Ах... вы хотите поцеловаться, – сказала она. – Ну, поцелуйте... – И она подставила свою щеку, Катерина облобызала ее от чистого сердца.

– Ну, вы отдайте мне вашу дочку... Я у вас ее отниму... Она мне очень нравится...

– С тем привезли, матушка... Не оставьте, будьте второй матерью... – отвечала Катерина и отерла выступившие слезы.

– А вы не плачьте... Я хочу, чтобы вы отдали мне ее от чистого сердца, с радостью, а не со слезами. Я ее буду воспитывать, как родную дочь.

Катерина не могла удержаться, зарыдала и упала в ноги Юлии Васильевне.

– Будьте ей, матушка, вместо меня... Не оставьте... – говорила она, всхлипывая. – Мне уж так не обучить ее...

– Ах, что же это вы делаете... Встаньте, пожалуйста... Я не могу этого видеть... Встаньте и не плачьте, ради Бога... Я лучше не возьму совсем...

Осташков и Прасковья Федоровна пришли в беспокойство и спешили поднять Катерину.

– Нет, матушка, возьмите... – говорила Катерина, сиюсь остановить слезы... – Возьмите. Нельзя же... Жалко... Мать... – Осташков пожимал плечами, хмурился и разными движениями старался показать жене свое неудовольствие.

– Она, сударыня, радуется за ее благополу-

чие, – говорила Прасковья Федоровна. – Как ей не радоваться, что дочке счастье выходит. Да что делать... материнское сердце: жалко – вот расстаться со своим родным дитей. Да ведь вы, может, позвольте когда прийти и поглядаться...

– Ах, сколько угодно... Только уж, разумеется, чтобы не отучать ее от мест и не мешать мне воспитывать так, как я хочу.

– Где уж, сударыня, мешать... Что же она может, чему ее научит супротив вас, хоть и мать родная... Человек она неученый... Какое она может дать воспитание или ученье?... Опять, как же можно и от вас отучать: мы и теперь как слышали, так все толковали Сашеньке, что она должна вас любить и почитать больше матери родной и во всем слушаться... Это уж как можно... Это мы очень хорошо понимаем.

В эту минуту в будуар жены вошел Иван Михайлович, с красными от вчерашней попойки глазами и измятым лицом.

– Что это, матушка, у тебя? – спросил он.

– Посмотри, Жан, какую хорошенькую дочку нам Бог дал, – отвечала Юлия Васильев-

на. – Она еще теперь смешно одета... А когда хорошенько оденем ее, просто прелесть будет...

– Мг...

– Здравствуйте, батюшка, Иван Михайлович, – говорил Осташков, низко кланяясь.

– А, господин дворянин... Это ты награждаешь мою жену своей дочкой?...

– Да-с... Им угодно было облагодетельствовать... Не оставьте...

– Ну, ну... Это ваше дело, не мое... Как у меня голова болит, просто ужас... Пожалуйста, чаю поскорее. Павел Петрович проснулся.

– Ах, Атонази, прикажи поскорее подавать самовар...

– Нам пришлите в кабинет: мы там будем пить, в халатах...

Иван Михайлович ушел, не обративши более никакого внимания ни на приемыша, ни на ее мать и бабушку, что несколько озадачило Прасковью Ивановну.

«Конечно, он мужчина, – думала она... – дело его мужское... А все бы следовало побольше заняться... Разве ему не по мысли, что Юлия Васильевна берет Сашеньку?... А мо-

жет, и то, что гостем занят, к нему торопился...»

– Ну, так оставляйте мне вашу дочку: я ее возьму... не беспокойтесь: ей жить у меня будет хорошо...

– Надо, матушка, помолиться, – отвечала Прасковья Федоровна... – а тут уж и дело делать... Чай, за батюшкой будете посылать?

– За каким батюшкой?...

– За отцом... священником... чай, молебен бы надо отслужить?...

– Ну это вы сами как хотите... Мне некогда, я должна одеваться.

– Все же таки хоть так, промежду собой, без попа, а все надо помолиться, благословить дитю да и отдать вам, а вы примите... Это уж как водится...

– Ну, пожалуй, пожалуй... Только ведь вы опять плакать будете, а я не могу видеть слез...

– Нет уж, Катеринушка, как-нибудь старайся, воздерживайся, не плачь...

– Да, пожалуйста, ради Бога... Мне ужасно делается тошно, когда я вижу слезы... Я лучше нарочно уйду: вы без меня плачете сколько

хотите.

– Ну, так присядемте все... Катерина, ты возьми к себе Сашеньку-то... – командовала Прасковья Федоровна. Все уселись. Катерина сдерживала слезы и молча прижимала дочь к надрывающемуся сердцу.

– Ну, теперь помолитесь, – сказала Прасковья Федоровна, глубоко вздохнувши, приподнялась и начала класть земные поклоны. Катерина как припала к земле, так и не могла приподнять головы: сдержанные рыдания давили ей грудь, слез она не могла удержать: они невольно вырывались из глаз и обливали пол, к которому прижалась головою бедная Катерина. Юлии Васильевне совестно стало сидеть в присутствии такой горячей молитвы, такого непритворного горя: она невольно привстала с кресел, улыбка сбежала с лица, и рука приподнялась, чтобы осенить грешное тело крестом; но в эту минуту дверь из соседней комнаты отворилась и на пороге показался Рыбинский.

– Что вы это такое делаете? – спросил он, останавливаясь в дверях.

Юлия Васильевна захохотала и упала в

кресла. Прасковья Федоровна остановилась, не окончивши земного поклона; Катерина вздрогнула и приподняла изумленное, омоченное слезами лицо.

– Не ходите, не ходите... – говорила сквозь смех Кострицкая, – или войдите и не мешайте нам. Мы здесь совершаем обряд усыновления.

– Вот что!.. – сказал Рыбинский, входя. – А я за тем и шел, чтобы посмотреть на вашу новую дочку... Продолжайте, продолжайте, матушка... Я вам не мешаю... – обратился он к Прасковье Федоровне, проходя мимо нее, и сел возле Кострицкой.

Прасковья Федоровна и Катерина были смущены этим неожиданным приходом нового и незнакомого лица и не могли уже продолжать молитвы. Они стояли в нерешительном положении.

– Ну, что же? Продолжайте, пожалуйста, ваше дело, – говорил Рыбинский. – Осташков, что же ты, братец, стал?... Действуй... Я желаю видеть тебя матерью, – прибавил он по-французски, обращаясь к Юлии.

– Ну, зачем ты пришел, – отвечала она, закрывая губы платком... – Ты будешь смешить

меня... А мне следует держать себя солиднее: бедная мать так плачет...

– Ах, Боже мой, какая жалость! – проговорил Рыбинский иронически. – Они, я думаю, очень рады, что одного дармоеда с хлеба долой...

– Ну, перестань же, не смейся... Ну, отдавайте же мне вашу дочь, – обратилась она к Осташкову и Катерине.

Прасковья Федоровна, которая успела оправиться от смущения, очень спокойно и серьезно сняла с себя образок, подала его Осташкову и велела благословить дочь. Тот исполнил ее приказание. Потом Прасковья Федоровна передала тот же образок Катерине.

– Ну теперь ты благослови, да и отдай Сашеньку с рук на руки Юлии Васильевне: пусть она будет ей мать и благодетельница.

У Катерины дрожали руки и тряслась голова, когда она благословляла дочь, из глаз ручьем струились слезы.

– Ну, теперь дай сюда образок-то да подведи Сашеньку к Юлии Васильевне, а вы, ма-тушка, извольте принять образок-то да также благословите ребенка.

Юлия Васильевна, сдерживая улыбку и гримасничая, взяла образ из рук старухи. Катерина не могла удержаться и вдруг, обнявши Сашу, зарыдала над ней.

– Ах, Боже мой, ну что это они со мной делают, у меня право все нервы расстроятся... – говорила Юлия Васильевна.

– Ну, перестань же, перестань, Катерина... Ну чтоб-то, матка, и сам деле. Время ли теперь плакать... Только господ беспокоишь... Ведь и в самом деле у тебя не силой ребенка берут: сама привезла... – внушала Прасковья Федоровна.

– Да что же, Осташков, разве вам не хочется отдать вашу дочь? – спросил Рыбинский.

– Как, батюшка, Павел Петрович, да мы за великое счастье для себя поставляем!.. Что с ней сделаешь... Известно, бабья глупость... Перестань же, Катерина... Чтой-то это за проказ...

– Ну, подводи же, подводи... – хлопотала Прасковья Федоровна.

Катерина повиновалась и снова сдавила в груди и слезы и рыдания. Юлия Васильевна благословила образом Сашу.

– Ну, теперь все? – спросила она Прасковью Федоровну усталым голосом.

– Все-с...

– Ну, слава Богу...

– Теперь честь имею вас поздравить с названной дочкой... Ну, вот, Сашенька, твоя новая маменька: люби же ее, уважай, слушайся, старайся учиться... не оставьте, матушка, ее... – Прасковья Федоровна поклонилась в ноги. Осташков и Катерина последовали ее примеру. Юлия Васильевна сконфузилась.

– Ах, Боже мой, ну что это вы делаете?...

– Ничего, матушка, не важность! – отвечал Осташков, поднимаясь и целуя ручку Юлии Васильевны. Он подошел к Рыбинскому и также хотел поцеловать у него руку, но Рыбинский руки не дал и Осташков чмокнул его в плечико.

– Не оставь, матушка, кормилица, не оставь мою Сашеньку... – с рыданиями говорила Катерина и ловила руку Юлии Васильевны.

– Ну, что это, ей-богу... Да оставьте же меня, – твердила Юлия, защищаясь от поцелуев Катерины.

– Осташков, да уйми же жену... Она надое-
ла Юлии Васильевне... – заметил Рыбинский.

– Катерина, отстань... Маменька, уйдите с
ней отсюда... – говорил Осташков и вывел из
комнаты жену и тещу.

– Атонази, возьмите и девочку... Вымойте
ее там да на помадьте... От нее страшно воня-
ет... – говорила Юлия Васильевна. – Оне меня
страшно измучили! – сказала она, оставшись
наедине с Рыбинским.

– А ты думала, что детей можно родить без
страданий? – сострил Рыбинский.

– Ну перестань... Какой противный!..

– Зато ты теперь после этих мук стала еще
интереснее... Впрочем, меня дожидается твой
муж...

Он быстро поцеловал Юлию и вышел из
будуара. Она позвала Машу и приказала пода-
вать одеваться.

Осташковых как будто совсем забыли. Они
сидели в девичьей и ожидали, что их опять
позовут в комнаты, но никто на них не обра-
щал внимания. Катерина давно проплакалась
и успокоилась, любуясь на Сашеньку, кото-
рую Маша вымыла, причесала и напмадила.

Прасковья Федоровна сидела унылая: она была недовольна малым вниманием Юлии Васильевны к ней и Катерине: ей казалось, что и Сашенькою мало занялась ее названная мать. Она обдумывала и соображала все, что видела, и все ей как-то не нравилось; но она ни за что не решилась бы высказать зятю или дочери свое неудовольствие и недоумение; она боялась, как бы они не отдумали отдавать Сашу Юлии Васильевне. «Уж какво ни будет здесь Сашеньке, – думала она, – а все лучше, чем дома; уж как никак, а все она будет здесь барышней и всю барскую манеру переймет, а дома-то чему она научится?...» Осташков несколько раз выходил навеститься к своей лошади. Стояла она, голубушка, на прежнем месте, в хомуте и во всей сбруе; солнышко уж высоко вошло, на самый полдень, и крепко припекало; мухи стаями со всех сторон осаждали бурку; только головой трясла да хвостом помахивала бедная скотинка, защищаясь и от мух и от солнечного припека. Надо бы отложить лошадку, напоить порядком и в конюшню поставить; видел и понимал это бедный Никеша, да не смел и поду-

мать обратиться к рассерженным кучерам с какой-нибудь просьбой. Увидел, что не ест бурка сена, слазил на сеновал, принес свеженького и от того отворачивается, а сам жалобно смотрит на Никешу, как будто сказать хочет: до еды ли, пить хочется, в горле пересохло от пыли и от жары. «Знамо бы надо напоить, да где воды-то возьмешь, на реку бы сводить, а ну как вдруг господу спросят, а меня нет, – думал Никеша. – Да ну, потерпишь, не велик барин... У меня у самого в горле пересохло...» Вошел Никеша в девичью к своим, те все еще сидят одни, дожидаются, пристали к нему, заставляют спросить барыню, что же она прикажет: дожидаться ли им или ехать на квартиру, теперь ли оставить Сашеньку или после привести. Помялся Никеша, оглянулся вокруг, некем защититься. Афанасья Ивановна куда-то исчезла, Маша не в духе, сердитая, и подойти к ней страшно, сам Никеша в первый раз в новом незнакомом доме всегда робел и конфузился, однако делать нечего: осмелился и пошел во внутренние комнаты, отыскивать Юлию Васильевну. Заглянул Никеша в кабинет: там Рыбинский

разговаривал с письмоводителем, который пришел к нему по делам, а Иван Михайлович лежал на диване и курил трубку, от времени до времени вмешиваясь в разговор Рыбинского. Из залы услышал Никеша голос Юлии Васильевны в гостиной, потоптался на месте и решился наконец войти в гостиную. Там Юлия Васильевна, совершенно одетая, сидела на диване в ожидании Рыбинского; перед нею стояла Афанасья Ивановна, и они о чем-то беседовали. По легкомыслию своему она совсем забыла и о Сашеньке, и обо всех Осташковых. Нерешительно остановился Никеша в дверях гостиной. Юлия Васильевна его заметила и вспомнила о Саше.

– А, м-сье Осташков... где же Саша?

– Она там-с, в девичьей...

– Что же она там делает?... Приведите ее сюда: мы потолкуем с Атонази об ее костюме...

– Сейчас-с... – Никеша замялся.

– Ну что же вы?...

– А как прикажете... насчет маменьки и жены?...

– Что такое?

– Им ехать... али погодить?...

– Ах, как хотите... Это совершенно от вас зависит: если нужно, так поезжайте...

– А Сашеньку... как же прикажите?...

– Что Сашеньку?...

– Теперь оставить или после привезти?

– Как после привезти?... Какой вы смешной: сейчас приведите ко мне, сюда...

– Очень хорошо-с...

– Да что, вам нужно ехать, что ли, домой?...

– Никак нет-с...

– Ну так пусть ваши там побудут сколько хотят... Только, ради Бога, чтоб ваша жена не плакала: я не могу видеть и слышать этих рыданий...

– Нет-с, она не будет... не беспокойтесь. А торопиться нам некуда... И лошадке надо дать отдохнуть...

– Ну, так что же? И прекрасно: пусть они там, в девичьей, и отобедают у меня... а после обеда и поезжайте... Я вот только взгляну на Сашу и опять пришлю ее к ним... А тонази вот покажет им платья, которые я велю перешить для Саши... Пусть они увидят, как она будет у меня одета... Ну подите же...

Но Никеша все еще мялся и не шел.

– Там у меня лошадка... Я на лошадке приехал... – проговорил он несмело.

– Ну так что же?

– Отложить и покормить можно?

– Разумеется, можно... Скажите там кучеру, он все вам сделает...

– Нет, уж я сам-с...

– Ну, как хотите: это ваше дело...

– Да я только так... к тому... чтобы после чего не вышло... Каких неприятностей...

– Какие неприятности?... Ах, какой смешной Осташков... Ну, подите же, подите, приведите Сашу...

Осташков спешил исполнить приказание и наскоро передал своим, что Юлия Васильевна позволяет им остаться у нее и даже отобедать в девичьей; подтвердил Катерине, чтобы она не плакала, взял Сашу, не велел ходить за собой прочим и повел ее в гостиную. Самолюбие Прасковьи Федоровны было очень уколото за дочь: она надеялась сблизить Катерину через Сашу с Юлией Васильевной и с желанным благородным обществом, но должна была разочароваться в своих надеждах. Катери-

на радовалась, что еще несколько часов будет видеть свою Сашеньку.

Осташков отвел дочку к Юлии Васильевне, оставил ее в гостиной и поспешил к своей лошади. Новая маменька потрепала умытую девочку по щеке, велела подать Афанасье Ивановне духов, опрыскала ими ее и, уже душистую, поцеловала в пухленькую розовую щечку.

– А ведь прехорошенькой ребенок! – заметила она, обращаясь к Атонази.

– Да, недурненькая...

– Ты не знаешь, который ей год?

– Не догадалась, не спросила...

– Я сама позабыла спросить... Ты, я думаю, дурочка, ведь не знаешь, который тебе год? – обратилась Юлия Васильевна к Саше... – Не знаешь, ведь?...

– Знаю: семь годков... – отвечала Саша, помня наставления бабушки.

– Вот какая она... Молодец!..

– Она будет боец! – заметила Афанасья Ивановна. – Смотрите-ка: другую бы на веревке здесь не удержал в первый-то раз, боялась бы всего да ревела... А эта ничего...

– Тем лучше: я ужасно не люблю этих дикарок и плакс... Да и чтобы я с ней стала делать, как бы она стала плакать... Ну, однако, надо ее, Атонази, поскорее экипировать, а то ведь этак ее никому показать нельзя, да и я не могу ее видеть в этом балахоне.

Тут начался довольно продолжительный разговор о платьях, которые можно пожертвовать на то, чтобы из них устроить приличный костюм для Саши.

– Барыня, ведь я все позабуду, что вы ни говорите, – сказала вдруг Афанасья Ивановна, – вы ведь меня знаете, какая я головушка... Погодите, я лучше позову Машу: вы при ней лучше прикажите. И Афанасья Ивановна, не дожидаясь позволения, кликнула Машу.

Маша явилась, и разговор снова сделался серьезен. Саша сначала со вниманием прислушивалась к этому разговору, потому что он касался того предмета, о котором ей постоянно толковала Прасковья Федоровна: она понимала, что ее хотят сделать нарядной барышней, но подробности разговора скоро утомили ее детское внимание. Она стала с любопытством оглядывать убранство гостиной:

особенный интерес возбудило в ней большое зеркало, в котором она увидела свою особу. Саша сначала испугалась, потом удивилась, узнавши себя в отражении зеркала, наконец улыбнулась и с радостью увидела, что другая Саша также ей ответила улыбкой. Она сделала гримасу – и двойник ей ответил тем же. Саша сделала другую, третью гримасу – и вдруг расхохоталась звонким детским смехом.

– Чему ты это хохочешь? – спросила с удивлением Юлия Васильевна.

– А вона! – отвечала Саша, показывая в зеркало, высунула язык и снова залилась тем же беззаботным смехом.

– Что ты это орешь, бесстыдница, – строго заметила Маша, – разве этак можно хохотать... А?... И что вертишься: об ней говорят, ей платье хотят шить, а она вертится... Терпеть не могу...

– Марья, что ты! Кто тебе дал право так говорить с Сашей... и при мне... Ах какая дура! – сказала Юлия Васильевна...

– Меня, сударыня, бабушка ее просила, чтобы я ей не давала баловаться и останавливала. И пристало ли ей так хохотать...

– Да оставь, пожалуйста, это не твое дело. Во-первых, ты должна обращаться с ней вежливо, не говорить ей ты, во-вторых, бабушки теперь нет до нее никакого дела, она мне отдана... А я тебе не приказываю вмешиваться в мое воспитание и не останавливать Сашу ни в чем, потому что ты совершенная дура и невежа... Ты слова не умеешь сказать...

– Мне, как угодно, я пожалуй, ничего не стану говорить: мне не велика корысть...

– Ну и молчи... Ах, какая дура!.. Саша, душенька, так не должно, хохотать... это стыдно, нехорошо, невежливо!..

Саша, задумалась.

– Я к маменьке хочу, – сказала она вдруг почти плаксивым голосом.

– Ну отведи ее к матери... Да извольте приняться шить ей платье, а панталончики пусть Ульяна шьет...

Маша сердито взяла Сашеньку за руку и вывела из гостиной.

– Натек-ка вот... ничего не видя, за вашу-то меня барыня изругала: на что остановила, что шалит там, вертится, ломается, вздумала хохотать на весь дом... – говорила Маша Праско-

вье Федоровне и Катерине. – Уж теперь что хочешь делай, хоть на голове ходи – слова не скажу.

– Нет, вы на это не взирайте; сделайте такое одолжение: останавливайте... как ребенка не остановить, когда шалит. Мы завсегда будем очень благодарны... – отвечала Прасковья Федоровна, а сама в то же время думала: ну слава Богу, видно, барыня добрая и Сашеньку в обиду не даст.

– Нет, матушка, ведь мне корысть-то не велика с ней тут возиться... Я только что терпеть этого не могу, как девчонка балует... Терпеть не могу... А Юлия Васильевна ее избалует... Уж непременно избалует... И Афанасья Ивановна никогда ни в чем не остановит. Эта и во внимание не возьмет...

– Нет, уж вы ее не оставьте вашим наставлением: кто же ребенка и остановит, коли и вы от него откажетесь...

– Нет, матушка, нет... Мне коли не велят, так и не надо... Мне же лучше: заботы меньше... Вот платье велела ейшить: нашью каких велела... Где у меня эта Уляшка. Господи, наказание мое Божеское, эта Уляшка...

Ну, погоди ж ты, девка... Терпеть этого не могу...

Бабушка и мать поинтересовались узнать, какие платья приказано сшить Сашеньке. Маша рассказывала им все подробно, показывала материалы для шитья: в эти минуты Катерина и Прасковья Федоровна были совершенно счастливы. Между тем пришло время обеда. Сам Осташков допущен был к господскому столу; теща, жена и дочь обедали в девичьей. Юлия Васильевна не хотела вступить в свои новые родительские права и принять на себя новые обязанности матери, пока дочь не будет прилично одета.

После обеда Осташков пошел проведать своих. Они советовали ему собираться домой и велели просить у Юлии Васильевны позволения проститься с нею. Осташков передал просьбу своих. Юлия Васильевна в это время сидела наедине с Рыбинским, потому что Иван Михайлович имел обыкновение уснуть после обеда; она без возражений согласилась отпустить Осташкова домой, относительно же прощанья с его семейством заметила, что боится опять новых сцен, поклонов и слез,

что очень ее расстраивает.

– Нет, уж не беспокойтесь: я скажу, чтобы уж ничего этого не было...

– Да, пожалуйста. Вы собирайтесь: я сейчас выйду проститься с вами.

Через несколько минут она действительно вышла в девичью.

– Ну, прощайте, прощайте, – говорила она, подставляя щеку на лобзание Катерины и Прасковьи Федоровны. – Атонази, ты возьми пока к себе Сашу... А вот как она будет одета совершенно, я тогда буду ее держать постоянно около себя...

– Не оставьте... – заговорили было бабушка и мать.

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь: ей будет у меня хорошо... Вот вы приезжайте, пожалуй, месяца чрез два, три, вы и не узнаете Сашу... Я ее одену, как куколку. Ну, прощайте.

И с этими словами Юлия Васильевна вышла из девичьей, оставив Прасковью Федоровну в крайнем огорчении, что она не могла ей высказать всего, что намеревалась сказать.

Осташков объяснил, что теперь Юлии Ва-

сильевне никак нельзя было долго оставаться в девичьей, что у ней сидит гость и она должна спешить занимать его...

Тут начались опять наставления, благословения, слезы над головой Сашеньки, просьбы к Маше, Афанасье Ивановне, даже к Ульяше: не оставить ребенка. Саша знала и прежде, но теперь только почувствовала, что должна расстаться с родными, и плакала горько, ухватившись за мать и бабушку. Ее надобно было оттащить от них силой, чтобы дать им возможность уйти, и потом Маша должна была закрыть ей рот, чтобы громкие вопли ее не дошли до господских ушей. Афанасья Ивановна, впрочем, нашла более действительное средство остановить эти вопли: она принесла Саше целый передник разных лакомств, и бедный ребенок проглотил вместе с ними и свои слезы. Осташков на обратном пути был весел; Прасковья Федоровна, спокойная и довольная за судьбу внучки, оставалась лишь не совсем довольна приемом; Катерина сидела в телеге грустная и печальная: ей было жалко расстаться с дочкой, хоть она и старалась утешать себя мыслью,

что в этой разлуке ее счастье.

V

Через неделю Осташков собрался везти своего сына к Паленову. Теперь при расставании слез больших не было, и никто из женщин не поехал провожать Николеньку. Во-первых, с ним расставались не на всю жизнь: Паленов не в сыновья его брал; во-вторых, матери да и всему женскому поколенью семьи бывает всегда как-то легче расстаться с мальчиком, нежели с девочкой, потому ли что возлагается больше надежды на силы и независимость будущего мужчины, потому ли что на мальчика семья всегда смотрит, как на перелетную птицу, которая хоть и оставляет свое гнездо, но, когда придет время, снова в него воротится и по праву займет свое место.

Снова тот же бурка и та же телега везла Осташкова с сыном, но и двор и дом Паленова и все его холопство были знакомы Никеше, и потому он здесь уже не робел. Смело поставил он лошадь где следовало, смело задал ей сена; с поклоном, но спокойно попросил знакомого и отчасти приятеля кучера присмотр-

реть за буркой и прямо повел сына в господский дом, впрочем, по привычке, через заднее крыльцо; через переднее он до сих пор не осмеливался еще входить ни в один помещицкий дом.

Абрам Григорьевич, камердинер Паленова, державшийся при барине каким-то чудом в течение десяти лет, несмотря на то что Паленов то и дело переменял прислугу, привык к Осташкову, смотрел на него как на неизбежное зло в доме, снисходительно подавал ему руку и даже иногда в добрый час милостиво и дружелюбно разговаривал. Через него Осташков тотчас же получил доступ в кабинет Паленова. Абрам Григорьевич снисходительно выслушал просьбу Осташкова: доложить о нем барину, и другую просьбу: не оставить сына, который, вероятно, несколько недель проживет в доме Паленова. Камердинер глубокомысленно посмотрел на наследника Осташкова.

– Ишь ты, какого лоботряса вырастил! – заметил он и слегка ударил Николеньку по затылку. – Подите прямо в кабинет: он там!..

– Да как бы опять не огневался, что без до-

клада... – возразил Осташков.

– Что докладывать-то про тебя: чай, не Бог знает какие гости приехали... Что на него смотреть-то... Ступай... Ему захочется, так и даром обругает ни за что; ему разве порядок нужен, что ли? Взбеленится, вступит ему в башку-то, облаял или оттаскал человека, ну и шабаш, и прав... После сам себе смекай: виноват или нет... Ну его к черту. Ступай прямо...

Осташков вошел в кабинет. Паленов заботливо и спешно писал. На звук отворяющейся двери он оглянулся. Осташков поклонился и хотел заговорить.

– А, погоди, братец, сейчас... Нужно дописать... Не мешай...

И он снова начал строчить. Осташков присел на стул, и, погрозивши сыну, чтобы он не ворочался, сам как бы прирос к стулу. Вдруг Паленов стал торопливо искать чего-то на письменном столе. То, чего он искал, не попалось под руку.

– Эх, черт тебя дери... – вскрикнул Паленов, мгновенно вскипятясь. – Абрам, Абрам! – закричал он.

Абрам вошел.

– Чего изволите?

– Где у меня тут... Ведомости были на этажерке.

Абрам подошел к письменному столу.

– Куда ты идешь?... Тебе говорят, на этажерке.

Абрам заикнулся, чтобы отвечать что-то.

– Тебе говорят, на этажерке ведомости были. Ты не слышишь, не понимаешь, что тебе говорят. Не хочешь понять... На этажерке... Тебе говорят: на этажерке... На этажерке... Ты не слышишь... Ты пьян, анафема...

– Да, сударь...

– Я тебе дам, сударь... Я тебе дам, сударь... Пьяница ты этакая... – кричал Паленов, и вдруг вскочил и сделал распоряжение с личностью Абрама... – С утра пьян, ракалия... я тебе дам, анафема... – продолжал Паленов, красный как рак, пыхтя и задыхаясь...

Абрам остался, по-видимому, совершенно равнодушен к пощечинам, которые получил, точно били не его, а кого-то другого, совершенно незнакомого ему человека, несколько не защищался от них и только лишь смигивал да несколько поворачивал голову то в ту,

то в другую сторону. Увидя, что барин наконец умаялся и сел отдыхать, он подошел к письменному столу, на котором писал Паленов, нашел газеты почти под самым носом барина, и подал их ему.

– Вот ведомости, – проговорил он лаконически.

– Как же они очутились здесь? Ведь они были на этажерке... – проговорил Паленов, смягчившись и чувствуя смущение, которое желал скрыть.

– Были давеча... Ведь сами же взяли читать, как чай пили, да и положили сюда... Не разберете делом, да и деретесь зря...

– Ну, ну... Ты у меня не груби!.. – вскрикнул Паленов, готовый вновь вспыхнуть...

Абрам повернулся молча и пошел вон из кабинета. Проходя мимо Осташкова, он поглядел на него злобно, даже с ненавистью и в тоже время презрительно. Взгляд его, казалось, говорил: «ведь вот говорил, что захочет прибить, так прибьет... Вот и прибил. А вот ты так не можешь прибить... А дай-ка мне волю, я бы тебя не прибил, что ли? Прибил бы да еще как... Ну что сидишь?...»

Никеша пред этим выразительным взглядом скромно опустил глаза. Маленький Николенька с замиранием сердца и со страхом смотрел на грозного барина, прижался к отцу и не смел пошевелиться во все то время, пока писал Паленов. Наконец он бросил перо и обратился к Осташкову.

– Ну что, ты привез сына?

– Точно так-с, – отвечал Никеша поспешно, приподнимаясь со стула. – Вот, батюшка, Николай Андреевич, не оставьте! – продолжал он, подводя сына... – Целуй ручку...

– Который год?...

– Девять, десятый...

– Ну, давно пора учиться... Я в этом возрасте уже перечитал целую библиотеку своего отца, знал историю и географию... как свои пять пальцев...

– Где же, батюшка, Николай Андреич, и кому-нибудь, а не то что ему быть против вас... Уж не оставьте его хоть грамоте-то поучить... чтобы на службу-то поступить мог...

– Нет, я хочу, чтобы он получил полное образование... Теперь он поучится у меня, потом поступит в уездное училище, в гимназию

и в университет...

– Покорнейше вас благодарю... Вы истинный наш благодетель... Только не много ли будет про него, снесет ли? Где уж ему далеко забираться...

– Ну ты, братец, этого ничего не понимаешь. уж это мое дело...

Паленов позвонил и велел позвать своего конторщика, который также носил титул земского. Тот тотчас же явился и стал у дверей, в ожидании господских приказаний. С первого взгляда было видно, что это был величайший франт и любезник среди дворовых, и притом человек деликатного обращения и высоко думающий о своих нравственных и физических достоинствах. Серенький нанковый сюртучок его, с засаленным воротником и протертыми рукавами, совершенно уничтожался и становился незаметен за ярко-пестрою жилеткою из рыжего бархата, правда, полинявшею, но зато сшитую камзолом и с поразительно блестящими металлическими пуговками. Белая манишка была накрахмалена, как видно, усердною рукою, потому что топырилась на груди, как кора, и даже потрескивала при его

движениях, а отогнутые а l'enfant воротнички никак не прилегали к шее и торчали в разные стороны, как крылья бабочки на лету. Под воротничками виднелся маленький шелковый платочек, цвет которого, за давностью существования, определить было невозможно, но по бахrome, которая окружала его и признаки которой уцелели еще на углах платка, безошибочно можно было заключить, что он составлял некогда принадлежность женского туалета и перешел на шею конторщика, как дар нежного, любящего сердца. Аристарх, или, как звали его мужики, Старей Николаич, был белокур от природы, носил длинные, нещадно напомаженные волосы, виски он тщательно зачесывал наперед и концы их подвивал. К этим вискам он чувствовал любовь до самоотвержения, и не хотел ни укоротить, ни спрятать их за уши, несмотря на то что в недобрый час ему всего больше доставалось от барина за эти самые виски, подвитые и напомаженные. Во время разговора, расточая любезности, в минуты раздумья, недоумения, в спокойном и тревожном состоянии духа, одним словом – бес-

престанно он поглаживал и подвигивал на указательный палец эти заветные виски. После вспышек господского гнева, когда, случилось, что вся его благообразная наружность приходила в беспорядок и расстройство, Аристарх Николаевич прежде всего заботился о приведении в надлежащий приличный вид свои больше всего пострадавшие виски. Говорил он несколько нараспев и до того кудревато и затейливо, что иногда, прислушиваясь к своей фразе, сам приходил в сердечное умиление; ходил тихо, на носочках и вприпрыжку; разговаривая, выставлял то ту ногу, то другую, делал шаг или два вперед и вслед за тем столько же назад. Перед барином склонял голову на бок и придавал лицу своему умильно-сентиментальное выражение. К чистописанию имел способности необыкновенные, даже умел выводить пером с одного почерка разные фигуры, птиц, цветы, целые венки и гирлянды, за что и пожалован был помещиком в звание конторщика. Образование он получил сначала в приходском, потом в уездном училище, но так скоро оказал блестящие успехи в каллиграфии, что Паленов, который

В то время нуждался в хорошем конторщике, не утерпел и, не дав ему окончить курса, из второго класса взял его к себе во двор для письмоводства. В день тезоименитства каждого из членов господского семейства он постоянно подносил имениннику или имениннице произведение своего искусства: большею частью какую-нибудь молитву, написанную различными почерками, начиная от самых крупных готических букв, до самой мелкой скорописи.

Вообще Аристарх Николаевич был человек искательный и утолительный, и хотя не всегда избегал господского гнева и соединенного с ним нападения на виски, но пользовался за свои способности некоторым снисхождением и даже расположением помещика. Николай Андреевич Паленов вообще поклонник, или, лучше сказать, любитель всякого рода талантливых людей, с некоторою гордостью показывал всякому новому знакомому произведения своего конторщика и особенно символ веры, уписанный им на пространстве окружности четвертака; причем часто пояснял, что хотя и это замечательно, но он знал одного

офицера, который ту же молитву уписывал в окружности пяточка так, что прочитать написанное можно было только с помощью увеличительного стекла. Итак Аристарх Николаевич тотчас явился по призыву барина и, оправив виски, выставил правую ногу, и, склонивши на бок голову, ожидал его приказаний.

– Вот, Аристарх, тебе новая обязанность, – сказал Паленов, – возьми на свое попечение этого мальчика... Я его скоро отдам в уездное училище, так хочу, чтобы ты пока подготовил его читать и писать...

– С моею приятностию...

– Смотри: времени осталось немного, всего каких-нибудь три или четыре недели... Но мне хочется, чтобы ты в это время выучил его читать хоть по складам и писать буквы.

– Это по рассмотрению его понятий и вразумлению его чувств...

– Нет, я бы желал, чтоб ты непременно его выучил, чтоб я мог похвастать тобой...

– По вашему приказанию я буду употреблять всю свою усиленную, и даже напряженную чувств сделаю... только была бы его ста-

рательность к принятию преподавания моего... И также, чтобы не было развлечения к шалостям и буйственным поступкам насчет непослушания и прочих качеств...

– Насчет этого, Старей Николаич, не беспокойтесь, – отозвался Осташков, – он у меня тих, а то и розгой припугнуть можно, в ученье без этого нельзя...

– Нет, розог быть не должно: я против этого... И вообще никаких побоев, угроз и строгостей... Современная педагогика пришла к убеждению, что все такие меры строгости более притупляют, нежели развивают способности... Нужно стараться развивать в ребенке благородное самолюбие, любовь к честному труду, объяснить ему пользу образования, стараться заинтересовать его наукой так, чтобы он брался за книгу с радостью и любовью... Я всегда сам так думал, и недавно эти мысли выразил один знаменитый ученый: я тебе дам прочесть его статью...

– Для назидания моего и руководства считаю даже себя в необходимости просить о прочтении этой знаменитой книги и в приятность себе поставлю...

– Я сам теперь пишу статью о воспитании; ты будешь ее переписывать и увидишь, как мы сходимся в идеях с этим знаменитым ученым; я даже полагаю, что он воспользовался моими мыслями, потому что, бывши в Петербурге, я со многими говорил об этом предмете и даже в одном доме спорил с этим ученым о воспитании и доказал ему ошибочность некоторых его убеждений.

Аристарх подобострастно улыбнулся, с умилением взглянул на барина, сделал два шага вперед, потом назад и доложил:

– Ваша ученость и понятия известны, можно сказать, всему свету... и теперича, если взять всех здешних помещиков, вас никто не может превзойти... Так как я, по своей должности, имею внимание к переписыванию ваших сочинений и даже писем и бумаг, то могу судить... И всегда в большое назидание и чувствительность прихожу... И я это очень могу понять, что всякий ученый может большие понятия для своих мыслей получить себе в ваших разговорах и изложениях...

Паленов был очень доволен и ухмылялся.

– Ну а по какой методе ты думаешь

учить? – спросил он.

Аристарх несколько замялся.

– Метода... конечно... Я должен следовать... по самой лучшей методе... чтобы метода была самая лучшая... Насчет его понятий... чтобы он понимал...

– Ты держись моей методы: не учи как учили в старину: аз, буки, веди, а учи: а, бе, ве, ге и т. д... И сначала объясни ему гласные буквы, а потом согласные... и растолкуй, что согласные без гласных выговаривать нельзя... Тогда он скоро поймет... Возьми, например, какое-нибудь слово... Ну хоть, например, кулак... И растолкуй ему: вот эта гласная, а вот эта согласная (о безгласных говори после)... заставь его произнести сначала вместе с гласными, а потом пусть попробует то же слово сказать без гласных... Он тогда тотчас поймет... и увидит, какую роль в этом слове играют гласные и какую согласные и как образуется это слово: кулак... Когда ты растолкуешь ему посредством таких примеров различие букв, тогда пусть он учится изображать каждую букву на бумаге. Таким образом он будет в одно и то же время учиться у тебя и читать

и писать... Понял?

– Могу все эти примеры ему преподать и о всяком предмете назидание сделать... только бы была у него своя собственная желательность к принятию правил моего обучения... Даже могу преподать насчет поведения и благородных манер, как содержать себя благородному человеку на своей дистанции и в приятности общественной...

– Уж не оставьте, Старей Николаевич, коли батюшка Николай Андреевич позволяют... Обучите его... мальчишку, хоть бы как-тонибудь мараковал грамоте. А это вы, батюшка, Николай Андреевич, отмените, чтобы мальчишку не сечь... Как можно, выучишь ли ребенка без острастки, только избалуется, совсем страх потеряет... Как таки ни трясоволоски, ни пинка не дать мальчишке... Да он отобьется совсем... Я бы не советовал...

Паленов рассердился.

– Послушай, Осташков, если я приказываю что-нибудь, если я говорю, что это мои убеждения, неужели я хуже твоего понимаю, что делаю?... И можешь ли тут рассуждать?... И что ты можешь рассуждать... Я бы не совето-

вал... Ну что ты можешь советовать? И кому же?... Мне... Тебе, дураку, хотят сделать добро, заботятся, рассуждают о твоём же сыне... Ты должен только молчать, слушать да благодарить... Ах какая свинья... неуч... Он мне хочет советовать... Дурак!..

Никеша оробел. Аристарх поправлял виски.

– Извините, батюшка, благодетель... – говорил робко и тихо Осташков... – Я только так-с... Не с тем-с... Не к тому...

– Ну а к чему же?... К чему?... Ну говори к чему.

– Могу ли я говорить против вас, благодетель... Извините милостиво...

– А говорит... Суждения свои подает...

– Простите, батюшка, Николай Андреевич... По глупости!.. – проговорил Никеша и поцеловал Паленова в плечо.

Паленов стих.

– То-то, по глупости... И надо бы молчать, коли сам сознаешь, что глуп... И не только ты, так никто из здешних помещиков, которые осмеливаются считать себя образованными людьми, не в силах возвыситься до тех современ-

менных взглядов и убеждений, которые я разделяю с передовыми людьми века... Все вы живете под влиянием патриархальных начал, все вы окоченели в своих предрассудках... Надо большое умственное развитие, чтобы идти в уровень с веком и не отставать от него. Для этого нужно так много читать и размышлять, как я, а кто здесь читает и размышляет?... Во всех ограниченность, тупость, рутинный взгляд на вещи... Аристарх справедливо говорит, что здесь нет ни одного помещика, который мог бы спорить со мной...

– Как это можно... это всякий может сейчас видеть... – подхватил Аристрах.

– Ну а ты еще вздумал мне советовать, подавать свои мнения... Мг... глупец!.. Ну, ну; Бог простит... Так примись Аристарх за этого мальчика: учи его так, как я тебе говорил, и не прибегай ни к каким телесным наказаниям... А вместо этого заведи тетрадь, в которой каждый день делай подробную отметку о твоих занятиях, об успехах и поведении ученика, и с этой отметкой приводи его ко мне... Если он будет учиться и вести себя хорошо, я буду его поощрять, в противном случае – сделаю

ему приличное наставление... Слышишь, мальчик... как тебя зовут?...

– Николаем... – поспешил ответить Осташков.

– Зачем ты мешаешь ему говорить... Пусть он сам мне отвечает... Как тебя зовут?...

– Николай...

– А по отчеству?...

Мальчик молчал.

– Фу ты, Боже мой, какое невежество...

– Как зовут твоего отца?

– Никанор Лисандрыч...

– Александрыч, а не Лисандрыч... Ну, так как же ты будешь по отчеству...

– Не подсказывай, – закричал, он Осташкову, который весь был напряжение и хотел бы вскочить в рот сыну. – Ну, подумай же... Отца зовут Никанор, как же ты будешь по отчеству?

Николенька молчал.

– Ну, говори же... Да говори же, болван этойкой...

Мальчик никак не мог понять, о чем его спрашивают, да и вовсе не мог ни о чем думать: испугался и задрожал, когда закричал

на него Паленов.

– Да он глуп, он идиот!.. Поди сюда ближе...
Слушай, как зовут твоего дедушку?

– Дедушка Лисандра, – отвечал мальчик дрожащим голосом.

– Черт знает что такое! Говорят тебе не Лисандр, а Александр. Ну, как зовут отца?

– Никанор Лисандрыч...

– Не смей говорить: Лисаидрыч, говори Александрыч... – закричал Паленов и затопал ногами.

У Николеньки покраснели глаза и навернулись слезы.

– Ну, говори сейчас: А-ле-ксандр-ыч.

У мальчика со страха стеснило горло, и он не мог вымолвить ни слова.

– О, да он еще и упрямый... Говори сейчас, а то исколочу мерзавца... Говори...

Николенька замигал и захлипал...

– Ах ты щенок этакой... Каков упрямец, каков?... Говори сейчас... Сейчас говори... мерзавец... – кричал Паленов, крепко сжимая плечо юного Осташкова. Мальчика в это время обуял такой страх, что он уже думал только о том, как бы убежать, и начал порываться из

рук Паленова.

– А так ты вот каков... Так на-ж тебе, на-ж тебе... Ах ты, мерзость этакая... – Паленов от всего доброжелательного сердца дал несколько затрещин бедному мальчугану. Тот заревел на весь дом.

– Молчать, щенок!

– Батюшка, Николай Андреич, прибавьте ему, шельмецу, прибавьте еще хорошенько... – говорил Осташков...

– Молчи ты, дурак, осел! – закричал на Осташкова Паленов.

Николенька вопил что было мочи. В дверях кабинета показалось недовольное и изумленное лицо супруги Паленова.

– Что это за визг?... – спрашивала она кислым голосом.

– Тащите его вон, мерзавца... Вытащите его... Выпорите там хорошенько... – кричал вышедший из себя Паленов.

Осташков и Аристарх спешили исполнить его приказания, и Николенька еще громче закричал от их толчков и пинков.

– Что это ты за комеражи делаешь... Как тебе не стыдно... – говорила супруга, когда

двери в кабинет затворились.

– Отстань, матушка... Убирайся к черту... Я жизни не рад, что связался... Везде неприятности. Тупость, глупость, идиотизм... Черт знает что такое...

– Ты, наконец, не помнишь, не чувствуешь, что говоришь с женой, а не с лакеем.

– Ах, отстань, говорят... Уйди... Я огорчен, взбешен... Мне на каждом шагу судьба ставит препятствия... Я – несчастный человек!..

– Я не знаю твоих несчастий... Но ты ужас что делаешь из нашего дома...

– Да, что же, наконец, я не хозяин, что ли, в своем доме?... Я не могу делать что хочу?... Ты хочешь меня уничтожить, сделать нулем.

– Ты можешь быть чем тебе угодно, но не делай из нашего дома бог знает чего... и не смей оскорблять жены... Я не раба твоя, не подданная, не холопка... Так обращаются с женой только солдаты и мужики... Ты мужик... солдат...

– Дьявол ты этакой... змея!.. Вон или я тебя!..

– Что ты?...

Впрочем, супруга Паленова по опыту зна-

ла, что могло следовать за таким вопросом, и потому при первом движении мужа быстро вскочила, взвизгнула и скрылась за дверью. Она предвидела конец этой сцены, но не могла отказать себе в удовольствии подразнить мужа. Выйдя из кабинета, она заплакала и легла в постель – с ней начались истерические припадки; нужно было послать в город за доктором, весьма опытным, хотя и молодым еще человеком... Такие истории в доме Паленова происходили нередко.

По этому случаю в дворне только слегка заметили: сегодня наш-то Пугачев на барыню наскочил... Да она свое взяла: на постель, да и за лекарем!.. Оказия!..

VI

Осташков с Аристархом вразумили и успокоили Николеньку вовсе не по тем началам, которые проповедовал Паленов в теории, согласно с учением известного ученого, но старались руководствоваться теми приемами, которые им указал тот же Паленов в практическом приложении своей теории. Вразумивши и успокоивши таким образом сына, Осташков не знал, что ему делать: к Паленову идти не смел, и грустный сидел в конторе у Аристарха, ожидая, когда Николай Андреич вспомнит его и позовет к себе. Аристарх витийствовал перед мальчиком и делал ему различные наставления о том, как надо прилежно учиться, как должно слушаться и повиноваться учителю, почитать старших и проч. Одним словом, обо всем том, что он почерпнул из прописей при частом переписывании их.

— Да вы этого ему в голову не давайте забирать, Старей Николаич, что его ни сечь, ни бить не будут... Нет, батюшка, секите и бейте его, канальца, коли будет того стоить... Мне

это ничего, я за этим не стою... хоть и дворянская кровь, да ничего... Это заживет, а лучше баловать не будет... И, что выдумал?... Николай Андреич им занимают, спрашивают, а он не отвечает... Как за это не выпороть... Это вот только послушал, что сечь не будут, сейчас и взял себе в голову... Как их не сечь?... На что же и розги-то сделаны, как не на их братью? Всех нас секли... Не понимает того, что Николай Андреич, это только так, с опыта говорят: посмотреть, что будет... А он на-ка, не слушаться... Я тебе дам... Да я попрошу Старей Николаича, чтобы он тебя походя бил да порол... Что теперь наделал?... Теперь и подойти-то к Николаю Андреичу нельзя...

– Нет, ничего... его сердце не пространное: он удовлетворение своим чувствам для себя сделает, а потом опять ничего: впадает в простоту... – возражал Аристарх.

– Ах, Николка, Николка, зарезал ты меня... Чтобы тебе ответить-то... Что не отвечал, пострел этакой?... Отчего не отвечал?... Говори...

– Боялся...

– Чего ты боялся?...

– Что прибьет...

– Отвечал бы, так не прибил бы... А на что же заревел-то? А? На что заревел?... Ведь он, чай, тебя еще не бил тогда... а? На что заревел?... Ну, говори... Что стал?... Говори, отвечай...

– Не знаю...

– Пороть тебя надо, мошенника эдакого... Вот и будешь знать, не станешь реветь зря... Бабушки тебя избаловали... Пори его, батюшка, Старей Николаич... Не жалеючи бей и пори... от всего сердца прошу... Чтобы он знал, мошенник, как надобно с благодетелями своими говорить да угождать, а не то что упрямство делать... И что выдумал, разбойник...

– Зачем же вы эдакие слова неудобные говорите... чрез это он впадает в грубость и невежество, а его надобно приучать ко всякой деликатной обходительности, так как вы хотя и в бедности, но должны свою политику соблюдать...

– Да ведь досадно, батюшка, Старей Николаич: ну-ка он, что наделал...

– Однако же можно дитяти другие резоны и наставления представлять со всею обходительностию: вот как я при вас же излагал...

– Вы, батюшка, Старей Николаич, ученые, а я темный человек: где мне этакого ума взять, как у вас...

Старей Николаич был очень доволен этим комплиментом и поправил виски.

– Мы его обучим и всякое обхождение покажем... только, чтобы чувства ваши были на счет благодарности... А то ведь даром стараться и себя убивать не приходится.

– Не оставьте, Старей Николаич; на вас моя крепкая надежда, а уж я вас не оставлю, поблагодарю, чем сила моя возьмет... Только поймет ли он что: времени-то больно мало...

– А мы будем стараться вразумление ему делать к назиданию его понятий, чтобы он больше к науке себя употреблял, а не к шалостям...

– Не оставьте, Старей Николаич...

– А вы мне теперь рубль серебром дайте, так сказать для ободрения моего к трудам...

– Как, теперь, Старей Николаич?... За что же?...

– Я вам говорю: для ободрения моего к трудам... Да вы из чувствительности своей, чтобы я больше старался, должны принести мне

благодарность... А без этого какое же могу иметь старание?

– Да ведь как же, Старей Николаич, это господский приказ... Конечно, я после, как увижу ваше старание... с моим полным удовольствием: мне ничего не жаль, свое родное детище, не чужое...

– Что же мне господский приказ?... А может, он умственности не имеет, чтобы понимать... Вот я и сказал барину, что напрасно изволите держать и никакой надежды в нем насчет ученья полагать нельзя... Вот и весь приказ... Вы это должны принять себе в чувствие.

– Да как же так, Старей Николаич, уж это будет обидно: хоть бы трехгривенничек али полтинничек просил, а то целковый... У меня и денег-то таких нет...

– Как у вас не быть: вы в своем звании и от богатых господ не оставлены... Вам стыдно это и говорить... Я дворовый человек, да имею при себе завсегда для своего продовольствия, насчет табаку и прочих развлечений, рубль и два серебром.

– Вот вы как, Старей Николаевич!.. А вери-

те ли Богу: у меня вот семья на руках, а иной раз гривенника во всем доме не найдешь...

– Ну что вы напрасно изъясняете... Теперь от одной господской добродетели вы сколько можете получить...

– Батюшка, Старей Николаич, ведь семья. Конечно, я благодетелями своими доволен, кабы не они, так я бы давно жив не был... Да ведь семья, Старей Николаевич... Мало ли всего надобно...

– Однако же вы можете вести свою экономию... А я дворовый человек... Где мне взять?... Как хотите, а рублем серебра вы мне должны способствовать... А то и мальчику никакой учености преподавать не буду и вы удовольствия не получите.

– Как же, Старей Николаевич... Будет полтинника... Право, обидно...

– Вы меня обижаете. Что же значит все мое ученье, если останусь доволен каким-нибудь полтинником... Я должен себя чувствовать... И я чувствую...

В это время Осташкова позвали к Паленову. Никеша хотел воспользоваться этим случаем и ускользнуть от своекорыстного, хотя и

вежливого, конторщика, но тот остановил его.

– Что же вы не желаете образованности вашему сыну...

– Николай Андреич зовет, Старей Николаич...

– Барин без меня ничего не может сделать... Давайте целковый, а то я откажусь от всякого старания по неспособности вашего сына к понятиям.

– Да вот погодите, Старей Николаич, я вот только к Николаю Андреичу схожу... Я сейчас...

Старей Николаич рассердился.

– Ну, так поди ж, попробуй... – сказал он с негодованием... – Посмотрю я, не повезешь ли назад своего...

– Да вы не обижайтесь, Старей Николаич. Я не то чтобы... Я ведь не отказываюсь... С моим удовольствием...

– Поди, поди... Проси барина...

– Да что ж мне... Я на вас надеюсь... Вот получите уж... Так и быть... Из последних.

Осташков с огорчением подал деньги: он знал по опыту, как много значит дружба и

вражда с дворовыми людьми того господина, от которого он надеялся что-нибудь получить, – и не смел не исполнить требования конторщика.

– Стыдитесь вы это говорить... – возразил Аристарх, принимая рубль серебром. – Неужели вам жалко такой ничтожной суммы для образовательности вашего сына?

– Эх, Старей Николаич, бедность моя...

– Спешите к Николаю Андреичу... чтобы опять не ожесточился...

Осташков вздрогнул, засуетился и побежал к Паленову.

Буря в душе Николая Андреича давно уже прошла и затихла, но он чувствовал какое-то недовольство собою, какое-то тоскливое расположение духа вследствие столкновения с женою. Никто не умел так искусно раздражить Паленова и, раздраживши, оставить неудовлетворенным и пристыженным, как его собственная супруга. Притом он знал хорошо, потому что уже не раз испытывал, что обыкновенно следовало за подобными столкновениями: непрерывные в продолжение целой недели истерики, с необходимым присут-

ствием доктора, которому платились за лечение огромные деньги, что и само по себе было не малою казнью для скупого Паленова; затем упреки, слезы и оскорбительные замечания жены при каждой встрече с мужем, или молчание в продолжении целого месяца, или скоропостижный отъезд со всем семейством в город для лечения, что было для Николая Андреича всего хуже, потому что больше всего опустошало его карман. Как все капризные, избалованные и раздражительные, но слабохарактерные люди, после неприязненной стычки, где они проигрывают поле сражения, Николай Андреич после каждой ссоры с женой падал духом, терял бодрость, становился вял и скучен, жаловался на нездоровье и искал предлога обвинить в чем-нибудь свою печальную судьбу. Тогда ему становился нужен человек, пред которым бы он мог ныть и жаловаться. На этот раз Осташков как будто был послан в утешение Паленову самою судьбой: никто не мог быть столько терпеливым и великодушным слушателем, как он; никто, кроме его, не в состоянии бы был с таким сочувствием и состраданием выслушивать жа-

лобы барина, только что приколотившего своего лакея, на неповиновение, неисправность и буйные наклонности прислуги, не ценящей милостей и выводящей из себя самое ангельское терпение. Как только Паленов впал в такое унылое расположение духа, он вспомнил об Осташкове и велел позвать его к себе. Никеша нашел своего благодетеля, лежащим на диване с самым грустным и болезненным выражением лица.

– Что вы, батюшка Николай Андреич? – спросил Осташков соболезнующим голосом.

– Что, брат, Осташков, плохо жить на свете добрым людям... Поди сядь сюда поближе... Нездоровится что-то...

– Что с вами, батюшка?...

– Весь как будто разбит... и нервы расстроены. Тоска такая... Да и немудрено: тут бы никто не сохранил здоровья... Бьешься, мучишься, работаешь, как вол, как батрак, жертвуешь своим здоровьем, а тут беспрестанно неприятности... Давеча этот пьяница Абрам меня расстроил... что я не делал для этого мерзавца, давно бы его надо было в скотники прогнать, а я его держу камердинером, оде-

ваю, кормлю, каждый день чай пьет, анафе-
ма... а он вместо благодарности грубит... А тут
еще жена... Это ужас: я несчастнейший чело-
век...

– Не мой ли постреленок, батюшка, вас
растревожил?... Простите, великодушно...

– Нет, Осташков, что твой сын!.. Ребенок...
Ну, поупрямился, его наказали – и кончено...
Нет, Осташков, для нас, так называемых бога-
тых людей, есть огорчения поглубже, кото-
рых ты никогда не испытывал и не испыта-
ешь... Ты бедняк, но ты полный хозяин, пол-
ный господин в своем доме, никто тебе не
смеет ни в чем противоречить, жена смотрит
в глаза и поступает во всем согласно с твоей
волей... Столкновений с людьми, с этими
неблагодарными, вечно недовольными тва-
рями, у тебя нет... Живешь ты скромно, тихо,
как хочешь, как позволяют тебе твои сред-
ства, никому до тебя дела нет, никто тебя не
осудит... А я... Я вечный мученик, вечный раб
приличий, общественных условий... Я не мо-
гу жить так, как хочу, как того требует мое
сердце, мои убеждения, мой взгляд на вещи...
Я не принадлежу себе, я весь принадлежу лю-

дям... Тружусь, работаю, добываю... а для кого?... разве для себя?... Нет, я знаю, я наперед уверен, что все, что я скопил, – пойдет прахом... Про меня говорят, что у меня полторы тысячи душ, что я богат, но если бы кто знал, чего мне стоит это богатство... Каких усилий, каких трудов, какого кровавого пота стоит мне каждый рубль, который я получаю!.. И знают ли, поверят ли, что я едва свожу концы с концами?... Что я должен дрожать и рассчитывать над каждой копейкою?... Нет, этому никто не поверит... И что особенно ужасно: этому не поверят даже внутри собственной моей семьи, не поверит жена... Это ужасная, невыносимая мысль... Нет, Осташков, ты счастливеец в сравнении со мной!.. Ты этого не понимаешь...

– Очень понимаю, батюшка, Николай Андреич... Как можно не понимать... Только одни разве бесчувственные люди не чувствуют ваших благодеяний... А я очень чувствую... Вот как перед Богом... – Осташков прослезился от искреннего сердца и поцеловал Паленова в плечо.

– Спасибо тебе, Осташков... Я знаю – ты

добрый, благородный человек... Но только ты все-таки меня не понимаешь...

– Нет, Николай Андреич, понимаю, все ваши слова понимаю и к сердцу беру... Все чувствую, Николай Андреич, только выговорить не могу, потому что не учен...

– Да ты, может быть, чувствуешь ко мне сожаление, потому что ты добрый человек и видишь, что я страдаю... но понять меня ты все-таки не можешь, и именно потому, что не развит, не образован... Нет, Осташков, надобно, надобно, учиться...

– Да я уж так надумал, батюшка Николай Андреич, чтобы просить вашего неоставления... уж хочу попробовать, может, хоть немножко и пойму... уж как-нибудь, батюшка Николай Андреич хоть маненечко-то оболваньте...

– Оболваньте!.. Ах, ты смешной, Осташков... – сказал Паленов с улыбкою...

– Да право!.. Хоть бы крошечку-то... на человека был похож... – сказал Осташков в восторге от удовольствия, что рассеял тучи на мрачном челе своего благодетеля.

– Я думал о тебе и говорил с одним госпо-

дином Карцевым... Ты его не знаешь?...

– Видать – видал... а знакомства у нас такого нет, чтобы там милости его были ко мне... и в дому у них еще не бывал...

– Он человек умный и образованный. Я должен это сказать, хоть мы и спорим с ним постоянно. Правда, есть у него этакие стремления... бранит все... говорит иногда о таких вещах, о которых ему, по молодости лет, еще и рассуждать бы не следовало... Ну, да это – результат современного направления и бредней университетских профессоров. Впрочем что я говорю с тобою об этом... Ты этого не поймешь... Так вот я его просил о тебе: он там у себя в деревне учит грамоте своих мальчишек и даже девок крестьянских... И вообще он большой ревнитель просвещения... Он с радостью берется учить тебя... Так вот поезжай к нему – я тебе дам письмо. Сегодня ночуй у меня и завтра же утром отправляйся к нему...

– Очень хорошо-с, батюшка Николай Андреич... Только что, если он меня теперь будет у себя останавливать: мне ведь в теперешнее время несподручно у них остаться... Тоже

работишка в поле... Вот жнитво идет, а у меня и то с этими разъездами да хлопотами вся работа стала: одне-то бабы не успевают поправляться... А вот я бы убрался, да уж тогда...

– Ну, это как уж он там тебе скажет, он на зиму в Москву и Петербург собирается...

– Так разве может работничка не пожалуют ли...

– Ну, ты обо всем этом переговори с ним... Вот я тебе сейчас напишу письмо к нему... Он живет тут недалеко от меня: всего верст пятнадцать.

– А уж вы, батюшка Николай Андреич, будьте отец и благодетель: малолетка моего не оставьте.

– Ну что же уж тут говорить об одном и том же десять раз... – отвечал Паленов с некоторым раздражением... – Ведь уж тебе сказано раз... Мальчик отдан на руки... чего ж тебе еще?...

– Слушаю, слушаю, батюшка... Я так только. Покорнейше вас благодарю за все ваши милости... Мы не стоим того, как вы об нас радуете...

Паленов принялся сочинять письмо. Пи-

сание писем было страстью Паленова. В жизнь свою он никогда ни о чем, ни о каком ничтожном обстоятельстве не мог написать коротенькой записочки, о чем бы он ни писал, у него выходили длинные, плодовитые послания. Эту способностью Николай Андреевич очень дорожил и любил ее в себе. Писание писем – этот тяжелый и скучный труд для иных, доставляло Паленову особенное наслаждение, и потому корреспонденция его была огромная, велась им тщательно и аккуратно. Каждое послание записывалось им в особенную заведенную для того исходящую и занумеровывалось... Николай Андреевич иногда с внутренним самодовольствием, иногда с притворной жалобой рассказывал, сколько номеров выходит у него в год, и в счастливый час эта цифра возрастала на языке его до таких громадных размеров, что ей позавидовала бы иная самая деятельная канцелярия.

В весьма короткое время Паленов испестрил целый лист почтовой бумаги, адресованный Карееву. Коснувшись пользы образования вообще, он нарисовал грустную картину человека неграмотного, отчужденного чрез

незнание грамоты от всех интересов мыслящего мира, осужденного, по его словам, коснеть в сфере привычек и убеждений, давно отживших свой век, давно ненужных человечеству, лишенного возможности воспринимать новые взгляды и следить за веком и пр. в этом роде. Потом заметил, что положение неграмотного человека становится еще ужаснее, когда он принадлежит к сословию дворянскому, сословию всегда передовому в деле мысли и умственного развития... Вот я вам представляю, писал Паленов, субъекта подобного рода. Я наблюдал и изучал его в течение нескольких лет. Что бы могло выйти из него, если бы он в свое время получил настоящее и правильное образование? – За тем, увлекшись мыслию о том чудотворном действии, какое должно производить на людей образование, он нарисовал такую картину образованного Осташкова, из которой следовало заключить, что Никеша одарен от природы гениальными способностями, остановленными в своем развитии мраком невежества, в котором он прозябал. И кто же, кто этот несчастный, лишенный света образования! – воскли-

цал Паленов. – Потомок самого древнейшего дворянского рода в нашей губернии, рода, который, как видно из рассмотренных мною документов, был в полной уже силе еще в 13-м столетии, рода, из которого исходили государственные люди и полководцы, мужи совета и брани, честь и краса нашей родины! И вам, может быть, предстоит поддержать жизнь этого увядающего дерева, помочь подняться на ноги этой павшей знаменитости... Я с своей стороны беру на свои руки юную отрасль, сына Осташкова, и намерен вести его самым широким путем образования... Но я забыл, что вы враг всех сословных различий и привилегий, и знатность рода Осташкова не тронет вас. В таком случае сделайте для человека, осветите мрак его разумения. По моему мнению, это замечательный, необыкновенный фант, что человек, слишком в тридцать лет от рода начинает чувствовать жажду знания и решается начать ученье с азбуки. Я не без гордости скажу при этом: кто ж этот человек?... Дворянин! В каком сословии вращался этот человек, у которого возникла эта жажда знания? В дворянском!.. Помочь такому челове-

ку, удовлетворить его жажду, просветить его, мне кажется, великое государственное дело, которым вы окажете незабвенную услугу отечеству и человечеству... Этого не в состоянии сделать какой-нибудь Рыбинский, который тратит свои силы на разврат и не помнит своих обязанностей, возложенных на него сословием, избравшим его в свои представители. Кстати, этот Осташков знает в подробности весь образ жизни Рыбинского; расспросите его когда-нибудь на досуге... Вы ужаснетесь и возмутитесь духом... Вы тогда окончательно поймете, что я восстаю против этого человека не по каким-либо личным расчетам, но только во имя правды и чести нашего сословия, сделавшего ошибку и пристыдившего себя его избранием. В заключение Паленов делал множество комплиментов самому Карееву и выражал надежду, что он понимает благородство стремлений и целей его, Паленова.

Кончивши письмо, которое очень понравилось ему самому, Николай Андреевич не мог удержаться, чтобы не прочесть его вслух Никеше... Тот слушал с возможным для него напряжением всей своей мыслительной

способности, слушал, вздыхал и наконец пришел в совершенное умиление, заморгал глазами и прослезился. Когда Паленов кончил чтение, он, по своему обыкновению, приложился к его плечу и проговорил:

– Дай вам Бог здоровья, батюшка, и с детками вашими... Как стараетесь об нас... сколько изволили написать. И как это все... ах, Господи!..

– Что хорошо, Осташков?... – спросил Паленов, снисходительно улыбаясь...

– И... Да, кажется... ну, целый век сиди: половины... третьей доли не придумаешь, право, не придумаешь...

– Это, мой друг, все делает образование, учение...

– Уж истинно, что ученье надо большое... Как это!.. Господи!.. Сколько написали... Да ведь и в одну минуту... Удивленье!.. – Осташков с изумлением потрясал головой и разводил руками.

– А ты, если когда Кареев будет тебя спрашивать про Рыбинского, расскажи ему про его житье все подробно. Мне это нужно...

Осташков молчал.

– Слышишь?...

– Слышу, батюшка Николай Андреевич... только бы как после не дошло до Павла Петровича... Пожалуй, прогневаются...

– Дурак!.. Что же, ты дорожишь своим Павлом Петровичем больше, нежели мной?... Что он для тебя больше моего делает?... Ты на него больше надеешься...

Бедный Осташков оробел и совершенно растерялся: там дочь, тут сын!.. Мелькнуло в его голове, тот предводитель, а этот... с этим много не поговорить, как разгневается... Что делать?...

– Ну, что же молчишь... Ты его сторону, что ли, хочешь держать?... Он твой благодетель, а не я?... Он тебя в люди вывел, а не я?...

– Батюшка, Николай Андреич... Николай Андреич... Как мне ваших милостей не чувствовать... Я не неблагодарный какой... Я, кажется, денно и ночью молюсь за вас... И детям то наказываю... Да и не замолить мне никогда... Могу ли я вас к кому прировнять?...

– Ну, так что ж тебе Павел Петрович?...

– Только что как я при своей бедности... А они предводители... Все могут со мной сде-

лать.

– Ничего он не может с тобой сделать. Ты такой же дворянин, как и все... Что он может тебе сделать?... Надейся на меня... Я в обиду не дам... Еще увидим... кто кого. Еще Бог весть надолго ли он и предводителем-то останется... Коли на то пойдет, я и министру напишу... Меня и министр лично знает... Еще потягаемся... Что, он хороший человек, по-твоему?... Хороший?...

– Я этого не могу знать, Николай Андреич...

– Как не можешь знать?... Разве ты не гащивал у него по целой неделе, разве ты не видал, как он живет... Разве этак живут люди с хорошей нравственностью... Пьянство, карты, разврат... Разве эта хорошо, по-твоему?... Ну, говори, хорошо?...

– Что уж тут хорошего, Николай Андреич...

– Так что ж ты юлишь... Что же ты говоришь, что не знаешь?... Вот благодарность!.. Все мне изменяют, все... Ни от кого нет благодарности... – Николай Андреич вспыхнул и вскочил с кресел.

– Пошел же ты к черту и со своим мальчишкой... Чтобы твоя нога в моем доме не бы-

да, коли ты так помнишь и ценишь мое благодеяние...

Паленов бросился на диван.

– Измена, кругом измена!.. Ни в ком человеческой души, ни от кого привязанности, благодарности... Это ад, а не жизнь... Это вечное мученье прежде времени... Для него Рыбинский дороже меня!.. Пошел вон... с глаз моих долой!..

Осташков, бледный, переминался на одном месте...

– Батюшка Николай Андреич... Да могу ли я... Простите моей глупости... Да я для вас что угодно... Что прикажете, то и буду делать... – лепетал он со страхом и тоскою.

Паленов лежал на диване и стонал...

– Не гневайтесь, батюшка Николай Андреич... Я только к тому... так по своей глупости. А я по конец жизни должен чувствовать ваши милости... Я что угодно для вас, только не гневайтесь...

– Ну, так ты выбрось из головы своего Рыбинского... Не смей поминать о нем при мне... Он для тебя ничего не сделал и никогда не сделает... Я твой единственный благодетель...

Ты мне всем обязан... Я тебя вытащил в люди и сделал человеком... Кто бы здесь, кроме меня, принял в тебе участие?... Я с тобой возился, говорил, рекомендовал тебя, как родного сына... А для тебя вдруг какой-нибудь Рыбинский стал дороже меня... Стыдись... Бессовестный...

– Нет, батюшка... ни к кому я вас не приравниваю... Вы мой истинный благодетель... Я это чувствую... А только глупость моя одна говорит...

– Ну, так исполняй же все мои приказания. А глупостей не говори... Я тебя ни низости, ни подлости никакой не научу... Я не такой человек... Я требую только, чтоб ты говорил правду.

– Извольте, батюшка... со всем усердием готов служить вам за все ваши милости... Только не оставьте...

Мало-помалу Паленов успокоился, и мир восстановился. Осташков остался ночевать и на другой день, получивши письмо к Карееву и благословивши сына, отправился рекомендоваться будущему своему наставнику. Николаенька заревел было, прощаясь с отцом, но

стоило только напомнить ему, что услышит Николай Андреич, чтобы унять его слезы. Он остался под покровительством и надзором Старей Николаича.

VII

Аркадий Степанович Кареев был тот самый молодой человек, белокурый и с желчным выражением лица, которого мы в первый раз встретили на знаменитом именинном пиршестве Рыбинского. Он принадлежал к числу тех людей, которые считают себя недовольными, которые, не имея никаких определенных убеждений, перешедших в кровь и плоть человека, беспрестанно меняют свои взгляды, идут то за тем, то за другим направлением, но любят становиться в оппозицию и даже искусственно развивают в себе недовольство. Эти люди мыкаются по белому свету, как угорелые, хватаются то за то дело, то за другое, не кончая ни которого; горячатся, бранятся, шумят для того только, чтобы обратить на себя внимание, чтобы о них говорили; страстные теоретики, без всякой способности к практической деятельности, они строят свои

теории не на фактах, а только на отрицании действительно существующего; применяя их к делу и не зная и не понимая жизни, они только путаются и врут. Кареев воспитывался в одном из высших учебных заведений, но был исключен из него прежде окончания курса за дерзости и оскорбления, нанесенные одному профессору и начальнику заведения. Выйдя из заведения, он вздумал было поступить в гражданскую службу, но не прослужил и полгода, надоел и своему столоначальнику и секретарю и даже членам того присутственного места, в которое поступил, так что его убедительно просили удалиться. Затем Аркадий Степанович схватился было за литературу, но все его статьи за дикость и бестактность были с ужасом возвращаемы редакторами. Наконец Кареев задумал поселиться в деревне с целью преобразовать быт своих крестьян: научить их правильному хозяйству, облагородить и образовать. Но дела с своими крестьянами для него было мало: он хотел в этом отношении влиять на весь свой край. Для этого он начал ездить к помещикам, рассуждал о правах крестьян на уваже-

ние и заботливость помещика, доказывал необходимость учить их грамоте и сельскому хозяйству. Наконец, чтобы подать пример, он открыл у себя школу как для своих, так и для чужих крестьян; но чужие никто к нему не шли, а потому он должен был ограничиться своими. Приказано было всем мальчикам от 8 до 17 лет являться в школу, где учить брался сам помещик лично. Крестьяне, разумеется, повиновались, и хотя почесывали затылки и жаловались на новые порядки, отнимавшие у них надсмотрщиков в работе, но детей своих высылали на учење. Школа была открыта, Кареев принялся за обучение с жаром, с каким обыкновенно принимался за всякое новое дело, но, на беду, он выдумал какую-то новую, мудреную систему обучения грамоте, по которой ученики его через месяц же должны были свободно читать и писать. Это система была действительно новая и ни на что не похожая, только мальчики ничего не понимали, месяц прошел, а они не только не выучились читать, но даже никто из них не знал азбуки. Такая тупость и неспособность мальчиков выводила Кареева из терпения; он уже го-

тов был остановиться на мысли, что русское простонародье вовсе лишено способности к развитию. В это время он где-то вычитал, что между раскольниками грамотность распространяется преимущественно чрез женщин и особенно старых девок, он остановился на этой мысли: и тотчас отдан был приказ по вотчине; чтобы все девки шли к баричу в ученье. Перед таким приказанием мужики решительно стали в тупик, сходились, толковали между собою, кричали, ругались, спорили, наконец положили идти к господину и просить у него милости: не отменит ли девок от ученья да уж не порешит ли и совсем эту окаянную школу. Согласились, пошли. Снявши шапки, столпились у крыльца господского дома и послали старосту вызвать барина.

Барин вышел.

– Что вам ребята?...

– Да мы к вашей милости... – отвечала вся толпа в один голос.

– Что же нужно?...

– Да вот насчет твоего-то приказа.

– Насчет какого приказа?

– А вот насчет девок-то...

– Ну что же насчет девок?... Говорите...

– Да уж нельзя ли как отменить, кормилец... Это уж ни на что не похоже... Какое это уж дело... Это выходит совсем разоренье... – слышалось из толпы несколько голосов разом.

– Да я этак ничего не пойму... Говори кто-нибудь один за всех...

– Ну говори ты, дядя Девин... Говори... у тебя девка...

– Да что мне-то говорить... Я не один, не у одного меня девки-то... Говорите все... – отвечал дядя Девин, рыжий, широкоплечий и приземистый мужик с плутоватым лицом.

– Ну что не один... Знамо, не один... Уж говори, значит... Мы за тобой... Все единственно, выходит... – слышалось из толпы опять несколько голосов разом.

– Мне, коли барин прикажет, я стану говорить... А то, что мне говорить то... – возражал дядя Девин...

– Ну, говори, говори хоть ты... Все равно... – приказал Кареев.

– Мне вот коли господин позволение дал, я могу говорить... А то как я стану говорить без

господского приказа?... Сами вы, ребята, посудите...

– Ну, так говори же... – нетерпеливо повторил Кареев.

– Вот, что батюшка, Аркадий Степаныч, доложить не во гнев твоей милости, – начал Левин, запуская большие пальцы обеих рук за кушак. – Изволил твоя милость приказать насчет девок, чтобы то есть девок к твоей милости в ученье предоставить... Так мир, значит, вот все наши ребята теперича пришли просить твоей милости, нельзя ли как это дело оставить... Значит, отмену сделать...

– Да, уж отмени, кормилец, – подхватил седой старик из толпы.

– Да зачем же отменить?...

– Нет уж отмени, кормилец, – продолжал тот же старик. – Какое уж это дело: девок учить... Это дело несхоже...

– Какое уж это дело... Что девка... Что уж это: девок учить... Нет уж отмени, Аркадий Степаныч... – заголосила толпа...

– Ну опять все закричали... Молчите вы. Говори ты один... как тебя, Панфил, что ли?...

– Левка, Аркадия Степаныч.

– Какой Левка... Что за Левка!.. Я этого терпеть не могу... Как твое настоящее имя?... Лев, что ли?...

– Да оно точно что Левонтий... Левин, батюшка, Аркадий Степаныч...

– Ну, так так и называй себя... К чему это унижение?... Левка... Этого никогда не смей делать... Вы знаете, что я уважаю ваше человеческое достоинство... А ты сам себя унижаешь! Левка... Что за Левка...

– Да это нам ничего, батюшка... Мы перед твоей господской милостью завсегда должны трепет иметь...

– И это совсем лишнее... Всякий человек должен уважать себя, уважать свое человеческое достоинство... С какой стати ты хочешь унижать себя передо мною... Я такой же человек, как и ты...

– Как это можно, Аркадия Степаныч... Можно ли это применить твою милость ко мне, серому мужику...

– Ну, да об этом мы после потолкуем... Слушайте, ребята, что я буду спрашивать и говорить... А ты отвечай мне за всех. Вы просите, чтобы я не учил ваших девок грамоте?

– Да уж отставь, кормилец, отмени... – грянули мужики хором, с низким поклоном.

– Ну молчите же... Отвечай мне Леонтий, отчего вам не хочется, чтобы я учил ваших девок?...

– Да уж та что мир, Аркадия Степаныч, полагает, что уж это будет очень обидно... Так ли, ребята?...

– Да уж как не обидно... уж очень обидно... Совсем разоренье, – подхватили мужики.

– Да чем же обидно?... И какая тут обида? Ведь я это делаю для вашей же пользы. Когда ваши дочери выучатся грамоте, они незаметно обучат своих братьев, выучат своих детей, когда сами выйдут замуж. Конечно, положим все те мальчики, которые теперь учатся у меня, будут грамотны, но ведь я не могу же целый век жить здесь: у меня есть другие обязанности. Ну, если я уеду отсюда, кто же будет учить ваших детей, ваших внуков?... Мужик, во-первых, меньше способен к этому делу, да у него и времени нет, он и дома почти не живет... Между тем назначение женщины преимущественно домашнее хозяйство и воспитание детей. Кончивши свою работу по дому,

женщина, вместо того чтобы бежать на ваши глупые наседки или болтать с соседками всякий вздор, садится и учит детей грамоте... Это, кажется, так просто, так очевидно. Неужели вы не понимаете своей прямой пользы?... Ну, что вы мне на это скажете?... В чем же тут обида?... Ну растолкуй мне ты, Леонтий...

– А вот, батюшка, в чем, Аркадий Степаныч... как мы то есть, по своей глупости, промежду себя, на миру смекали теперича, чем бы девке идти в поле жать, али сено сгребать да сушить, али там какая другая работа застигнет по нашему крестьянству, а она поди в ученье, да в книжку смотри, да тверди. А работа-то стала: вот мужичку-то и разоренье... А ведь мы, батюшка Аркадий Степаныч, работой живем... На то мужицкое дело: что поработал, то и жив... Как быть-то... Так ли, господа миряне, я барину докладываю?...

– Так, так... Какое уж это дело... Это умрешь... Как не умереть, парень: вся работа станет... Разоренье совсем... Сегодня, смотри-ка, в поле-то все поспело... Как не поспеть, парень... Да уйдет, весь хлеб уйдет... – загово-

рила толпа.

– Погодите, погодите... не кричите... Поймите вы это: ведь это делается не навсегда, а только на один, на два месяца... Ну, положим, что вот это лето и трудненько будет... Ну, потерпите, подналягте на работу... Стерпится слюбится, говорит русская пословица. Потерпите вы эти месяцы, за то ведь вы будете счастливы на всю жизнь... Грамотность такое дело, которое невидимо принесет вам такую пользу, какой вы и не ожидали... Неужели же вы не можете потерпеть для себя же, для своей же пользы...

– Нужда-то наша не терпит, Аркадий Степаныч, нужда-то наша не ждет... Тоже казенную подать надо заплатить, вашей милости оброк предоставить... Ведь, твоя милость, от оброка али от барщины не освободишь...

– Да, ведь вы смешной народ, вы не понимаете ни прав, ни обязанностей человеческих... С какой же стати я бы стал освобождать вас от оброка или от барщины? Ведь я вам же хочу добро сделать, для вас же тружуся... Ведь, если бы вы в состоянии были понимать свою пользу, вы же бы мне стали пла-

тить за то, что я учу ваших детей... А ведь я делаю это даром, понимаете – даром работаю для вас... А еще вы же хотите с меня взять за это... Вот ведь вы какой дикий народ!.. Ведь если ты грамотный, ты скорее можешь за всякое дело взяться, и торговать начнешь, и разбогатеешь. А без грамоты и без ученья куда ты пойдешь?...

– Коли Бог не взыщет, так и с ученьем не разбогатеешь, – возразил тот же седой старик, – а кого Бог найдет, так тот и без грамоты богат будет... Мужичку землю пахать указано, ну и паши, трудись: Бог труды любит... На что нашему брату ученье... И мальчишек-то бы надо, барин, ослободить: и мальчишка у мужика не даром гуляет, все где-нибудь поможет да подхватит... Хоть на грош сработает, у мужика и грош в счету... Надо бы тебе, батюшка, и мальчишек-то ослободить: так ведь они только... ничего из этого ученья не будет... Ну да уж мы так положили: ну, потерпим, коли на то барская воля... Пусть свою охотку тешит... И не беспокоили твою милость... А уж девок-то учить... Ну, так это уж выходит, барин... Послушай ты меня, старика,

и не прогневайся: это выходит уж людям на смех... Этого испокон века не слыхано... Разве уж нас, своих мужиков, разорить совсем хочешь... Вот... не прогневайся ты на меня, старика, а я тебе всю правду сказал, как перед Богом...

– Ну, старик, долго я тебя слушал: все ждал, что ты что-нибудь дельное скажешь... а вижу, что ты хоть и давно на свете живешь, да ума немного накопил... Как же ты не понимаешь того, что я говорю: я вам толкую, что я для вашей же пользы стараюсь, а ты говоришь, что я разорить вас хочу... Ведь уж я толковал же вам, кажется, разжевал и в рот положил, почему намерен учить именно девок, а ты говоришь, что испокон века об этом не слыхано, что это людям на смех... Ну а как же у раскольников почти все женщины обучены грамоте, и девки, особенно старые, тем только и занимаются, что грамоте учат... Знаешь ли ты это?... А ведь уж раскольники старой веры держатся и так живут, как наши предки жили... Ну, что скажешь, а?...

– Не знаю, кормилец... Я с раскольниками не знаюсь... Мы, слава Богу, у тебя не расколь-

ники: нам с них пример брать не приходится. Да и ты, барин, не бери: и ты, чай, в Бога веруешь...

Аркадия Степановича наставительный тон старика несколько сердил, но он, по своим принципам, не хотел этого показать и при творно засмеялся.

– Ну, старик, я вижу, ты дурак и с тобой толковать нечего... – сказал он.

– Да что, батюшка, Аркадия Степаныч, и толковать твоей милости с нами, дураками, – вмешался Левин, заметивши улыбку на господских устах и принимая ее в благоприятном для себя смысле. – Что уж толковать с нами... Мы, известно, народ глупой, неученой... А вот лучше, батюшка, окажи нам божеское милосердие, заставь за себя вечно Богу молить: наплюй на нас, дураков, да отмени все это ученье: и девок не трогай, да уж и ребяташкам-то вели по домам идти... Что твоей милости с ними себя только беспокоить... Просите, ребята... Кланяйтесь барину... Он у нас милостивый...

И дядя Левин бросился в ноги. Вся толпа последовала его примеру.

– Отмени, кормилец... Ослободи всех... Будь отец... Лучше мы тебе гостинчик какой с миру соберем да принесем... Не делай этого разоренья... Слышалось из толпы, которая после земного поклона вся осталась на коленях, ожидая милостивого решения от барича. – Аркадий Степаныч вышел из себя от досады и негодования.

– Встаньте, встаньте... Дураки этакие, ослы этакие... Встаньте, говорят вам... – кричал он, горячась.

В эту минуту в ворота на господский двор въезжал Осташков на своем бурке. Увидя целую толпу народа на коленях перед барином, стоящим на крыльце, он по невольному чувству унижения, проникшего в его душу, поспешил снять шапку и остановил лошадь.

Аркадий Степанович хотел говорить, но, заметив его, не узнал с первого взгляда и припоминал эту физиономию, которая казалась ему знакомою.

– Встаньте же, – повторил он. – Вон кто-то приехал.

Мужики поднялись и обернули головы к Никеше, который с открытой головой подхо-

дил к Карееву и, держа в одной руке шапку, другой торопился достать рекомендательное письмо Паленова.

– От кого ты? – спросил он Осташкова, когда тот подошел на близкое расстояние.

– От Николая Андреича Паленова, – отвечал Никеша, подавая письмо и кланяясь.

Кареев распечатал и стал читать. Когда он дошел до фамилии Осташкова, он вспомнил лицо его и поспешно обратился к нему.

– Ах, здравствуйте, я вас не узнал, – сказал он, протягивая руку. – Что же это вы стоите без шапки... Как это можно: накройтесь, пожалуйста...

– Ничего-с...

– Накройтесь, накройтесь... Это про вас мне пишет Николай Андреич?

– Точно так-с.

Кареев продолжал читать письмо.

– Вы хотите учиться? – спросил он, окончивши чтение.

– Точно так-с... Имею это желание...

– Очень рад и готов вам служить... Вот, скоты, смотрите, – продолжал он, обращаясь к мужикам. – Вот сама судьба посылает вам до-

казательство того, что значит ученье и как люди дорожат им. Вот смотрите: вот бедный дворянин, у которого большая семья, ему слишком тридцать лет, и, несмотря на это, он приехал ко мне, чтобы учиться грамоте, потому что, к несчастью, он не знает ее... Слышите: слишком в тридцать лет... Сколько у вас детей?...

– Пятеро-с...

– Видите: пятерых детей, жену, свой дом и хозяйство оставляет человек для того, чтобы учиться; просит, как милости, чтобы его образовали... А вы что?... Барин сам предлагает вам свои услуги, а вы отказываетесь от них, просите оставить вас дураками, неучами... А?... Не стыдно вам?... Видите: вот он дворянин, как ни беден, а все богаче вас, человек совершенно свободный, а видит, что без грамоты, без ученья жить нельзя... Подумайте-ка об этом!.. Отчего же вы-то так упрямитесь... А?...

– Его, кормилец, дворянское дело, – отвечал старик. – Коли он господин, ему уж без грамоты, известно, и жить нельзя... Вашему званию ученье от Бога показано, потому та-

кое ваше дело... А нам, кормилец, по мужицкому нашему роду и без ученья прожить можно...

– Да ведь дурак ты этакой, люди-то все одинаковы... Я уж вам десятый раз это говорю... Пожалуй, всем можно без ученья жить... Было время, что и наши предки такие же дворяне, как и мы, даже познатнее нас, не умели читать... Да ведь почему же нибудь догадались, что надо учиться...

– Ну, да уж, кормилец, коли уж такая твоя крепкая охота, ну уж Бог с тобой, учи ребятшек, только парней-то, что покрупней, да девок-то нам ослободи... А уж девок учить, как ты хошь... Нет, уж девок учить, как ты хошь... Нет уж это... в разоренье нас введешь. И славу худую о себе пустишь... Вон и барин-то сам же приехал в ученье, а не хозяйку же свою прислал...

– Ну, старик, ты со мной не смей никогда говорить: ты меня только сердишь... Я вижу теперь, что вы народ дикий и тупой... Я хотел с вами поступать по-человечески, а вы как будто хотите меня заставить думать о вас, как и думают иные, что вас надо учить палкой, а

не словами... Слушайте же: я хотел вам пользы, я трудился для вас бескорыстно, мучился, уча ваших глупых ребятишек, но вижу, что вы не только неблагодарны мне за это, но думаете, что я хочу притеснять и разорять вас... Наплевать же на вас, дураки этакие... С сегодняшнего дня ни девок, ни ребятишек ваших видеть не хочу, не посылайте ко мне никого, все ученье кончено... Ослы этакие... Ступайте домой...

– Дай Бог тебе здоровья, батюшка... Вечно будем за тебя Бога молить, что оставил эту науку...

Некоторые из мужиков кланялись в ноги. Лица у всех повеселели.

– Ах, дурачье... Дураки этакие... Ступайте вон... С глаз долой... Экой народ дикий...

Мужики шарахнулись всей массой и пошли домой с господского двора, веселые и довольные. Кареев злобно посмотрел им вслед и даже плюнул с досады.

– Каков народец! А?... – обратился он к Осташкову.

– Да-с!.. – отвечал Никеша, качая головой. – Какие непокорные... Им только дай потачку...

– Да нет, не то, а пользы своей не понимают... Да, ничего не понимают, хоть ты лоб взрежь, толкуя им...

– Помилуйте, да где же им понимать: народ серой-с...

– Право, здесь доживешь до того, что станешь, пожалуй, разделять убеждения Паленова, – проговорил Кареев в раздумьи.

– Пойдемте в комнаты.

– Вот только бы лошаденку прибрать...

– Я прикажу.

– Ну, очень хорошо-с... – проговорил Никеша и вошел в дом вслед за хозяином.

VIII

Кареев жил в небольшом старом доме, в котором провели всю свою жизнь его отец и его мать, экономничая и собирая состояние для своего единственного баловня-сына. Старики считались людьми бедными, но отец Кареева много лет служил по выборам и, умирая, оставил сыну около полутораста душ крестьян, нигде не заложенных.

По необходимости поселившись в старом родительском доме, Кареев старался обставить себя на столичный лад: выписал новую мебель, распустил большую часть многочисленной прислуги, оставив только крайне необходимую, положил всем оставшимся жалованье с тем, чтобы ему не докучали никакими просьбами об экипировке и т. п., обращался с ними не грубо, но не позволял ни малейшей фамильярности и приводил всю прислугу в негодование требованием непривычной и непонятной для нее чистоты и аккуратности. Дворня ненавидела его за все новые порядки и горевала о старых.

Кареев ввел Осташкова в свой кабинет и

предложил садиться. Осташков сел.

– Ну-с, так вы хотите учиться? – спросил его хозяин.

– Желаю... хоть бы немножко... Не оставьте своими милостями... – отвечал Никеша, вставая и кланяясь.

– С удовольствием, с большим удовольствием. И зачем же немножко... Нет, я займусь с вами вплотную... Мне теперь особенно интересно заняться с вами для того, чтобы убедить себя в одном вопросе. Я изобрел свою систему обучения грамоте, по моему мнению, весьма упрощенную и приспособленную к быстрому пониманию. Между тем деревенские мальчишки, которых я учил, оказались крайне тупы... Я хочу убедиться на вас, неужели в самом деле сословные преимущества влияют не только на внешнюю сторону человека, но даже утончают и усиливают самые нравственные способности человека: делают его более способным к пониманию и вообще развитию. Паленов в этом совершенно убежден, но он – человек старого века, хотя и корчит из себя современного, притом он только начитан, но страшно неразвит... По

моему мнению, он даже не далек и не в состоянии глубоко мыслить... Скажите, пожалуйста, Паленова здесь у вас считают, должно быть, очень умным и ученым человеком?...

– Как же можно-с: Николай Андреич у нас из ума умен!.. Этакого умнеющего человека теперь из всей нашей округе не найдешь...

– Ну, вам простительно еще так думать: вы человек неученый... даже неграмотный. Но скажите, пожалуйста, неужели у вас все так думают о нем?

– Как же можно-с... все так полагают насчет Николая Андреича... Он у нас на всю губернию...

Кареев усмехнулся.

– Но неужели никто не слышит, как он завирается... разве истинно умный человек может так врать... Ведь это значит во всей вашей губернии нет человека с порядочной головой... Ну как этого не попятить: умный человек не может врать и говорить глупостей... Если он врет и говорит глупости, значит, он дурак... Ведь вы слышали, что Паленов завирается?

– Никак нет-с... Да и как я могу об этом по-

нимать: я человек темный, ученья мне не дано...

– Темный человек... Это славное выражение!.. Но все-таки ведь вы можете же разоб-
раться, когда человек говорит нелепости...
вздор, какой может прийти в голову разве су-
масшедшему человеку...

– Где же мне: разбирать людей-с... Моя бед-
ность не позволяет... Кто ко мне милостив,
так я должен эти милости чувствовать... А
как я могу людей разбирать... особенно кото-
рые мои благодетели... Николай Андреич за-
всегда были мои благодетели, и я завсегда это
чувствую...

– О, мой, друг, какие допотопные понятия!..
Беспристрастие, правда и свобода мышления
выше всего на свете... Если человек делает
вам добро, будьте ему за это благодарны, ни-
кто вам не мешает, но правду о нем говорите,
и в вашем образе мыслей будьте всегда бес-
пристрастны, в каких бы вы ни были отноше-
ниях к человеку... Что бы для вас ни сделал
человек, хоть бы спас вас от смерти, но если
он подлец, так и говорите: я ему очень благо-
дарен за то, что он для меня сделал, но он под-

лец, если он дурак, так и говорите: что он дурак... Вот, например, я в очень хороших отношениях с Паленовым...

– И они об вас всегда прекрасно отзываются.

– И пускай... Это мне, однако, не мешает говорить о нем-то, что я думаю, потому что это правда... А для меня правда дороже всего на свете... И так как вы приехали ко мне учиться, то, по праву наставника, советую и вам так же поступать... И сколько бы человек ни делал для вас добра, не бойтесь судить о нем беспристрастно, потому что иначе вы будете поступать не добросовестно, а по личным своим интересам. И главное: стесните свободу мышления, а только тот человек и может назваться честным и нравственно-независимым, который мыслит независимо, независимо даже от собственного чувства... Вы понимаете меня...

– Где же мне все понимать-с... Неученый человек, темный...

– Ну, я надеюсь, впоследствии будете понимать... Может быть, мне удастся растолковать вам еще многое такое, чего бы вы никогда не

услышали от здешних господ. Только надо учиться, учиться... Сегодня отдохните, а завтра начнем.

– С тем приехал... не оставьте... Только я вот хотел вас беспокоить насчет того, когда прикажете прийти к вам совсем... Теперь-то нельзя: у меня здесь лошаденка, да тоже иное что надо из дома забрать из одежды...

– Да ведь вот вам надобно будет жить у меня... Мне этого в голову не пришло...

– Не беспокоить бы как вас-то...

– Нет, это ничего... Я вот думаю только, где вас поместить...

– Насчет этого... все равно-с... Мне, где прикажете... Теперь время летнее: я и на сеновале спать буду-с... А вот не знаю, как с работой быть... Тоже меня не будет дома, хозяина, работа в поле станет...

– Ну, уж это обдумывайте сами как-нибудь: это дело не мое... работника наймите, что ли, какого-нибудь...

– Известно бы нанять-то... Да достатки-то мои малые, нанять-то не из чего... Тоже семья, запашка маленькая, своего хлеба не станет, покупаем...

– Ну уж этого я не знаю... Это ваше дело... Мое дело только выучить вас грамоте: за это я берусь...

– А осмелюсь вас спросить... не будет ли милости: не пожалуете ли человекка ко мне, хоть недельки бы на две... Хоть бы какого-нибудь не больно стоящего... Ненужненького бы какого-нибудь...

– Ну, в этом извините: у меня людей празднующихся нет... Я держу только людей самых необходимых, и у всякого из них есть свои обязанности... Притом во всяком случае я не считал бы себя вправе располагать трудом человека даром, и, если бы у меня и был кто свободен, вы должны бы были порядить его и платить ему за работу деньги... Я удивляюсь, что вы просите...

– Извините меня, не прогневайтесь, что попросил...

– Нет, что же, вы передо мной невиноваты ни в чем... Впрочем, вас и во всяком случае винить нельзя: вы живете между таким господами, которые чужой труд не ценят ни во что и которые считают себя вправе располагать личностью человека... Ну, я не таков...

Надеюсь, что и вы, когда поживете со мной, – перемените свой образ мыслей и в этом отношении...

– Уж я не знаю, как теперь и быть... Видно, надо отложить учење... до зимы...

– К чему же? Нет... Зимой я уеду отсюда... Нет, уж вы как-нибудь устраивайтесь... не теряйте этого случая... После сами жалеть будете... Ну что же делать, если ваше хозяйство немножко и пострадает... Образование важнее вашего поля...

– Нечего делать... уж, видно, так положиться на власть Божью... Может, и сам деле как выучусь грамоте, дворяне не оставят и в должность какую выберут...

– Разумеется...

– Так уж я коли съезжу домой, да на той неделе с воскресенья и приду.

– Хорошо...

– А уж сегодня позвольте у вас пробыть – лошаденька-то очень смучилась...

– Оставайтесь, оставайтесь... Я очень рад. Мы потолкуем.

Никеша остался.

Кареев, как все вообще люди самообо-

льщенные и изменчивых убеждений, любил высказываться пред всяким слушателем. Подобные господа никогда даже не соображают: способен ли собеседник понять их речи, они говорят потому, что им нравится говорить о самих себе, о своей мудрости, и чем больше слушатель таращит глаза от изумления, чем сильнее выражается на его лице тупость и непонимание, тем с большим наслаждением прислушиваются они к собственным речам своим. Кареев с великою охотою высказывал пред Никешой новые, неслыханные им дотолем мысли. Многого Осташков не понимал, но все то, что отрывками усваивала его голова, шло совершенно вразрез со всеми прежними убеждениями, чувствами, со всем обычным ему образом мыслей. При иных речах Кареева Осташкову становилось даже страшно и он чувствовал внутреннее желание перекреститься, в другой раз, слушая своего наставника, он готов был счесть его за сумасшедшего, если бы смел остановиться на этой дерзкой мысли. Но когда вечером, после этой беседы, Никеша пошел спать, он чувствовал в голове своей такую путаницу, в сердце такую

тоску и во всем теле такую усталость, точно как будто сейчас только очнулся от какого-нибудь тяжелого припадка. Даже ночь спал Никеша беспокойно, беспрестанно просыпался, читал молитву и набожно крестился.

На другой день Кареев спросил Никешу:

– Ну-с, какое вы вынесли впечатление от нашего вчерашнего разговора?

– Уж и не знаю как вам доложить... Очень уж как-то страшно сделалось...

– Страшно?... Это всегда, мой друг, так: когда открывается истина, которая разрушает все наши прежние убеждения, всегда душа объемлется каким-то страхом... Человеку страшно убедиться, что все, во имя чего он жил и действовал до сих пор, было вздор и пустяки... Но скажите мне, пожалуйста, по совести: говорили ли вам что-нибудь подобное эти господа, ваши просветители, эти благодетели, как вы их называли?

– Никак нет-с...

– Я в этом вполне уверен... О, конечно, все они проповедовали вам о возвышенных чувствах, о самопожертвовании, о любви и бла-

годарности... не верьте, Осташков, и помните, что я вам говорил: все делается и должно делаться только во имя эгоизма, т. е. всякий делает что-нибудь только для себя, и поэтому: что бы для вас люди ни делали, не считайте себя им обязанным, потому что они это делали не для вас, а для себя... Ни благодетелей, ни благодарности нет и не должно быть на свете... Даже все ваши семейные отношения, которыми вы так дорожите, построены на взаимном самолюбии: вы кормите и воспитываете ваших деток только потому, что это вам приятно, что вы этого хотите, следовательно, вы это делаете не для них, а для себя... Следовательно, и дети ничем не обязаны своим родителям... Помните это и внушайте вашим детям...

– Буду помнить-с... – отвечал Никеша. – А уж детям-то это внушать... я не знаю, как вам сказать: пожалуй, из повиновения выйдут, слушаться не станут.

– Пускай их выходят. Поверьте: что для них нужно и полезно, тем они воспользуются, а не нужное они и после кинут, если вы даже заставите их взять насильно... Вы понимаете

ли, что своими толкованиями я вам облегчаю жизнь: я избавляю вас от лишних хлопот и забот; помните, что все люди живут только для себя, и вы живите только для себя одного... не мешайте лишь только и другим жить так, как им хочется. Понимаете?...

– Да это-то я понимаю-с...

На возвратном пути в свою усадьбу Никеша размышлял, таким образом, по поводу беседы своей с Кареевым:

– Это он дело говорил, что все мы живем только в свой мамон, для своего удовольствия... Это что говорить, это истинно все так живут... И какие они, мои благодетели: насмешку только да обиду всякую оказывают... От людей своих так никогда не оборонят: и те норовят как бы что сорвать или обидеть бедного человека... Какие уж благодетели: даст полтину, а наругается на рубль... Да я им, известно, не стал бы кланяться. Стал, что ли, бы я кланяться, как бы у меня что свое было... уж нужда моя не позволяет, так должен на себе переносить: нечего делать... Бедность ододела... Какие уж благодетели!.. Так только говорится... знаем мы это сами... Тот говорит: ты

меня должен больше всех благодарить и почитать: я твой благодетель, а другой: нет, меня уважай больше всех, потому я не в пример больше всех для тебя сделал... Тот говорит свое, а этот свое... Что уж: какие это благодетели... Это все он правду истинную говорит... И вот хоть бы теперь родитель: за что меня обижают? А Иван у него при всем его родительском благословении остается... чем он ему больше меня услужил?... Так-то все на свете... Это он от ума говорил... А вот уж что он от Божественного-то говорил и там на счет всего прочего, так уж и не знаю, как это к мнению принять!.. Надо так полагать, что зачитался... Внушай, говорит, детям, чтобы они из послушания вышли... чтобы они уважение к тебе потеряли... Да я хочу, чтобы дети-то мне поильцы и кормильцы были... А я им стану этакое внушать, так они после на старости лет меня из дома выгонят, да хворость придет – испить не дадут: скажут не хотим, нам это неприятно, да и шабаш... Нет, это он в сторону принял, заговорился... Видно, он заговаривается, что и наш же Николай Андреич... Нет, ведь оно большое-то ученье... не даром

пословица говорится: ум за разум зашел... Господи помилуй: что он иное говорит-то... Каких речей на свете не услышишь... А вот мужика-то поработать не дал... Чего жалеет?... Кажись бы, ведь не деньги платит свои... Чтобы дать человечка-то... Уж не разорился бы... Вот теперь как быть... Ну, да свои управятся, поналягут... А я по крайности месяц-другой на его харчах проживу... Все хлеба то пойдет дома поспорее... Трех едаков-то не будет... Хоть малы-малы, а и Николенька, и Сашенька тоже ели... Управятся как-нибудь и одни...

На этот раз Осташков пробыл дома только один день и ни на что не хотел обратить внимания относительно своего домашнего хозяйства. На все докучные вопросы и жалобы тетки и жены он отвечал, что ему теперь ни до чего, чтобы они управлялись сами, как знают, а он уйдет месяца на два в ученье... А выучит-ся грамоте да пойдет в службу, тогда заживет по-другому: и жене с теткой работать не придется, либо работников наймет, а может, и мужиков своих купит... Призадумались бедные женщины от такого решительного отве-

та: хотели было возражать что-то, но Никеша только прикрикнул да ругнулся... И тетка, и жена замолчали.

«Не прежний Никешенька... Видно, прибить не даст, – подумала Наталья Никитична... – И то сказать: сам отец и дому хозяин, знает что делает... А не управиться одним-то...»

«Хоть бы матушка пришла», – подумала Катерина...

IX

Осташков отправился к Карееву пешком, с узелком на плече, рассчитывая пробыть в ученье месяца два; но курс его кончился гораздо скорее, нежели он ожидал. Новоизобретенная, упрощенная система Кареева никак не применялась к пониманию Никеша. Никеша старался из всех сил, напрягал все свои умственные способности, вслушивался, всматривался, ломал голову до поту, до приливов крови, но ничего не мог понять и запомнить. Образование слогов из двух отдельных звуков совершенно ставило его в туник. Кареев же оказался на беду нетерпелив, взыс-

кателен, кричал и горячился, ожидал скорых и блестящих успехов от своего ученика, а вместо того встречал тупоумие – и выходил из себя от досады и негодования. С каждым уроком Никеша чувствовал сильнее отвращение и тоску от ученья и страх перед своим наставником, а Кареев – озлобление и презрение к нему.

– Вы бы, батюшка, Аркадий Степаныч, азам-то меня поучили: я бы, может быть, скорее понял, – осмелился однажды проговорить Осташков.

– Отстань... дурак... азам! – закричал на него Кареев... – С этакой тупой башкой ничего не сделаешь. Тебя бы палкой учить, так скорее бы понял...

Такого рода грубые ответы еще были сносны для Осташкова: он их переносил великодушно и не обижался. Но Кареев иногда сдерживал себя от подобных выходов и вымещал свою досаду язвительными насмешками или молчанием в течение целых дней. Этого Никеша не мог перенести. Он ходил целые дни как пришибленный или виноватый в каком-нибудь преступлении. В неделю ученья

он похудел и побледнел.

– Нет, видно, года мои ушли, Аркадий Степаныч... для ученья... – говорил иногда Осташков, доведенный до отчаяния.

– Мг... Года ушли... В тридцать лет человек не может понять того, что сразу понимают пятилетние дети... Это надо родиться с такой умной головой... Мг... потомок древнего рода... порода... Вот они... Пусть порадуется Паленов... Вот оне, хваленые способности... Весь ваш род, Осташков, видно, отличался таким высокоумием... Недаром судьба привела ваш род к такой бедности... Да вы и не стоите ничего лучшего... И этот Паленов еще хлопочет, чтобы образовать, поднять вас из вашей грязи... Да вы для нее родились... Вам, как свиным, самой судьбой предназначено валяться весь век в грязи... Это ваше назначение... Я бы ни за что и детей-то ваших не стал учить... По родителю видно, какие и у них должны быть способности.

Никеша молчал, ежился, не смел поднять глаз на своего учителя и маялся, как в пытке.

Случалось, что Кареев, рассерженный непониманием Осташкова, вдруг прекращал

урок и выгонял его из кабинета, в котором происходило ученье, и по целому дню не говорил и не смотрел на Осташкова. Бедняк брал книгу, садился где-нибудь в уголку и по целым часам сидел, не сходя с места и не сводя глаз с книги, в которой ничего не понимал... В тихомолку Никеша часто горько плакал, бил себя по голове, драл за волосы или усердно молился, прося у Бога разума и помощи в ученье. Ни разу не приходило ему в голову, что виноват в его плохих успехах учитель, а не он сам. Он не смел даже об этом и подумать. Удивлялся он только, отчего Аркадий Степаныч не учит его азам, т. е. аз, буки, веди и проч., как, слышал он, учат дьячки мальчишек; но, ведь уж Аркадий Степаныч сам ученый человек, знает как надо учить, значит, ведь и он сам так же учился: и выучился же ведь и вот до какой премудрости дошел, что сам Паленов ему нипочем. И того дураком против себя считает... Нет, видно, уж так Бог меня разумом обидел, не для меня эта наука писана... Видно, и умереть придется безграмотным... А потерплю еще маненько, погожу: может, не прояснит ли Господь ра-

зум... После стыдобушка будет и домой-то, и в люди-то показаться, как ничего не пойму... Нет, подожду еще, потерплю... что будет?... Что Бог даст?... И выжидал он минутки, когда проходил где-нибудь Кареев, и робко, как провинившийся школьник, подходил к нему, просил прощения, обещал стараться, умолял еще маленечко, хоть немножечко поучить его: авось не поймет ли...

И опять начиналась прежняя пытка.

Однажды во время урока приехал к Карееву Тарханов.

Дела Тарханова в настоящее время были очень плохи: карьеры его не удавались, долгов на нем накопилось много, а новых кредиторов не оказывалось; таинственные обороты, которыми существовал он и до сих пор, становились все мельче и малоприбыльней: последнему имению его грозила продажа с публичного торга. Но он не унывал, по крайней мере наружно, и держал себя, по обыкновению, самоуверенно и почти дерзко. В уезде все более или менее знали Тарханова, и ему становилось трудно поддеть кого-нибудь на удочку. Кареев был новым человеком, и Тар-

ханов решил искать счастья около него. Несколько раз уже и прежде он приезжал к нему, бойко и с уверенностью рассказывал о своих удачных коммерческих предприятиях, бранил помещиков за их неподвижность, за то, что они как будто стыдятся коммерческой деятельности, а на самом деле боятся труда и все – неучи страшные, не умеют ни за что взяться и бесплодно проживают деньги; и всеми этими разговорами, а особенно своею самостоятельностью, отрицательным взглядом на вещи и даже некоторою современностью убеждений успел уже понравиться Кареву. Настоящий приезд его был уже с определенной целью: или выпросить денег у Карева, или затянуть его во вновь придуманное предприятие, с тем чтобы распорядиться его деньгами.

– Здравствуйте, батюшка Аркадий Степаныч...

– Здравствуйте, Иван Петрович... Совсем забыли...

– Да все хлопоты... А, Осташков! Какими это судьбами? Да и книги, и доска аспидная... Что это вы с ним поделывали?

– А вот наложил на себя епитимию: вздумал грамоте выучить мальчика...

– Ого, Осташков!.. Вот как!.. Это добрже!.. Ну что же, как идет дело?...

Кареев с отчаянием махнул рукой...

– Что? Плохо?... Туп?...

– Ни на что не похоже...

– Этого надобно было ожидать... Ведь лентяй страшный... Где ему учиться... Ему вот шутовскую должность перед помещиками разыгрывать да на бедность собирать: это его дело... Да вы с ним как?... Я думаю, ведь деликатничаете... Напрасно... С ним ведь нельзя, как с прочими людьми обходиться... Его, как лошадь ленивую, бить надо: он скорее поймет... Право... Ну, да вот я с ним после поговорю... Вы бы пока задали ему урок, что ли, да выслали его учить... А мне позволили бы потолковать с вами: я ведь за делом к вам приехал...

– Какой урок... Он без меня слова не умеет выговорить... Ступайте, Осташков...

– Ах, иссохшая ветвь знаменитого дерева, – говорил Тарханов, насмешливо смотря на сконфуженного, печально уходившего Нике-

шу. – Нет, да я вижу вы очень деликатно с ним: уже займусь по-своему.

– Вот в чем дело, Аркадий Степанович, – продолжал Тарханов, когда дверь за Никешей затворилась. – Я приехал посоветоваться, потолковать с вами, как с образованным и ученым человеком, и даже сделать вам некоторые предложения... С прочими нашими олухами ведь ничего не сделаешь... Вот-с какая мне пришла мысль... Вы знаете, что все мы, помещики, убедились наконец, что лес составляет основное, так сказать, наше богатство и что лес беречь надо, вследствие этого мы все стали бережливы относительно лесов до такой степени, что готовы собственных печей не топить, лишь бы сохранить леса в целости. Но при этом посмотрите, до каких мы диких вещей доходим и что значит недостаток в нас коммерческой предприимчивости, о чем я вам всегда говорил... Наши мужики ездят на Волгу за сорок, за пятьдесят верст покупать сплавный лес... Мы имеем по соседству фабрики, на которые лес беспрестанно требуется, особенно в виде теса: и все фабриканты тоже покупают лес с Волги. Ведь они на десят-

ки тысяч покупают каждый год одного теса... Теперь рассчитайте: что стоит сплав и перевозка на 50 верст расстояния. А между тем у нас по соседству от фабрик есть леса, помещики из него продают бревна, которые купцы иногда дома пилят пильщиками да платят за это страшные деньги... И никому из нас до сих пор в голову не пришло построить лесопильной мельницы... Помилуйте: да, ведь если завести такую лесопильню, так ведь наверно рубль на рубль наживается... Позвольте карандашика: я вам сделаю расчет...

Кареев подал карандаш и бумаги. Тарханов быстро сделал очень убедительный расчет, по которому оказалось, что действительно лесопильная мельница приносила бы по крайней мере 100 процентов на затраченный капитал.

– Вы видите, что я не ошибаюсь?... Согласны вы, что расчет мой верен и не воображаемый, а действительный?...

– Да... кажется...

– Ну, хорошо, да, положим, что я ошибся, и уменьшим весь доход наполовину: и тут вы получаете 50 процентов... Что это, мало?

– Какое же мало?... Помилуйте...

– Да я вас спрашиваю: какое предприятие может принести такой процент?... И наши олухи, наши богачи помещики, имеющие по несколько сот десятин строевого леса, не умели до сих пор догадаться об этом... не умели об этом подумать...

– Да разве они думают о чем-нибудь и способны думать? – желчно заметил Кареев.

– Вот-с, вот поэтому я не хочу с ними, скотами, и говорить об этом, не хочу и делиться с ними этой золотой мыслью... А приехал к вам, как человеку, который один только здесь и есть, способный говорить о деле и понять другого дельного человека... Вот, видите ли: по совести вам сказать, я как человек, следовательно эгоист, может быть, не сказал бы и вам о своем замысле, чтобы одному воспользоваться барышами... Вы не осудите меня за эту откровенность, пожалуйста...

– Напротив, еще более уважаю и ценю вас... Это совершенно законно и справедливо... Я ведь не держусь патриархальных начал взаимного надувания под видом самоотвержения...

– Ха, ха, ха... Это славно сказано... Так вот видите ли, я приехал рассказать вам об этом замысле только потому, что у меня нет средств осуществить его одними моими силами... Я механику-то знаю отлично и построю мельницу без помощи всякого немецкого мастера, мне стоит только съездить хоть в Ярославскую губернию и посмотреть там на лесопильни... Следовательно, вот еще сбережение расхода: не нужно нанимать мастера... Ну-с, теперь я вам сделаю два предложения: которое вы изберете?... Я знаю, у вас есть большие лесные дачи и лес строевой, береженный... Так как хотите: или продайте мне его, но с рассрочкой платежа, потому что у меня в настоящее время не станет денег для покупки его всего вдруг, а по частям покупать не расчет, или соединимте капиталы и уполномочьте меня строить мельницу и производить на ней работы из ваших лесов, с тем, что барыши пополам... Как, хотите?...

– Дайте немножко подумать: это дело такое серьезное, что вдруг решиться мудрено...

– Да, конечно: подумать следует... Но вы только меня успокойте в том отношении, что

вы не последуете, конечно, примеру наших мудрых господ, которые никогда не в состоянии решиться ни на какое предприятие вследствие своего тупоумия и дурацкой неподвижности... Вы скажите мне только, вы пойдете на которое-нибудь из этих предложений...

– Вероятно.

– Нет, не вероятно, а наверно скажите мне...

– Наверно.

– Вы успокойте меня, потому что я медлить не хочу, и если уж делать дело, так делать, не откладывая. Вы или дайте мне слово, что пойдете на которое-нибудь предложение, или откажитесь. В таком случае, я уж хоть стену лбом прошибу, а добьюсь себе товарища в ком-нибудь другом...

– Я вам говорю, что я готов на ваше предложение, только дайте подумать, которое выбрать...

– Честное слово?

– Честное слово...

– Ну, вот я теперь покоен... Вашу руку.

Кареев подал руку, и Тарханов пожал ее

от чистого сердца... Он был совершенно счастлив и доволен.

– Теперь я вижу, что все здешние головы не стоят одного волоска на вашей голове, – сказал Тарханов в порыве восторга.

– Вот видите что: я сейчас бы, может быть, согласился идти с вами в часть, да у меня в настоящее время денег мало...

– Ну так вот что можно сделать: продайте несколько десятин леса на сруб... Нам ведь нужны деньги теперь только на устройство мельницы всего тысячи четыре... Ну моих две, да две ваших... А покупателей я вам сейчас найду.

– Вот это дело...

– Так, значит, идет?

– Идет.

– Bravo... Великое счастье иметь дело с людьми умными и учеными. Извольте-ка столкнуться в несколько-то минут с нашими оболтусами. Попробуйте... Ах ученье, ученье – воистину свет!.. А что, где чаш ученый муж Осташков: что он поделывает?...

– А вот пойдете обедать: увидим и его... Вот, батюшка, голова-то: я в жизнь свою не

видал человека тупее его... Решительно ничего не понимает.

– Нет, послушайте: вы, право, не так с ним обращаетесь... Он, ведь страшный лентяй и тунеядец... Он привык ничего не делать, шляться по господским домам и есть даром чужой хлеб... Вот он и здесь у вас думает, что пришел гостить, а на ученье смотрит как на шутку... Вы же его балуете... Нет, вы мне позвольте только, дайте волю: я его припугну хорошенько... Только не мешайте мне... Вы посмотрите, что дело пойдет гораздо лучше...

– Ничего не будет...

– А вот увидите.

Тарханов был весел, в самом хорошем расположении духа, и за обедом напал на бедного Осташкова с ожесточением.

– Что, великий муж, как твое ученье? – спросил он его.

– Плохо, Иван Петрович... – уныло отвечал Осташков.

– Отчего же это: плохо? Ленишься, тунеядничаешь?... Тебе не совестно, что Аркадий Степаныч беспокоится для тебя, занимается с тобой... Своей пользы не понимаешь?...

Добра, которое тебе делают, не ценишь?...

– Как не понимать и не ценить, Иван Петрович... Кажется, от стыда сторел, глаза бы не глядели... Да что же мне делать, коли понятия нет... Видно, года мои ушли...

– Врешь: понятия нет... Небось умеешь по помещикам ходить да милости, подаяния выпрашивать... Это умеешь, на это станет понятия... Как бы в тебе совесть была, не стал бы чужой хлеб есть даром... Кусок-бы в горло не пошел... А ты видишь как уплетаешь... Что, добрый человек нашелся, кормит тебя, так ты и рад. Нарочно, чай, притворяется, что не понимаешь, чтобы подольше пожить на хлебах Аркадия Степаныча... А еще дворянин... Э, бесовестный...

– Помилуйте, Иван Петрович, – отвечал Осташков с глазами, полными слез, – да, кажется, я на Аркадия-то Степаныча зрить не могу... уж до еды ли мне... Кажется бы, самого-то себя куда бы ни на есть, в щель какую запихал... Да что же мне с собой делать, коли Господь обидел...

– Полно, полно... Ты передо мной эти лясы не точи... знаю я тебя... Это все от того, что Ар-

кадий Степаныч смотрит на тебя, как на человека... как на благородного в самом деле, дворянина... Вот ты и прикидываешься дурачком... А вот погоди: теперь я тебя в руки возьму... Мне Аркадий Степаныч дал над тобой волю. И вот тебе мое слово: я завтра опять приеду сюда, и если ты опять не будешь понимать, просто выпорю, стащу на конюшню и выдеру... для твоей же пользы выпорю... Слышишь... ты меня знаешь... У меня, брат, станет духу, коли сказал... Помни же это... Смотри... Как не станешь понимать, так и на конюшню... У меня будешь понимать: откуда что возьмется... Помни же. Я попусту говорить не люблю...

Осташков знал Тарханова за человека наглого, способного на всякую дерзость, и несколько не усомнился в возможности того, чем он угрожал ему. Не смея возражать, он взглянул робко на Кареева, надеясь на его лице прочесть себе защиту, но Кареев сидел мрачный и сердитый... Сердце у Никеши замерло и сжалось тоскою. Он не смел поднять глаз и ничего почти не ел за обедом. После обеда он старался скрыться от взглядов Тарха-

нова. Угроза не выходила из его отуманенной головы. Целый день пробродил он, как шальной, и ночью не мог уснуть. Тоска обуяла его душу. Чем свет, на заре, когда в доме Кареева все еще спали, он поднялся с постели и, не зная, что делать с собою, на что решиться, связал в узелок все свое платье и тайком, как вор, выбрался из дома, из усадьбы, за околицу... Тут он остановился в нерешимости, что делать?... Уйти, не простившись с хозяином, не поблагодаривши за хлеб-соль, нехорошо... Объявить Карееву, что хочет уйти домой, – пожалуй, не отпустит, остановит; а остаться, видимое дело: наука не дастся, приедет этот разбойник Тарханов, не уйти от стыда: высечет... Что делать?... И уйдешь... а как после покажешься Паленову, что скажешь?... Не поверит, что грамота не далась, скажет: лень одолела... Пожалуй, милостей лишишься... Ах ты Боже мой... Как быть... Да нет, уж что не будет, а уж лучше уйти от беды, что висит на носу... Вот нанесла нелегкая человека!.. И Никеша поплелся к дому унылый, разбитый, огорченный, в самом скверном, тяжелом расположении духа...

Х

В то время как Никеша жил у Кареева и продолжал свой курс учения, однажды, в праздничный день, к избе старика Осташкова подъехала телега, парой и с колокольчиком. Молодцевато с гиком и уханьем подъехал ямщик, молодой парень к самым воротам и на всем скаку остановил лошадей. Из окон избы Александра Никитича и соседней, Никешинной, тотчас же высунулось несколько любопытных лиц. В телеге сидел какой-то отставной военный, в сильно поношенном и засаленном сюртуке без эполет и в помятой фуражке. Огромные, черные с проседью и взъерошенные усы и давно небритая борода приезжего прежде всего бросались в глаза на его кирпичного цвета лице.

– Вот и приехали, барин, – сказал ямщик, обращаясь к седоку и завивая вожжи на железную уключину, вбитую в беседку телеги. – Каково отмахал?...

– Хорошо... водки поднесу... – но внятно, хриплым голосом пьяного отвечал приезжий. – Ну... что ж ты... мерзавец... вынимай

меня... Ска-а-тина... Не знаешь...

– Сейчас, ваше благородие, – отвечал ямщик, тоже, видимо, навеселе...

– То-то... Должен знать.

Ямщик спрыгнул с козел и, не совсем твердо держась на ногах, подошел и протянул руки седоку.

– Не узнали... Не встречают... – бормотал приезжий, вылезая из телеги... – Вот удивятся... как узнают...

Спустившись с телеги, он, покачиваясь, установился наконец на ногах, не твердою рукою поправил на голове фуражку, закрутил усы и, подпершись фертю руками в бока, с какою-то неопределенной улыбкой смотрел вокруг себя. Между тем из избы выбежал Иван, чтобы узнать, кто такой приехал и за чем, он подошел к приезжему.

– Кто ты такой?... – спросил его последний.

– Да вам кого надо?

– Кто ты такой?... Как ты прозываешься? – прикрикнул на него приезжий.

– Осташков...

– Гм... Осташков... Как твое имя...

– Иван Александрыч...

– Ванюшка... А отец где?... Жив али нет?...

– Как же, жив...

– Веди меня к нему...

– Пойдемте... Пожалуйста... – отвечал Иван, указывая на избу и отправляясь вперед.

– Веди меня, олух... не знаешь... – закричал на него незнакомый гость. – Под руку возьми... Не чувствуешь... Гм... Осташков ты, Ванюшка... молокосос... разве этикие Осташковы бывают... Вот так веди...

Иван повиновался, взял гостя под руку и повел в свою избу.

Вдруг в доме Никанора Осташкова распахнулись двери из сеней на крыльцо и из них с криком и воплем выскочила Наталья Никитична...

– Батюшка, Харлашенька!.. Ведь это он право, он... – кричала она, перебегая расстояние от своей избы к братниной... – Батюшка... братец... Харламбий Никитич... признала ведь...

Приезжий, услыша ее голос, остановился и с улыбкой смотрел да бегущую старуху.

– А, узнала... Неужто сестра Наталья... – спрашивал он.

– Я, батюшка, я... Аха-ха-ха... – рыдала Ната-

лья Никитична, кидаясь на шею к брату... Откуда взялся? Солнышко ясное... Родной ты наш... И в живых-то не чаяли... Ну-ка ведь сердце мне сказало... И не признаешь тебя... Похожего нет... Батюшка ты наш... Точно с того света...

– Ну, да уж будет... Не вой... не люблю...
Пойдем к дому...

– Ах, дяденька-с... – говорил Иван, целуя гостя в плечо и стараясь заглянуть ему в лицо.

– Что, знаешь теперь?... Узнал?

– Извините: не знал-с...

– Ну, на, поцелуй... – продолжал тот, подавая руку.

Иван поцеловал руку дяденьки.

– То-то... должен почувствовать... дядя твой...

Ну, обними теперь...

Иван со всем усердием обнял его.

– Ну, веди...

Но в это время на шею к нему бросился сам Александр Никитич, который долго смотрел из окна на приезжего с недоумением и ни разу не подумал, что это его брат, о котором больше 15 лет не было слуха и которого считал умершим. Когда же сестра, по инстинкту

крови или по предчувствию, узнала его, он также поспешил навстречу нежданному гостю.

– Брат... Харлампий... Неужто ты?... Вот не ждал-то...

– А-а... думал пропал... Осташков не пропадет...

– Да пойдём... Пойдём в дом-то...

– Веди... – обратился Харлампий Никитич к племяннику... – Уважения не оказал... Не признал... – проговорил он, с улыбкой кивая на Ивана.

– Где ж ему признать... Его ещё и в живых не было, как ты в службу-то ушел...

– А что ты, батюшка, али ножками-то слаб... болят, видно, ноженьки-те? – спрашивала Наталья Никитична, на радостях не заметившая, что приезжий братец пьян, и стараясь подхватить его под другую руку.

– Ранен... Контузию получил... растяжение жил...

– Ах ты старатель наш... До чего ты дослужился... Улетали же таки тебя, нехристи окаянные... И здоровеньким-то домой не дали воротиться.

Слезы так и текли ручьем из глаз обрадованной Натальи Никитичны, но она старалась не давать им воли после того, как братец сказал, что он женского вытья не любит... Иван вел уже дядю с некоторой гордостью, и при входе в избу с неудовольствием посмотрел на тетку, которая также вошла вслед за ними. Дядя-офицер был дорогой гость и выгодный и желанный. Ему бы не хотелось им делиться с семьей брата.

«Вот, как приехал к нам дядя, так и к нам полезли...» – мелькнуло у него в голове.

– Ну-ка, садись, брат, садись... – говорил Александр Никитич... – Устал, чай, с дороги-то...

– Усталось, усталось... Три тысячи верст ведь проехал...

– Ах, батюшка ты наш... Эко место проехал... – отозвалась Наталья Никитична.

– Чем нам дорогого гостя потчевать-то...

– Известно: военными напитками... Самовар вели наставить... А между прочим водки подай...

Александр Никитич переглянулся с Иваном. На лицах их выразилось некоторое заме-

шательство.

– За водкой-то я тотчас сбегаю... – сказал, впрочем, Иван, как бы отвечая на безмолвный вопрос отца и что-то быстро сообразивши.

– А самовар-от у нас возьмите... – вмешалась Наталья Никитична... – Скажи, Ванюша, Катерине, чтобы принесла да приходила бы поскорее: дяденька, мол, из полка приехал... Да чай-то с сахаром... чай, нет у вас... Тоже молви ей, чтобы своего принесла...

– Да что ж это у вас... разве вы уж врознь живете?...

– Да, уж мы поделились... Я с Никешей живу, – отвечала Наталья Никитична. – Эко горе, Никанора-то Александрыча нет дома... Помнишь, чай, его, братец... Махонький еще был, как ты у нас в службу-то поехал, а уж теперь у самого дети...

– Мало помню... Так вот вы как... Много же у вас тут перемен...

– Много всего было... – подтвердил Александр Никитич с сдержанным неудовольствием.

– Ну а ты... Ванюшка... Смахай живо за вод-

кой. Чаю потерпеть можно: время ждет... А водки с устатку требуется.

– Живо, дяденька, тотчас...

– Ну, смотри... люблю, чтобы живо было... по-военному... Я тебя приучать буду... Да вот что, брат Александр... ты отдай моему ямщику за подводу... Я дорогой-то поистратился, все мелкия извел... Два с полтиной отдай...

Александр Никитич замялся.

– Так давай: я разменяю тебе... – проговорил он как-то нерешительно...

– Слышишь ты: в дороге изхарчился... Все подошли... Из казначейства вот надо пенсию получить...

– Так... на ассигнации два с полтиной?

– Нет... нынче все на серебро... серебром...

– Так как же, братец, денег-то у меня теперь таких нет... Нет ли у тебя, сестра Наталья?...

– Не знаю, есть ли нет столько-то?... Сбежать разве поискать... Вот грех какой: Никешито нет... Да я сбегаю: поищу... Может, наберу...

– Да у вас как не быть деньгам: вы люди богатые... – сказал Александр Никитич с горе-

чью.

Наталья Никитична не слыхала этих слов: она уже бежала домой, чтобы скорее воротиться к брату.

– Да что, разве в скудости живешь? – спросил Харлампий Никитич брата, оставшись с ним наедине.

– Да с чего в достатках-то жить?... Меня здесь сестрица с старшим сынком славно обрезади: женила Никанора на холопке на какой-то, отделились, да и земли чуть не половину взяли... К богатым господам подделываются. Те не оставляют... Вот и живут. А я вот с Иваном кое-как и перебиваюсь на старости... уж какие мои достатки, с чего тут разживаться...

– Как же он мог... Никешка?... Против отца?... Его, значит, надо в ежовые руки взять... Сократить... Вот я его...

– Не он один... С ним-то бы я управился... А главное, сестра захотела...

– Вот я ее...

– Да тут еще теща его... Такая скверная старушонка... из холопок... Сбит парня... Знать меня теперь не хочет... Никакой помощи от

него не вижу...

– Вот я их всех... Что? Против отца грубиянить?... У меня все будут смирно... по-военному... смирно... равняясь... Не знают они...

– Теперь вот только на одного Ивана и надежда...

– Наградить его... Я его награжу... А Никешку смирим... Что? Против отца? Цыц, не смей... руки по швам... Знай начальство... Эх, брат, службы ты не знаешь... Ослабел?...

– Много, братец, и годов то... уж вон спину горбить стало... Эхе-хе... Да что говорить... Вот, слава тебе Господи, хоть тебя дождался... Ну-ка, а забыл нас совсем: хоть бы когда написал.

– Некогда... Служба... Должен... знаешь... каждую минуту...

– Да где же ты был-то, в каких местах?...

– Далеко... на Кавказе... Что Ванюшка нейдет долго... Устал я с дороги...

– Что, дяденька, живо ли? – спросил Иван, входя в это время с полуштофом в руках.

– Ничего... Давай...

– Сейчас стаканчик...

– Слушай команду: давай... Стаканчик по-

сле. Ты ее поставь... Мы и по-военному можем из горлышка в горлышко. А ты свое дело правь: стакан изготовляй...

И действительно, пока Иван ходил за стаканом, Харлампий Никитич приложил горлышко скляницы к губам и, не переводя духа, высосал половину принесенного вина.

– Это нас укрепляет, – проговорил он, опуская штоф на стол.

– Брат, выпей... – продолжал он, наливая в принесенный между тем стакан.

– Кушай, братец, сам-то... Ты с дороги...

– Ничего... стаканчик выпей... А тебе, Ванюшка, не дам... Первое молод... Второе: мало принес... Ха, ха, ха!.. Сробели?... Ну, надо его наградить... за почтение отца... Выпей стаканчик.

– Да я не желаю, дяденька... Кушайте сами...

– Ну... Можешь ты?... Знай команду: манерку дают, свою порцию прими и отходи прочь... Ну...

Харлампий Никитич налил стакан и подал Ивану. Тот выпил.

– А тех я выправлю... Они не знают... Ва-

нюшка... У меня будь всегда в исправности: передо мной, значит... Я тебя награжу... А Никешку мы уничтожим... Поди принеси еще полштофа... Ямщику надо поднести... Он мне песни... Вез хорошо, значит, служил... Ну и надо наградить... Что ж стал, пошел принеси... Я сегодня, значит, дома, в свой дом приехал... Тридцать лет не был... Ну и вы должны меня веселить... А после я вас стану... Вот в казначейство...

– Пошел же, Иван, промысли еще... – приказал Александр Никитич, не зная, что думать о брате.

Иван ушел.

– Чин-то, братец, у тебя какой?...

– Чин... Поручик...

– Значительный?...

– Значительный...

– И жалованье хорошее?...

– Пансион по чину... Я в отставку вышел...

– Пансион. Так велик ли?

– Говорят тебе, по чину. Служил я не мало: значит, выслужил...

– Так ты, братец, теперь, значит, совсем к нам приехал?

– Совсем... На вечный отдых... Так что ж, ты не рад, что ли?...

– Что ты это... Бог с тобой... какое не рад. Почитай чуть не тридцать лет брата не видал, приехал ты человеком значительным, за всех за нас служил и выслужился, да еще бы мне не радоваться... Теперь уж я за тобой буду жить, как за каменной стеной... Знаю, что не оставишь и в моих недостатках... Поддержишь брата...

– Поддержу... Это могу... Сказано: могу...

– Уж не оставь, братец... Что делать? Бедность одолела. А спина не гнется идти да побираться небогатым господам. Свой род помню... А можно бы... Вот Никанор живет... хорошо... А все господским живет подаянием. Со мной не делится... Забыл отцовскую хлеб-соль... Ну, да я и не желаю... Горько только, что почтеия нет от сына... Еще тут было вздумал землю отнимать... Иван сена накопил, так силой хотел взять. Подговорил какого-то разбойника да избил у меня парня-то... Эх, горькое, братец, мое житье... не оставь хоть ты...

– Сказано: всех их вытяну... в струнку по-

ставлю... А Никешку... Где он?... Подавай мне Никешку... Подавай сейчас... требую...

– Да его нет... Ушел, чу, опять по господам...

– Послать привести... чтобы явился... Сказать: поручик Осташков требует...

В эту минуту вошла Наталья Никитична в сопровождении Катерины, которая несла самовар.

– Вот, батюшка братец, вот уж кое-как набрала денежек, сколько требовал по приказу твоему... Кажись так... Изволь-ка сосчитать... – говорила старуха, развязывая платок, в котором завязаны были деньги.

– Положи... сосчитаю... Никешку требую... подать мне его... Поручик Осташков требует к себе...

– Батюшка, да он бы и сам давно прибежал, только на беду дома-то его не случилось... Пошел к какому-то господину грамоте учиться... В службу его хотят взять, так грамоте пошел обучиться, потому без грамоты в службе нельзя, сам ты изволишь знать... А то бы ведь уж он и сам давно прибежал, услышавши, что дяденька приехал... А вот это его

жена, Катерина... Славная бабенка... добрая, работающая. Подъ, Катерина Ивановна, поцелуй у дяденьки ручку.

– Прочь... не допущу... Подать мне Никешку. Как смел он неявиться... Отыскать мне его... и привести живого или мертвого... Слышишь... Вы не знаете...

– Батюшка, сейчас бы исполнила твой приказ: нароком бы Катерина сбегала, да не знаем, где он пребывает-то: у какого-то барина-то незнакомого... Не растолковал он нам.

– А, испугался... Прячется... Найду... Сам найду... и взыскание сделаю... Против отца. Я вам дам... У меня, чтобы...

Иван явился с новым полуштофом, а вслед за Иваном вошел ямщик: поручик Осташков недоговорил своей фразы.

– Подай сюда... – обратился он к Ивану... – Ты кто такой? – спросил он ямщика.

– Али не признал, барин... Ямщик, что те вез... Ишь ты уж как... на радостях как тебя укачало...

– Что ты можешь мне говорить... Ты кто такой?... Не знаешь...

– Да я ничего... Прогоны пожалуйста...

– Сколько тебе нужно?

– Знаете сами... за два рубля рядился... Да обещали еще прибавить... хорошо вез...

– Возьми... – проговорил он невнятно, указывая на деньги, лежащая на столе...

– Да ведь тут, братец, два с полтиной, а ему следует только два, – заметила Наталья Никитична.

– Как ты смеешь мне говорить!.. Двугри-венный ему прибавить... А то подай сюда!..

Наталья Никитична, робко и с недоумением поглядывая на братца, исполнила приказание. В продолжение разговора с ямщиком он почти беспрестанно пил водку, стакан за стаканом, и уже совершенно охмелел; глаза его помутнились и слипались, язык начинал говорить невнятно, руки делали произвольные движения, и сидеть он не мог уже прямо, не качаясь всем туловищем.

– Водочки еще, барин, обещал поднести, – проговорил ямщик, принимая деньги.

– Что... Пошел вон... Выгони его вон... Подай сдачу... – обратился он к Наталье Никитичне, протягивая нетвердую руку. Та поспешила положить в нее оставшиеся за расчетом

тридцать копеек, которые намеревалась было отнести домой, как ненужные для братца; но братец положил их в карман. Осташков допивал остатки водки.

– Что ж, ваше благородие, за что огневался?... Поднести обещал... – настаивал ямщик. – Ведь как вез-то... Скорее почтовых...

– Цыц... не смей. Захочу – поднесу... Не захочу... Кто мне может... Подать мне Никешку... Я его буду обучать... Смирно, руки по швам... Веди меня спать... койку: я ранен... – Последние слова едва можно было разобрать, но вся семья засуетилась, не зная, где и как уложить дорогого гостя. Но пока приставляли лавки одна к другой и покрывали их разной одеждой, чтобы сделать ложе поручика помягче, он уже спал, положив голову на стол.

– Эх, барин... огас!.. – проговорил ямщик, с улыбкой. – Ну уж и дорогой то не мало же курил... Да какой же сердитый... беда!..

Вся семья стояла около спящего гостя, не зная, как перенести его на приготовленную постель. Наконец Александр Никитич решил взять его под руку, Иван – под другую, и, бесчувственного, перетащили его и уложили

на лавку.

Наталья Никитична, с убитым, печальным лицом, помогала брату и племяннику, а Катерина в страхе и недоумении стояла над закипевшим уже самоваром.

– Ну, хозяйева, значит, прощайте. Счастливо оставаться, – говорил ямщик, молча, но весело смотревший до сих пор на всю эту возню. – Али, может, поднесете на радостях, что гостя привез... Сродственник, значит, что ли, вам выходит?

– Ну, ступай, ступай, приятель... – отвечал Александр Никитич сердито. – Что тебе еще надо?... Разделку получил, – ну и с Богом...

– Да оно известно... мне что... только что вот обещался водки, говорит, поднесу... Да вот и не поднес... Думал что...

– Ну ступай, ступай, говорят...

– Да я уйду. Что мне не уйти... Только что вот обещал, – бормотал ямщик, лениво подвигаясь к двери... – Прощайте, ин коли так... Тоже, братец, видишь ты: господскую фантазию держат... Ступай вон... Лохмотники...

Последние слова договорил он, затворяя за собой дверь в избу.

Наталья Никитична, как опытная женщина, первая спохватилась посмотреть: все ли имущество братца вынесли из телеги.

– Неужто у него только и поклажи всей, что этот узелок... Дай-ка сбегаю сама посмотрю в телеге.

Ямщик собирал уже вожжи и приготовлялся сесть в телегу, чтобы отправиться в обратный путь, когда выбежала из избы Наталья Никитична.

– Неужто, голубчик, с барином-то только и поклажи было, что один узелок? – спросила она, заглядывая в телегу.

– Али больше? – грубо и насмешливо ответил ямщик. – Настоящий-то барин с хорошей поклажей к вам бы и не приехал...

– Да что ты, друг, собачишься, не зная людей, – окрысилась Наталья Никитична.

– Невидаль... Пусти-ка, бабушка... Нечего в сене-то рыться: пустого-то места, видно, не найдешь... хоть по волосинке его перебери... Вишь ищет... Не золото ли рассыпал...

Ямщик засмеялся.

– Да это нечего, друг, зубоскалить-то... Ты нас не знаешь, и мы тебя не знаем. А, может,

что осталось в телеге: ты увезешь, а после тебя ищи...

– Так тащи... Что, нашла?...

– Ну нет, так ведь с тебя и не спрашивают... А все посмотреть надо...

– То-то... надо... Нечего тут, коли нет ничего... – вымолвил ямщик, вскакивая в телегу.

– Да ты откудова?

– Оттудова... Ну-ка вы... – прикрикнул он на лошадей... – А еще обещал: водкой, говорит, напою... Эй вы, слезы...

И Наталья Никитична только его и видела; а у нее вдруг родилось было сильное желание порасспросить ямщика о том, как братец ехал, что говорил и делал дорогой.

Наталья Никитична была совершенно смущена и расстроена странным поведением приезжего, без вести пропадавшего братца. Она сначала на радостях и не заметила, что гость приехал вполпьяна, но теперь видела, что он напился очень скоро, без всякой надобности и один, без компании: и не знала она, что о нем подумать, а признать его с первого раза просто пьяницей ей было как-то больно, да и думать этого не хотелось. И откуда он

приехал, и как, и почему не привез с собой ничего? Приехал, нашумел, ничего про себя не рассказал, взял денег; напился допьяна и завалился спать... Ничего не могла понять бедная старуха, но на сердце у нее сделалась тяжело и тошно, и радость вся прошла, точно солнышко вдруг спряталось за тучкой. Катерина, которая со времени семейного раздора никогда не ходила к тестю, оставшись теперь одна у него в избе, пред суровыми взглядами родной, враждебной семьи, напуганная криком и угрозами пьяного дяди, не могла оставаться долго без защиты Натальи Никитичны и поспешила выйти вслед за ней.

– Что за чудо, тетушка, про Никанора-то Александрыча он как... Неужто уж они успели ему что наговорить на него...

– Видно что... пока я за деньгами-то ходила.

– Да что он, тетушка, какой... Видно, зашибается хмельком?

– Не знаю, Катюша, не знаю, что и подумать. Сердце мое надсело вдруг... точно что порвалось там...

– Ты, тетушка, разве туда?... Я не пойду те-

перь... Матушка-то одна сидит. Я домой пойду...

– Ну, поди, поди... А я войду посижу, посмотрю еще, не проснется ли... чай, не выгонит сестру-то родную.

– Да приходи поскорее, расскажи что...

Возвратившись домой, Катерина рассказала матери, которая в это время гостила у нее, все подробно о новоприезде дяденьке.

– Стало быть, пьяный человек... больше ничего!.. – рассудила Прасковья Федоровна. – Либо запойный временем, либо казенный день без просыпа... Это бывает и в благородном звании, и в дворянском. Не больно радость велика, что приехал. И слава Богу, что не у вас остановился... А это конечно, что они успели на Никанора Александрыча наговорить... Да что же он может ему сделать... Разве вот только землей обидят... Так ведь не потерял бы только милости дворянства, совсем в обиду не дадут... А вот, Бог даст, выучится грамоте да на службу поступит, так ему и о земле-то больно горевать нечего... И без земли будет сыт... Только бы грамоте-то выучился... Ведь как бы он был умный-то человек да

меня слушался, так давно и грамоте знал, и в службе бы давно служил... И не смотрел бы ни на кого...

Между тем Наталья Никитична сидела около спящего брата и с грустью посматривала на его измятое багровое лицо, всклокоченные волосы и усы. Он спал крепко и храпел на всю избу, изредка постанывая и мыча что-то.

Александр Никитич сидел тоже призадумавшись, облокотись на стол и отворотись от сестры. Он не знал радоваться или горевать, что приехал неожиданный гость. «Коли деньги будет получать да поддерживать меня станет на старости лет, ну, так дай Бог ему здоровья... А как он только приехал на мои хлебы да каждый-то день вот этак – ну, так лучше бы он и не приезжал... Ну, да тогда можно его к Никанору спровадить... Лучше земли уступить... Разделиться совсем... А, может, ведь кто его знает. Может, ведь и жалованье большое получает и мне помогать будет».

Иван что-то перемигивался с женой и насмешливо посматривал на тетку. Молчание было прервано Натальей Никитичной.

– Это ты, что ли, братец, нажаловался братцу-то Харлампию на Никанора-то, что он очень на него в сердце вошел?...

– Что мне жаловаться-то... разве отцу на сына приходится жалобу приносить, хоть бы к кому ни на есть... разве есть кто больше отца?

– Ну, да все видно, что недоброе рассказали...

– Что есть, то и рассказал...

– Кажется, он тебе непочтения не оказывает?...

– Ну, да и уважения-то не много...

– Уж это грех, братец, тебе говорить: всегда он от тебя в обиде...

– В обиде он, а кто сено-то хотел силой отнять да зубы-то мне выколол?... – отозвался Иван.

– Так ведь ты же у него сено скосил. Он свое хотел взять, не твое...

– Свое?... Какое свое?... Я по батюшкину приказу делаю: чем он меня благословит, то и беру... не мое и не его, а все родительское, пока родители живы...

– Хорошо тебе этак подмамливать-то, как

ты при отце живешь, а его обидели да обмеряли во всем.

– Так он рад отца-то за ворот взять: дай мне вот столько, а не эстолько... Не хочу владеть, чем благословил, а давай все: сам без куска оставайся...

– Полно... Где ему за ворот отца взять... Ты скорей возьмешь за ворот-то, как нужда придет... Он вот отцу-то не больно грубит, даром, что всем от него обделен; а ты так вот тетке старухе рта не дашь разинуть...

– Да кто его обделил?... – сердито заметил Александр Никитич. – Кто его отделял-то?... Кто с ним делился-то?... Разве не сам не захотел с отцом жить?... Гнали его, что ли?...

– Нет, не от отца он ушел, и я ушла не от тебя, а вот от кого... – Наталья Никитична указала на Ивана.

– Не приходится старшему брату за меньшего спину гнуть да во всем ему потрафлять... На тебя-то бы одного он угодил...

– Полно ты мне... Знаю я вас... Захотелось богатыми быть... Думали: своим-то домом заживете, да по господам милостыню собирать будете, и с отцом стариком делиться не стане-

те, так гадали разбогатеть... Нет, кабы у меня деньги были, вы бы не ушли, небось отделиться бы не вздумали... Вот дядя приехал... Вот наперед знаю: коли увидите, что есть деньги – станете ухаживать, кланяться да к себе зазывать, а коли разберете, что от него корысти нет, а еще его же кормить надо, так и знать его не захотите... Не так, что ли?... Ну-ка ты мне скажи отгадку: вот я загадал... Покажи-ка себя, каковы вы есть...

– Я свое сердце знаю: мне для родного своей крови не жалко, а не то что, что... Мы и для чужого куска-то не жалеем, а не то что для своей родной крови... Только было бы у нас...

– Да я знаю, что у вас как себе, так все есть, а не себе, так и нет ничего... Это мне дело знакомое... И я, бывало, захаживал к вам с нуждой-то своей, так с пустыми руками уходил... Я... отец, а не то что дядя...

– У самих нет, так негде взять...

– Нет у вас!.. Нет, вы, я думаю, из всех господских карманов удите... Остался ли хоть один господский двор, на котором бы милостыни-то вам не подавали?... Да вот погоди, увидим... а я наперед говорю, коли увидите,

что у брата есть деньги, посмотрите, как станете увиваться да лебезить около него... А нет, так хоть бы его и на свете не было...

– Полно, полно, греховодник...

– Эх, да хоть уж сиди, да не говори со мной: не доводи до греха... Ему спокой надо дать... А либо шла бы уж домой: пока сонный-то, ничего не получишь, не выпросишь...

– Господи, экой язык ехидный... Кабы не родное было, неужто бы я стала сидеть... Богин с тобой, я уйду... коли уж ты этим меня попрекаешь... Видно, забыл и ты мою старую службу... Мало я на тебя работала... Господь тебя суди...

Прослезившись, Наталья Никитична вышла из избы брата. Жена Ивана тотчас же развязала тощий узелок с имуществом дяди. В узле оказалось две ситцевых поношенных рубашки, да старый, купленный, вероятно, некогда у татарина и засаленный до последней возможности, халат... больше ничего. И Александр Никитич и Иван вслед за любопытной женщиной взглянули на имущество гостя.

«Не много же добра-то привез...» – мельк-

нуло у всех у них в уме, но никто друг другу ничего не сказал, только вопросительно все переглянулись.

– Говорит жалованье из казначейства будет получать... – сказал наконец Александр Никитич, после нескольких минут безмолвия.

– Да велико ли? – спросил Иван.

– Говорит, велико...

– А как он да все-то вот этак будет... – заметила жена Ивана.

Александр Никитич ничего не ответил и только посмотрел на спящего брата.

– Наталья Никитична несколько раз приходила наведываться, не проснулся ли братец, но он почивал до самого вечера. Между тем Иван, отправившийся, по обыкновению, в Стройки погулять ради праздничного дня, нахвастал, что к ним приехал дяденька офицер, в больших чинах и жалованье из казначейства получает.

Харламбий Никитич проснулся уже вечером, потребовал квасу, потом захотел есть. Наталья Никитична стала угощать его чаем. Начались разговоры, расспросы о прежнем

житье-бытье. Гость был мрачен и неразговорчив: жаловался на усталость и головную боль, держал тон высокомерный и повелительный. О прежней своей жизни объяснил, что он прошел огонь и воду и выстрадал всякую муку: 12 лет был юнкером по причине непредставления документов о дворянском происхождении, потом, вскоре после производства, по благородству своих чувств побил товарища офицера, за что был разжалован в солдаты и послан на Кавказ, где опять выслужился, но стал очень тосковать... Начальство полюбило его за справедливость и строгий нрав, и он решился выйти в отставку и ехать домой...

– Что же это, братец, не писал-то нам ничего?... – спросила Наталья Никитична.

– Что же вам было писать?... Прежде писал к брату... и денег просил... Много ли присылали!..

– Видишь, братец, наши достатки... С чего было мне посылать... Только что сам-то кое-как тащился... с голоду не помирал... Тоже ребяташек растил...

– Что же, разве моей-то частью не пользо-

вался?... Ведь, надо думать, мы половинники с тобой... Али нет?...

– А вот, братец, посмотри: много ли мы прибытков-то получаем... Вот поживешь – все увидишь... Да еще наши труды нас кормят... А коли бы всю-то нашу землю в кортому отдать, в чужие руки, так двадцати рублей напросишься... А я тоже ведь на первых-то порах посылал тебе...

– Посылали, посылали... И я посылала... – подтвердила Наталья Никитична.

– Посылали вы... родственники дражайшие... Пересылали ли в год по пяти рублей?... Так ведь на это собаку не прокормишь... Да уж вы со мной об этом не разговаривать... Много я всего перетерпел... Теперь отдохнуть хочу... Сам своей головой до своего ранга дошел... Ну, не хочу старого поминать... только теперь следует беречь меня и из моей команды не выходить... А то всю подноготную расшевелю... За всех за вас я один служил... Теперь приехал к вам на отдых... Должны чувствовать... Так-то, братец, сестрица... Пошли-те-ка за водкой... Что-то голова трещит и к сердцу подступает... Со мной ведь тоска. Вот

уже лет восемь... Это меня армянка из ревности испортила... Ну да и много на службе пострадал... опять же ранен... И с домом своим в разлуке жил... Теперь не могу без этого жить... Мне теперь много не нужно, а косушку требуется... Да вы не бойтесь. Что переглядываетесь?... Не все буду на ваши пить... Теперь в дороге издержался... деньги все вышли... А вот из казначейства пенсия получу, на свои стану пить... Али уж и жалко стало?...

– Полно, братец, что ты... Сколько тебе угодно...

– То-то... У меня первое, чтобы повиновение было... Потому я заслужил своей кровью, сам собой, один... И характер в себе имею свирепый, если кто какое препятствие... Меня и начальство опасалось...

Иван, бегавший за водкой, возвратился с пустыми руками и в нерешимости переминался на одном месте.

– Что же ты? Подавай... – сказал Харлампий Никитич.

– Да не знаю, как при вас молвить-то, дяденька, чтобы не отгневались...

– Ну, говори...

– Да без денег-то, пожалуй, не дадут... А денег-то нет у нас...

– Ты можешь мне это говорить?... К тебе дядя в гостя приехал, и ты не можешь для него на гривенник водки купить,... Да ты бы рубашку с себя снял да заложил... Ты знаешь кто у тебя дядя?... Пстой, погоди... На вот, есть... – Харламбий Никитич вынул 30 копеек, оставшиеся из принесенных Натальей Никитичной и нащупанные им в кармане.

– Поди купи на все... Да вперед мне не смей противоречить... Чтобы всегда было, когда спрошу... У меня такой нрав... Получу пенсион – расплачусь. А чтобы у меня всегда было... Я без этого жить не могу... Потому тоскую и привычку получил... Дорогой деньги вышли, а выпить требуется... Да я сапоги с себя сниму, а себе удовлетворение сделаю... А вы мне стали препятствовать... Вы мужики, выходит... родственных чувств не имеете. Видите человека... Заслужил себе чин... Должны уважать... А еще моим жили сколько лет...

– Братец, да ты не беспокойся... Все будет по твоему приказу.

– Так, что же мне много, что ли, нужно...

косушку-то?... Олухи...

– А вот что, братец, я тебя хотела спросить, – вмешалась Наталья Никитична, желая отвлечь его от неприятных мыслей. – Давеча ты започивал... спросить-то тебя нельзя было... все ли имение-то твое ямщик-то принес: всего один узелок...

– Много было... да дорогой меня обокрали...

– Обокрали?... Каким же это манером?...

– Так... И сам не знаю... Вынули, значит...

Украли, да и шабаш...

– Ах ты, Боже мой... А много было?

– Мало ли было... Всем было вам гостинцы вез... Да платья две пары... Белье разное... Много всего...

– И все украли?...

– Чисто...

– Вот Божеское-то наслание...

– Что ты станешь делать... Вот теперь новое платье еще надо шить...

Наталья Никитична искренно ему поверила и горевала.

Но Иван принес водки. Харламбий Никитич выпил и повеселел. Головная боль и раздраженное состояние духа его прошли. Он

несколько времени рассказывал родным о своих похождениях, и все слушали его с благоговейным вниманием, несмотря на то что этот рассказ был и несвязен, и бестолков, и полон противоречий. Харламий Никитич много нахвастал про себя, но ему верили беспрекословно. И вся семья разошлась на этот раз успокоенная и довольная, что Бог возвратил ей такого заслуженного и почтенного родственника, который будет для нее и честью, и поддержкой. На этот раз изгладилось из души всех и первое неприятное впечатление от пьянства гостя: надеялись, что ведь не каждый же день это будет. А с дороги, и с усталости, и с прежнего горя, и с радости, что воротился восвояси, мог человек и закутить... А проспится – и пройдет...

На следующие за тем дни Харламий Никитич уже объяснил себя окончательно.

Харламий Никитич был, что называется, горький. Он давно уже страдал этим недугом и за него должен был расстаться со службой. Безрадостная, бесприютная, одинокая жизнь, без родственных связей, без всяких нравственных интересов, помогла развиться и

укорениться в нем этой болезни. Врожденные, дикие инстинкты природы его, ничем не останавливаемые, поддерживали в нем эту страсть: Харлампий Никитич не мог уже существовать без водки. Мрачный от природы характер, при не возможности удовлетворить этой потребности, доводил его до крайней злобы, почти до бешенства. Весь остаток мыслительной способности его был направлен на средства добывания этого необходимого для его жизни продукта. По выходе в отставку он шлялся несколько времени по своим бывшим товарищам и знакомым, но мало-помалу и те стали отворачиваться от него. Харлампий Никитич вспомнил о доме, о родных и решился возвратиться к ним. Наполовину пешком, наполовину с возовиками совершил он свой дальний путь, истратил в дороге весь свой маленький запас деньжонок, вещь за вещь продал и заложил все свое платье, но за тридцать верст перед домом нанял пару лошадей, чтобы явиться на свою родную сторону приличным образом, достойным заслуженного поручика Осташкова, и не уронить себя сразу в глазах родных и соседей.

Приезд его совершенно нарушил порядок обычной жизни обитателей Охлопков. На другой же день Харлампий Никитич, опохмелившись сначала у брата, отправился в гости к сестре. Александр Никитич и Иван не пошли с ним, и напомнили ему при этом о своей семейной вражде, жаловались на Никанора, рассказывали об его жадности к деньгам, о непочтении к родителю, о намерении отнять насильно всю землю. Обвиняя Никешу, главной виновницей и подбивательницей во всем этом указывали Прасковью Федоровну. Харлампий Никитич все это принял к сведению и пошел в гости к сестре, сильно предубежденный против Никешы и Прасковьи Федоровны.

Наталья Никитична, несмотря на рабочую пору, ради дорогого гостя осталась дома и не пошла на работу. Все, что только было у нее в доме, все, что только можно было достать на ее скудные средства, все было приготовлено для угощения братца. Самовар кипел на столе, среди твердых как камень заварных кренделей и красных медовых пряников; в печке пылал огонь и жарилась курица, опара для

блинов и яйца для яичницы были готовы. Разумеется, не была забыта и водка: Наталья Никитична уже догадывалась, что без этого снадобья никакое угощение не было бы по мысли дорогому гостю.

Прасковья Федоровна сохраняла по обычаю свой спокойный и важный вид, но в душе была беспокойна: соображая все то, что рассказывала дочь и Наталья Никитична, она предчувствовала, что гостя, конечно, вооружили против нее, и не ждала ничего приятного от его посещения, да и вообще от самого его приезда. Катерина уже чувствовала к нему некоторый страх и хотела было уклониться от нового свидания с дядей под предлогом полевой работы; но тетка отсоветовала ей уходить, полагая, что дяденька обидится и рассердится еще больше за то, что сама хозяйка не хотела его встретить.

Наталья Никитична вся была поглощена стряпней и заботой угодить братцу, которого столько лет не видала и в живых не чаяла. Впрочем, она часто отрывалась от печки, чтобы взглянуть, нейдет ли гость. Наконец Харлампий Никитич показался на улице и шел к

ним. Он еще не был пьян и шел твердой поступью, забывши, что накануне рассказывал о своих ранах. Наталья Никитична и Катерина засуетились и бросились на крыльцо встречать гостя. Прасковья Федоровна сделала было тоже движение идти к нему навстречу, но удержалась и осталась в избе, впрочем, пересела на другое место, подальше от стола, поближе к печке. Харлампий Никитич вошел сумрачный, неласковый; Наталья Никитична следовала за ним, обливаясь радостными слогами.

– Ах гость дорогой, ах родный ты мой... Ну-ка, думала ли я, что доживу до этакой радости... – приговаривала она, идя за ним. – Садись-ка, садись, батюшка ты наш, светлое мое солнышко... Милости прошу... Посмотри-ка на наше житье-бытье.

Прасковья Федоровна встала и молча поклонилась.

– А это кто? – спросил Харлампий Никитич, садясь за стол и указывая на Прасковью Федоровну.

– Ах, батюшка... Это моя свахонька, Никешина тещенька, вот Катерины Ивановны ма-

менька.

– Прошу не оставить вашим приятным расположением... – проговорила Прасковья Федоровна, как-то чинно и сдержанно.

Харламбий Никитич ничего не отвечал.

– Она, можно сказать, нашему Никешиньке свет дала и в люди его пустила, – продолжала Наталья Никитична. – Вот почитай на одне ее деньги и избу выстроили и обзаведение все сделали... Чем прикажешь тебя, золотой, просить-то сначала: чайком, что ли, али водочки выкушаешь...

– Водки подай... Что-то так... все с дороги-то... не хорошо...

– То-то, мой родной... Пожалуй-ка, выкушай... Вот такой грех Никанора-то Александрыча нет, да и не знаем, где взять... Хозяина-то нет, а кабы он был, все бы уж лучше... Что мы, дуры-бабы, без него знаем... Он бы уж лучше знал, как тебя угостить... Тоже век свой между господами живет. И как его любят господа... как почитают!.. Ужасно как все им довольны остаются, угодить, что ли, он умеет... Все наперебой друг против друга... Так и зовут, так и зазывают... Дома-то не дадут по-

сидеть... Катюша, там яичницу-то... да блинков-то пеки, а я вот чаю-то налью... Да не угодно ли еще водочки-то?... Я подам... Сколько угодно... Кушай...

– Да ты поставь ее сюда... Как мне фантазия придет, я и выпью.

– Сейчас, родной... сейчас... Не знаю, ведь я... Не обычна этому... Пожалуй-ка на доброе здоровье... кушай... Да потрудились бы ты Прасковья Федоровна, разлила бы чай-то... ты к этому сручнее... А я бы Катюше-то помогла около печки-то... Горяченьких-то ему поскорее закусить, моему родному.

– Извольте... Отчего же... – опять тем же чопорным тоном проговорила Прасковья Федоровна, подсаживаясь к самовару.

– Вы, видно, лучше брата-то Александра живете? – заметил Харламбий Никитич. – У того самовара-то нет...

– Слава Богу, живем... Жили и еще лучше, да вот только детки-то нас сминать стали... Ну, да благодаря Бога да господам, двоих теперь пристроил Никанор-то Александрыч к местам: одну барыня богатая в дочки взяла, а другого в ученье отдал... Да уж и сам надумал

в науку идти... Сказывала я тебе вчера... Выучусь, говорят, на службу поступлю... Это ему господа все, благодетели, делают. Пожалуй-ка горяченких-то блинков... с яишенкой-то...

«Нет, у них лучше!.. – думал про себя Харлампий Никитич, выпивая пятую рюмку и закуривая. – Хотел всех сразу огреть, да, видно, погодить... Угождают...»

– Коли самому хорошо, надо бы и отцу-то помогать, не оставаясь его в старости, – сказал он вслух. – Зачем он почтения не оказывает... Я этого не люблю... В службе он не бывал... Не знает...

– Ах, братец, и не грехи: не слушай их... Вот ты увидишь: он всегда с полным почтением к родителю... А уж от него, так он обижен... И обида вся выходит от брата Александра – через Ивана... Он все подбивает отца против нашего-то... Ведь вот теперь и в глаза, и за глаза скажу: ведь, первые-то годы Никоша-то жил одной Прасковьей Федоровной... ведь отец-от ничем ничего не дал... Всем на ее копыт заводились... Опять же в земле какую прижимку сделали... Мы ведь пятой частью супротив ихнего-то не владеем... А земля в пу-

сте лежит, либо Ванюшка-то на сторону отда-ет да деньги-то прогуливает от отца поти-хоньку. Вот, ведь, как... А мы в обиде... своим добром не пользуемся...

– А я пользовался двадцать-то пять лет?... Много от вас получал?... И забыли, что брат есть... – прикрикнул Харлампий Никитич. – Вот я посмотрю, какое он мне почтение-то бу-дет оказывать... Коли Никанор в обиде, я дол-жен его наградить... если станет меня почи-тать и слушаться... А не будет почтения ока-зывать... станет отбиваться: у меня берегись... Я не посмотрю, что к господам ездит... Я сам поеду... Я люблю: у меня подтянись и стой... жди приказа... Приказ получил... налево кру-гом, марш... Справляй свое дело. Первое дело: знай дисциплину... Слушай команду... Будь справедлив... Чести своей не роняй... Вот и бу-дет офицер... Ты, баушка, это слыхала, али не знаешь? – обратился он к Прасковье Федоров-не.

«Попало тебе в лоб-то... Солдафон ты, я ви-жу, необразованный...» – мелькнуло в голове Прасковьи Федоровны.

– Конечно, я в военной службе не была, –

отвечала она степенно, – но понять вас могу, потому выросла промежду господ и на господах. Слыхала и военные разговоры, как в военной службе служат...

– То-то... Смотри... значит, должна внушать... Я не люблю... К старшим и к начальству будь почтителен, родителей уважай...

– Я и не знаю, к чему вы это говорите. А если насчет Никанора Александрыча, так, конечно, он теперь сам в возраст вошел и по своим знакомствам с господами может и сам свои понятия имеет, но только я вам скажу: я ему всегда старалась внушать, что он должен наипаче всего на свете своих родителей почитать... Хотя я старуха не ученая и не грамотная, но, однако же, довольно на своем веку жила и видала, что непочтение к родителям, а также и к старшим себя ни до чего доброго довести не может... Это я не только Никанору Александрычу, как моя дочь за ним в замужестве, но даже и всякому готова сказать... потому с опыта говорю...

– Погоди... много не говори... Я не люблю... ты меня слушай... что я скажу... Наталья, дай еще водки... Живо... Теперь я приехал... зна-

чит, заслуженный человек... поручик... Он, Никешка, меня должен уважать... Я могу его наградить... Если он от отца обижен, я могу приказ отдать... я ему дядя, поручик Осташков... Он должен чувствовать... Я могу в должность теперь... в исправники... потому я ранен... слаб здоровьем... определение могу получить... И вас всех облагодетельствую... Доходы большие у исправника... Куплю деревню... Могу!.. Ну и награждение выдам... Наталья... это курица?...

– Курица, батюшка, курица... Покушай-ка на доброе здоровье.

– Наталья... поди сюда... Я теперь заслуженный человек... Имею чины, медали... Уважаешь ты меня?...

– Ах, родной ты мой, да как же нам всем тебя не уважать... Ты у нас один...

– Ну, хорошо... ступай... А ты уважаешь?...

Харламбий Николаич устремил свои воспаленные глаза на Катерину.

– Уважаю, дяденька... Как же можно...

– Ну, хорошо... А ты, баушка, уважаешь?...

– Какую же я имею возможность не уважать вас? Первое, что вы...

– Ну, хорошо... молчать... Никешка должен уважать... Теперь я значительный человек... я ранен... поручик Осташков... Вы меня уважаете... Брат вас обижает... Я вас хочу наградить... Я у вас останусь... К брату я не пойду... с вами буду жить. Он и меня обижал... не присылал денег... Я у вас останусь... Ну, кладите меня спать...

Наталья Никитична спешила уложить братца – и он тотчас же захрапел. Сбившись в уголок женщины втихомолку рассуждали о намерении гостя остаться у них на житье. Наталья Никитична выражала поэтому случаю совершенное удовольствие, Катерина не знала, радоваться ей или огорчаться, и вопросительно поглядывала на мать, а Прасковья Федоровна рассуждала таким образом:

– Коли Харлампий Никитич при своем чине да будет содержать себя поумереннее, пойдет в дворянскую компанию и получит должность – ну, так само собой, счастлив Никанор Александрыч... лестно ему будет и перед господами, знакомыми на этакого дядю показать... Через него и Никанору Александрычу в господах прием совсем другой будет... А коли,

да избави Бог и не к осуждению будь сказано Харлампия Никитича, коли он да все этак будет зашибаться хмелем, ну так, мать моя, радости вам будет не много... Вот помяните мое слово...

– Полно, Федоровна, ведь это так, чай, только с дороги да с радости, что на свою родную землю ступил... Неужто уж так-таки и станет каждый день курить... – возражала Наталья Никитична. Ведь тоже он в службе был, до больших чинов дошел, а этакого бы и в службе держать не стали: давно бы выгнали...

– Ну, не знаю... А бывает, мать моя, всяко бывает... Известно, дай Бог, дай Бог...

Проспавшись, Харлампий Никитич не изменил своего намерения поселиться у Никанора; но, не желая обидеть брата, сказал ему, что он будет жить в обеих семьях, чтобы никому не было завидно, и обещал Никешку покорить отцу. Александр Никитич сначала было оскорбился тем, что брат приравнял его к сыну, который у него находится под гневом, и к бабам, с которыми он ссорился, но, не зная еще материальных средств брата, сомневался – не следует ли ему радоваться, что он надумал избавить его от себя. Одного только боялся старик, как бы приезжий брат не потребовал формального раздела земли; но предполагал наверно, что семья Никеши имеет эту цель, будет ухаживать за гостем и подбивать его на это. Семейная вражда вследствие этого обстоятельства готова была разгореться еще сильнее; но Александр Никитич затаил до времени свой гнев.

Семья Никеши с первого же дня почувствовала всю тяжесть сожителства с Харлампием Никитичем. В течение недели он загонял

бедных женщин до того, что они не знали, что им делать, и стали в совершенный тупик. Он то и дело требовал вина и напивался каждый день по несколько раз. Когда они осмелились было заикнуться, что у них нет денег на вино, Харламий Никитич поднял такой шум, так ругался и бурлил, что Наталья Никитична впопыхах сама побежала в Стройки занять денег и купить водки, чтобы только унять грозного братца. С Прасковьей Федоровной Харлампия Никитича не взяли лады: ему не понравилась ее степенность и рассудительность; он беспрестанно придирался к ней, несмотря на то что она старалась отделаться молчанием: беспрестанно попрекал ее, что она холопка и испортила своей кровью фамилию Осташковых. Гордая старуха оскорблялась и несколько раз собиралась уйти к себе домой, но слезные просьбы напуганной дочери ее останавливали.

В пище Харламий Никитич тоже прихотничал и каждый день требовал мяса, хотя семья Никеша, особенно в его отсутствие, считала для себя это кушанье непозволительной роскошью и довольствовалась молочной пи-

щей. Маленьких детей Харлампий Никитич напугал до того, что они боялись при нем войти в избу и убегали прочь от него с визгом и криком, что очень забавляло пьяного дикаря. Только и отдыхала семья в те минуты, когда гость уходил к брату. Там он очень подружился с Иваном, который, воспользовавшись наклонностями дяди и сам отчасти имея такие же, доставал где-то денег и кутил с ним потихоньку от отца. Иван познакомил дядю с некоторыми веселыми ребятами в Стройках и водил его туда. Эти походы давали иногда семье Никеши временный отдых; но как только гость возвращался, в доме подымался дым коромыслом. Ни Александр Никитич, ни Иван теперь уже не звали к себе Харлампия Никитича и даже внутренне радовались, что он освободил их от своего постоянного пребывания. Но Иван не забывал вооружать пьяного дядю против Никанора и всей его семьи, и Харлампий Никитич, возвращаясь домой, иногда свирепствовал, несмотря на все угождения.

Никогда еще отсутствие хозяина не чувствовалось так в семье Никеши, как в эти тре-

возможные дни: и в поле-то все стало, и денег-то нет, и расходы не по силам, и надо всем этим точно бич, посланный с неба – дорогой гость, неожиданный, непрошенный. Часто, собравшись в кучку, в слезах, рассуждали бедные женщины, что им делать и как бы отыскать Никанора Александрыча, чтобы повестить его о том, что делается в доме. Прасковья Федоровна хотела было ехать к Паленову, чтобы от него узнать о Никеше. Харламий Никитич, как нарочно, объявил, что завтра или послезавтра он поедет в город за жалованьем на ихней лошади вместе с Иваном – и лошадь не смели тронуть, хотя Харламий Никитич и завтра и послезавтра только собирался, но не ехал. Решились командировать Катерину к Паленову пешком, чтобы отыскать мужа, как вдруг он явился сам, совершенно неожиданно.

Никогда возвращение Никсши не приносило в дом его такой радости, как в этот раз, между тем как сам он тоже в первый раз возвращался домой такой смиренный, такой сконфуженный, с таким сознанием своего ничтожества, с таким разочарованием во всех

надеждах. Харламий Никитич еще спал, когда Никеша робко и нерешительно подходил к своему дому, не зная, как объяснить домашним, не роняя своего достоинства, причину бегства от Кареева и преждевременного возвращения домой. Его заметили в окно и все бросились из избы к нему навстречу. Катерина почти с воем повисла у него на шее, у старух лица были вытянутые, печальные, а Наталья Никитична смотрела даже как будто была виновата в каком преступлении: она внутренне обвиняла себя в том, что пригласила брата в дом племянника. И тем внесла к нему разоренье. Никеша остолбенел от удивления, смотря на все это непонятное для него смущение, и горе, и радость от его возвращения.

– Да что у вас поделалось? – спросил он наконец с испугом. – Все ли в доме здорово?

Женщины смотрели друг на друга, не зная, как ему ответить.

– Да что такое?... Пойдемте же в дом-от...

– Нет, родной, не ходи, – сказала Катерина.

– Да что же такое?... Скажете ли вы мне...

– Дяденька твой приехал... – ответила на-

конец Прасковья Федоровна.

– Какой дяденька?

Тут уж все женщины заговорили в один голос, рассказывая каждая по своему и наперебой одна перед другой так, что Никеша с трудом наконец мог понять в чем дело.

– Вот напугали-то... совсем было с ума свели... Думал и невесть что, – сказал он. – Так что, что он дяденька: разве он должен буяннить и даром опивать да объедать меня? Коли хочет по-хорошему, так пожалуй живи... А то ведь можно и по шеям... Что мне, что он офицер... Я сам про себя живу, не про кого...

Никеша был отчасти рад этому неожиданному обстоятельству, устранявшему необходимость объяснять семье причину своего возвращения и доставлявшему возможность показать своим семейным, что он хозяин их и глава, без которого они ничего не могли сделать.

– У меня нет про него денег на водку... Коли хочешь – покупай на свои... А станет бурлить, я его уйму по-своему...

– Полно, Никанор Александрыч, да ты с ним не связывайся... Он убьет... – говорила

Катерина. – Ты посмотри-ка на него, какой он... Страх ужась смотреть... Того и смотри, что зашибет...

– Ну еще кто кого... Я и караул закричу, – храбрился Никеша.

– А по-моему, Никанор Александрыч, тебе с дядей в ссору вступать без нужды не годится, – заметила рассудительно Прасковья Федоровна, – потому он тебе дядя и офицер, человек старый и заслуженный... Может, он видел, что мы женщины, так нас и понимал, что мы бабьей породы, и куролесил над нами: что, мол, на них смотреть, что оне могут сделать?... Ну, да мы бабы, бабы и есть... А ты мужчина, может, тебя и посовестится... и послушает... Ты с ним в ссору не входи, а со всем своим почтением расскажи ему, что ты человек бедный, ничего не имеешь и сам живешь милостями благодетелей, что тебе взять не из чего... Что, мол, я, дяденька, очень вам рад, только что же, мол, мне делать, коли нет у меня достатков... Рад бы радостью вам всякое угощение сделать, да ведь, мол, не в разоренье же мне идти со всей семьей... Так ты все добром да лаской с ним поговори. Ну а коли и

тебя не послушает, станет буйнить... Опять же ты вежливым манером скажи ему, что, мол, дяденька, я сам не без защиты живу, что, дескать, меня все здешние господа любят и жалуют, и в обиду не дадут. Вот мое какое мнение... А там как знаешь... А я бы так велела...

Все согласились с этим мудрым советом и пошли в избу.

На вопрос, сделанный мимоходом: отчего Никанор Александрыч так скоро и неожиданно воротился, он отвечал, что стосковался о доме и пришел понаведать. Этим ответом не только удовлетволялись, но и остались очень довольны.

Скоро проснулся и Харлампий Никитич, спавший в холодной светелке. С шумом вошел он в избу, мрачный и свирепый с похмелья.

– Водки!.. – вскричал он, садясь на лавку.

– Здравствуйте, дяденька... – проговорил Никеша, не совсем смело подходя к грозному дяде.

– Кто ты такой? – спросил Харлампий Никитич... – Никешка, что ли?

– Точно так-с... Я ваш племянник... Ника-

нор Осташков... Здравствуйте, дяденька...

Никеша потянулся было, чтобы поцеловаться.

– Ну, здорово... Погоди... Водки подай... голова болит...

Харламий Никитич отстранил Никешу от поцелуя...

– Есть ли, тетенька, водка-то?... Подайте, когда есть...

Женщины засуетились и поставили на стол остатки от вчерашней покупки. Харламий Никитич тотчас выпил.

– Где ты был? – спросил он Никешу.

– Да тут, у знакомых господ...

– Меня твои бабы плохо слушались... Не уважали... Я этого не люблю... У меня слушать команду...

– Я, дяденька, с полным удовольствием... Что угодно... Стало бы только наших достатков... чем богаты тем и рады... А в чем наши недостатки – уж не взыщите...

– Ну, то-то смотри... Я человек военный... Люблю повиновение... Ты тут против отца... Смотри у меня... Я потачки не дам... Я по-военному поверну...

– Помилуйте, дяденька... Я, кажется...
– Ну, молчать... Давай еще водки...
– Есть ли водка-то? – спросил Никеша, обращаясь к домашним.

– Водка-то вся вышла... – робко и нерешительно отвечала Катерина.

– Нету водки, дяденька... Вся вышла...
– Ну, сбегать поскорее... Зачем довели, что вся вышла... Говорил, чтобы не переводилась... приказывай... Живо сбегать... Ждать не люблю...

– Сейчас, дяденька, пошлю-с... Только денег у меня в умаленье... Денег пожалуйста...

– Что ты мне можешь говорить... – заорал Харламбий Никитич. – С кем ты говоришь... Дядя... поручик Осташков... могу облагодетельствовать... Этак ты считаешь?... Ах ты... ты не знаешь...

– Что же делать, дяденька... Рад бы радостью, да денег нет-с... Взять негде...

– Молчать... чтобы сейчас было... Живо...

– Да нет-с, дяденька... уж извините, пожалуйста... Не дадите денег, так, видит Бог, не на что нам купить... Сами с копейки на копейку скачем...

– Как?... Что?... Ты мне грубить... Я кто? Сейчас поди винись...

– Да извините, дяденька... Вся вина наша в том, что бедность наша... А только взять денег негде, коли сами не пожалуете...

– Да я тебя... уничтожу... в бараний рог согну... Поди сюда сейчас... я тебя прибью... сейчас поди...

Вся семья Никеша стояла ни жива ни мертва, ожидая грозы великой, но Никеша захотел себя показать перед ней: каков он есть.

– Ну, нет уж, дяденька: просим извинения... От побоев-то мы ушли... Спину я вам подставлять не намерен...

Харламбий Никитич рассвирепел окончательно.

– Так ты так... Ты и со мной этак... погоди ж, я тебя выучу...

Вооружившись чубуком, он поднялся на Никешу с угрожающим жестом. Женщины за-верещали в один голос.

– Да что ж ты драться, что ли, вздумал... – вступился за себя Никеша. – Я сам не поддамся, только тронь... Я караул закричу... Сдачи дам...

– Ты смеешь... Против меня... Офицер... Поручик Осташков... дядя твой... – кричал Харлампий Никитич, наступая с поднятым чубуком.

– Не тронь... Говорю, сдачи дам... Что мне за дело, что ты офицер... Какой ты дядя, что приехал в мой дом да разорить меня хочешь... – возражал Никеша, отступая.

– Батюшки, родные, отстаньте... – кричали женщины.

– Кормилец ты мой... – уговаривала Наталья Никитична брата, стараясь удержать его за руку...

– Прочь, ведьма... – вскричал поручик, опуская чубук на сестру.

– Да что ты, в самом деле, буянишь... – Никеша бросился на дядю и вырвал у него чубук.

– Так я тебе награждения не дам... наследства лишу... С земли сгоню... Тьфу вам, ракалия... Погоди ж... я вам удружу... – кричал обезоруженный поручик, направляясь к двери. – Хотел благодетелем быть... По миру пуцу. С земли сгоню...

Харлампий Никитич хлопнул дверью, оставя все семейство в страшном смущении,

и направился к брату.

– Что теперь будет с нами... Пропали мы... – сказала Наталья Никитична. – Бежать разве за ним... Не уклоняю ли как...

– Не надо... Пущай делает, что хочет... – возразил Никеша. – Не драться же ему дать в сам деле... Там увидим, что делать...

– Чтой-то уж и пропадать... – заметила с своей стороны Прасковья Федоровна. – Бог не выдаст – свинья не съест... пословица говорится.

– Ну, мать моя, как с земли-то стонят, так куда мы денемся...

– Ну еще стонит либо нет... за Никанора-то Александрыча и благодетели вступятся... Не дадут в обиду... Вот еще, может, и сам в службу поступит...

Но Никеша вдруг упал духом и задумался: он вспомнил о своем бегстве, о неудаче в ученье, боялся, что это обстоятельство сильно повредит ему во мнении его благодетелей: и уже раскаивался, что поссорился с дядей, нажил в нем нового врага в семье и потерял, может быть, будущую свою поддержку.

– Что теперь будет!.. – повторял он мысленно.

но вслед за Натальей Никитичной.

Часть четвертая

I

С мучительной тоскою случайно и некстати Срасхрабрившейся трусости ожидал Никеша последствий ссоры своей с дядей!.. Немало его также беспокоила мысль и о том, как он будет оправдываться пред своими благодетелями, что не только не выучился грамоте, но даже и бежал тайком от своего учителя, как глупый и ленивый мальчишка убегает от мастера, к которому его отдали в ученье. Как шальной ходил Никеша, думая свою горькую думу, и работа не только не спорилась, но даже валилась из его рук. Вся семья его была не в лучшем расположении духа. Все ходили как пришибленные, все точно ждали какой-то беды. Прасковья Федоровна пробовала было успокаивать зятя, облагодетельная его защитой и покровительством благодетелей, но Никеша, в ответ на ее успокоительные речи, или молчал или бранился, так что наконец и рассудительная Прасковья Федоровна задума-

лась и припечалилась. Наталья Никитична пыталась было забежать к грозному братцу, в надежде умилоствить его смирением, повинной головой и слезами, но Харлампий Никитич так пугнул и обругал ее, что бедная старуха после того и встретиться с ним боялась.

Харлампий Никитич после описанной перепалки в Никешиной избе отправился прямо к брату – грозный, гневный, с проклятиями и угрозами. Он рассказал там, что приколотил непослушного Никешку за непочтение и что не только жить у него, но и видеть его не хочет, что поселяется у брата, и все свое добро предоставляет Ивану. Александр Никитич молчал, слушая брата; он уже успел составить о нем не совсем выгодное мнение и не ожидал большой радости от его сожительства; зато Иван торжествовал, сплетничал на брата и старался раздуть негодование дяди. Скоро они очень подружились друг с другом. Харлампий Никитич понял, что Иван готов быть его покорным слугой, а Иван сообразил, что с дядей ему будет гораздо веселее и привольнее жить. Ссылаясь на Харлампия Никитича, он то и дело оставлял работу. Он служил

у дяди на посылках, добывал для него водки и нередко напивался вместе с ним. На покупку вина, в видах получения дядею пенсiona, он занял у стройковских мужиков денег. Часто между пьяными дядей и племянником происходили такие разговоры:

– Ванюшка, а Ванюшка...

– Чего, дяденька?

– Надо Никешку отдуть...

– Надо, дяденька...

– Я его отдую, шельму... До смерти забью ракалию... Он мне неуважение... Он не знает... Поручик Осташков... У-у... ракалия... У меня характер такой... Мне повинуйся... У меня в полку... стой смирно... Меня все боялись... Я и тебя избью, шельма, коли не будешь слушаться... Я тебя...

– Как можно, дяденька, не слушаться... Я, кажется, не Никешка... Всегда стараюсь вас уважить... во всем...

– Ты чувствуешь... Я тебя за это награжу... Целуй ручку...

Иван целовал.

– Ну... вот так... Ты должен понимать... я вас всех превознес... Поручик Осташков... А

вы все мужики... Что вы знаете... Я вас могу...
Вы все на моем хлебе выросли... на мой счет живете... Ты чувствуешь это али нет?...

– Как можно не чувствовать, дяденька...
Чувствую...

– Ну, выпей... Тебе я все предоставлю... А Никешка не чувствует... Ну, хорошо...

– Он всегда был озорник, и жена его озорница... А свекровь-то такая... упаси Боже... Халдей-старуха...

– Ну, я их всех... Ты мне только его поймай и поддержи... Я его из своих рук... У меня будет понимать... я выучу...

– Да уж и надо поучить... Больно уж они зазнались со своими господами...

– Вот я сам поеду ко всем... Я их всех от него разговорю... чтобы и не знали его... потому он... Ванюшка, хочешь в военную службу?...

– Да ведь как бы, дяденька, не хотеть; да ведь в офицеры-то не попадешь...

– А ты старайся... Ну, становись во фрунт... Я тебя буду учить... Ну, стой... Руки по швам... Брюхо подобрать... Ну, в три приема... Ра-а-з, два-а... Носок не поднимай кверху... Вытяги-

вай... Ну... Ра-а-з,... два-а... три-и...

Харлампий Никитич часто забавлялся таким образом, обучая Ивана маршировке и военным приемам, сидя где-нибудь в тиши за сараем, между тем как работа в поле стояла и с нею управлялась одна жена Ивана, ленивая, вздорная и сварливая баба, которую, впрочем, кулаки мужа усмиряли с большим успехом.

Иногда Харлампий Никитич в халате и с трубкою в руках выходил в поле посмотреть, как Иван работал с женою. Здесь, развалясь на снопах, он подзывал к себе племянника, приказывал ему бросить работу и, как говорят, пересыпал из пустого в порожнее, покрикивая и понукая работать его жену. При встрече с Никанором или кем-либо из его семьи он обыкновенно ругался, кричал и грозил чубуком.

Так проходили дни. Александр Никитич покушался было не раз заговаривать о поездке в город за пенсионом, но Харлампий Никитич все еще не мог отдохнуть и оправиться с дороги. Однажды, порядком подкутивши, он стал требовать, чтобы Иван добыл еще водки. Но занятые деньги все вышли, а больше ни-

кто уже не верил и в долг не давал.

– Что, дяденька, делать-то... Не добыл де-нег-то... Нигде... Никто не дает, – говорил Иван, возвратившись после неудачных поисков.

– Достань, шельма, Ванюшка... – закричал Харламий Никитич... – Не раздражай меня... Пить хочу... Ты меня знаешь... Достань где хочешь...

– Да не знаю, где достать-то, дяденька...

– Где хочешь достань... Заложи что-нибудь...

– Разве хлеб на корню продать...

– Хлеб продай...

– Да ведь дешево дадут... убыточно очень...

– Тебе для дяди жалко... Ты мне грубить... забыли?...

– Да нету, дяденька, не то... Я продам сейчас... А вот что я думаю: за что же Никешка всем добром будет владеть... Теперь он твою часть должен тебе отдать... у него, почитай, целая половина земли: он тебе непочтение сделал, кормить тебя не захотел... За что же он будет твой хлеб есть?... Должно теперь нам у него этот хлеб взять...

– А пробую... Целуй руку... Все возьмем... только, чтобы сейчас водка была... Живо... Минуты не могу ждать... Требуется...

– Так я сейчас свою нежатую полосу продам... и водки предоставлю... А ты уж смотри, завтра же с них свою часть стребуй...

– Ну, живо... Налево кругом... Скорым шагом... Марш...

К полному удовольствию Харлампия Никитича, Иван скоро принес вина.

На другой день, чуть свет, Иван принялся возить на свое гумно с полосы брата сжатую рожь... В то время как он накладывал третью или четвертую телегу, его заметила Наталья Никитична, которая, устряпавшись, шла в яровое поле помогать своим, которые жали ячмень, от жаров начинавший сильно ломаться и сыпаться.

– Что ты обеспамятел, что ли: чужой-то хлеб возишь... Это ведь, чай, наша полоса-то...

– Не ваша, а дяденькина... За вами еще никто ее не закрепил, – отвечал Иван, хладнокровно продолжая дело.

– Да что ты, разбойник, в уме ли?... Чай, наш хлеб-то тут посеян... Мы его и жали...

– Может, дяденька семена-то вам отдаст... Не мое дело... Велел возить – и вожу... Мой, говорит, это хлеб... Перевези его к себе на гумно... Я и вожу...

Наталья Никитична совершенно вдруг упала духом: не знала что говорить, что делать, слезы подступили у нее к горлу, дыхание перехватило... Несколько минут она стояла молча и точно безумная смотрела, как Матрена, жена Ивана, подавала снопы, а он укладывал их на телегу... Господи, что же это?... Уж хлеб отнимают... – смутно думала она. – Как, ее кровавый пот... плоды ее трудов, ее больной спины... хлеб, о котором она молилась, на который надеялась... и тот отнимают, – мелькало в тоскующей душе Натальи Никитичны.

– Батюшки... родимые... грабят! – закричала она отчаянным голосом и, вопя и рыдая, бросилась бежать к Никанору, который жал вместе с женою.

– Батюшки... Никешинька... хлеб берут... хлеба нас лишают... с голоду помрем, – кричала она еще издали, запыхавшись и едва переводя дух...

– Что такое? Что такое?... – с беспокойством спрашивали Никеша и Катерина, оставляя серпы.

– Иванка хлеб наш к себе возит... Подите... Бегите... Вон он стоит на передних полосах...

И Наталья Никитична с воплями упала на землю.

Никеша и Катерина бросились бежать по указанию тетки. Они застали Ивана, выводящего лошадь с телегою, нагруженной снопами. Матрена шла сзади.

Никеша, взволнованный, раздраженный, в бешенстве бросился на брата и схватил его за ворот. Катерина также бессознательно схватилась за узду лошади и повисла на ней. Но Иван был гораздо сильнее брата: одним толчком он отдернул его от себя и сшиб с ног. На Катерину напала Матрена, и в одно мгновение кички полетели с их голов и невестки вцепились друг дружке в волосы. Иван насилу разнял их и растолкнул в разные стороны.

– Не дам моего хлеба, не дам... – кричал Никеша, вскакивая на ноги, и схватился за телегу. Его примеру последовала и Катерина, забывшая о кичке и обнаженных волосах.

– Пожалуй, не давай... И без даванья возьмем... – отвечал Иван, трогая лошадь, которая двинулась и повезла телегу, таща и уцепившихся за нее Никешу с Катериной.

– Да что ж ты, разбоем хочешь, что ли, взять?... Я ведь в деревню побегу: народ собью... Помочи стану просить, – говорил Никеша, опомнившись и видя, что ему не одолеть ни Ивана, ни его лошади.

– Беги... свое берем, не нужно... Дяденька приказал: он в своей земле властен... А ты рукам воли не давай: еще коротки, не доросли... – отвечал Иван.

– Батюшка, Никанор Александрыч, я побегу... закричу мужичков... попрошу помочи... Батюшки, денной грабеж... – кричала Катерина. – Никанор Александрыч, ты иди за ним, а я в деревню побегу, мужичков сбивать. – И Катерина, позабывши стыд явиться перед народ с обнаженной головой и растрепанными волосами, побежала в деревенское поле. Но мужички ее слушали, окружив целой толпой: иные покачивали головами, другие посмеивались, но никто не заявил согласия вмешаться в чужую, да еще семейную ссору;

и только одна сердобольная баба подала Катерине платок, со словами: «Да накройся, матка, простоволосая совсем».

Между тем Никеша, перебраниваясь с братом, дошел вслед за ним до его гумна; там опять изъявил было намерение помешать ему сваливать рожь, но Иван только с угрозой посмотрел на него да примолвил: «Не связывайся лучше... видел давеча...»

Никеша согласился, что действительно ему связываться с братом не по силам, пошел было объясняться с отцом, но тот и говорить с ним не захотел, а Харлампий Никитич изъявил желание побить еще непокорного Никешку.

– Так, что же это такое? Что же это... Живым помирать, что ли... Живым в гроб ложиться... – говорил Никеша. Я коли к предводителю пойду... Жаловаться буду... Это жить нельзя.

– Поди куда хочешь... Поди... Жалуйся!

– Жаловаться?... Ты еще жаловаться?... – закричал Харлампий Никитич, вооружаясь чубуком. – Ты мне грубиянить... Жалуйся же, а я тебя изувечу...

Никеша должен был убежать от вооруженного дяденьки. На дороге к дому он встретился с возвращающейся из деревни Катериной.

– Что, батюшка? – спросила она его уныло.

– К предводителю надобно ехать... Жалобу произнести... Защиты просить... Что будешь делать... Это жить нельзя!

– Поезжай, батюшка, поезжай!

– Ну что, родимые, что? – спрашивала Наталья Никитична, охая и стоная, насилу дотащившаяся из поля домой, где после воплей и слез она вдруг почувствовала себя нездоровой, точно как бы кто ее избил, или будто упала она с большой высоты и разбилась.

– Ну что, родимые, отдали ли, разбойники?

– Нет, не отдают, да и нас-то избил... К предводителю сейчас поеду.

– Ох, поезжай, батюшка, поезжай... Ох, моченьки моей нет... Всю утробушку ровно верхнем поворотило... Ох, силушки моей не стало... тошнехонько... Эки времена пришли... Поезжай, батюшка, поезжай, радельщик... неужто своей родимый хлебец уступать?... Неужто их своей кровью кормить... Ох, батюшки мои... светы... О-ох... – Чувствуя себя

совершенно больною, Наталья Никитична, по обычаю всего русского люда, залезла на горячую печь, несмотря на то что в воздухе стоял жар страшный.

Никеша проворно собрался в дорогу и отправился в путь. Но, прежде чем ехать к предводителю, он подумал сначала переговорить и попросить совета и защиты у своего ближайшего благодетеля, Паленова. Осташкову давно бы следовало побывать у него, чтобы узнать о сыне, но он боялся явиться, не зная, как объяснить свое бегство от Кареева, и потому откладывал поездку день за днем. Теперь он надумал оправдаться во всем неожиданным приездом и последовавшими за тем притеснениями дяди. К тому же он не знал, где в настоящее время Рыбинский: в усадьбе своей или в городе; по его мнению, Паленов это должен был знать вернее.

Из избы Александра Никитича увидели, как потрусил Никеша на своей бурке.

– Видно, к предводителю жаловаться поехал, – заметил Иван, только что приехавший с поля обедать.

– Жаловаться... – отозвался Харлампий Ни-

китич... – А пускай его, посмотрим... Я еще и сам с предводителем-то поговорю... Что мне?... Я сам дворянин и офицер... Что он мне может сделать?... Да кто у вас предводитель?

– Помещик один тут богатый... Рыбинский прозывается.

– Да не из военных ли он?

– Не знаю я его... Кто его знает... – отвечал Александр Никитич.

– Стало быть, из военных, – заметил Иван. – Сказывают, живет очень уж быстро, такие пиры сводит, что шабаш... Это песельники у него... Цыган держит... А в картежь, сказывают, дуется... беда: по пятидесяти да по сту тысяч за раз проигрывает.

– Ну так из военных... – подтвердил Харлампий Никитич... – А коли он из военных и такого духа человек... любит разгуляться... Это нам с руки... Значит, нашего сорта человек... Я могу с ним подружиться... Коли он военный... он сейчас должен понять, что я за человек... потому мы, военные... друг друга знаем... Что мне может Никешка сделать... Я его уничтожу, шельму... Я его заставлю покориться!

– Да и на кого он жаловаться-то поехал сдуру?... На отца да на дядю родного... А разве кто может родительскую волю снять с сына?... И разве не родителю показано и дать сыну и отнять что ему будет угодно, как Бог на душу положит?

– Ванюшка!.. Молодец!.. Подай водки... Поднесу тебе, шельма... Хорошо говоришь... умно... Подай водки!

Иван тотчас же исполнил приказание. Александр Никитич не отказался также выпить.

– Испортили Никанора эти бабы, особливо эта холуйка окаянная... свекровь его... Втравила его в господскую компанию, выучила там тарелки лизать да попрошайничать... Таковую фанаберию в голову парню вбила... Всякое почтение к отцу потерял.

– Оттаскать ее нужно... за косы... отсыпать ей, шельме, штук сотню... Будет умнее...

– Уж куда ее бить, старую чертовку... Еле бродит... От одного пинка издохнет... Злобы-то в ней больно много, окаянной... Да какую важность соблюдает... Поди-ка... Точно дворянка.

– Сам виноват... Осрамил ты мою фамилию, что женил Никешку на холопке... Как я теперича могу это переносить... Поручик Осташков, спросят вдруг, а на ком женат твой племянник?... Что я теперь должен отвечать?... Стыд принимаю из-за вас... Мужики!..

– Ну, брат, пожил бы ты на моем месте... Как другой раз нечего с семьей-то перекусить... Тут позабудешь и о дворянстве... Ведь думали, богата, жидовка...

– Да опять, разве ты, тятенька, женил Никанора?... Это все тетенька Наталья... Ей очень хотелось отделиться с ним от нас: вот она все это и смастерила... А ты тут ни при чем... Твоей воли Никанор-от мало и спрашивал.

– И то правда... Ослаб я... Стар стал... Из рук все выбились...

– Ослаб!.. Эх, меня не было... Я бы вас всех... В бараний бы рог согнул... Всех бы выправил... Стой прямо... Ходи по струнке... Гляди в оба... Ванюшка... оказывай почтение... Целуй у отца ручку... Вот так... Кланяйся в ноги, каналья... Вот так... Теперь у меня целуй ручку... Ну... Теперь в ноги кланяйся... Вот как их надо

учить... Смотри, как он у меня фронт делает... Ну, Ванюшка... Руки по швам... Смирно!... Вот... А ты что?... Эх!.. Ты у меня Ванюшку в военную службу отдай... Непременно... Слышишь... Ты видишь меня?... Можешь понять?... Ну, и он такой же будет...

– А тятенька-то с кем же останется, дяденька, как меня...

– Молчать... Ты со мной можешь разговаривать?... Можешь али нет? Говори.

– Как можно, дяденька... Никак нет...

– Ну, значит, и молчать... Ты знаешь меня али нет?... Отвечай...

– Как не знать.

– Ну и молчать... Разговаривай, когда прикажут.

Весь этот день Харлампий Никитич пропьянствовал; но Иван, выпавшись после обеда, отправился доваживать к себе на гумно братнину рожь. А на другой день утром он охлыстал часть ее и собранные зерна тотчас же продал. Злорадствуя брату, он был очень деятелен и заботлив, против обыкновения.

Между тем Никеша погонял своего бурка; но чем ближе он подъезжал к усадьбе Паленова, тем тяжело и тоскливее становилось у него на сердце; он боялся и грозной встречи с благодетелем, который, вероятно, сердится на него за неуспешное ученье, и в то же время беспокоился о том, что делается дома. У заботливого Николая Андреича рожь была уже убрана с поля и сложена в многочисленные скирды. При виде их еще пуще заныло и заболело сердце у Осташкова.

«Эка хлеба-то что... Эка сколько!.. Мне хоть бы половину, так на всю бы жизнь богат... Какое половину, – хоть бы четверть... Да какая тебе четверть, – десятой бы доли было довольно... – думал Никеша, подъезжая к усадьбе, и стараясь посторонними мыслями утишить тревогу сердечную. – Эка сколько... За добродетель, видно, Бог посылает... Что не оставляет нас бедных, несчастных... утешал он себя... Ведь он добрый... Криклив, да отходчив... Покричит, поругает... да и ничего, и обласкает человека... Он ничего... Он добрый барин!»

В это время в стороне за крестьянскими овинами Осташков заметил несколько человек мужиков и между ними узнал Аристарха Николаича. Они о чем-то горячо и с жестами разговаривали. Никеша остановил лошадь, слез с телеги и пошел к этой группе, чтобы расспросить земского о расположении духа Паленова и узнать о сыне. Слова разговаривающих не доходили до его слуха, потому что они, видимо, сдерживали голоса, хотя говорили с горячностью и сильно размахивали руками. Дело было в том, что Аристарх Николаич случайно выследил и накрыл трех барщинных мужиченков, укравших рожь с барской риги, во время молотьбы. Аристарх Николаич очень рад был этому случаю, выгодному для него во всяком отношении: донес ли бы он барину о своем открытии, или если бы решился с мужиками на сделку; вследствие этого он сильно ораторствовал и ломался над ними.

– Как же это вы, мошенники, решились посягнуть на такой проступок? – говорил Аристарх Николаич, поправляя виски. – Ведь хлеб – Божие дарование и похищение его наиболее всякого предмета к удрученно челове-

ческой совести приводит...

– Говорят тебе, Старей Николаич, не для воровства, а на зло только сделали... – отвечал молодой парень, коренастый, широкоплечий, с добродушным и открытым лицом. – Я тебе все дело говорю, как есть, на душе...

– Да ты не тыкайся... Я тебе не тыкал, значит, я могу теперь одним своим словом пред барином тебя оконфузить и к большому оскорблению произвести...

– Да уж я скорбь-то получил, Старей Николаич... Я уж на то шел... Я уж так и ребятам сказал: ну уж, я говорю, ребята, примаю на себя... пусть его надо мной потешится... а вы в это время с ворохом-то и управляйтесь... Ведь я тебе... я вам, Старей Николаич, ведь уж по всей совести докладываю.

– Да как же вы могли... как вы решились посягнуть на этокое, можно сказать, посягательство... это оттого, что вы пьяницы, мерзавцы, воспитания и чувствий не имеете... При этомком строжайшем барине вы осмелились на денное воровство.

– Горе взяло, Старей Николаич...

– Что ты мне распространяешься: какое го-

ре... просто мошенничество... воровство...

– Нет, погоди, Старей Николаич... Я тебе...

– Да ты не тыкайся... обращения не забывай!

– Ну, не осуди... прости на том... Как же, Старей Николаич: ходит кажинную минуту, во всем досматривает, шумит, кричит попусту, ворами да пьяницами ни за что обзывает... Ну, горе и взяло... Что же, я говорю, ребята, что он задарма срамится, хоть бы и барин... когда мы ни в чем не причинны... Что он ходит да досматривает, ровно бурмистр какой... Разве это барское дело... Давай, ребята, шутку сшутим над ним: из-под носу украдем... Вот сказал... Не лгу... Я говорю: я его на себя чем ни на есть наведу... Он напустится... Я резоны стану говорить... Он разъярится, примется меня тормошить... Этим делом займется... а вы тем временем свое дело мастачь... Сколько Бог подаст... Вот, всю правду говорю, с места не сойти... Ну, и скорбь из-за того принял: потаскал он меня шибко... А я думаю себе: да ну бей, из рожи-то не что сделаешь... А уж по крайности шутку сшутим... Сам смотрел – да не досмотрел... Тут был – да

украли... А рожа ничего, рожа заживет... Что бита, что не бита... все одна... Из нее не шубушить... А уж по крайности на... Вот... Всю то есть тебе душу открыл.

– Ах вы мошенники, мошенники... Что ж я должен теперь делать?... Совесть моя не позволяет мне это дело в скрытии оставить... А скажу, так ведь он вас...

– Да что тебе, Старей Николаич, сказывать-то? – отозвался высокий худощавый парень с плутоватыми, мрачно смотрящими исподлобья глазами. Как бы ты к этому делу был приставлен... ну, пуцай так... А то тебе что?... Видел да не видел... Что тебе нас подводить?...

Аристарх Николаич приосанился и с достоинством подвил виски.

– Ах ты олух, олух... Мерзавец ты этакой... Потерянный ты человек...

– Что, мерзавец... Что, потерянный... – бормотал худощавый парень, смотря в сторону и почесывая затылок... – Право... Верно говорю...

– Верно!.. Ты мне это говоришь... Какие же твои понятия?... Разве я не приставлен от сво-

его господина блюсти его добро... Разве я не должен денно и ночью стараться для его благополучия... Коли я раб его... и взыскан, и почтен от него.

– Да что взыскан да почтен... Разве не бьет тебя?... Ведь таскает же, чай... А мы много ли взяли-то, много ли у него убыло?... Тут четверти нет...

– Молчи уж, невежа... А говорить, так говори деликатней... Оболтус... А вот коли так ты говоришь, так несите за мной рожь, я вас с поличным представлю... Невежи этакие... неси за мной, коли так...

– Так что, неси, ребята!.. Что коли он и в сам-деле... Ну, пуцай постегает... А мы, по крайности, ему всю правду откроем... Пуцай знает...

– Нет, зачем стегать... – отозвался, невольно поежившись, маленький тщедушный мужичонка, тут же стоявший. – Что уж путного: начнут стегать... Нет, уж вы, Старей Николаич, батюшка, поддержи за собой... прости нас... Рож-то уж, пожалуй, возьми себе, а нас ослободи... Мы тебе вот как...

Мужичонка поклонился до самой земли и

примолвил, обращаясь к прочим:

– Ну, что, ребята, поклонися ему... ну, что пути, и сам-деле ведь больно выстегают...

– Выстегают!.. – заметил Аристарх Николаич с достоинством. – Почем знать, может, который и под красную шапку угодит... Наш этим не больно любит шутить... Он правду да честность соблюдает... А станет он переносить от вас этакой разврат... он найдет вам место... Вы подумайте: на что вы посягнули?... На воровство... и барина, своего господина, на посмеяние...

Этот резон, как видно, сильно подействовал и на остальных двоих ребят. Они струсили, смекнули, что дело в самом деле может быть плохо, и, почесывая затылки, стали просить Аристарха Николаича взять рожь себе и не говорить барину.

В это время к разговаривающим подошел Осташков. Неожиданность его появления несколько смутила Аристарха Николаича.

– Что это вы, батюшка, Старей Николаич, поделываете? – спросил Осташков, раскланиваясь с земским.

– А вот порядки разбираю... насчет хозяй-

ственных распоряжений... А вы к нам?...

– Да, Старей Николаич... что мой-то баловень?...

– Да особенной прилежности к изучению науки не имеет... А впрочем, старательностью моею к чтению наклевывается...

– Неужто?... Неужто уж в книжку разбирает?...

– Не все в точности... но понятие показывает...

– Ах, благодетель...

– Старательности моей было много, потому как пред вами, а наипаче того пред господином своим способы свои желал показать... Ну, вы ступайте теперь... там у меня в конторе с птенцом своим повидайтесь... А я сейчас...

– А что Николай Андреич, как?

– Насчет чего?

– Так, в здоровье своем... На меня не гневны?

– Не слыхал... теперь отдыхает... Подите, подождите меня... я в минуту...

– Иду, благодетель, я бу... Буду дожидаться...

– Там подождите...

Аристарх Николаич выждал, когда Осташков отошел на приличное расстояние, и продолжал переговоры с мужиками. Эти переговоры кончились тем, что мужики господскую рожь отнесли к себе, а Аристарх Николаич положил в свой кошелек несколько серебряных монет, как штраф с виновных, и дал обещание оставить их вину за собою, не доводя до господского сведения.

– Только из человеколюбия делаю... потому жалко человечества... – заключил он, получив деньги и уходя от мужиков.

– погоди, дьявол, намнем мы тебе бока... попадешься когда-нибудь с бабами... девчоник окаянный... мазаные виски... дьявол!.. – говорили между собою молодые ребята, провожая его сердитыми взглядами, между тем как тщедушный мужиченка шел вслед за ним и кланялся, упрашивая, чтобы он не покривил душой и не выдал их...

– Ну что тут: выстегают... – твердил он, поживаясь.

Осташков не нашел в конторе своего сына. На большом столе, загроможденном счетными книгами и тетрадами Аристарха Никола-

ича, лежала азбука и рядом с нею аспидная доска, исписанная какими-то каракульками; в углу стояла кровать, на которую кинут был войлок, старенькое ваточное одеяло и грязная подушка; над нею на стене висел новый, сшитый, впрочем, из старого материала, сюртучок Николеньки... но его самого не было. Осташков подошел к столу, взглянул на аспидную доску, с улыбкою любовался на изображенные на ней каракульки, в которых сердце ему помогло отгадать чистописание сына, взял в руки азбуку, перелистовал в ней несколько листов, взглянул на обертку с одной стороны и с другой и бережно положил на прежнее место. Подошел Осташков к постели сына, пощупал рукою постель, поправил подушку – и ее также пощупал; снял с гвоздя новый сюртучок, посмотрел на него с лица, посмотрел с изнанки и опять повесил на прежнее место.

«Куда убежал, шельмец... – думал Осташков, ходя взад и вперед по комнате. – Вот ба-ловень: учитель ушел – и он убежал... Нет, видно, страха нет; видно, не очень в строгости содержат... Дай Бог здоровья Аристарху

Николаичу... А все бы надо посекать, чтобы больше страха имел... лучше: не так балует-ся... Ну-ка, постреленок, уж и читает... а!.. А что?... Ну, память лучше, память молодая... где же мне за маленьким поспеть... года мои ушли для того...»

Пришел Аристарх Николаич.

– Нет, баловня-то... мало, видно, стегаешь, батюшка Аристарх Николаич... Видно, страху мало имеет... – дружелюбно говорил Осташков.

– Ндравственность не внушена сызмалетства, это от вас! – отвечал земский. – От меня он имеет внушения достаточные... Но страху ему не внушено, и что значит скромность и послушание к учению... К развратности имеет склонности большие: как чуть не досмотришь... и убежит сейчас... нет того, чтобы собственную свою пользительность понимал, что значит ученье...

– Молод еще, батюшка, глуп...

– Нет, уж это ваше воспитание было такое не на благородную позицию... Развращенность в нем вижу большую насчет манер, разговора, в бережливости своего костюма, а

также насчет чистоты рук... С детства ему этого не внушено, а он, чтобы перенимать – понятия имеет малые, а мои внушения забывает... и через это самое теряет и во мнении... Теперь вон господа также требуют его к чаю и к обеду... и барыня в обиду себе принимает, что с господскими детьми он садится наряду и в развращенном виде... также и насчет обращения: не может деликатность в разговорах показать... и такие слова, которые самые в господском обыкновении необыкновенные, позволяет себе в присутствии произносить... что же может быть из этого для господских детей приятного?... Вот и сбегают... так, что барыня даже всякое обращение своим господским детям с ним запретила... Ну а изо всего этого и для меня неприятность... потому как будто мало моего внушения... неприятно!..

Аристарх Николаич, с выражением глубочайшего неудовольствия на лице, потряс головой и поправил виски. Осташков уныло опустил глаза в землю.

– И сколько я для него своего беспокойства потерял, так это можно сказать, что не то что за целковый какой-нибудь...

– Аристарх Николаич, Аристарх Николаич, скорее, к барину... – перебил его вбежавший комнатный мальчишка. – Да скорее идите... гневается...

– На кого?... – торопливо поднимаясь и поправляя виски, спросил земский.

– Да и на вас... Вашего-то барчонка садовник в ранжерее поймал... Фрукты там воровал... К барину его привел.

Аристарх Николаич, суетливо одергивая и застегивая сюртук, с упреком взглянул на Осташкова. Тот побледнел и, поднявшись с места, стоял ни жив ни мертв.

– Пойдемте и вы вместе... – сказал Аристарх Николаич, сделавший было несколько шагов к дверям и вдруг сообразивший, что если теперь явится Осташков, так, может быть, весь гнев господина и обрушится на отца, а личность его, воспитателя, может быть, останется в стороне.

– Пойдемте же... – повторил он настоятельно.

– Да уж идти ли мне теперь, Старей Николаич, – робко спросил Осташков: не лучше ли после, обождавши?...

– Чего же тут ждать? Пойдемте. Все равно... узнает же, что вы здесь... После еще хуже, пожалуй, разгневаается...

– Ах, Боже мой!.. – произнес Осташков с глубоким, прерывистым вздохом. – Ах, Боже ты мой истинный... что ты будешь делать!.. – повторял он, вздыхая и неровным шагом следуя за Аристархом Николаевичем.

Не в первый уже раз Николенька, пользуясь отсутствием своего наставника, совершал похождение в господский сад, куда привлекали его и красная смородина, и вкусная малина, и соблазнительные румяные яблоки, но прежние похождения его кончались благополучно. Хотя он и похищал там тайком эти привлекательные для его желудка вещи, хотя он пробирался в сад и из сада, как дикая кошка, озираясь и дрожа при каждом шаге, – но ему никогда не приходило в голову, что он занимается воровством. Пользуясь дома полной свободой, разгуливая по лугам и по соседним чужим лесам, он свободно, вместе с деревенскими ребяташками, собирал и ел землянику, малину и всякую другую ягоду, также свободно залезал он в крестьянских огородах на че-

ремуху и рябину, обивая с них иногда еще все зеленые ягоды. Случалось, что какая-нибудь сердитая старуха, оставшаяся дома за старостью и хворостью, в то время как весь народ из деревни уйдет на работу, в поле, бывало, заприметя ребяташек в огороде, вдруг ни с того ни с сего ополчится на них, возьмет в руки ухват или кочергу и как воробьев разгоняет ребяташек из огорода; и как воробьи рассыплются они с криком и смехом, припрыгивая и поддразнивая старуху, и ждут только той минуты, как уйдет старая из огорода, чтобы снова напасть на него уже на зло ей, старой карге, и вновь рассыпаться с тем же смехом и гамом при новом ее появлении. Бывало, и пожалуется старуха домашним, когда они воротятся с работы, что надсадили ребяташки, совсем огород разорили, повадились за черемухой, ровно воробьи, пострелята... пра, ровно воробьи... раза четыре шугала... а они опять, а они опять... Таки разбойники... и только улыбаются бывало домашние, слушая брюзжание старухи... И никто не скажет ребяташкам, что это нехорошо, что это-де воровство называется, когда без позволения и про-

тив воли хозяина берут у него что-нибудь... И как, бывало, старуха ни шугай воробьев-ребятишек, а уж они обобьют ягоды еще в прозелень... Другое дело что на грядках посажено: там огурцы, морковь, репа, то овощ, то воровать не велят, то узнают, что воровали, так, пожалуй, и батька вихор натрясет, и мамка лутошкой[17] вздует, а сердитой соседке попадешься в руки, – так, пожалуй, и крапивы отведаешь: какова она, матушка, хорошо ли кусается... То другое дело, то трогать не показано, то батька с мамкой садили; а это – ягода, Божья тварь, не сажено, не сеяно, сама растет... И Николеньке даже в голову никогда не приходило, что он занимается воровством, тайком пробираясь в сад и потихоньку поедая там ягоды и яблоки; а крался он туда, воровски западая в кустах и спешно набивая рот всем, что попадалось под руку, потому, что ему не велено было вообще никуда выходить из конторы. Но мнению Аристарха Николаича, ему следовало целый день сидеть за книгой или за чистописанием, кроме тех часов, которые он проводил в господском доме. Николенька совершенно был лишен свободы

и всякого развлечения; а эти часы, когда его звали в комнаты и, сажая где-нибудь в углу, подальше от господских детей, давали чашку чая, или, за общим столом, сумрачный лакей сердито ставил перед ним тарелку с кушаньем, и когда он видел перед собою грозный образ Николая Андреича, к которому Николенька чувствовал панический страх, — эти часы были чистой мукой для ребенка, и он тоскливо ждал той минуты, когда ему прикажут идти на свое место, в контору, где Аристарх Николаич тотчас же сажал его за книгу. Мудрено ли, что Николенька изловчился сам себя освободить на несколько часов в сутки и выучился искусно скрывать свои похождения. И в этот злополучный день он благополучно пробрался в сад и счастливо, никем не замеченный наелся ягод до того, что даже зубы одрябли; но полного счастья, как известно, в жизни не бывает, и горе постигает нас, именно в ту минуту, когда мы меньше всего его ожидаем. Любопытство погубило Николеньку. Несколько раз он видал снаружи оранжерею и теплицу в саду, но не бывал внутри; сильно захотелось ему поглядеть, что

такое за этими стеклами. Огляделся, прислушался – все тихо в саду. Пошел, прокрался до дверей, опять прислушался, опять все тихо, толкнул дверь – отворилась, вошел, осмотрелся – и глаза разбежались... Таких яблок он и не видывал... Невольно потянулась рука, сорвала персик, в рот – ах, хорошо, вкусно... другой, третий... во все карманы по штуке... Будет, пора и на место... Только бы к дверям, а двери настезь и входит садовник... Николенька обмер, затрясся, задрожал, да деваться некуда... попался бедняжка!.. На беду, садовник был в ссоре с Аристархом Николаевичем, и притом человек характера зложелательного... Пускай бы уж вихор надрал, ну, лутошкой бы отстегал, пускай бы хоть с крапивой познакомил, да только бы никому не сказывал – все бы легче было... Ан нет, прямо повел с поличным к Николаю Андреевичу... Николенька было и верещать, и в ноги кланяться, и из рук вырваться хотел, чтобы убежать да спрятаться куда-нибудь – ничто не помогло: и безжалостный садовник, да и сильный такой, взял за руку так крепко, что ни за что не вырвешься, прямо привел его к Николаю Ан-

дреевичу и рассказал все, как было.

– Вот извольте говорить, что персиков мало: видно, уж они не в первый раз... А усмотришь ли всякую минуту. Я один, а сад-то у нас, слава Богу, не мал... – заключил садовник.

Николай Андреевич, как и следовало ожидать, мгновенно вскипятился.

– Как, воровать?! Я тебя пою, кормлю, одеваю, учу... а ты у меня воровать... Дворянин... воровать... это хуже всего на свете... Для дворянина воровство хуже убийства... – кричал он, теребя за волосы и давая щелчки бедному, до безумия оробевшему Николеньке. – Позвать ко мне Аристарха...

– А ты чего смотрел? – накинулся он и на садовника, по дороге посылая ему внушительный жест рукою.

– Да я вот-с его и поймал... – отвечал садовник, упираясь... – Где мне за ним смотреть... у него есть свой смотритель... Аристарх...

– А отчего у тебя оранжерея не заперта?... Послать Аристарха... я тебя, мерзавец... мальчишка... я тебе дам воровать... Отчего у тебя оранжерея была не заперта?... Значит, у тебя

все воруют... Недаром фруктов мало...

– Да помилуйте, только что отошел на минуту... Только вывернулся... а он и... Всякую минуту не назапираешься... От вора и замком не убережешься...

– Молчать... Ты рад этому случаю... Что ж Аристарх... Позвать его сюда... ты рад теперь свалить с себя... сам больше всех ворует... я тебе дам, скверный мальчишка... я тебя выучу воровать...

Николенька весь съежился и трясся, как в лихорадке, тоскливо и жалобно озираясь.

В дверях показался Осташков, сзади его умильно выглядывал Аристарх, трепетной рукой опираясь на виски.

– А-а... кстати... Входи-ка, входи... полюбуйся... в воровстве пойман сынок-то... в воровстве... Пойми ты это: дворянин уличен в воровстве... чему вы его учили, что вы ему внушали?... Воровать у того, кто его кормит, воровать у своего благодетеля...

– Батюшка... не учил... пуще всего не учил... пуще всего я этого опасуюсь... Я его расказню за это, по клочкам изорву... – лепетал Осташков, с грозным жестом подходя к

сыну...

Николенька при виде отца, сделавший было радостное движение, теперь опять оторопел и завизжал.

– Пожалуйста, только не при мне... Можешь после... где тебе угодно, только не при мне... не беспокой меня... я и то измучен, истерзан... это ад, а не жизнь... А вот кого надобно учить... – кричал Паленов, налетая на Аристарха. – Вот эти виски поганые, виски... Тебе поручен ребенок, так ты должен смотреть за ним... смотреть... учить его... внушать ему... внушать... шельма...

Аристарх, после каждого господского слова и следовавшего за ним жеста, только поправлял виски.

– Да ты не поправляй виски-то... после поправишь... Ты бы делом-то занимался, а не виски поправлял... После поправишь... после... Вон!.. – закричал наконец Паленов, выбившись из сил и бросаясь в кресло. – Они меня просто уничтожат... Вон все!..

Аристарх выскользнул первый, за ним садовник. Осташков повлек за собою Николеньку.

– Осташков, – крикнул вдруг Паленов, когда остался один в кабинете.

Осташков воротился.

– Не смей сечь сына... Он уже наказан довольно одним стыдом и страхом...

– Как можно, батюшка Николай Андреич, да я его, кажется, запорю за это... что он мог сделать...

– Тебе говорят: не смей сечь... Я не хочу... Ты не умничай, а слушай, что тебе говорят... В детях бывает болезнь воровства... Тут надобно действовать внушениями, нравственным влиянием, а не розгами... Теперь оставь его без внимания... покажи вид, что ты на него сердишься... не ласкай его... А уж я его позову и сделаю ему наставление... он, кажется, боится меня и уважает... На него мои слова подействуют лучше твоих розог... Дай же мне только успокоиться... Садись...

– Ах, батюшка, благодетель вы мой... мне вас-то жалко... Измучили мы вас совсем...

– Ничто столько, Осташков, не мучит человека образованного, как окружающее невежество... Это наш бич... наше несчастье... Образования, образования... просвещения... вот

чего нам нужно... Ну, что твое ученье... уж не выучился ли?...

– Полноте-ка, благодетель... Пришлось бросить...

– Как бросить?

– Да так... У меня в дому несчастье!

– Какое несчастье?

– Да пригнали ко мне домашние... к Аркадию Степанычу, ночью... Я так и уехал, даже и не простившись с ними, не поблагодаривши за хлеб-соль и за все ученье... Такая беда надомной стряслася, что не знаю, что и делать... Вот приехал вашего совета да неоставленья просить... Не покиньте несчастных, заступитесь...

Осташков бросился в ноги Паленову.

– Ах, братец, я тебе говорил, чтобы этого не делал... Не забывай, что ты дворянин...

– Батюшка, да какой я дворянин... Приходится с голоду помирать...

Никеша рассказал всю историю встречи, ссоры с дядей и ее последствия.

– Так вот уж до чего я дожил, благодетель: трудовой хлеб отнимают отец с дяденькой... Научите вы меня, наставьте на разум: что

мне делать?... Помогите в моей беде... – кончил Никеша.

Паленов принял живейшее участие в его рассказе. После вспышек гнева, и притом вполне удовлетворенного, обыкновенно он делался очень великодушен и чувствителен.

– Да это просто денной грабеж! – сказал он. – Ты должен сейчас же ехать к предводителю и просить его защиты. Он должен, он обязан вступить за тебя... Это вопиющее дело... Неужели этот мерзавец, Рыбинский, не примет в тебе участия?... Но этого он не смеет сделать... Я тебе дам письмо к нему, в котором подробно объясню все твое положение и настоятельно буду требовать, чтобы он защитил тебя... Иначе я к губернатору буду писать, всю губернию на ноги поставлю... до министра доведу это дело... погоди, я сейчас же напишу к нему официальное письмо, как дворянин, а не как знакомый,... Я так напишу, что он не посмеет не вступить за тебя...

И Паленов тотчас принялся за сочинение письма. Через полчаса оно было готово.

– Осташков, слушай, что я написал.

Паленов стал читать:

*«Милостивый государь,
Павел Петрович,
Препровождаю под покровительство
дарованной вам законами власти и по-
ручаю вашим предводительским обя-
занностям одного из наших собратьев
дворян, бедного, но честного человека,
обиженного и притесненного деспоти-
ческими действиями его же родствен-
ников. Я принял на себя труд изло-
жить к вам письменно его жалобу, во-
первых, по его безграмотности, во-
вторых, как дворянин, не безызвест-
ный во вверенном вам уезде, пользую-
щийся некоторою доверенностию и
уважением в кругу своих собратий и,
вследствие того, считающий своею
священною обязанностию вступаться
за своих меньших братьев, униженных
и притесненных».*

– Ну, далее я излагаю подробно все обстоя-
тельства: как пришел дядя, как он пьянству-
ет, буянит и как у тебя отняли хлеб... Вот по-
том заключение...

Паленов продолжал читать:

*«Изложивши пред вами все обстоя-
тельства сего дела, я надеюсь и уверен,*

что ваше сердце наконец... (Осташков, заметь это слово: я нарочно его вставил для намека на его равнодушие к дворянским делам!) что ваше сердце наконец тронется сожалением и вы, вспомня возложенные на вас дворянством обязанности, уделите несколько из множества свободных минут... (Понимаешь?) несколько минут, чтобы защитить несчастного. Впрочем, считаю долгом предупредить вас, что я во всяком случае принимаю на себя защиту прав дворянина Никифора Осташкова, буду его адвокатом (или по-русски: стряпчим), и если вам не угодно будет защитить его, то я обращусь с просьбою за него к высшим властям, которые, надеюсь, не откажутся вникнуть в мои представления, так как личность моя довольно известна и репутация моя пользуется заслуженным кредитом».

– И больше ничего... Тут подпись... Вот, возьми же это письмо и сейчас поезжай к нему: он должен быть теперь в городе... Следовательно, тебе нечего и заезжать к нему в усадьбу. Что он тебе скажет, тотчас же приез-

жай и скажи мне... Письмо написано недурно и довольно внушительно... Посмотрим, как он не вступится за тебя... Посмотрим... От него во всяком случае заезжай ко мне сказать... Дорогой до городу тебе придется покормить лошадь... Я прикажу тебе выдать меру овса на дорогу... Собирайся же... с Богом...

Осташкову не совсем нравился тон письма Паленова. Зная отношения его к предводителю, он не ожидал, чтобы это письмо могло принести пользу, но отказаться от него не смел, и с благодарностью принял его и простился с благодетелем. Перед отъездом он зашел к Аристарху Николаичу.

Николенька, всхлипывая и по временам вздрагивая всем телом, сидел над азбукой и плаксивым голосом читал по складам; в углу на кровати его лежал Аристарх Николаич, со злобным и недовольным лицом, изредка покрикивая на ученика. Робко вошел Осташков в контору и конфузливо взглянул на Аристарха Николаича.

– Что, каковы приятности должен я принимать из-за вашего?...

– Уж не говорите, батюшка Аристарх Нико-

лаич... Кажется, мне навас и глаза-то поднять совесть зазрит... Этакая каналья... погубит он меня... Совсем зарезал... Этакая bestия... Воровать вздумал... Что вздумал... Воровать!..

Осташков подошел к сыну и схватил его за волосы.

– Разве я тебе это делать приказывал?... Приказывал я тебе, что ли, воровать?... Было тебе от меня это позволение?... А?...

Николенька визжал.

– Молчи... пострел этакой... убью...

– Уж вы оставьте его... Не делайте ему отвлечения от занятий... уж я его подверг достаточному внушению... Будет помнить... Надо было прежде внушать...

– Я, Аристарх Николаич, своим детям не потатчик... Я ему этого не внушал... уж что воровство... На что этого хуже... Да я бы его давеча, кажется, изорвал, кабы не остановил меня Николай Андреич... Ему не заблагорассудилось... не приказал трогать... Я уж, говорит, его довольно поучил... А какое довольно... Ужо, говорит, еще внушения поговорю... Да что ему говорить... Его драть надо, мерзавца... Моли Бога за Николая Андреича, что он мне

помешал... я бы уж над тобой потешился...

– Что ж ему, завидно стало, что не велел сечь-то?... Все бы одному драться... а люди не смей... Нет, это много будет, что из за него неприятности получай, а его пальцем не тронь... Нет, я ему памяти приложил довольно... Мне, пожалуй, там запрещай...

– И покорнейше благодарю, батюшка Аристарх Николаич... Не жалеете его... Я ему не потатчик... И хорошенько его, чтобы помнил... А я его и знать не хочу, и ведать не хочу... Вот сейчас уеду... Прощайте, Аристарх Николаич...

– Вы куда же?...

– Да в город... к предводителю нужно...

– Я вас выйду проводить...

Выйдя в сени и притворив дверь в контору, Аристарх Николаич остановил Осташкова.

– Что же, неужели я должен изо всего этого одни неприятности получать?... – говорил он. – Теперь вы видели, что я, можно сказать, терзания принимал из-за вашего сына, опять же сколько трудов к обучению его положил и даже достиг плодов... И что же изо всего этого, какая мне от вас благодарность?...

– Батюшка, Аристарх Николаич, вижу я, и все это чувствую... Да какие у меня дела-то в дому наделались... совсем в разоренье пришел... Затем и к предводителю еду...

– Опять же все это до моей комплекции не касается... А вы мне непременно предоставьте пять рублей серебра... И то только ради вашей бедности...

– Пять рублей!.. Да теперь хоть голову снимите, Старей Николаич... Во всем доме копейки нет... Обождите...

– Я обожду... Но вы этот пункт имейте в своем воображении... А то переносить побои и разные неприятности из-за чужого ребенка... и даром... это оскорбительно... хотя я и дворовый человек и, можно сказать, крепостной, но имею свое самолюбие и даже честь...

– Пообождите, благодетель... только бы деньжонки случились... Я тоже совесть имею... Что в силах... так неужели уж... Не за чужого...

– То-то... вы этот сюжет не забывайте...

– Как можно забыть, Старей Николаич... Можно ли только это подумать... Только бы вот деньжонки навернулись... Прощайте по-

ка, благодетель... Пора ехать-то мне...

– Вы бы мне теперь сколько-нибудь... сколько можете...

– Ни копейки нет... Веришь истинному Богу, Старей Николаич... ни копейки нет за душой...

Осташков спешил поскорее уйти от земского, а Аристарх Николаич, проводив его самым недружелюбным взглядом, плюнул вслед ему, поправил виски и, войдя снова в контору, начал вымещать досаду на бедном Николеньке.

III

На другой день рано утром Осташков приехал в город. В доме лесничего господина еще спали. Осташков знакомым уже ему путем пробрался в девичью. Там он застал Марью за вечной ее работой: мытьем и глаженьем.

– Здравствуйте, Марья Алексевна...

– Здравствуйте... Что вам надо?... От кого вы?

– Не узнали, Марья Алексевна... Я Осташков... Сашенькин отец...

– А-а... не признала и есть... Что вы, поч-

то?... Али дочку-то проведать?...

– Да, Марья Алексевна... И на дочку-то поглядеть... Что она, как поживает?

– У-у, надоела... Баловень такая, не приведи Господи... Точно на ней на огне все горит... Не успеваешь мыть да ушивать... Ну ее... Шаловлива больно...

– Так вы бы, матушка, ее останавливали... Не давали шалить-то... А когда и за ухо, коли не слушается...

– Ну, уж куда тебе тут за ухо... Сама барыня балует... Остановы ни в чем нет... Что хочет девчонка делает... Никогда к месту не посадит... А когда надоест, толкнешь али вернешь, – так побежит, нажалуется: Маша, говорит, прибила... Барыня гневается... Нет, нечего, надоела... надоела...

– Неприятно мне это слышать... Что же, неужели и ученья никакого нет?

– Да учит ее барыня когда, это на языке говорить... ну, и учитель поряжен, в книжку учит... Да мало... Что это за ученье... Востра больно... Ее бы надо хорошенько присадить... А то что: часа в сутки не посидит за ученьем-то... А тут и места не знает... Нет, кабы

моя воля была, так я бы ее за иголку присадила. Пускай бы к шитью привыкала... Все бы лучше не баловалась...

– А спит еще она?... Или уж проснулась?...

– Проснулась... Вот сейчас послала Уляшку одевать ее...

– Нельзя ли мне как ее поглядеть?...

– Отчего нельзя... можно... Она ведь в особой комнате спит... Пойдемте, я проведу, пока господа-то не встали... Вы с ней и посидите... Да поговорите ей, чтобы не больно баловалась-то...

– Как не поговорить, Марья Алексевна, поговорю... Да не лучше ли сюда позвать. Как бы не прогневались Юлия Васильевна, что я в те комнаты пойду...

– Да чтой-то... ничего... Чай, ведь отец... не чужой кто...

– А Афанасия Ивановна спят еще?...

– Спят еще... Пойдемте...

– Пойдемте... Да вы мне поведите, как кто из господ проснется...

– Хорошо... Я-то забуду, пожалуй... Вы Уляшке накажите... Она лучше скажет...

У Осташкова радостно сделалось на серд-

це, когда он, вслед за Машей, вошел в светлую, чистую комнатку, которую занимала его Саша, и услышал ее звонкий и веселый говорок. Она лежала на чистой, мягкой постельке, за кисейным занавесом, и что-то весело болтала с Уляшкой, которая сидела у нее в ногах.

«Вот Сашеньке видно, что хорошо житье... – мелькнуло в голове у Осташкова. – Слава Богу!...»

– Чтой-то это за проказ... И сама, сударыня, валяешься, и девчонку до сей поры без дела держишь... – говорила Маша, подходя к постели. – А ты и рада, – обратилась она к Уляшке, – рада здесь головесничать с ней... А вот как почну таскать, как почну... пострел этакой...

– Да что тебе за дело... – отозвалась Саша капризным голосом. – Еще не смеешь драться... Еще тебе мамаша не приказывает драться-то... Еще не смеешь...

– А тебе вот не приказывает маменька с Уляшкой-то якшаться... Ты, говорит, барышня, а она девчонка горничная... А ты все с ней да с ней... бесстыдница... И очень смею ее погнать отсюда...

– Да еще не смеешь, не смеешь... – поддраз-

нивала Сашенька. – Еще как ты смеешь мне ты говорить... Еще я вот мамаше скажу... Она не приказывает тебе так говорить мне... Я барышня, а ты девка...

«Поди ты... какая стала бой...» – с улыбкою думал Осташков, которого за занавесом не было видно Сашеньке.

– Ну а коли ты барышня, так по-барски бы и вела себя... А нечего тебе с девчонкой горничной болтаться... Вот погоди-ка, отец приехал... Он тебя сократит... озорницу этакую...

Осташков заглянул в кроватку дочери. Сашенька радостно вскрикнула, вскочила на ноги и бросилась на шею к отцу. Осташков в душе был так доволен и так счастлив всем, что видел и слышал, что не только не в силах был говорить строго и внушительно с дочерью, но чуть не плакал от радости, смотря на веселое, розовое личико Сашеньки, которой, по его мнению, так хорошо и привольно было жить у своей благодетельницы. Он безмолвно и ласково отвечал на поцелуи дочери.

– Ну, видно, и вы баловники порядочные... – сердито проговорила Маша, смотря на эту сцену. – Чем бы хорошенько помуштро-

вать дочку... А он, ну-ка ты поди, и растаял... Будет ли этак путь... Известно, избалуется со- всем... Ну, коли ин, как хотите: и то дело... на- плевать, не моя дочь... А ты поди... Дело, чай, есть... Что стала?... Рада... – обратилась она к Уляше.

– Так как же, Марья Алексевна, умываться еще надо барышне, – возразила Уляша.

– Умываться... Так что же ты не подава- ла?... Подавай сейчас... Вьюла поганая... Да у меня скорей приходить... Смотри, чтобы мне опять за тобой не бегать... Смотри...

И Маша, погрозив пальцем Уляшке и уда- рив ее слегка по лбу на память, вышла из комнаты. Уляшка сделала ей вслед гримасу.

– Ты зачем же, Сашенька, так делаешь... – заметил наконец Осташков, собравшись с ду- хом и желая придать лицу строгое выраже- ние. – Зачем не слушаться Марьи Алексевны, когда она тебя делу учит?... Это нехорошо...

– Ну, вот, есть кого слушать... – вмешалась Уляшка.

– Да ведь она, тятя, дура... И мамаша гово- рит, что она дура... Она ведь ничего не смеет мне сделать: а мамаша не приказывает меня

трогать... Она ведь с поваром гуляет... Мне Уляша сказывала: она знает... А какие мне мамаша платья нашила... чудесные!.. А какие она мне конфеты дает... сладкие!..

– Тебе, значит, здесь хорошо... И об нас позабыла, чай...

– Мне только мамки да бабки жалко... А мамаша мне еще платье хочет сшить... хорошее... Вот вы не умели меня одевать, а мамаша умеет... Она говорит, что вы все равно, что мужики... ничего не понимаете... ничего не умеете делать... А я, посмотри, как я умею никсен делать... Посмотри... – Саша соскочила с коленей отца на пол и сделала перед ним реверанс.

– Хорошо?... Мамаша говорит, что я хорошо никсен делаю, что я буду хорошенькая и ловкая, что за мной будут ухаживать, когда большая буду... Она меня всему выучит, а вы ничего не знаете... Мамаша мне всего дает, всего... а вы ничего не давали... Я теперь стала барышня... а тогда, дома, была уличная девочка... Показать тебе, какие у меня платья есть?... Показать?... Уляша, принеси поди мои платья, все принеси...

– Полноте, барышня... умывайтесь да одевайтесь, а то ведь мне после из-за вас достанется от зелья-то... Мамаша, пожалуй, скоро встанут...

– Умывайся, Сашенька, умывайся... да одевайся поскорее... – подтвердил Осташков.

Сашенька послушалась и стала, с помощью Уляши, совершать свой туалет, шала, резвясь, прыгая и заливаясь веселым смехом. Осташков захлебывался от удовольствия, смотря на дочь, но беспрестанно останавливал ее, боясь, чтобы она своим смехом не разбудила Юлию Васильевну.

Но вскоре опять явилась Маша с платьями для Сашеньки, прогнала Уляшку и стала оканчивать туалет счастливой дочки Осташкова. Когда она окончательно припомаженная, приглаженная, в чистых панталонах, в коротеньком платьице с открытой шеей и голыми руками подошла к отцу и церемонно присела перед ним, Никеша просто глазам своим не верил.

«Встретясь где на улице – не узнал бы, ни за что бы, кажется, не узнал, – думал он про себя. – И как это она так скоро набралась и пе-

рентяла все это?... Впрямь, стала настоящая ба-
рышня...»

– Что, тятя, нарядна ли? – спрашивала Са-
шенька.

– Уж очень нарядна... должна благодарить
и почитать свою благодетельницу... – отвечал
Осташков. – Только вот мне не приятно, что
ты Марьи-то Алексевны не слушаешь... да ша-
лишь... Не шали, матушка, Сашенька, не ша-
ли и слушайся, когда тебя останавливают доб-
рые люди да на путь наводят... Ну, иначе, я,
Марья Алексевна, пойду понаведаюсь, не
проснулся ли Павел Петрович. А коли не
встал, так я там, около кабинета-то, и подо-
жду.

– Пожалуй, подите... А ты не изволь хо-
дить, сударыня, в те комнаты... сиди здесь...
неравно еще как маменьку разбудишь... – ска-
зала Маша.

– Да, да, Сашенька, не ходи... – подтвердил
Осташков.

Через несколько времени он был допущен
к Рыбинскому.

– А-а, Осташков... Что давно не видно?... Ка-
кими судьбами?... А я слышал, что тебя в уче-

ные отдали... Стало быть, неправда... Или уж курс кончил?...

– Нет, правда, батюшка Павел Петрович, точно учился... только Бог не привел выучиться...

– Что так?...

– Да помилуйте, батюшка благодетель, до ученья ли мне было... Что у меня в дому-то делается... Вот пришел вашей защиты просить... Окажите ваше милосердие... защитите несчастных...

Осташков прослезился.

– Что такое, братец?... Что такое?...

Осташков рассказал. Рыбинский слушал рассказ, улыбаясь.

– Однако этот дяденька твой, должно быть, из храбрых военных... должно быть, человек интересный... Надобно с ним познакомиться... Я этаких артистов люблю... Так с утра до вечера пьет... без просыпа...

– Да уж редко разве когда трезвый-то бывает... Все больше хмельной... И такой на всех на нас страх напустил... Бабы-то боятся и из избы-то выйти...

Рыбинский захохотал.

– Молодец... Вот артист...

«Чему же он смеется-то?... – подумал Осташков. – Неужто это он и в самом деле не возьмет мою руку, не вступится за меня?...»

– Вот, батюшка, Павел Петрович, еще к вам о моем деле Николай Андреич Паленов письмецо прописал... – сказал Осташков, подавая письмо. – Не оставьте вы меня... Будьте отцы родные... К вам одним только моя и надежда...

– Что-то пишет сей мудрый муж... – проговорил Рыбинский, распечатывая письмо.

Читая, он то улыбался, то хмурился. Осташков с замиранием сердца жадно следил за ним глазами.

– Мг... дурак... – сказал он, окончив чтение и бросая письмо с презрением. – Ступай вон... – обратился он вдруг к Осташкову.

Тот побледнел.

– Ступай вон... – повторил Рыбинский... – Тебе от меня нечего ждать... Пусть тебя защищает твой Паленов... А мне некогда, да я и не хочу вмешиваться в ваши дурацкие семейные дразги...

– Батюшка... батюшка... – лепетал Осташ-

КОВ.

– Ну что, матушка... Ты поехал просить защиты сначала к нему... Он пишет, что взял тебя под свое покровительство... Ну, пусть и покровительствует...

– Я не просил, батюшка, писать... Они сами... Я заехал только посоветоваться... так... насчет вас... узнать...

– Ну, пошел же, советуйся... Я уж по тому одному ничего для тебя не сделаю, что этот дурак... принимает в тебе участие... Назло ему ничего не сделаю... Так ему и скажи... Он думал меня заставить что-нибудь сделать, угрожая своими связями... Ну так вот скажи ему, как я его боюсь... Нарочно, нарочно... только потому, что он пишет, ничего не хочу для тебя сделать... Да и как ты смел явиться ко мне с письмом от него... а?...

– Батюшка... Павел Петрович... благодетель... я... я думал, что...

– Пошел вон... Урод этакой... Дурак... – закричал Рыбинский так грозно, что Осташков уже не смел более возражать и поплелся к дверям...

– Да не смей меня больше и беспокоить об

этом деле... Слышишь... не смей на глаза показываться... – говорил Рыбинский вслед ему. – Пусть этот дурак видит, что значат для меня его слова... Пугать вздумал!.. А?... Дерзости писать!..

Осташков постоял несколько минут за дверями кабинета в печальном раздумье и нерешительности. Наконец он осмелился, опять приотворил двери и тихо проскользнул в кабинет. Рыбинский перечитывал письмо Паленова: на лице его изображалось сильнейшее раздражение и негодование.

– Я тебе сказал или нет? – спросил он с досадой, видя Осташкова.

Тот стал на колени.

– Послушай, я своими словами шутить не люблю... Ступай вон. И если ты меня будешь еще беспокоить... Если ты мне еще раз покажешься на глаза... я... я тебя прямо приколочу.

– Батюшка... хоть побейте, да...

– Вон! – закричал Рыбинский, и на этот раз уже так внушительно, что Осташков, как испуганный заяц, в один скачок очутился за дверями.

«Как мне быть? Что мне делать?...» – думал Осташков, стоя опять в нерешимости за дверями кабинета. Вдруг эти двери отворились, и Рыбинский позвал Осташкова. Надежда осенила его душу.

– Подожди... Я тебе сейчас дам письмо к Паленову, которое ты свезешь к нему... – сказал Рыбинский и, не прибавив больше ни слова, сел писать.

«Милостивый государь, – писал он. – Ваше неуместное вмешательство в семейные дразги вашего меньшего брата (как вы его называете), дворянина Осташкова, и последовавшее затем еще более неуместное письмо по этому поводу ко мне не заслуживали бы по-настоящему ни внимания, ни ответа. И если я беру труд отвечать вам, то единственно только для того, чтобы письменно объяснить вам, что подобное письмо можно бы счесть дерзостью, если бы оно было написано кем-нибудь другим, а не вами, и что я нисколько не намерен беспокоить себя разбором тех дразг, которые вас так интересуют. И потому предоставляю вам полную свободу быть защитником прав вашего угнетенного брата и обращаться

с вашими представлениями к тем лицам, у которых вы пользуетесь кредитом; а меня прошу на будущее время от них избавить».

– Вот, возьми это письмо и сейчас же отправляйся с ним к Паленову, – говорил Рыбинский, отдавая Осташкову письмо.

– Батюшка... благодетель... простите вы меня! – ныл Осташков жалобным голосом.

– Я в этом письме делаю распоряжение по твоему делу... Не смей же мне надоедать больше... Ну, отправляйся сейчас... Тебе здесь делать больше нечего... Сейчас же поезжай, чтобы я тебя не видел...

Осташков не знал, что думать, хотел изловить и поцеловать ручку Рыбинского, но тот не дал и показал на дверь. Никеша вышел, не поспел даже зайти к Сашеньке и отправился в обратный путь.

Сашенька, увидя поутру свою новую мамашу, рассказала ей, что у нее был ее тятя. Юлия Васильевна захотела видеть его, но Осташкова уже не было: он уехал. Удивленная этим быстрым отъездом, она сообщила о нем Рыбинскому, в присутствии Саши, и тот рассказал ей всю историю своего свидания с ним

и прочитал письмо Паленова. Рыбинский очень комично передразнивал Осташкова, и Юлия Васильевна весело смеялась над ним; вместе с нею смеялась над отцом и Сашенька.

– Какой тятка смешной! – говорила она.

– И ты бы, дурочка, была такая же смешная, если бы жила с ним, а не у меня, – отвечала Юлия Васильевна.

А между тем бедный Осташков тащился на своем усталом бурке, который так же, как и хозяин, уныло опустив голову, бежал и не мог понять, зачем его гоняют взад да вперед почти без отдыха.

IV

Когда Осташков, приехав к Паленову, рассказал ему подробно о своем свидании с предводителем и когда Николай Андреич прочитал привезенный ему ответ на его послание, бешенство овладело его душою.

– Я ему докажу... Я ему покажу!.. – кричал Паленов, неистово теребя свой собственный хохол на голове, за неимением под руками чужого. Он бегал по комнате, пинал ногами мебель, бросал на пол смятое в комок письмо предводителя, топтал его ногами, потом снова поднимал, перечитывал, опять мял и бросал на пол.

– Я ему покажу себя... Он меня узнает... – продолжал Паленов в азарте. – Я к губернатору напишу... к министру напишу... Я поставлю на своем... Я его выучу... Я это письмо буду везде читать... На всю губернию его ославлю... Я его в подлиннике к министру представлю...

И он снова поднимал и разглядывал роковое письмо.

– Как... Он решается оскорбить дворяни-

на... такого дворянина, как я... Он думает, что это ему так пройдет... что я не сумею вступить за себя... Нет, он увидит... он узнает меня... Я на выборах осрамлю его... Я выведу на свежую воду все его гадости...

– Что же мне теперь с своим-то горем делать, батюшка Николай Андреич?... Ведь приходится с голода помирать... – осмелился наконец проговорить Осташков, улучив минутку, когда Паленов умолк и от усталости бросился на диван. – Не оставьте, благодетель, помогите... Теперь на вас одних надежда... Без вас придется пропадать...

Никеша со слезами поклонился в ноги Паленову.

– Не кланяйся, братец, не кланяйся, Осташков... Не терзай меня...

– На кого же мне, батюшка, теперь надеяться... К кому прислониться... В ком защиты искать?... Предводитель от меня отказывается... значит, уж я должен жив умирать... Значит, пропадать мне приходится... Кто за меня теперь вступится?... Кто защитит меня с малыми детьми?...

– Я тебя защищу. На меня одного надейся...

Вели лошадей закладывать: я сейчас вместе с тобой поеду к тебе и постращаю твоих... Они должны меня послушаться...

– Ах, батюшка, благодетель... не оставьте... Велики ваши милости... Велико ваше для меня беспокойство...

– Ничего... ничего... поедем... Вели закладывать... Я покажу этому подлецу, что я и без него могу сделать что захочу... А потом я приеду в губернский город... Непременно губернатору покажу его письмо... и расскажу, как он исполняет свои обязанности... Вели же закладывать лошадей... Скажи, чтобы четверню в коляску...

– Батюшка... Николай Андреич... осмелюсь я только доложить... Моя-то лошаденка очень пристала... не побежит за вашими...

– Да ты и не бери свою... Оставь здесь, пусть отдохнет... поедем со мной... А потом воротимся, тебе надобно будет опять ехать в город... Я хочу твоего сына отдать в уездное училище, так тебе нужно будет приискать ему в городе квартиру... За содержание я заплачу...

– Ах, батюшка...

– Ну, ну, не благодари... После... Я не Рыбинский... Если я делаю добро, так для добра, а не из самолюбия... Пооди же, скажи там... Да пошли ко мне Абрама...

С чувством гордости и самодовольствия подъезжал Никеша к своей усадьбе, в коляске четверней, сидя рядом с таким важным баринном. Он был уверен, что одно появление такого значительного лица произведет уже сильное влияние и даже наведет страх на его отца, дядю и брата, а его вмешательство в их дело заставит их смириться и уступить. Лестно ему было также показаться на такой высоте пред стройковскими мужиками, которые, по случаю праздничного дня, все были дома и видели путешествие Никеша, кланялись проезжающему четверней серьезному и важному барину, а Осташков, принимая эти поклоны отчасти и на свой счет, с достоинством отвечал на них. Из избы Александра Никитича также увидели этот торжественный поезд.

– Видно, предводитель с ним сам приехал, – сказал Александр Никитич. – Ишь ты, разбойник, как за него вступаются... Подлизня этакой!.. Да мне что... хоть распредводи-

тель будь... Я в своем добре хозяин... Мне никто не судья...

– Так... люблю!.. – подтвердил Харламий Никитич. – Что тебе опасаться... Держись за меня: я сам с ним поговорю... Я и полковому командиру не уступал... А у нас за это строго взыскивается... ты не знаешь... Коли он имеет власть нас судить... пускай еще он с Никешки взыщет... за непочтение к родителю... Ты на его пожалуйся... И я тебя поддержу... Вот чем вздумал пугать... Что мне предводитель!.. Меня предводитель еще должен почесть... потому я служил моему государю... получал раны... и заслужил... ты, Ванюшка, испугался, что ли?

– Чего мне, дяденька, из-за вас с батюшкой бояться... Ничего я не боюсь... Что он может мне сделать, хоть бы и предводитель?

– Молодец... Люблю... Ничего не бойся, Ванюшка... и будешь военный человек... Мы и смерть видали, да не боялись... А испугаемся мы предводителя!.. Давай мне, Ванюшка, сюртук! Я пойду с ним познакомлюсь... Я могу с ним познакомиться и поговорить... Что ж?... Могу... погоди, Никешка, я тебя перед ним от-

делаю... Давай сюртук...

Харлампий Никитич поспешно оделся и отправился в избу Никеша. Он вошел в нее, никем незамеченный, в ту самую минуту, когда Паленов только что отдал приказание сопровождавшему его слуге позвать к себе всех Осташковых.

Катерина в это время хлопотала с самоваром, а больная Наталья Никитична, с усилием слезши с полатей, чтобы принести жалобу Паленову, с позволения его присела в уголке на лавку.

– Это кто такой? – спросил Паленов, увидя входящего поручика.

– Это дяденька-с... – вполголоса отвечал стоявший около него Никеша.

– Господин предводитель, имею честь себя представить... Поручик Осташков, – говорил Харлампий Никитич, расшаркиваясь. – Позвольте познакомиться... Очень приятно... Я наслышан, вы из военных... Я тоже... одного поля ягода... Позвольте познакомиться... – И Харлампий Никитич протянул Паленову руку.

– Я не предводитель... Я здешний поме-

щик, известный, впрочем, всей губернии, и друг с губернатором... Я Николай Андреевич Паленов... – отвечал он, не подавая руки поручику.

– Очень приятно... Позвольте с вами познакомиться и представить себя... Я поручик Осташков, дядя вот этого разбойника, Никешки... Его надо поучить... что ж вы? Вашу руку... я желаю с вами познакомиться...

– Вы должны были сначала узнать, желаю ли я с вами знакомиться... – отвечал Паленов, начиная горячиться и обиженный смелостью поручика, протягивавшего ему руку. – Я приехал сюда вовсе не для того, чтобы заводить знакомство с пьяницами и буянами, такими, как вы...

– Как вы смеете так говорить!.. Я офицер... поручик... Служил моему государю... Я большой человек... Я ранен... Я могу знакомство вести со всяким... Вы какой имеете чин?... Я сяду...

– Я знакомлюсь, мой любезный, только с людьми порядочными, а вы приехали сюда и только пьянствуете, буяните и ссорите ваших родных... Я вам говорю, что я известен во всей

губернии и в Петербурге знаком с самыми важными вельможами... Здешний губернатор со мною дружен и считает за честь все для меня сделать... Советую вам быть со мной вежливее и вести себя помирнее... Я сумею управиться с вами... Таким буйным людям вы знаете где место... Я приехал сюда не знакомиться с вами, а предостеречь вас и вразумить, чтобы вы жили смирнее, поменьше пьянствовали и не обижали ваших бедных родных... Слышите вы? Уймьтесь, а то будет плохо... Мне стоит только сказать два слова губернатору, и вас ушлют отсюда, как человека беспокойного...

– Я в своем имении... Какое вы имеете право мне говорить?... Я ничего не боюсь... Кто вы такой?... Какой ваш чин?... Покажите мне бумагу... Я могу прочесть?... Где ваш ордер?... Покажите мне его... А то я никуда не поеду... Я тебя знать не хочу...

– Я тебе говорю, пьяница, говори со мной вежливее... – закричал Паленов.

– Как ты можешь кричать?... Я офицер... Покажи ордер... Кто меня может взять? Я никуда не поеду? Я в своем имении... Ты мой не

начальник... Убирайся к черту... Ступай вон...

Паленов вспыхнул и начинал терять благоразумие; но в эту минуту вошли Александр Никитич с сыном: внимание Паленова, сосредоточенное до сих пор на одном противнике, было развлечено.

– Я с тобой, грубиян, после разделаюсь... – проговорил он, стиснув зубы, и обратился к Александру Никитичу.

– И для такого пьяницы, для такого негодяя, которого вот непременно ушлют от вас куда-нибудь, потому что я непременно попрошу об этом губернатора, для этого человека, хоть он и брат твой, ты, старик, гонишь и притесняешь сына, смиренного и доброго человека, который у всех у нас на хорошем счету... Как тебе не стыдно! И слушаешь ты еще другого негодяя, твоего младшего сына, который, видно, пойдет по стопам своего дядюшки...

– Младший-то сын, сударь, мой кормилец и поилец, – отвечал Александр Никитич. – Он меня слушает, а не я его... Я ничего худого от него не видал... А Никанора никто не притесняет и не гонит... Он отделенный сын, живет своим домом, своей семьей... что хочет дела-

ет, ни в чем меня не спрашивает... Чем же я его притесняю?

– Его бить надобно, учить... – вмешался Харламий Никитич. – А Ванюшка у меня молодец... Я его в обиду не дам... Ванюшка, принеси водки...

– Скажи, старик, этому скоту, чтобы он ушел отсюда, а то я его велю вытолкать...

– Меня вытолкать?... Нет, руки коротки... Я в своем имении... Тебя я велю вытолкать... Ванюшка, вытолкай его...

– Эй, люди, – закричал взбесившийся Паленов. – Люди!..

Кучер и лакей, сидевшие в сенях, вбежали.

– Выведите отсюда этого пьяницу...

– Не смей... Ванюшка, ко мне... Не смей меня трогать... Ванюшка, не выдавай...

– Вытолкайте же его... – закричал Паленов на людей, которые стояли в нерешимости. – А, скоты!..

Николай Андреич схватил поручика за ворот, приподнял его с лавки, на которой он сидел, и кинул в руки своим слугам. Те повлекли поручика вон, несмотря на его сопротивление, крики и ругательства.

– Как же ты, старик, говоришь, что не притесняешь его... – продолжал Паленов, переводя дух. – Разве это не притеснение, что ты отнял у него рожь, которая им была посеяна и им же сжата...

– Да ведь это, сударь, мое отцовское дело: волен дать сыну, волен и взять... Пока жив, земля-то моя.

– Да ведь ты сам говоришь, что отделил его?

– Да, не захотел со мной жить, так и живет своим домом... Вот и весь дележ... А землю я ему в корень не отдавал. Не была мне нужна, так владел... А стала нужна, опять за себя возьму...

– Да ты не имеешь права этого сделать...

– Отчего так?... Где это писано?... Я ему на землю бумаги не давал... Не бумагой ведь она за ним приписана...

– Да я тебе говорю, что ты не имеешь права взять у него его хлеб... Слышишь: я тебе это говорю... Ты должен хлеб возвратить ему... И ты его отдашь!

– Нет, сударь, не отдам...

– Как не отдашь... Почему?

– А потому что не отдам... Не желаю... не заслужил... не стоит... Потому и не отдам.

– А если я тебе говорю, что ты должен отдать... Если я тебе приказываю?

– Да имеете ли еще вы право приказывать-то... Я думал, вы предводитель, а ведь люди-то говорят, что вы не предводитель...

– Что ж из этого?... Не сегодня завтра и я буду предводителем... Меня дворяне давно об этом просят, да я сам не хочу... Я тебе говорю, старик, послушайся: отдай хлеб, не бери землю у Никанора, а то хуже будет...

– Да что же худого-то, сударь, будет?... Худому-то быть нечему...

– Так ты не отдашь хлеба?... – грозно закричал Паленов, выходя из себя.

– Не отдам... – отвечал упрямый старик, смотря прямо в глаза Паленову.

– Не отдашь?

– Не отдам... За непочтение да за то, вот, что он ездит да славит обо мне да чужих людей с отцом зовет судить. Ни за что не отдам...

– Эй, старик, ты со мной не шути... Судом заставят отдать, да еще велят за убытки заплатить, которые ты ему наделал...

– Отца-то заставят сыну платить?... Пущай заставляют, коли кто этакую власть имеет...

– Батюшка, отдай, смилуйся: я тебе в ножки поклонюсь... – сказал Никеша, выступая перед отцом и кланяясь в ноги.

– Нет, сынок, поздно... Ты на меня жаловаться ходил... Чужим судом хотел с меня взять... Ну так и бери судом...

– Что ж ты, старый черт, и в самом деле власти, что ли, над собой не признаешь?... Что ж ты думаешь, тебя заставить, что ли, нельзя... Чего тебе еще?... Сын тебе кланяется, просит... Чего ж тебе еще хочется?... Чтобы бороду я тебе вытаскал, что ли?...

– Нет, еще это нигде не показано, чтобы у меня бороду таскать... Да что вы за судья и в сам деле такой?... Кто вас надо мной поставил?... Что мне, что ты богат, а я беден... Я тебя не знаю, да и знать-то не хочу... коли ты к бороде моей полез... Вот что...

Александр Никитич повернулся и пошел к дверям. Паленов совсем забылся от бешенства и бросился было на старика, но Иван загородил его собою и взглянул на грозного судью так смело и выразительно, что тот в ми-

нуту опомнился и остановил поднятую руку.

– Я вам дам... Вы меня вспомните... – кричал им вслед сконфуженный Паленов.

– Ладно... – насмешливо проговорил Александр Никитич, затворяя за собою дверь.

Паленов сел на лавку и отдувался от попыхов и волнения.

– Вот, батюшка, Николай Андреич, извольте видеть, каковы мои родители... Как мне с ними жить... – жалобно говорил Никеша.

– Ох, батюшки мои... Ох, согрешили... Ой, спинушка... Ой, сердечушко... О-ох... – стонала Наталья Никитична, увидевшая неудачу и залезая опять на печь.

– Только вас-то я, батюшка, напрасно беспокоил... Вы-то для меня такую себе муку только приняли...

– Это звери какие-то, а не люди!.. – говорил Паленов. – На них нужно палку, а не слова... Этакое невежество, этакая грубость...

– Ах, батюшка Николай Андреич, то ли бы вы еще у нас увидели... То ли еще бывает... Жить ведь нельзя, благодетель... Что они меня, уж теперь совсем съедят... и подавно... Живой в гроб ложись... Ах ты, Боже мой...

– Ничего, Осташков, не бойся... Я уж коли сказал тебе, что защищу, так надейся на меня... Я их проучу... Я покажу им, с кем они имеют дело...

– Не оставьте, благодетель...

Никеша утирал слезы.

– Батюшка, не оставь... Совсем заели... – присоединилась Катерина, тоже со слезами, кланяясь в ноги Паленову.

– Уж не бойтесь, не оставлю... Нарочно, сам лично поеду к губернатору...

– Благодетели вы наши!.. – сказали в один голос Никеша и Катерина, куксясь, всхлипывая и целуя руки Паленова.

– Молитесь Богу, друзья мои, чтобы я... не отказался на будущие выборы быть здешним предводителем... Тогда будете покойны и счастливы... Несчастный всегда найдет во мне защитника... – говорил тронутый Паленов.

– Дай тебе, Господи, много лет здоровья и всего, что твоя душа желает за твои добродетели... – проговорила Наталья Никитична, слезая с печи со стоном и кряхтеньем и также поклонилась в ноги Паленову. – Не оставь

нас, сирот...

Наталья Никитична, захворавши вдруг после описанной истории с отнятым хлебом, в несколько дней осунулась и захирела страшным образом. До сих пор бодрая и здоровая старуха, она казалась теперь совсем больной и разрушающейся.

– Полно, полно, старушка, полезай себе на печь... Бог даст, все поправится... – успокаивал ее окончательно размягчившийся Паленов. – Еще кланяться вздумала: смотри-ка, какая ты хворая, еле на ногах держишься...

– Эх, родимый, укатали бурку крутые горки... Недавно ведь я этакая-то стала... Они же, изверги, видно, меня испортили... Вдруг ничто приспичило... На поле сысталось... С Ванюшкина, видно, глаза... Либо уж напустили что-нибудь на меня с ветра... Ох, силушки моей нет... Попортили, злодеи...

– Полно, старушка, этого не бывает, не говори вздору...

– Думается, кормилец, думается, родимый... Ведь с этого самого случая, как из-за хлебца с Ванюшкой на поле поругалась... С того самого раза ровно что в меня вступило... Ну

ноет в утробушке... Нет моей силушки, да и на, поди...

– Да, батюшка, с того самого раза, как с поля пришла в те поры, так в себе и почувствовала... Да вот все хуже да хуже... – подтвердила Катерина.

– Что же вы чайком-то дорогого гостя не потчуете... Ох! – заметила Наталья Никитична. – Ох... А я, батюшка, опять на печь... уж не обессудь... В тепле-то лежу, так ровно полегче... А уж ноженьки не держат... Нет, не держат... Особливо, как что... раздумаюсь про горсть свою, али перемогусь... так и хуже... Ох, уж не взыщи...

– Поди, поди, старушка, ложись.

Наталья Никитична опять залезла на печь.

Никеша с Катериной начали угощать дорогого гостя чаем, рассказывая о своих нуждах и жалуясь на свою горькую долю, прося защиты и помощи. Паленов обещал и то и другое.

Когда он опять вместе с Никешей отправился в обратный путь, Харламбий Никитич, уже совершенно пьяный, сидевший у избы брата вместе с Иваном, проводил их хохотом и ругательствами. Паленов, в ответ на это,

выразительно погрозил ему пальцем, а Харлампий Никитич со своей стороны показал ему чубук.

V

Дня через три после описанных происшествий Паленов рекомендовал Осташкова и Николеньку смотрителю уездного училища своего городка. Смотритель, маленький кругленький человек, с гладко прилизанными волосами, с рабски угодливым, подленьким выражением лица, но лукавыми и злыми зелеными глазками и красным утиным носом, видимо, считал за особенную честь посещение такого богатого помещика, как Паленов, но старался сохранить достоинство и независимость главы местных педагогов, особенно пред лицом будущего свое воспитанника. Вследствие этого, раболепно и с подобострастной улыбкою выслушивая слова Паленова, важно развалившегося на диване, он мгновенно изменял выражение лица и внушительно хмурил брови при взгляде на Осташкова и его сына, стоявших перед ним. Ни в одном из наших сословий, и до очень ближай-

шего к нам времени, не было так развито чиновничество со всем своим мелким чванством, самоуничижением и деспотизмом, как в ученой братии низших и даже средних учебных заведений. Ни один губернатор на последнего приказного земского суда, ни один барин на своего лакея не смотрели с таким презрением, с таким сознанием безответственной власти, как наставники на своих учеников; ни один правитель канцелярии, ни один полковой командир не требовали такой субординации, не старались так запугать своих подчиненных и не наслаждались столько страхом, внушаемым их личностью в подчиненных, как смотрителя, инспектора и директора в воспитанниках подведомственных им учебных заведений. И, может быть, нигде во всем русском царстве не заботились столько развивать идеи самоуничижения, рабской безответной покорности и подлого шпионства, нигде не чувствовался такой деспотизм власти, как в этих рассадниках общественно-го образования, как любили называть учебные заведения наши педагоги...

– Я вас прошу обратить особенное внима-

ние на этого ребенка, – говорил Паленов, указывая на Николеньку. – Отец его, правда, очень бедный дворянин, не имеющий ни одной души... но он все-таки дворянин...

Смотритель с презрением взглянул на Осташкова и, закрывшись от Паленова рукою, понюхал табаку.

– И я вам скажу еще более: он дворянин весьма древнего и, вероятно, княжеского рода... Следовательно, ваше училище должно считать за особенную честь принять в свои недра этого мальчика... Ведь у вас большею частью все простонародье...

– Конечно, наше училище общенародное называется, – отвечал смотритель с грустной и в то же время любезною улыбкою, – следовательно, мы обязаны принимать и всякую чернь... Но мы стараемся облагородить свое заведение доброй нравственностью и поведением своих учеников, негодяев исключаем. И я даже стараюсь так, чтобы в моем училище было как можно меньше черного народа... даже если который мальчишка неопрятно и неприлично одет, так я не допускаю его в классы, пока не поправится... И могу ска-

зять... благодаря Бога, у меня в училище есть дети даже из здешних благородных домов: вот дети здешнего стряпчего, также секретаря из уездного суда, а они люди благородные, даже имеют свои деревни... И я могу сказать, что у меня ученики все больше из купечества... А этих, шушеру, которые из мещанишек, я всячески стараюсь искоренять и держу из них разве только таких мальчиков, которые отличаются добропорядочною нравственностью... и тихостью... Я вам должен сказать, что я, слава Богу, успел поставить свое училище на хорошую ногу... У меня даже нет ни одного учителя, который бы очень зашибался, и уж у меня, избави Бог... в нетрезвом виде в класс не придут!.. У меня даже учителя всегда в вицмундирах посещают классы...

– Ну-с это прекрасно... Порядок и дисциплина везде нужны... Хотя, конечно, свет образования должен везде распространяться, и следует стараться, чтобы он проникал во все слои общества...

– Этого нельзя-с... Нельзя этого допустить, чтобы всякий лез в уездное училище... Тогда только запрудишь училище, а пользы не бу-

дет-с, будет одно безобразие... И опять надобно помнить, что не всякому нужно равное образование... Для дворянина нужно больше образования, для купца поменьше, а для мещанина и еще поменьше... Этого не надобно упускать из вида. Например, для чего мещанину или дворовому человеку науки?... Что он с ними будет делать?... Ему достаточно выучиться читать, писать да закону Божию... Вот с него и довольно... А для этого приходское училище есть... А зачем же я уездное-то буду запружать этим народом?... Разве только для того, чтобы благородные люди детей своих гнушались отдавать?... Поверьте: я это из опыта говорю-с... Нельзя-с...

– Однако позвольте: почему вы знаете, что и из этих сословий не может выйти людей ученых, людей замечательных? Наша благоденственная Россия очень богата талантами: они кроются во всех слоях общества... Да вот вам исторический пример: Ломоносов... Из крестьян, сын рыбака.

– Так ведь такие люди рождаются веками... Этакие гении нигде не пропадут, они выбьются отовсюду... Позвольте вас спросить: много

ли Ломоносовых-то?... Да если мне теперь этого правила держаться и всякий народ без разбора пускать в уездное училище, их столько налезет, что учителю некогда будет и уроков спрашивать... Помилуйте... Да и порядка никакого не добьешься... Никакой чистоты нельзя будет соблюсти... Нынче же первое от начальства требуется, чтобы порядок и чистота была в казенном заведении... А теперь извольте сообразить: если я напущу к себе триста человек всякого-то сброда... да они, помилуйте, на ножищах одного сора натащут столько, что не выметешь... а в грязные дни грязью так пол натопчут, что и не промоешь... Здесь же у нас в городе тротуаров нет, улицы грязные... А у меня всего один сторож при училище полагается... Что ж он может сделать? Да эти мальчишки такой народ, что они одной неделей все лавки, все парты изрежут и переломают, все стены так засалят, что на одни починки да на подкраску всей расходной суммы не достанет, что на училище отпускается... Нет, помилуйте, этого нельзя... Конечно, все эти рассуждения очень прекрасны... Но надо все это из практики узнать сна-

чала... Для чего же я стану-с заведение-то свое ронять?... Из-за сволочи, из-за черни, которая никогда ничему даже и научиться не может... А если и выучатся чему, так все бросят и пере забудут после... Нет-с, а я свое училище облагородить стараюсь... Вот-с я не мог ожидать той чести, что вы пожалуете, не приготавлил-ся... а неуютно ли обозреть училище насчет порядка и чистоты... а также и насчет ученья... Ни шуму, ни крику большего в классе не изволите услышать... Все ученики приучены так: как взойду я, или учитель, или кто из посетителей, сейчас все встают в струнку, решительно как солдаты... В одежде – пристойность: не только дыр, заплаты или разных рукавов на сюртуке не увидите... Ну, уж в приходском этого достигнуть нельзя... потому там все простонародье... Нет, я за свое училище покоен... Не уютно ли обозреть?... Удостойте...

– Хорошо... с удовольствием... Так вы этого молодца уж завербуйте к себе и не забудьте, что я вас прошу обратить на него особенное внимание...

– А он подготовлен-с?... То есть может чи-

тать и писать?... Ведь у нас в уездном училище уже науки начинают преподавать даже с первого класса...

– Да, он может читать, хотя, конечно, не бойко, начинает и писать... Да я вам скажу: и это удивительно. Ведь он учился не больше пяти недель... Правда, его учил очень талантливый мальш, мой конторщик, и руководствуясь особенной системой, которую я сам изобрел и которую не дурно бы применить во всех приходских училищах... Впрочем, об этом я буду писать к министру, с которым я в очень хороших отношениях...

Смотритель подобострастно улыбнулся и одернул на себе вицмундир.

– Это действительно редкость большая, чтобы в такое короткое время... – подтвердил он.

– Ну-с, так я надеюсь, что он будет принят?... – спросил Паленов, вставая.

– Помилуйте, непременно... За особенное удовольствие...

– Если он немного не бойко читает и плохо еще пишет, так вы прикажите там вашим учителям, чтобы они особенно им занялись...

Видите ли, я отдаю его к вам в училище только на год... чтобы приготовить его для поступления в гимназию... Вы так его и приготовляйте...

– Очень хорошо-с... А в училище не угодно зайти?...

– Пойдемте, пойдемте...

– А вы подождите меня здесь... – обратился смотритель к Осташкову, уходя.

С важностью прошел Паленов по училищу, внушительно поговорил с учителями, дал несколько советов о способе преподавания, заметил необходимость дать уездным училищам направление более практическое, реальное, о чем обещал при свидании поговорить с министром, также посоветовал изменить устройство классных столов, зашел в библиотеку, где стоял никогда не отпиранный шкаф с книгами, которых никто не читал, похвалил порядок и чистоту, и, прощаясь с смотрителем, сказал, что он отправляется в губернский город и там, при встрече с директором, почтет обязанностью отозваться об училище с самой выгодной стороны, при чем смотритель как-то совершенно расцвел и,

униженно раскланиваясь, даже помог Паленову надеть шинель, несмотря на то что ее подавал сторож. Воротился смотритель домой к Осташкову уже совсем другим человеком: подобострастие и унижение исчезли с его лица; на нем выражались взамен того важность, недоброжелательство и какая-то язвительность во взгляде его злых кошачьих глазок, за что ученики называли его обыкновенно ехидной.

– Ну... Так как же вы... дворянин, а крестьян не имеете?... – спросил он Осташкова.

– Что делать, батюшка... Прадеды наши все свои души поистеряли...

– Как же?... Чем же вы существуете?

– Да чем?... Землю имею, обрабатываю... А больше того благодетели не оставляют... Вон Николай Андреич, дай Бог здоровья, первый благодетель... а также и другие прочие из господства...

– М-м... А в службе не были?...

– Нет, батюшка, Бог не привел... потому родители мне грамоты не дали... темным человеком оставили... Вот уж дети, Бог даст, в службу пойдут... за меня... коли науку при-

мут... Вот не оставьте, батюшка этого... Желаю наследовать его наукой...

– Коли не будет шалить да будет начальство почитать и слушаться, так, может быть, и выучится... Ну-ка ты, поди сюда ко мне... Давай-ка мы тебя проэкзаменуем... На-ка, прочитай вот это...

Николенька едва мог складывать слова.

– Худо... – заметил смотритель. – Не достаточно... А ну-ка в чистописании... Напиши: благочиние... благо-чи-ние...

Но Николенька совершенно стал в тупик... Он у Аристарха Николаича выводил только буквы и то плохо, до мудрости писания целых изречений он еще не дошел...

– Что же ты?... – говорил смотритель.

– Пиши... – понукал Осташков.

Но Николенька был в сильном затруднении и печально вертел в пальцах карандаш, не зная, как приступить к делу.

– Очень худо... – заметил смотритель.

– Что же ты не пишешь?... Али опять упрямиться? Пиши, говорят... – настаивал Осташков. – Ведь писал, батюшка, сам видел... Видно, сробел, что ли...

– Да нет, он и в чтении весьма слаб... По-настоящему, его следовало поместить в приходское училище, но по просьбе Николая Андреевича, я его допущу и в уездное... Но только ради его просьбы... Вы так и передайте, что только для них это делаю... А мальчик слаб, очень слаб... Ты смотри... Ты у меня учиться... Не шалить, слушаться... А то смотри... Я шалунов не люблю... И наказываю больно...

– Хорошенько его, батюшка, коли станет шалить... не жалейте...

– Не беспокойтесь... Мы шалунов исправляем... Ну, так с завтрашнего дня в класс... Да где он будет жить, так накажите хозяину, или там хозяйке, что ли, чтобы за ним надзирали и в развращенном виде... там изорванного или невычищенного в классы не отпускали... Я безобразия не люблю... Притом он из дворян будет числиться... Так чтобы по-дворянски себя и вел... Смотри... берегись... – заключил смотритель внушительным голосом и погрозил Николеньке пальцем.

– Как можно... Должен стараться... остерегать себя во всем... Вот еще не знаю, батюшка, куда мне его пристроить-то... Куда бы нибудь,

к какому хорошему человечку... На квартиру-то... Не изволите ли знать?...

– Ну, уж я этого не знаю... Где ж мне этим заниматься... Поищите... В городе есть дома... Мещанка, может быть, какая возьмет или приказный... Разве мое дело квартиры разводить или указывать мальчишкам. Глупо это и даже невежливо беспокоить этим смотрителя... Ступайте и кланяйтесь от меня Николаю Андреевичу... А завтра его в классы...

Осташков извинился, что обеспокоил, и отправился вместе с сыном на квартиру Паленова.

Кратчайшая дорога ему лежала по главной улице городка, где стоял дом, занимаемый лесничим, но Осташков сделал нарочно обход, чтобы не пройти мимо этого дома: он боялся, чтобы его не увидели и не позвали к Юлии Васильевне: в присутствии Николая Андреевича он не смел и вспомнить о лесничихе и Рыбинском, и отложил свидание с дочерью до его отъезда из города.

Паленов в тот же день собирался ехать в губернский город, чтобы объяснить, как он говорил с губернатором и губернским предво-

дителем о поступке Рыбинского, и просить их вмешательства в пользу Осташкова. Перед отъездом он дал Никеше три рубля серебром и объявил, что каждый месяц он будет отпускать такую же сумму на содержание Николенки.

– А к Рыбинскому ты не смей являться до моего возвращения, – приказал он, уезжая. – Может быть, этот мерзавец узнает, что я поехал объясняться с губернатором, струсит и, чтобы предупредить меня, сделает какое-нибудь распоряжение в твою пользу. Ты не смей являться к нему ни в каком случае, хотя бы он даже вызывал тебя... Слышишь?... Я тебе приказываю...

– Слушаю, батюшка, Николай Андреич...

– Нет, надобно поубавить с него спеси... Ба, да что же я думаю! – вскричал вдруг Паленов, ударив себя по лбу. – Всего лучше тебе ехать со мною: ты сам лично объяснишь все и губернатору, и губернскому предводителю... Собирайся, поедем...

Осташков перепугался.

«Как я буду жаловаться на своего предводителя... – мелькнуло у него в голове. – Да он

меня с лица земли сотрет...»

Паленов заметил его смущение и вспылал было гневом.

– Ты что ж?... Ты боишься?... Ты не надеешься, что ли, на меня?... Мало я для тебя делал?... Ты юлишь?... Ты продать меня хочешь?...

– Да нет, батюшка, нет-с... благодетель, нет-с... Я не про то-с, не насчет того... Я вот про сынишку... Еще к месту-то он не пристроен... Куда мне его-то деть?

– Ну, он здесь пока останется... Я скажу хозяину, чтобы он его кормил, пока до моего возвращения... А тут ты приедешь и найдешь ему постоянную квартиру...

Осташкову нечего было возражать. Хозяин постоялого двора был позван и изъявил согласие продержатъ Николеньку несколько дней, заметивши, что ему все единственно кого ни кормить... Ямщиков кормит же... И мальчика можно... Покой ему в избе за перегородкой даст... Будет и тепло и хорошо...

Таким образом, нечаянно, негаданно, Осташков со стесненным сердцем отправился в губернский город, а Николенька поместился

у хозяина постоянного двора, у печки, за перегородкой.

VI

Осташков первый раз в жизни въезжал в губернский город. С удивлением и любопытством, как малый ребенок, смотрел он на все, что мелькало перед его глазами: и на каменную заставу при въезде в город с пестрым шлагбаумом и с золотыми орлами на столбах, и на ряд больших каменных домов, вдруг сменивших знакомые лачужки и непрерывно протянувшихся с обеих сторон улицы, и на большие пестрые вывески над магазинами, и на блестящие главы церквей, и на нарядных барынь и офицеров в раззолоченных касках, попадавшихся навстречу... Все поражало и удивляло его: и непривычное для его глаз движение, и еще более непривычный шум от экипажей, проезжавших по мостовой. Все, кто ни встречался Никеше, казались ему такими богатыми, довольными и счастливыми.

«Вот, видно, где житье-то, вечная Масленица!..» – подумал про себя Никеша.

На другой день утром Паленов, припара-

дившись как следует, поехал к губернатору, приказавши и Никеше сопровождать себя.

– Я тебя беру на всякий случай... – сказал он ему. – Меня губернатор, вероятно, примет в кабинете, а ты останешься в приемной. Смотри же: если тебя позовут и губернатор станет что-нибудь спрашивать о Рыбинском, отвечай откровенно и всю правду: говори все, что знаешь про него, ничего не скрывай... От этого зависит все твое счастье...

– Слушаю, батюшка... – робко отвечал Никеша, и при этом вспомнил назидание другого благодетеля, Кареева: «Что бы для тебя человек ни сделал, как бы ты ни был ему обязан, но коли он подлец, то так и говори про него, что он подлец... Ничего не скрывай: это обязанность честного человека...»

Со страхом и трепетом прошел Никеша мимо солдата у подъезда, мимо жандарма в антре и поднялся вслед за Паленовым по великолепной лестнице, остерегаясь ступить на разостланный посередине ее ковер. Еще с большим уважением и доверием смотрел он на Паленова, так спокойно и самоуверенно шедшего впереди его. В приемной комнате

Паленов обратился к какому-то офицеру с серебряными шнурами на груди, которого Осташков готов был принять за самого губернатора, и просил доложить о себе генералу. Офицер тотчас же отправился исполнять требование Паленова, а он, сделав знак Осташкову, чтобы тот остался в этой комнате, пошел вслед за офицером, как человек, который знает, что его не заставят дожидаться.

«Нет, видно, надо Николая Андреича крепче держаться... Он, видно, сильный человек», – подумал Никеша, провожая его глазами.

Паленов действительно был тотчас же допущен к генералу.

Губернатор, человек средних лет, полный, коренастый, со строгим и несколько мрачным выражением глаз, с коротко остриженными волосами, с постоянно нахмуренным челом и щетинистыми черными усами на лице красно-кирпичного цвета, в сюртуке на распашку, но с эполетами, встретил Паленова приветливо, как знакомого, но, впрочем, с достоинством. Чрезвычайно красивым и совершенно воинственным жестом руки он указал

ему кресло.

– Давно вас не видать... – сказал губернатор, опускаясь в кресло перед огромным письменным столом и потирая ладони рук, несколько приподнятых кверху. – Какживаете?

– Понемножку, ваше превосходительство.

– Вы теперь из деревни?

– Да, я прямо из деревни, ваше превосходительство.

– Сентябрь месяц на дворе, а какая славная погода стоит... Каковы дороги?

– Дороги хороши, ваше превосходительство.

– А что, каковы нынче хлеба?... Хороши?

– Хлеба нынче хороши... нельзя жаловаться...

– В деревне летом рай, – заметил губернатор глубокомысленно. – Вы счастливы, господа помещики, что проводите это время в деревне, вдали от всех этих дрязг... пыли... А вот наше положение... – Генерал положил руку на кипу бумаг, завернутых в серую папку, с надписью: «к докладу». – Не разгибая спины работаешь... – Генерал потянулся, выгибая

уоставшую от работы спину и вытягивая руки.

– Напрасно вы изволите называть, ваше превосходительство, деревенскую жизнь раем... Поверьте, и у нас не избежишь тех же дрязг и неприятностей, что и в городе... Где есть человек, там есть и человеческая глупость, и недоброжелательство, и желание обидеть слабого... Вот я и из деревни, а приехал беспокоить ваше превосходительство...

– А-а... вы по делу... – проговорил генерал, и лицо его приняло еще более строгое выражение.

– И по делу очень серьезному, ваше превосходительство... касающемся интересов всего дворянства нашего уезда, по делу, которое...

– Извините: вы какого уезда?...

– Вышнереченского, ваше превосходительство... Я был однажды осчастливлен посещением вашего превосходительства во время вашего проезда для ревизии по губернии.

– Как же, я очень помню... Но забыл только немножко уезд, в котором вы живете.

– Это тот самый уезд, ваше превосходительство, который имел несчастье выбрать в

предводители дворянства... осмелюсь выразиться пред вами прямо: негодяя и человека безнравственного, Рыбинского...

– Ах, Рыбинский... беспокойный человек, это правда... И знаете, он, мне кажется, немножко фат и либерал...

– Этого мало еще сказать про него, ваше превосходительство. Он не уважает ни властей, ни законов нравственности, ни даже общественного приличия... Он...

– Но послушайте... Я слышал, он нынче летом давал, говорят, великолепный праздник у себя в деревне... И он метит, говорят, в губернские...

– Не знаю, ваше превосходительство... Но я уверен... по крайней мере я надеюсь, что наша губерния не осрамится таким выбором... уж один этот праздник, о котором вы изволили упомянуть, показал всем, что это за человек... Он скандализировал все общество, показавши перед всеми публично свои отношения к жене нашего лесничего... Entre nous soit dit[18], ваше превосходительство...

– Sans doute...[19] А что ж, разве хорошенькая?...

– Она недурна... Но согласитесь, ваше превосходительство... каково же было положение дам, которые имели неосторожность, или... уж я не знаю, как это назвать... приехать к нему, как к холостому человеку... При том его образ жизни... если вы позволите сообщить вашему превосходительству... Само собою разумеется, я не хочу сплетничать... но если общественная нравственность...

– Говорите, говорите... Губернатор должен все знать... Честный гражданин обязан откровенно высказывать ему все, что знает... для пользы общей... Тем более что этот Рыбинский мне самому надоел. Он беспокойный человек... Я замечал это несколько раз из переписки с ним по некоторым делам.

– Очень рад, ваше превосходительство, что вы изволите иметь об этом человеке здоровое и совершенно справедливое понятие... Но вы не изволите знать того, что знаем мы, его соседи, к несчастью, и о чем все мы молчим, по нашей врожденной беспечности, хотя и возмущаемся... Я могу вам сообщить об этом человеке страшные, возмутительные вещи...

Паленов начал что-то рассказывать губер-

натору на ухо.

– И все это под видом любви к пению... – заключил он вдруг.

– Но ведь это... послушайте... Ведь это дело такое, что если я велю произвести секретное дознание и если эти слухи оправдаются... ведь я могу его далеко упечь... Ведь это можно имение в опеку отдать...

– Что это не один только слух, ваше превосходительство, в доказательство этого я могу вам представить даже свидетеля, одного бедного дворянина, Осташкова, который в настоящее время здесь, в вашей приемной, который тоже страдает через Рыбинского, и по делу которого я и приехал просить ваше превосходительство... Этот дворянин жывал у Рыбинского по нескольку дней, и он может рассказать вам обо всем, как очевидец.

– Но вы уверены, что он не соврет? Ведь все-таки это дело щекотливое... Как бы то ни было: он предводитель...

– В этом-то я совершенно уверен, ваше превосходительство... Скорее он не посмеет всего сказать, потому что запуган им, как бедный человек... Да, может быть, он даже и не пони-

мает настоящего смысла всего этого... Но вы извольте спросить его так стороной, не прямо, поверхностно: есть ли у него певчие, как они живут, что делают... Вот в этом роде...

– Мг... – промычал генерал задумчиво. – Впрочем, мы это увидим; я поговорю с правителем... Я полагаю, мне неприлично входить в личные расспросы... А в чем же его собственная просьба на Рыбинского?

Паленов рассказал.

– Ну так что же: пусть он подаст мне прошение, объяснив, что вот он обращался к уездному предводителю, но тот не только не сделал никакого распоряжения, но даже отказался войти в рассмотрение его жалобы...

– Он, ваше превосходительство, человек безграмотный. Но, если позволите, я вам подам докладную записку, с пояснением всего дела, тем более что я сам лично оскорблен дерзким письмом Рыбинского, которое он прислал в ответ на мое письмо к нему по этому делу.

– Что ж, и прекрасно... Впрочем, позвольте: что же мы будем делать с этой запиской? Ведь, я полагаю, мне нельзя будет назначить

по ней произвести следствие о поступках предводителя Рыбинского?... Докладная записка... Это как-то неформально... Нет, уж пусть лучше он подаст прошение... Ну, за него может кто-нибудь подписаться по его безграмотности...

– Очень хорошо, ваше превосходительство. А сверх того, я буду иметь честь представить вам докладную записку с приложением его письма, которое будет служить документом его прямого отказа от исполнения его обязанностей и дерзкого обращения с дворянами...

– Хорошо... Это будет сильнее и формальнее... В этой записке вы поместите и то, что мне рассказывали...

– А вам не угодно будет расспросить этого дворянина?

– Да это завтра, когда он мне подаст прошение... А сегодня, признаюсь, я немного устал... Да и нужно еще ехать...

Паленов поднялся с места.

– Извините, что так долго беспокоил, ваше превосходительство... Сделайте милость: войдите в положение этого несчастного... Если вы не защитите его, он, по милости нашего

мудрого предводителя, должен умереть с голода...

– Хорошо... Это все завтра рассмотрим и подумаем, что можно для него сделать... Я очень рад поучить этого господина... Он мне надоел...

Паленов стал раскланиваться.

– Прощайте... До свидания... – сказал губернатор, подавая руку.

Паленов вышел от него с сияющим лицом.

– Ну, Осташков, – сказал он, выходя из губернаторского дома и садясь в экипаж. – Губернатор дал мне честное слово все для тебя сделать и уничтожить Рыбинского. Он даже благодарил меня, что я принял в тебе участие, как в бедном дворянине... Да он знает, что я лично известен министру и что мне стоит только написать к нему, так и он сам...

Паленов многозначительно умолк и через несколько мгновений примолвил с достоинством:

– Они знают меня!..

Тотчас по приезде на квартиру, Паленов занялся сочинением прошения от Остаškova и докладной записки. Затем он сделал

несколько визитов и везде кстати и не кстати рассказывал историю Осташкова, описывал свое о нем попечение и бранил Рыбинского. Губернского предводителя не было в городе, о чем, впрочем, Паленов не сожалел, потому что не ожидал от него особенного участия и энергии. Губернский предводитель был богатый и ленивый старик, смиренный и добрый барин по природе, враг всякого рода ссор и неприязненных столкновений. Хотя Паленов и знал, что он не любил Рыбинского, но был уверен, что он не только не принял бы живого участия в намерениях Паленова, но стал бы даже отговаривать его от всякого решительного действия и, пожалуй бы, даже помешал ему.

На следующий день Паленов опять был в кабинете губернатора с докладной запиской, а Осташков в приемной с прошением в руках.

Прочитавши записку и переговоривши с Паленовым, губернатор приказал позвать в одно и то же время Осташкова и правителя канцелярии. Ни жив ни мертв предстал Осташков пред лицо такого великого человека, каким был в его понятиях губернатор.

– Подайте свою просьбу его превосходителству, – сказал Паленов.

Дрожащею рукою подал Осташков губернатору сочинение Паленова.

– Ты жалуешься на предводителя Рыбинского?... – спросил губернатор каким-то особенным голосом, совершенно не тем, какой ему был дан от природы. – Он тебя обидел?...

– Никак нет-с... – пролепетал Никеша.

– Как нет?... Как нет?... – заговорил Паленов. – Что ты, Осташков... Он не хотел обратить внимания на твою просьбу, он тебя прогнал от себя с криком и угрозами, он чуть не прибил тебя... Ты сам пишешь это в просьбе... Как же не обидел?...

– Точно так... уж очень мне это обидно... – поспешил подтвердить Осташков.

– Il est sot...[20] – заметил губернатор, обращаясь к Паленову.

– Non... Mais en voyant votre excellence il tremble...[21] – отвечал Паленов.

– А ты, братец, не бойся... Говори со мной откровенно, – сказал генерал милостиво и мягким голосом. – Я поставлен защищать обиженных и наказывать только виновных, сле-

довательно, тебе нечего меня бояться... Ты бывал у Рыбинского в доме?

– Бывал-с...

– Весело он живет?

– Весело-с...

– Что же у него, музыканты есть, песенники?

– Есть-с...

– И песенницы?

– Точно так-с...

– И живут тут у него в доме?

– Точно так-с...

– Что же эти песенницы все из его горничных?

– Точно, что из горничных. А то цыганки...

– Ну а много ли у него этих горничных-то?

– Да довольно-с. Девушек восемь-с...

– Скажи, пожалуйста... Какое у него веселье в самом деле... Этак веселится – и меня никогда не позовет в гости... – пошутил генерал и сам залился веселым смехом. – Ну, хорошо, братец, ступай... Я напишу Рыбинскому, чтобы он тебя не обижал... И хлеб твой велю тебе отдать... Ступай с Богом.

– Не оставьте, батюшка, ваше превосходи-

тельство... – сказал Осташков, прослезившись, и поклонился в ноги.

– Хорошо, хорошо... Все сделаю, что можно... Ступай...

Паленов дал знак Осташкову, чтобы он вышел.

– Вот по этому прошению и по этой докладной записке сейчас же сделать распоряжение о назначении следствия о поступках уездного предводителя Рыбинского... – сказал губернатор, обращаясь к правителю, который явился почти в одно время и стоял в ожидании приказаний.

– Сначала надобно объяснения потребовать, ваше превосходительство, – заметил правитель.

– Я вам говорю: следствие назначить... Что тут рассуждать, когда я вам говорю определенно... – ответил генерал, недовольный, что ему возразил подчиненный, да еще в присутствии постороннего лица. – Командировать старшего чиновника Курбатова.

Правитель канцелярии покорно преклонил голову и молча вышел.

– Ну-с, мы теперь за этого господина при-

мемся и воевать ему не дадим... – сказал генерал.

– И вы сделаете, ваше превосходительство, великое благодеяние для целого уезда... Все благомыслящие и честные люди будут вам благодарны...

Паленов стал откланиваться.

– Прощайте, почтеннейший Николай Андреевич... Очень вам благодарен, что вы были со мною откровенны.

– Я, ваше превосходительство, исполнил только долг честного человека и гражданина.

– Каков у вас исправник?...

– Про него я ничего не могу сказать, кроме хорошего...

– Говорят, не чист на руку...

– Ничего не могу вам сказать, ваше превосходительство... Может быть, и есть, но он человек бедный и смиренный...

– Все же не следует очень лапу запускать... Вы мне, пожалуйста, если что услышите, просто напишите, без церемонии, прямо... Я намерен все это искоренить... Я хочу, чтобы моя губерния была образцом...

– И будет, ваше превосходительство, при

вашем мудром взгляде на вещи... Я считаю для себя за особенную честь доверие вашего превосходительства, и будьте уверены, что, если узнаю что-нибудь такое, клонящееся ко вреду общественному, поставлю долгом довести до вашего сведения со всею откровенностью благородного человека...

– Пожалуйста... Прощайте... Нам таких благомыслящих людей нужно, как вы... Будьте здоровы...

Паленов вышел на этот раз от губернатора уже не только с сияющим лицом, но с такой неприступной гордостью во взоре, с таким сознанием своей силы и влияния, что Осташков не осмелился с ним заговорить, а Паленов, молча, утешаясь самонаслаждением, перебирал в уме своих врагов, которых он мог бы уничтожить одним почерком своего красноречивого пера.

Стоял ясный сентябрьский день. Все общество того городка, в котором жила Юлия Васильевна Кострицкая, прогуливалось по городскому бульвару. Бульваром называлось небольшое пространство, огороженное деревянной решеткой и усаженное аллеями то-

щих лип и березок. По главной, т. е. самой широкой дорожке, в половину поросшей травой и засыпанной опадающим с деревьев листом, прогуливались группами те, которые носили в городке название дам и кавалеров, по боковым, меньшим, купечество и отчасти мещанство. Юлия Васильевна с Сашенькой также гуляли на бульваре, и, разумеется, по главной аллее. Сашенька, нарядно одетая, в шляпке и с зонтиком в руках, шла несколько впереди своей мамы, которую сопровождало несколько кавалеров и дам. Саша скучала этой чопорной прогулкой, где ей не с кем было поболтать, нельзя было свободно побегать, потому что приказано было идти впереди, но далеко не убежать и не отставать, вообще вести себя хорошенько, как прилично благовоспитанной и нарядно одетой барышне, которую мама взяла с собою на показ для того, чтобы ею все любовались, а не осуждали, чтобы всякой с чувством удивления мог говорить Юлии Васильевне: «Это удивительно, как вы скоро ее выправили... Просто подумать нельзя, что месяц назад привезена из деревни и взята из такого семейства!..» А Юлия

Васильевна с приличной скромностью могла бы ответить то, что она постоянно отвечала в подобных случаях: «Нет, вы бы посмотрели как только ее привезли ко мне... Это было ужас взглянуть... Как держалась, как была одета... Вы себе представить не можете... И такая сальная, грязная девочка, что до нее дотронуться было страшно!» От скуки Сашенька посматривала по сторонам на гуляющий народ. Вдруг она весело вскрикнула и, забывши свою степенность, которую до сих пор сохраняла, бросилась прямо между деревьями в боковую аллею и повисла на шее у какого-то мальчика, не слушая голоса Юлии Васильевны, которая с недоумением кричала ей:

– Саша, Саша, что ты, с ума сошла!..

Этот мальчик был Николенька. Оставшись один, без всякого надзора, он пользовался полною свободою и целый день бродил по городу. Любопытство увлекло его и на бульвар, где он, впрочем, по робости, не осмелился идти по той дороге, где гуляли господа, а пробирался с толпой менее нарядного люда, по боковым аллеям. Он давно уже заметил сестру и узнал ее, несмотря на перемену наряда, но

стоял в недоумении за деревом и посматривал на нарядную Сашеньку, не решаясь подойти к ней и заговорить в присутствии господ, с которыми она гуляла. После первого взрыва радости Саша услышала наконец сердитый голос Юлии Васильевны, которая должна была остановиться среди прогулки и служила предметом общего любопытства.

– Поди сюда... – строго сказала Юлия Васильевна, когда Саша наконец оглянулась на нее.

– Мамаша, это Николенька... – говорила Саша, идя к Юлии Васильевне и таща за собою брата, который не шел и упирался...

– Да поди же сюда... Оставь этого мальчика... Какой Николенька?...

– Братец Николенька... – отвечала Саша, не отпуская руку брата.

– Какой братец... Да поди же ты сюда ко мне... Ах, какая ты дурная девочка, непослушная... Я тебя любить не буду...

Сашенька послушалась, бросила руку брата и подошла к мамаше.

– Это братец Николенька... – оправдывалась она.

– Да кто бы ни был, как же можно, не спросясь, броситься бежать, по траве, прямо без дороги... Разве это можно!.. Разве это прилично?... Ты должна была сначала сказать мне, спроситься... Я бы его подозвала к себе... Мальчик, поди сюда...

Но Николенька дичился, не решался подойти и прятался за дерево.

Эта сцена привлекла общее внимание, как нарушение заведенного порядка прогулки из одного конца аллеи к другому и обратно с приличным развлечением приятными разговорами...

Некоторые знакомые дамы подошли к Юлии Васильевне, другие смотрели издали; на боковой дорожке около Николеньки тоже остановилась толпа простонародья, с улыбкой и участием следя за сценой оригинальной встречи брата с сестрой. Вдруг из этой последней толпы выскочила худая, бледная, но красивая женщина, перебежала газон, разделявший две аллеи, и встала перед Юлией Васильевной.

– А меня ты узнала ли? Я кто? – спросила она ее, злобно сверкая впалыми, окруженными

ми черной тенью глазами.

Юлия Васильевна взглянула, невольно вскрикнула и отшатнулась от нее к стоявшим сзади дамам и кавалерам.

– А, узнала Парашку... Узнала, разлучница... Вот я опять пришла... Много ли завезли... Насильно замуж хотели выдать... Нет, за тысячу верст пришла... Убежала... мирским подаяньем питалась, а тебя нашла...

Юлия Васильевна, опомнившись от первого испуга и недоумения, хотела уйти... Оторопевшие, удивленные зрители не знали, что делать, и стояли в недоумении, но с любопытством...

– Врешь, не уйдешь... Теперь не уйдешь... – вскричала Параша, хватая ее за бурнус.

– Защитите... Боже мой!.. Сумасшедшая!.. – закричала в свою очередь Юлия Васильевна.

Один из кавалеров бросился на Парашу, стараясь вырвать из ее рук бурнус Юлии Васильевны.

– Сумасшедшая... Нет, не сумасшедшая... Она барина у меня отняла, Павла Петровича... Он меня любил, а теперь ее любит... Они меня в деревню заслали... Я детей бросила, чтобы

ее... – говорила Параша, стараясь освободиться из рук кавалера и как бы желая оправдаться в глазах зрителей... Но тот же кавалер, наконец победивший ее и спасший Юлию Васильевну, не дал ей кончить и сильным толчком уронил на землю...

– Держите ее, мерзавку... Не отпускайте... – обратился он к простонародью, и сам бросился успокоить Юлию Васильевну. Народ тотчас же окружил Парашу.

Этот господин был заседатель уездного суда, молодой человек из очень глупых, но очень неравнодушен к хорошеньким, давно уже простиравший виды на сердце Юлии Васильевны. Он был несказанно рад, что имел случай показать такой геройский дух перед своею возлюбленною, и летел к ней, чтобы сказать, что она вне опасности, и заслужить улыбку благодарности; но, к сожалению, лишен был и этого удовольствия. Предмет его обожания находился в обмороке: действительно или притворно – история умалчивает – но Юлия Васильевна, тотчас по освобождении бурнуса из рук Параша, сделавши несколько быстрых шагов до ближайшей ла-

вочки, вдруг лишилась чувств. Заседатель нашел около нее только двух суетящихся дам и перепуганную, плачущую Сашу.

Прочие все удалялись поспешным шагом домой, иные с видом негодования, покачивая головами, иные с двусмысленной улыбкой и даже смехом, но все с тайным удовольствием. Две дамы, не изменившие Кострицкой и оставшиеся при ней, были – жена писемоводителя предводительского, которого Рыбинский, из личного самолюбия, старался возвысить в общественном мнении и сблизить с обществом, и одна очень веселая и очень добродушная вдова, помещица, безвыездно, ради скуки, как она говорила, проживавшая в городке.

– Что, дурно? – заботливо спросил заседатель.

– Очень дурно-с... Совсем без памяти, – отвечала писемоводительша.

– Ах, Боже мой... Что же делать... За спиртом разве сбегать в аптеку...

– Ничего, пройдет... – отвечала вдова. – Она испугалась, бедненькая.

– Да, скажите, какая сумасшедшая... Если

бы не я, Бог знает, что бы было... Ах, бедная Юлия Васильевна... Нет, я сбегаяю... Велю хоть, чтоб лошади приехали за ними...

– Да вот погодите... Приходит в себя... – заметили дамы в один голос.

Юлия Васильевна открыла глаза.

– Как вы себя чувствуете? – с участием спросил заседатель.

– Мне дурно... Что это такое со мной?... Я ничего не помню... – пролепетала Юлия Васильевна. – Душенька, проводите меня домой... – сказала она, обращаясь к письмоводительше.

– Пойдемте... Пойдемте... И я вас провожу... – сказала вдова.

– Merci, beaucoup merci...[22] – томно сказала Юлия Васильевна, пожимая руку последней.

– Позвольте и мне вам сопутствовать?... – спросил заседатель.

– Merci... – ответила Юлий Васильевна и ему, кидая на него благодарный взгляд.

– О помилуйте... – проговорил восхищенный этим взглядом заседатель... – Позвольте предложить вам руку... Вам, может быть,

трудно идти... Вы так испуганы...

– Я, право, хорошенько не могу сообразить, что со мной было... – говорила Юлия Васильевна, опираясь на руку молодого человека. – Какая-то незнакомая женщина... сумасшедшая, должно быть...

– Конечно, сумасшедшая... – подтвердил заседатель. – Я насилу мог сладить с ней и оттащить от вас... А я довольно силен: пять пудов одной рукой поднимаю...

– Точно сумасшедшая-с, – вмешалась письмоводительша. – Мне муж сказывал даже, что у Павла Петровича была такая сумасшедшая женщина... Представится ей что-нибудь и говорит сама не знает какие слова...

Письмоводительша надеялась этой хитрой выдумкой угодить Юлии Васильевне, но той было неприятно, что она упоминала Павла Петровича и тем будто растолковывала весь смысл происшествия.

– Где же теперь эта женщина? – спросила она.

– А я ее сшиб с ног и велел народу присмотреть за ней... Потом мы ее посадим в полицию и, расспросивши, отправим в сумасшед-

ший дом.

– Что же вы будете расспрашивать сумасшедшую... Она сама не знает, что говорит...

– Полноте-ка, что вы... – заметила вдова. – Как вы будете распоряжаться крепостной девкой без помещика... Отправьте-ка ее лучше к Павлу Петровичу; он лучше сам знает, как распорядиться...

– Разумеется, всего лучше, – подтвердила Юлия Васильевна.

– Впрочем, я не знаю... Это не мое дело... Моя часть судебная... Это уж как хочет городничий с исправником. Я считаю себя счастливым только тем одним, что успел избавить вас от неприятности...

Юлия Васильевна молча поблагодарила председателя взглядом, который зажег в нем всю кровь, и он со вздохом слегка прижал ее руку к своему боку.

– Вы бы шли и сказали вашему мужу, – обратилась Юлия Васильевна к жене письмоводителя, – чтобы он сейчас взял и отправил эту женщину к Павлу Петровичу... Да под просмотром, чтобы она как не убежала... А то она, пожалуй, зарежет кого-нибудь...

– Слушаю-с... Так я сейчас пойду, скажу ему...

– Да, подите... И вы бы, Иван Николаич, потрудились – сказали там, чтобы ее сейчас же отправили к письмоводителю Павла Петровича, а он уж ее перешлет к нему... А то я, право, боюсь... бросилась на меня, может броситься и на другого...

– Да, это справедливо... Я сию минуту...

– Вот я уже и у дома... Очень вам благодарна...

Юлия Васильевна протянула руку заседателю. Он и письмоводительша поспешно отправились исполнять приказание Кострицкой.

– Я к вам завтра непременно приеду, добрая Настасья Львовна, – обратилась она к последней провожатой, остановясь у ворот своей квартиры. – А сегодня уж не зову вас к себе... Право, так перепугана... Страшно нездоровится... Сейчас лягу в постель...

– Ну, подите, подите... Бог с вами... Ну как не расстроиться... Долго ли и захворать... Порядочный испуг... До свидания. Так завтра жду...

– Непременно...

И приятельницы расстались.

Всходя по лестнице, Юлия Васильевна строго запретила Сашеньке рассказывать кому-нибудь в доме о том, что случилось. До сих пор Кострицкая умела притворяться и скрывать все, что было у нее на душе; но придя в свою комнату и оставшись одна, она вдруг зарыдала и бросилась в постель.

Не раскаяние, но стыд, досада, боязнь толков и пересудов терзали ее душу. Но слезами не поможешь: она начала думать, что ей делать, и ничего не придумала. Она решилась написать обо всем к Рыбинскому и послать это письмо с Афанасьей Ивановной.

Письмо было в минуту написано. Она просила в нем научить ее, как держать себя перед обществом, что делать, что говорить, если узнает об этой истории муж, или предупредить его и рассказать самой, назвавши Парашу сумасшедшей... «Всего лучше, – писала она в заключение, – приезжай сам: твое присутствие закроет всем рот, при тебе не осмелятся говорить и мужу... Своим приездом ты успокоишь меня... Я совсем убита, растеря-

на... Мне совестно смотреть на людей... Вот до чего довела меня твоя любовь... Вот что значит любить человека, который не тебе одной принадлежал всю жизнь... Ах, как ужасно положение женщины, публично опозоренной, оскорбленной... и кем же?... Тою, которая некогда была предметом обожания любимого человека... И кто же это, кто моя соперница?... Чье место я сменила в твоём сердце?... Место твоей рабы, твоей дворовой девки... О Боже мой!.. Стыжусь сама себя... стыдилась бы и твоей любви, если бы не любила тебя так сильно... Смотри, Поль, только твоё постоянство, твоя вечная любовь ко мне могут заставить меня забыть все эти страдания и утешат меня в них... Женщина обесславленная может быть счастлива только любовью того, кто ее обесславил... На тебе, Поль, лежит теперь великая обязанность: пожертвовать всею твоею жизнью для женщины, которая по твоей милости потеряла своё доброе имя... И если мы когда-нибудь расстанемся с мужем, я навсегда принадлежу тебе... Приезжай же скорее... Спасай и успокаивай свою Жули».

Написавши письмо, Юлия Васильевна от-

дала его Афанасье Ивановне, велела нанять потихоньку лошадей и ехать скорее в усадьбу Павла Петровича, где он был в то время и сам.

– Скажи ему, чтобы он тотчас же мне ответил и тотчас же возвращайся домой... Мне нужно, чтобы ты в ночь съездила туда и назад...

– Да что такое, барыня... Вы мне только скажите: что сделалось-то, а уж я слетаю... Ничего, что ночку не посплю... Вы только расскажите мне.

Афанасья Ивановна любила и умела слушать влюбленным, но требовала полной откровенности с собою. Всякой таинственности со стороны людей, которых оберегала, она не могла переносить и оскорблялась.

Юлии Васильевне было некогда, да и не хотелось рассказывать о том унижении, которое она перенесла от такой же горничной, как сама ее поверенная, и потому она хотела отделаться от Афанасьи Ивановны, ссылаясь на недостаток времени.

– Да уж вы насчет этого-то не беспокойтесь... уж одной минутой слетаю... А вот это выходит, барыня, что вы от меня скрываете...

тесь... Это уж нехорошо... Все равно всю подноготную знаю да, кажись, не выдала вас... Мне уж это очень обидно... уж этан-то и ехать скоро, скакать-то сломя голову, в ночную пору, не захочется... Бог с вами... А может быть, еще я вам что и хорошенькое присоветовала бы... Как знать... Может быть, еще и не один раз пригожусь...

Юлия Васильевна принуждена была рассказать о своей несчастной прогулке и о нападении Параши.

– Ведь вот поди ж ты... – заметила Афанасья Ивановна по окончании рассказа барыни. – Ведь бывают же и из нашей сестры такие неотвязчивые... а?... Поди ты, даром, что не господская рожа... А по мне что бы, кажись... Погуляла да и отстала... Свет-то не клином сошелся... не он один на свете... Разве только, что жизни-то прежней жалко стало лишиться... уж очень ей вольготно было жить-то; кажется, ни кого он так не любил, как ее... Мг... Поди ж ты... Ну, конечно, вам эта история неприятна... опять же при публике... Да, пускай сам, как знает, рассудит... А вашего-то при этом не было?... Ивана-то Михай-

ловича?...

– Нет... Я и боюсь, что он узнает...

– Ну, так я вот что вам, барыня, какой совет дам... Вы теперь ложитесь в постель, и если сам придет, притворитесь, что поживаете... Так и пролежите до завтра, чтобы с ним у вас никакого разговора не было... А я к утруто предъявлюсь с ответом... уж будьте на этот счет покойны... уж надо как никак дело поправлять... Ну, прощайте же, барыня... К утру меня дождитесь...

Юлия Васильевна нашла совет Афанасьи Ивановны благоразумным, легла в постель и не приказала будить себя, если уснет, а Ивану Михайловичу, если придет домой вечером, велела сказать, что нездорова.

VII

Упавши на землю, Параша тотчас было вскочила и хотела снова напасть на свою жертву, но окружающая толпа остановила ее. Параша, сообразивши, что ее покушение было бы бесполезно, села на траву на том самом месте, где стояла.

– Опять ушла, опять увернулась, – говорила она с бешенством, грозя рукою в ту сторону, где была Юлия Васильевна. – Опять тебя у меня отняли из рук... И меня же за тебя прибили... Да ничего, все равно... Теперь все узнали... И муж твой узнает... Осрамила... осрамила змею... Теперь муж-то тебе задаст... Не будешь больше с ним любиться, разлучница... Что?... Попалась ты мне...

Параша дико хохотала. Ее хохот, ее несвязные речи, ее полусумасшедший от бешенства и внутренних страданий взор, ее бледность и худоба – все заставляло окружающих считать ее за сумасшедшую. Все, стоя вокруг, смотрели на нее молча, с состраданием и отчасти со страхом. Параша наконец заметила, что она была предметом общего любопытства.

– Что вы смотрите на меня, добрые люди... – заговорила она, обращаясь к народу, и вдруг зарыдала. – Посмотрите на меня, пожалейте меня... Вот что грехи-то с людьми делают... Вот до чего грехи-то доводят... Вот теперь уж куда меня девают, куда зашлют... В Сибирь, чай... И деток я своих не увижу... Во грехе я их народила... За грехи свои их потеряла... Сама бросила... Ох, сама бросила... За тысячу верст пришла... Хотела ее, злодейку, погубить... Не этак бы я ее... Потешилась бы я над ней... Ядом бы отравила, али ножом хотела пырнуть... Да вот увидела здесь... сердце мое не вытерпело, не выждало времечка... Ох, тяжело мне, тошно мне... Что же вы меня никто не пожалеете, люди добрые?... Ведь я жалостная, горькая... На роду мне одно горе написано... Ох, неволей, ребячьей глупостью взял он меня от отца с матерью, да и приворожил к себе... Приворожил, да и бросил... вон ту полюбил, разлучницу... А я ведь лучше ее была... я ведь хорошая была, румяная, кровь с молоком... От нее я извелась, злодейка... через нее этакая стала... Теперь негодна стала... Замуж меня, замуж выдать хотел, за старого...

А им бы смеяться надо мной да тешиться... Вот же потешься теперь, варварка... Ох, ба-тюшки моя, тошнехонько мне... Куда я угодила... Детушки мои милые, родимые... крохотки мои... На кого я вас покинула?... Изведетесь вы с голода и холода, по чужим людям мыкаясь... Проклянете вы меня, добром не помянете... Ох, сердце ты мое, окаянное... Ох, жизнь ты моя, горькая, распроклятая...

Параша припала к земле и рыдала со стоном. Некоторые из зрителей прослезились и молча переглядывались между собой...

– Вы бы, тетенька, прошение подали к начальству, коли вас обижают... – заметил один мещанин. – Может бы, начальство и вступилось бы за вас...

Параша ничего не отвечала на этом совет: она даже и не слыхала его... Она дошла до того состояния, когда человек весь сосредоточен в самом себе, на своих внутренних ощущениях; невольно говорит о них, невольно высказывает все, что лежит на душе, но не видит и не сознает ничего окружающего.

– К начальству? – отозвался вместо Параша другой мещанин. – К какому начальству

она бросится? Барин-то у нее сам начальство... предводитель!

– Так что... разве над предводителем и нет никого большего... кто-нибудь да есть же... Губернатор, чай, больше его...

– Больше?... Так что, что больше? Он ему не подвластен...

– Нет, подвластен...

– Нет, не подвластен...

– Не спорь, не спорь... подвластен, – вменялся старик мещанин, – губернатор... как можно... Ему вся губерния подвластна... Да это дело-то не такое... не до него касающееся... Это надо к архиерею подавать... Вот что... Потому это дело такое... совестное... И опять же тут грех... греховный соблазн... Значит, любовное сожительство, без закона... Вот что, мои любезные... И выходит: надо к архиерею...

– Ну так что... К архиерею, так к архиерею...

Но в это время явился заседатель в сопровождении какого-то отставного драбанта, вооруженного палочкой, который носил в городе название десятского съезжей.

– Вот возьми ее... – приказал заседатель.

Параша и не заметила их прихода.

– Вставай-ка ты... пойдём... – сказал ей десятский, трогая ее своею палочкой.

Параша подняла голову и бессмысленно посмотрела на него.

– Ну что выпучила бельма-то? Вставай! – повторил десятский. – Эка неделикатная какая... Видишь: господа дожидаются...

– Ну, возьми же ее... подними... – приказал заседатель.

– Эка почтительная какая... Еще под ручку ее принимай... – пошутил десятский, грубой рукой своей приподнимая Парашу. – Подхватите, братцы, под другую-то... – обратился он к окружающим. – Этак честнее будет.

– Ну, вот и пойдём, ровно на гулянке кавалер с дамой... Ножку, сударыня, не зашибите... – продолжал шутить десятский, крепко подхватывая Парашу под руку и приготавливаясь вести ее.

– Отведи же к предводительскому письмоводителю да сдай с рук на руки... Пожалуй, и записку возьми в получении... – говорил заседатель.

– Слушаю, ваше благородие.

– Да смотри: не вырвалась бы...

– Зачем, ваше благородие, вырываться...

Мы подушевно пойдём... во всей любви...

Толпа некоторое время с любопытством провожала Парашу с десятским, который продолжал издеваться на ее счет, возбуждая смех даже в тех самых, которые за минуту жалели о бедной плачущей женщине. Параша шла за десятским молча и как будто бессознательно.

У самых ворот квартиры письмоводителя она, впрочем, спросила десятского:

– Куда же меня отправят?

– А вот узнаешь, – отвечал десятский с привычной полицейской таинственностью.

Параша знала письмоводителя. В былое время, до знакомства Рыбинского с лесничихой, он даже заискивал ее расположения: бывая в усадьбе предводителя, всегда заходил к ней, свидетельствовал ей свое уважение и убедительно просил осчастливить его дом своим посещением, если Парасковье Игнатьевне как-нибудь случится быть в городе. Поэтому Параша тотчас узнала письмоводителя, как только десятский привел ее к нему.

Письмоводитель, напротив, смущенный неведением о дальнейших судьбах Параша, затруднялся, как держать себя с нею, и считал благоразумным на всякой случай отделяться молчанием.

– Куда же вы меня теперь отправите, Иван Кондратьич?... – спросила Параша у письмоводителя.

– В усадьбу... – лаконически отвечал письмоводитель.

– К барину?...

– Да...

– А оттуда куда?... Там что со мной сделают?...

– Уж этого я не знаю... это как будет угодно Павлу Петровичу...

Параша уныло опустила голову.

– Вот вы меня в гости-то звали к себе, Иван Кондратьич, – сказала она через несколько времени с горькой улыбкой. – Вот я и попала к вам в гости... Вот какая гостья... не нарядная...

Параша залилась слезами. Письмоводитель притворился как будто и не слышал ее слов. Он торопился отправить Парашу, чтобы

скорее выйти из затруднительного положения. Впрочем, желая выказать как можно больше усердия к начальнику и опасаясь, чтобы Параша не бежала с дороги, он решился сам проводить ее. Скоро кибитка парой стояла у ворот, и он предложил Параше ехать. Та повиновалась беспрекословно. Дорогою письмоводитель упорно молчал и был искренно рад, что Параша со своей стороны тоже не прерывала молчания.

Рыбинский еще не спал и был в самом дурном расположении духа, когда ему доложили о приезде письмоводителя. Несколько часов назад он получил из губернского города письмо с нарочным от одного благоприятеля, губернаторского чиновника, который уведомлял его, что губернатор назначил над ним следствие по жалобе Осташкова и по доносу Паленова, следствие о противозаконных будто бы его действиях и предосудительном вообще поведении. Рыбинский был взбешен и разъярен, как лев. Самолюбие его и гордость были оскорблены.

— Как, надо мною следствие, над предводителем дворянства... И не потребовавши даже

объяснения... – думал он, скорыми шагами ходя по комнате. – Посмотрим... увидим... кто посмеет приехать с дозором в мой дом...

Благоразумие советовало ему принять некоторые меры предосторожности, но самолюбие подстрекало не уступать и вступить в открытый бой.

В эти минуты раздумья и недоумения застал его письмоводитель.

Иван Кондратьевич был одною из тех ничтожных и к тому еще загнанных и придавленных натурок, которые не имеют никакой личности, а будучи в коже чиновника, существуют дыханием своего начальника, чувствуют его чувствами и мыслят его разумом. Из семинаристов, выросший под строгой ферулой отца и воспитавшийся под гнетом семинарского деспотизма, он сохранил в себе лишь одну самобытную способность к мелкому плутовству, а затем и мыслил, и чувствовал, и действовал так или иначе, всегда по приказанию начальства. Таких подчиненных любят вообще начальники с характером настойчивым, упрямым и самовластным. Рыбинский тоже любил своего письмоводителя,

как мастер любит хорошо смазанную, исправно действующую машину, или кучер хорошо выезженную, поводливую лошадь. Рыбинский не помнил ни одной мысли, ни одного мнения, высказанного письмоводителем, но он не помнил и ни одного своего приказа, не исполненного с буквальной точностью, ни одного движения со стороны письмоводителя, которое не служило бы строжайшим исполнением его собственного приказа. Поэтому неожиданный приезд письмоводителя в такое позднее время и без призыва очень удивил Рыбинского. Он не мог себе объяснить этого иначе, как тем, что письмоводитель получил какие-нибудь сведения из губернского города и поспешил сообщить их ему. Он не хотел показать перед ним, что эти известия сколько-нибудь его тревожат, и потому встретил письмоводителя с веселым и покойным лицом.

– Ну что вы, Иван Кондратьевич, я думаю, перепугались совсем... Думаете, что и Бог весть какая беда грозит мне... – сказал он при входе письмоводителя.

– Нет-с... я не то чтобы... А так как жена

моя, по приказанию от Юлии Васильевны... Юлия Васильевна изволили приказать... Так я сам лично поехал, чтобы в сохранности представить...

«Так, видно, уж и Юлия получила какие-нибудь известия...» – подумал Рыбинский...

– Напрасно... это все пустяки... – сказал он. – Они увидят, как я их всех отделаю... Ну, показывайте, что у вас там такое.

– Прикажете сюда привести?... Я там их оставил под присмотром в прихожей... до вашего приказания... Я сейчас приведу-с...

– Кого приведу?... Что вы тут говорите?... Совсем спутался человек со страха...

Рыбинский усмехнулся.

– Никак нет-с... Парасковья-с... Парасковья Игнатьев...

– Что такое Парасковья... Да что вы... что с вами?... Какая Парасковья?... Разве и она жаловалась?

Рыбинский немного побледнел.

– Да говорите мне толком, – прикрикнул он на письмоводителя.

Тот совсем оторопел.

– Парасковья-с... в городе... на бульваре-с... Юлию Васильевну-с... даже и обидела... и такие слова говорила на ваш счет-с. Они и приказали ее представить к вам-с... для огласки-с... чтобы не в полицию-с... как вы изволите приказать... Я и привез ее... для побега-с... чтобы не могла бежать-с...

Рыбинский все-таки не понимал хорошенько, в чем дело, но смутно чувствовал, что случилось что-то не совсем приятное... Он заставил письмоводителя опять пересказать подробно все обстоятельства дела...

– Ах, дьявол девка!.. – вскричал он, выслушав письмоводителя и поняв наконец всю неловкость, все безобразие случившегося... Где же она... здесь?...

– Здесь-с...

– Приведите ее ко мне...

Письмоводитель вышел. Рыбинский в волнении и бешенстве ходил по комнате, посылая проклятия Параше.

Между тем весть о приезде Параша мгновенно распространилась среди дворни и приходящая наполнилась лакеями и горничными. Параша сидела в уголке, опустив голову, ни

на кого не смотрела, ничего не отвечала ни на вопросы, ни на насмешки. Вздвогнув всем телом, выслушала она приказание идти к барину, и молча пошла вслед за письмоводителем.

Рыбинский, стиснув зубы и нахмутив брови, мрачно взглянул на свою прежнюю любовницу. Он едва овладел собою, чтобы не кинуться на нее, ее худоба, страдальческое выражение лица, впалые, покрасневшие от слез глаза не произвели на него никакого впечатления и нисколько не тронули его сердца. Он видел перед собой не любящую женщину, но злейшего, хотя и презренного врага.

– Как ты попала в город? – спросил Рыбинский, с трудом выговаривая слова от душившейся его злобы.

– Я убежала...

– Ты замужем или нет?

– Нет... я убежала до свадьбы...

– Мерзавцы!.. – вырвалось из уст Рыбинского. Это приветствие было послано туда, далеко, за тысячу верст, к властям той деревни, где не умели присмотреть за Парашей и дали ей убежать.

– Ты зачем же убежала?... Зачем пришла в город?...

Параша подняла свои усталые глаза на Рыбинского, и они вдруг заискрились такой любовью и вместе такой ненавистью, что Рыбинский на одно мгновение должен был опустить свои. Но он тотчас же овладел собою и смотрел на Парашу презрительно и злобно.

– Я тебя спрашиваю: зачем ты убежала из деревни и пришла в город?... – повторил он.

– Я детей там бросила... ваших детей... – сказала она медленно и твердо, продолжая смотреть на Рыбинского тем же взглядом.

В другое время он давно бы уже бросился на Парашу, но теперь, при настоящих обстоятельствах, при неблагоприятных слухах из губернского города, он боялся дать себе волю и употреблял все усилия, чтобы овладеть собою.

– Моих детей... – проговорил он с улыбкой... – Но я тебя не об этом спрашиваю... Я тебя спрашиваю...

– Вы меня спрашиваете: зачем я из деревни убежала, зачем я замуж не пошла за ним, зачем я детей бросила?... А вы зачем раз-

любили меня?... Зачем с разлучницей связались?... Мне бы пропадать, а ей бы тешиться да смеяться надо мной?... Погубить я ее, барин, хотела... Вот зачем я шла... да Бог не привел... сердце не выждало... Да все равно... И то хорошо: уж теперь весь город знает про вашу любовь... Не любиться вам больше по-прежнему...

Глаза Параши блестели недобрым огоньком. Она захохотала. Рыбинский невольно вздрогнул и заскрежетал зубами.

– Ведьма этакая... чего ты добиваешься от меня?... Неужто ты думаешь, что тебя любить можно?...

– Где уж меня теперь любить!.. Я стара, не хороша стала... Павел Петрович... любили... да еще как... лучше меня не было...

Параша вдруг зарыдала.

– Ах, не в добрый час вы меня взяли из скотной, Павел Петрович... не в добрый, в нехороший час... Только беду вы нажили на свою и на мою голову... А как любила-то я вас!..

– Молчать, дьявол... Еще разнежничалась... что, мне ломать, что ли, себя для твоей

любви, когда я тебя без отвращения видеть не могу, ты мне противна стала... Понимаешь ли ты, к чему ты себя привела?... Ведь тебя следует в Сибирь сослать...

– Куда угодно... мне все равно... Детей только жалко...

– Жалко тебе, ведьма... Их у тебя никто не отнимал... сама бросила... Нет, ты думала бороться со мной... Вот я тебе покажу себя... я тебя образумлю... я тебя заставлю слушаться... Неотвязная любовь... дьявол этакой...

Рыбинский кликнул письмоводителя и приказал запереть Парашу в одну пустую комнату, пока он сделает о ней распоряжение. Затем он стал обдумывать: как поступить с нею. Он был в большом недоумении и не знал, на что решиться... В городе уже, вероятно, все знают и толкуют о всей этой истории. Если действительно наряжено следствие, это последнее обстоятельство всего больше может повредить ему. Надобно непременно скрыть концы. Рыбинский думал, ломал голову и не раз посылал проклятия не только Параше, но и Юлии Васильевне, и всему женскому полу...

Среди этих размышлений к нему явилась Афанасья с письмом Кострицкой.

«Вот еще расчет на вечную верность, на рабскую неизменность чувств», – думал он, читая письмо Юлии Васильевны. Ведь это удивительно... эти женщины... Самой опротивел муж через год после свадьбы, а от меня ожидает вечной любви... А какая к черту любовь... просто скуки ради... Нет никого поинтереснее меня, вот и я хорош до времени... Нет, черт вас дери... С этой любовью оскандализируешься так, что сделаешься посмешищем всей губернии...

Рыбинский опять стал перечитывать письмо Юлии Васильевны.

«Я старалась всем внушить, что она сумасшедшая: может быть, этим удастся оправдаться и объяснить дело», – читал Рыбинский.

«Ну это, по крайней мере, умно...» – думал он. Хорошо бы ее и в сумасшедший дом посадить, да теперь опасно: пожалуй, придерутся... И вдруг светлая мысль осенила его голову. Он приказал опять позвать к себе Парашу и остался с нею наедине.

– Послушай, Парасковья, – сказал он ей. – Ты любишь своих детей... тебе жалко их?...

– Что вы спрашиваете, Павел Петрович: разве я не мать?... Мне нельзя сказать, что они не мои дети... как вы говорите.

– А вот к чему я говорю... я тебя не люблю и любить не могу... Но детей мне твоих жалко... они пропадут, погибнут без тебя... По-настоящему, за твою вину тебя следовало бы сослать на поселение... Но я не хочу губить тебя и особенно твоих детей... Если ты любишь их, ты должна ехать сейчас же опять в деревню и выйти там замуж... Если же ты не согласна, то я тебя посажу в сумасшедший дом, потому что ты сумасшедшая: бегаешь от детей, бросаешься на женщин... врешь, сама не знаешь что, чему нет никаких доказательств... Выбери же любое: или замуж, или в сумасшедший дом?

– Мне теперь все равно... куда угодно... Только детей отдайте...

– Тебе и отдадут детей, если ты выйдешь замуж... А сумасшедшей не позволят держать при себе детей... Ты пойми... Я могу все с тобой сделать... Но я не хочу тебя губить... для

детей... Ты уже отмстила мне за себя... побереги же детей...

– Отпустите меня к детям...

– И ты не убежишь опять?

– Нет...

– И будешь жить с мужем?

– Буду...

С этим словом Параша громко зарыдала, бросилась к ногам Рыбинского и прильнула к ним, покрывая поцелуями. Что-то такое особенное, не бывалое: не то раскаяние, не то сострадание прокралось в сердце Рыбинского.

– Ну, перестань... Дело кончено... Любви не воротить... Я сам, может быть, уеду отсюда в Петербург... А я тебе вот что скажу... Если ты выйдешь замуж и проживешь с мужем год хорошо и как следует жене... не станешь дурачиться и выбросишь все из головы, даю тебе честное, благородное слово, что я тебя выпущу на волю со всем семейством... Ну, поди же с Богом... Ну, ну, прощай...

Усталая, истерзанная разнообразными впечатлениями дня, потрясенная наконец мыслью о вечной разлуке с Рыбинским и о возможности свидания с детьми, Параша не

могла встать с пола: она почти лишилась чувств и по приказанию Рыбинского была выведена под руки из его кабинета.

Через несколько часов после этого Параша по-прежнему ехала в дальнюю деревню Рыбинского. Сопровождавшим ее было послано строжайшее предписание, немедленно выдать Парашу замуж за хорошего жениха и по ее выбору. Вместе с тем Рыбинский строго наказывал наблюдать за нею и не спускать с глаз, а в случае, если она опять скроется, немедленно уведомить его с нарочным. В то же время приказано было обходиться с Парашей как можно ласковее и снисходительнее.

Успокоившись насчет Параша, Рыбинский написал несколько строк Юлии Васильевне, в которых советовал ей быть покойной и рассказать мужу, что ее напугала какая-то сумасшедшая, которая оказалась принадлежащею Рыбинскому; на днях он обещал и сам приехать в город.

Ивану Кондратьевичу он объявил в коротких словах, что против него составляет заговор, в котором принимает участие сам губернатор, что, вероятно, будет прислан чи-

новник для следствия или секретного дознания; но что все это чистейший вздор, не стоящий того, чтоб на него обращать внимание, что он разобьет и сконфузит всех своих врагов. Ивана Кондратьевича он предупреждал, что на все вопросы, с которыми будет, может быть, обращаться к нему чиновник, он должен отзываться неведением.

– Вы отвечайте им всем только одно, что вы ничего не знаете, и посылайте ко мне... Пусть меня спрашивают... А я знаю уж, что мне надобно будет писать... Я им покажу, что значит задевать меня... Пусть потребуют... Это неслыханное дело: назначать следствие над дворянином, предводителем, по жалобе какого-нибудь дурака и по доносу известного враля, не потребовавши даже предварительного объяснения... Я их на этой штуке поймаю... Я все дворянство подниму на ноги... Предводитель не простой дворянин... Да я и того не позволю оскорбить, если он моего уезда... Ну, поезжайте же домой... На Прасковью находят припадки сумасшествия... Вы так и в городе говорите об этом.

– Это вчера моя жена первая-с Юлию Васи-

льевну надоумила... Так ей вдруг в голову пришло сказать... С ее слов уж и Юлия Васильевна стали так говорить.

– Что ж... Это совершенно справедливо... Я в этом сегодня окончательно убедился... Еще не была ли она сверх этого и пьяна?

– Очень может статься-с!

– Очень может быть... Да, вы свезите кстати вот эту записку к Кострицкому и отдайте ему ее завтра, утром, пораньше.

Рыбинский писал к лесничему: «Любезный друг, Иван Михайлыч. Вчера мой письмоводитель прислал ко мне мою девку, которая, в пьяном виде или в припадке помешательства, которое на нее иногда находит, говорят, напугала до обморока добрейшую Юлию Васильевну. Извинись, пожалуйста, перед нею за меня, хотя я, впрочем, несколько не виноват во всей этой неприятности, и успокой ее. Я хотел было отправить эту женщину в сумасшедший дом, но из сострадания к ее детям, которые бы остались без надзора, отправил ее к ним в дальнюю мою деревню под надзор старосты. Притом эти припадки случаются с нею редко и вследствие продол-

жительного пьянства, которому она подвержена. Я бы и сам приехал успокоить Юлию Васильевну, но в настоящее время никак не могу: пропасть дела и предстоят необходимые разъезды. Итак до свидания. Твой Рыбинский.

P.S. Вероятно, эта история сильно взволнует глупые головы наших уездных кумушек и возбудит сплетни, а потому, при случае, объясни, в чем дело, и достоверность своих слов можешь засвидетельствовать как, документом, даже этим самым письмом моим».

Рыбинский знал Ивана Михайловича и был уверен, что после этого письма он не захочет слушать никаких намеков и рассказов о происшествии на бульваре, а в случае необходимости даже грудью отстоит перед клеветниками безукоризненность отношений Рыбинского к его жене.

– Да, вот еще что: вызовите ко мне Осташкова, отца, чтобы явился непременно завтра, да напишите вызов задним числом, дня четыре назад. Напишите, чтоб он явился ко мне для объяснения по жалобе на него сына его, Никанора Осташкова. Пошлите же сию мину-

ту, чтобы завтра утром он был здесь... Ну, теперь все.

Распорядившись таким образом и почти совершенно успокоенный, Рыбинский лег спать и проспал на другой день долго. Когда он проснулся, ему доложили, что его дожидаются двое Осташковых: отец и дядя Никеши. Харламий Никитич сам изъявил желание сопровождать брата, чтобы защитить его в случае надобности перед предводителем, а кстати представиться ему и пожаловаться на оскорбление, нанесенное ему Паленовым. Рыбинский тотчас же велел их позвать к себе. Александр Никитич думал, что предводитель на него накинется, будет бранить и требовать, чтобы он возвратил сыну хлеб; но вышло совсем напротив: Рыбинский принял его очень ласково и покровительственно.

– Но я ведь вызывал только тебя, – старик, спросил он, – зачем же ты привел брата?

– Я сам пожелал: так как я отставной офицер и здешний дворянин... и по своей болезни не имел еще возможности явиться, то почел долгом представиться... Честь имею рекомендоваться, отставной поручик Харламий

Осташков, здешнего уезда потомственный дворянин... – Харлампий Никитич расшаркался. Он не был еще вполне пьян и вследствие того мог выражаться довольно ясно.

– Очень приятно познакомиться, – отвечал Рыбинский с улыбкою. – Вы, значит, приехали сюда совсем, чтобы поселиться на родине?...

– Точно так-с... По своей болезни... И желаю служить по выборам... Окажите ваше милостивое содействие... Никешка негодяй, и он мог меня оклеветать пред вами, но я не такой... Служил честно и во всей справедливости... Не оставьте... так как ваше покровительство и рекомендация много может значить между дворянами...

– Ну, об этом мы после поговорим... – отвечал Рыбинский, смеясь в душе над поручиком, – а вот сначала: что ты мне скажешь, старик, по жалобе твоего сына: он мне жаловался, что ты отнял у него его хлеб, который он посеял?

– Точно-с, – отвечал Александр Никитич. – Да ведь земля вся моя, и вот братцова, покаместь мы живы... А Никанор ведь еще не от-

делен бумагой... Он только тетקיной долей может владеть... Как же он без спроса, силой взял да засеял нашу землю?... Опять же вот братец пришел, а он, Никанор, не только что-бы принять дядю, но даже его выгнал из дома и чуть не прибил... Кормить его отказался... А чем же я его буду кормить?... Вот я и взял хлеб, что он без спроса посеял на братцовой земле... Рассудите великодушно, ваше превосходительство...

– Если все это так, то ты, по моему мнению, совершенно прав; а виноват кругом Никанор... Если бы он хотел отделиться, то должен был просить об этом законным порядком: тогда бы ему и выделили узаконенную часть из всей родовой земли... А это, значит, он самоуправствовал, насильно присвоил... Каков, однако!.. Я никак не ожидал, что он такой буян...

– Буян-с, – подтвердил Харламий Никитич, – большой буян... А все оттого, что не знает дисциплины, не учен... Его бы в военную службу, под ружье... Там бы выдержали...

– А больше оттого, – прибавил Александр Никитич, – что его вот господа побаловыва-

ют, принимают да жалуют: вот он и забрал себе в голову, что он все может делать... И отца ни во что не ставит, и знать не хочет... Сами изволите рассудить, ваше превосходительство: неужто бы я захотел обидеть, кабы видел от него почтение, кабы он был сын почтительный... А то он вот обнадеялся – и знать меня не хочет... Чуть что вздумает: я, говорит, на тебя жаловаться пойду к предводителю... Ну, поди, я говорю: я ни в чем не виноват, так и господин предводитель не захочет даром обидеть меня, бедного человека... Вот и в этом деле... Видно, вас-то не получил, что ли, дома в те поры, али уж так, что, мол, к вам надумал после идти, нажаловался господину Паленову... Ну, приехали они, покричали там на меня... Да что же?... Коли я ни в чем не виноват, так что же может мне господин Паленов сделать, хоть они и богатые люди, а я бедный человек... Коли я прав, так должен в своем стоять... Ну, покричали, постращали, да ведь что же они могли со мной сделать?... Опять же, ведь и господин Паленов хоть и богатый дворянин, да ведь не предводители же они: власти надо мной не имеют...

- Так уж Паленов и к вам приезжал?
- Как же-с... приезжали...
- И говоришь: кричал на тебя, стращал?
- Как же... И, Господи, какие были и угрозы, и крики... В Сибирь даже, что ли, стращали сослать нас с братцем... А братца так даже обидели... побили.
- Как побили?
- Да-с... обижен... Прошу защиты... Жалобу приношу... – отозвался Харламбий Никитич.
- Как?... Разве можно бить дворянина, и к тому еще заслуженного офицера... Что ж вы до сих пор не пожаловались мне?... Что вы не подали прошения?... Подайте прошение... Я готов вступить за вас... Это моя обязанность... Я не позволю такого самоуправства в моем уезде...
- Позвольте к вам прибегнуть... Вы благородный человек... понимаете обиды.
- Подайте, подайте прошение... Как-то можно позволить... На что это похоже!
- Не оставьте... как благородный человек...
- Извольте, извольте... Я готов сделать для вас все, что могу... что от меня зависит... Я даже представлю вашу просьбу губернатору...

Сейчас же, по возвращении домой, напишите и подайте мне.

– Благодарю вас... Позвольте узнать: вы, верно, служили в военной службе.

– Служил... А что?...

– Сейчас можно видеть по манерам военного человека... и по благородству чувств ваших.

– Это, мой любезный, ничего не значит... Паленов тоже служил в военной службе... Ну а ты, старик, по моему мнению, совершенно прав... и я ни к чему принуждать тебя не могу... Вижу, что твой Никанор большой негодяй и сожалею, что напрасно потревожил тебя... А чтобы в другой раз сын твой не смел привозить разбирать ваши семейные дела каких-нибудь господ, подобных Паленову, так в прощении поясните и это, что Паленов взял на себя право вмешиваться в пустое дело, кричал на вас и угрожал ссылкой в Сибирь, если вы не исполните его приказаний... Это все не худо поставить на вид... Пусть он объяснит: какое он имел право принимать на себя не принадлежащую ему власть... За это ведь строго взыскивается... Ну, прощайте...

Мне больше нечего с вами делать... Завтра, если меня не будет дома, прошение можете оставить человеку...

– И насчет должности позволите надеяться?... – спросил Харламий Никитич.

– Ах, как же, помилуйте... Почту за особенное удовольствие рекомендовать вас дворянству на выборах... – отвечал Рыбинский, с худо скрытой насмешкой. – Вам в какую должность угодно баллотироваться?...

– Желаю, если можно, в исправники или в непреременные заседатели...

– А ну, что же... Очень приятно... Вы, военный человек... вероятно, очень распорядительны, следовательно, можете быть отличным исправником... Непременно, непременно... Почту за особенное удовольствие рекомендовать вас...

Харламий Никитич вышел от предводителя с торжествующим видом. Александр Никитич был также неожиданно успокоен хорошим оборотом дела. Рыбинский со своей стороны был тоже рад новому оружию в своих руках против Паленова. Он теперь был совершенно уверен в победе над ним.

VIII

Рыбинский теперь задумал приготовить и возбудить общественное мнение дворян против Паленова и против распоряжений губернатора, как бы посягающих на достоинство дворянского представителя. С этой целью он в тот же день поехал сделать визиты некоторым дворянам, своим сторонникам. Все, кому он ни рассказывал о поступке Паленова, возмущались против него, а еще более против распоряжений губернатора и выражали готовность защищать, если потребуется, своего предводителя. Рыбинский, впрочем, никого не просил об этой защите и держал себя по-прежнему с достоинством, а представлял все это, как обстоятельство немножко забавное, немножко возмутительное; он просил только обратить внимание, как он сконфузит своих врагов и разобьет все их замыслы.

Между прочим он надумал заехать к Кареву, который считался в уезде за очень умного человека и которого вследствие этого Рыбинскому хотелось привлечь на свою сторону. Он застал у него Тарханова, который уже

начал приводить в действие свое весьма выгодное коммерческое предприятие: что-то такое покупал, что-то продавал, что-то строил и беспрестанно брал у Кареева деньги, обольщал огромными барышами в будущем. Всеотрицающий, но тем не менее суетный и мелко-самолюбивый Аркадий Николаич внутренне был очень доволен приездом предводителя, который до сих пор еще не бывал у него, хотя наружно, разумеется, старался сохранить совершенное спокойствие и даже равнодушие к такой неожиданной чести. Поговоривши о том о сем, отчасти и поспоривши, Рыбинский вдруг спросил Кареева:

– Скажите, пожалуйста: вы здесь единственный человек развитый и современный... как вы понимаете Паленова?... Вы к нему, кажется, очень близки и коротко с ним знакомы... Я здесь слышу о нем весьма различные мнения; но большинство считает его человеком большого ума и громадной учености... как вы?

– Вы хотите моего откровенного мнения?

– Разумеется.

– По-моему, это пошлейший дурак, набрав-

шийся книжных фраз, которых он не в силах пережевать, и выставяющий их напоказ кстати и некстати... Я не могу себе представить человека смешнее того, который в состоянии со вниманием слушать болтовню Паленова... к этому может быть способен разве какой-нибудь идиот, Осташков... Вот в его глазах, я полагаю, Паленов просто мудрец.

– Недаром они так сошлись, – сказал Рыбинский со смехом. – Я сам, признаюсь, никогда не был о Паленове высокого мнения, но и никак не ожидал, что он такой мелкий и пустой человек, как это недавно обнаружилось... Конечно, об этом не стоило бы и говорить, если б это не было кстати... Представьте, он занимается писанием доносов... этим благородным путем он надеется заслужить расположение и милости предержавших властей... И на кого, как вы думаете, пишет он доносы и кому их подает?... Ведь этому поверить трудно; на меня, своего предводителя, он пишет доносы губернатору.

– Ах скотина!.. – сказал Тарханов.

– Дурак!.. – произнес Кареев.

– Но вы понимаете всю гадость и низость

этого поступка... Ведь этим он унижает все дворянское сословие... Ведь он поднимает руку на интересы, на достоинство того сословия, к которому сам принадлежит.

– Ну, это-то, по моему мнению, еще беда не большая, если бы он только унижал свое сословие... Это, пожалуй, было бы даже недурно...

– Как, что вы такое говорите? – спросил с удивлением Рыбинский.

– Я высказываю только свое искреннее убеждение, с которым вы, конечно, не согласитесь... Я нисколько не симпатизирую никаким сословным преимуществам и бываю всегда очень доволен, когда их несколько унижают... Но тут, в поступке Паленова, есть кое-кто похуже унижения своего сословия... Это унижение своего личного человеческого достоинства. Вот что меня возмущает...

– Но послушайте: ведь вы дворянин?

– Дворянин...

– Вы пользуетесь своими правами?

– Пользуюсь... по необходимости...

– Как по необходимости?... Значит, вы ими не дорожите?

– Нисколько...

– Значит, вы с радостью бы от них отказались?

– С величайшей...

– Я вас не понимаю... И сами добровольно согласились бы отказаться от своей независимости, добровольно подчинились бы притеснениям полиции и прочих властей...

– Совсем нет... Этому притеснению никто не должен подвергаться...

– Не должен... Не спору... Но если это так существует, если это так делается... Зачем же вы-то, человек, принадлежащий к такому словию, которое несколько освобождено от этого гнета, сами добровольно будете подставлять под него спину?...

– Потому, что я хочу жить одною жизнью со всем народом, я хочу повиноваться одинаким с ним правам, чувствовать горе, если он его чувствует, и радоваться, если он будет радоваться... потому наконец, что наши льготы, наши привилегии ничем не заслужены, не приобретены моим личным трудом, моими личными заслугами, и вследствие этого тяготят меня...

– Следовательно, вы должны сочувствовать Паленову, который своим доносом тоже посягает на дворянские преимущества и желает подвергнуть представителя своего сословия губернаторскому преследованию...

– Нет, напротив, я презираю Паленова, как доносчика, потому что донос всегда гадок на кого бы и кому бы он ни был подан.

– Ну, я не стану спорить с вами о ваших убеждениях... Наука увлекла вас вперед меня... Я доволен уже тем, что вы называете настоящим именем поступок Паленова и имеете о нем очень верное мнение... Признаюсь, я удивлялся, когда слышал от кого-то, что вы в большой приязни с этим господином... и даже считаете его достойным быть предводителем дворянства...

– Это чистейший вздор... Правда, я сходил с ним, но для того, чтобы наблюдать и изучать его, как замечательное нравственное уродство... Но скажите, пожалуйста, в чем же состоит его донос на вас?...

– О, это-то всего интереснее... Он жалуется губернатору на мою безнравственность... на мои непозволительные отношения к женщи-

нам.

Рыбинский засмеялся.

– Ах, какая скотина... какой обскурант... Это удивительно, что здесь за народ! – воскликнул Кареев, пожимая плечами.

– А наш губернатор, по этому доносу, разумеется, ничем не доказанному, говорят, назначил надо мною следствие...

– Удивительно, удивительно. Этакое уродство... Этакая тупость... говорил Кареев с негодованием.

«Эге, голубчик, – думал в это время Тарханов, – так вот в чем дело... Ты струсил, ты боишься... Недаром ты начал ездить по дворянам и заискивать... И в споры не вступаешь... И соглашаешься... И не важничаешь... Старешься подделаться... Видно, и в нас нужда пришла».

– Да, я согласен с Аркадием Степанычем, – сказал он вслух, – что мы только чванимся, важничаем, а дела не делаем... и даже гнушаемся делом... Вот писать доносы, так это ничего, это не унижительное занятие, а предложил я этому скважине, Паленову, участвовать в нашем коммерческом предприятии, так,

представьте, что ответил: по моему мнению, говорит, дворянину унизительно заниматься торговлей... Мг... скотина...

– Что это за коммерческое предприятие? – спросил Рыбинский.

– А вот мы предприняли с Аркадием Степанычем... одно лесное дело... чрезвычайно выгодная история... только не станет у нас средств завести его в широких размерах... чтобы вдруг все дело забрать в лапы... И поневоле идем потихоньку, шаг за шагом... а барыши впереди... А барыши будут, я вам скажу: по крайней мере 200 на 100... Вот не хотите ли вступить в коммерцию?... Ваше участие могло бы двинуть дело вперед... А дело честное и верное...

– Вы ведь, Тарханов, фантазер... Вы большой мастер высчитывать барыши на бумаге... да на деле-то, говорят, не так выходит... – ответил Рыбинский с улыбкой.

Тарханов обиделся.

– Я полагаю, – сказал он, – Аркадий Степаныч, человек не безголовый, образован не меньше нас с вами и счет знает... однако и он согласился, что дело верное, и пустил в него

свои деньги... Нет, вы уж лучше признайтесь, что недалеко ушли в этом от Паленова: тоже чванитесь своим барством и стыдитесь участвовать в благородном коммерческом предприятии... Вы баре... Вам бы получать денежки даром, сидя покойно на печке, не рискнувши ни копейкой своей... Вы все ждете, чтобы вам принесли да поклонились: очастливь, мол, батюшка... Вот денежки принес, так прими... Нет ли свободного места в кошельке?

Рыбинский морщился.

– Я в первый раз еще слышу, чтобы меня ставили на одну доску с Паленовым... – проговорил он сухо и с видимым неудовольствием.

– Да я и не ставлю вас на одну доску... А как же, разве это не барское чванство своего рода: не знаете даже, в чем дело, а уж говорите о нем свысока, важничаете...

– Нет, дело действительно хорошо рассчитанное и должно принести большие выгоды, – вмешался Кареев, чтобы несколько смягчить неприязненное расположение своих гостей.

– Что ж, если вы нуждаетесь в деньгах, Аркадий Степаныч, так я вам могу служить.

– Да мы не займы у вас просим, а предлагали вам, как благородному человеку, участвовать в нашем деле, чтобы отчасти капиталом, отчасти своим кредитом расширить наше предприятие... А занять-то под проценты и на вексель мы везде можем и без вас...

– Как же вам не стыдно, Тарханов... Кто ж вам говорит про проценты и векселя... я просто предлагаю Аркадию Степанычу деньги, в случае надобности... как это водится между благородными людьми...

– Очень вам благодарен... Вы очень любезны... – сказал Кареев.

– Помилуйте, стоит ли об этом говорить...

– Нет, а вы вот что лучше... Денег нам ваших не нужно... А тут есть недалеко ваша лесная пустошь, которая никакой пользы вам не приносит... Продайте нам ее подешевле, а денег подождите... Вот это будет благородно с вашей стороны...

– Об этом нужно поговорить с приказчиком... Я, признаюсь, не имею даже понятия об этой пустоши... Но, впрочем, я не отказываюсь и от продажи...

– Ну, вот за это спасибо!.. А денег-то вы нам

дадите в случае надобности... Уж коли сами обещали, так дадите...

– Полноте, Дмитрий Иванович, – заметил Кареев. – Уж вы слишком бесцеремонно рассчитываете на любезность Павла Петровича.

– Э, полноте... Вы не знаете этого человека, а я знаю... Он – благороднейшее существо... Уж коли захочет быть другом, так будет... На него тогда опирайся, как на каменную стену.

– А вы что за существо, Тарханов: то сравниваете меня с Паленовым, то называете благороднейшим существом...

– Ну, ну, не сердитесь... Я пошутить только хотел, подразнить вас... Разве я вас не знаю... Слава Богу, сколько лет знакомы. Но я представляю себе положение Паленова, когда он, после всех своих происков против вас, останется в дураках!

– И конечно, останется, – подтвердил с уверенностью Рыбинский.

– Вот будет рваться-то и беситься!.. Просто с ума сойдет.

– Однако послушайте, господа, – сказал Кареев. – Ему надо дать хороший урок, на выборах, чтобы он знал, что доносчики нетерпи-

мы в порядочных обществах.

– По-моему, зазвать его в гости да выпороть хорошенько своим судом: больше он ничего не стоит, – заметил Тарханов. – Да так выпороть, чтобы и сам век помнил, да и детям заказал доносы писать...

Все усмехнулись.

– Ну, уж это слишком, – сказал Кареев.

– Да что же с ним?... Разговаривать, что ли?...

– Ну, полноте, господа, – возразил Рыбинский, – он будет наказан уже тем, что останется в дураках, во-вторых тем, что им будет гнущаться все порядочное общество... Пусть он наслаждается драгоценной приязнью губернатора... А уж как он к нему ни подделывайся, губернатор не может же заставить выбрать его в предводители... А ведь это цель всей его жизни...

– Неужели он метит в предводители?...

– Как же... В этом все его мечты...

– Черняками его!.. Черняками, голубчика... – вскричал Тарханов. Просить, кланяться, чтобы удостоил принять на себя это звание... а потом на вороных и прокатить... Вот это бу-

дет потеха...

Рыбинский молча и скромно улыбался.

– Однако, господа, прощайте, – сказал он. – Мне еще надобно в город ехать отгрызаться от этой стаи, которую напустил на меня Паленов... Мне, ей-богу, эта история доставляет истинное удовольствие, и я отчасти благодарен Паленову... По крайней мере несколько оживил нашу монотонную жизнь: есть о чем говорить, есть с чем бороться... А то просто тоска начинала одолевать...

– Ну вот теперь наше дело пойдет, лишь бы только он сдержал свое слово, – сказал Тарханов, оставшись наедине с Кареевым. – А струсил, голубчик, видимо, струсил... Видно, Паленов таки ловко его задел... Ну, да ничего... Я отчасти даже благодарен Паленову за это... Потихе будет, очень уж важничать начал... Не подступайся... Черт не брат...

– Полноте, Дмитрий Иваныч, как вам не стыдно оправдывать Паленова, – заметил Кареев. – По-моему, Рыбинский очень неглупый и порядочный человек... Правда, он немножко отсталый и барин в душе, но все-таки он недостижимо выше всей прочей здешней сво-

лочи.

– Да я не оправдываю Паленова... Разумеется, это гнусно... Я говорю только к тому, что у Рыбинского была замашка поважничать своим предводительством...

– Вы сами виноваты, господа... Вы сами делаете из этого звания Бог знает что... Сами балуете человека: поневоле он важничает... А вот посмотрите: приехал он к человеку независимого образа мыслей, как я... он совсем другой... И тени нет той важности, которую он напускает перед другим... Видит, что тут ничем не удивит, что тут уважают в нем только человека, а не предводителя, вот он сейчас и становится просто человеком... Незрелость здешнего общества балует людей... Нет, он еще порядочный человек... Он сейчас видит, где как надо держать себя... Я мало знал его...

– Да, разумеется... Я против него ничего не скажу... Он славный малый, – сказал Тарханов, а сам про себя подумал: «Дурак ты, дурак! Он и знать-то тебя не хотел до сих пор, пока ему не понадобилось доброе мнение дворян... Очень ему нужно, что ты человек независи-

мого образа мыслей! Ты говорить умеешь, хоть и вздор говоришь, задор в тебе есть, да лишний шар в твоих руках, вот ты и стал ему нужен... Однако надо к нему съездить и совершить купчую поскорее, ковать железо пока горячо... А пустошь великолепная... Купивши ее, тотчас же можно продать купцам, а деньги в оборот...»

– Вы думаете, он дорожит, что ли, предводительством, – продолжал Кареев. – Ему нужна только широкая, независимая жизнь... Я знаю эти натуры... А ему еще дают и власть и почет... Отчего же не взять, коли дают?... А и потеряет – поверьте, жалеть не станет... Посмотрите: он ни к кому не подделывается, ни за кем не ухаживает; он всегда в оппозиции и со всеми губернскими властями в ссоре... Это мне чрезвычайно нравится в нем, и все это говорит в его пользу... И его непременно надо бы выбрать губернским предводителем вам, господа дворяне, которые так дорожите своими сословными преимуществами... Он был бы отличный вам защитник... уж он не дал бы дворян в обиду... Никому бы не уступил... Будьте уверены...

– Разумеется, разумеется... – соглашался
Тарханов, думая совсем о другом.

IX

Между тем уездный городок был в сильном смятии. Во всех домах дамы только и говорили, что о происшествии на бульваре: обсуждали его со всех сторон, оценивали всю безнравственность поведения лесничихи, признавались друг другу, что связь ее с предводителем давно была каждой известна, совещались о том, как держать себя с нею; и решились, что теперь, когда все дело обнаружилось, совестно быть даже знакомою с такой женщиной, что у них есть дочери, которые от сближения с такою особою могут заразиться и потерять нравственность, что ее надобно стараться избегать. Никто не хотел верить, что Параша сумасшедшая: все были уверены в противном, каждая видела ее своими глазами; оказались даже такие дамы, которые имели случай говорить с ней и убедились, что в ней нет даже и признаков помешательства; что она несчастная, презренная женщина, но очень хорошо и благоразумно рассуждает;

что она не была пьяна, как уверяет сгруппа Иван Михайлыч, который не видит, что делается у него под носом, или, может быть, нарочно видеть не хочет из своих собственных выгод, потому что Рыбинский постоянно ему проигрывает в карты; да ведь всякому наконец известно, что лесничий даже всю провизию получает из деревни предводителя. Что Параша не была пьяна – в этом тоже нет никакого сомнения. Она даже никогда и вина в рот не брала. Что она сумасшедшая, что она была пьяна – это чистейший вздор, выдумка!.. Да и во всяком случае эта выдумка ни к чему послужить не может: она не может быть ни резонном, ни оправданием. Ну, предположим даже, рассуждали дамы, предположим, что эта несчастная, презренная девка действительно сумасшедшая или пьяная: ну, что ж из этого? Все-таки она говорила слова, которые что-нибудь да значат... Отчего же она не бросилась ни на меня, ни на вас, а прямо на нее, отчего же она в сумасшествии или в пьяном виде не говорила чего-нибудь другого, а именно указывала на связь лесничихи с предводителем?... Ах, Боже мой, да кому же наконец

это не известно, кто же из нас этого не знает? – решили дамы. Но такой афронт, такой публичный скандал... Ведь она бить ее хотела, ведь, если бы не отнял ее Иван Николаич, она непременно бы ее избилла, может быть, даже до смерти бы убила... да и непременно бы убила... и поделом!.. Но только как же быть знакомой с подобной женщиной... Можно ли ее после всего этого принимать к себе!..

Сначала мужское поколение городка отделялось молчанием или выражалось неопределенно и смутно относительно этого запутанного обстоятельства; а мужья, некоторым образом зависящие от предводителя, даже заступались за Юлию Васильевну, говорили, что мало ли что случается в жизни; что по происшествию на бульваре ничего решительного нельзя сказать об отношениях Юлии Васильевны к Рыбинскому; что сумасшедшей женщине мало ли что может прийти в голову; что Юлия Васильевна, дама добрая, веселая и любезная, у которой так приятно бывать и проводить время, что, наконец, если бы и действительно что и было между ею и предводителем, так кому какое дело, кто кому

судья?... Не осуждай, да не судим будешь... И изо всего этого выводили такое заключение, что лучше это дело забыть, или оставить так, как будто его вовсе не было, не огорчать понапрасну Юлию Васильевну и не прекращать с нею приятного знакомства. Но на третий день после события на бульваре приехал из губернского города Паленов. Узнав о случившемся, он пришел в неописанное восхищение и тут же объявил, что Рыбинский пропал, что над ним наряжается следствие и сегодня же или завтра приедет чиновник от губернатора, для производства следствия, и что это бульварное происшествие тоже будет сообщено губернатору, присоединится к следствию, как сильнейшее доказательство против Рыбинского, и окончательно погубит его. Как только это известие дошло до слуха мужей, защитников Юлии Васильевны, в ту же минуту образ мыслей их изменился: она сделалась в их глазах преступной, погибшей женщиной, не заслуживающей никакого уважения, знакомство с которой даже постыдно для их жен; и последним дано было торжественное приказание держать себя подальше от нее,

или разрешение делать с преступницей, что сами знают... В этот же день опять стояла ясная погода; опять, по обычаю, было гулянье на бульваре; Юлия Васильевна, успокоенная письмом Рыбинского, мерами, которые он принял относительно Параши, наконец тем, что муж ее не обратил особенного внимания на происшествие, решила также отправиться на бульвар, – отчасти для того, чтобы показать перед публикой, что она несколько не сконфужена, отчасти для того, чтобы посмотреть, какое впечатление произвел на общество этот несчастный случай. Правда, с некоторою внутреннею робостию, но с лицом совершенно веселым и спокойным, вступила она на бульвар в сопровождении Сашеньки... Но – увы! – она никак не ожидала того приема, который ей сделают... Дамы от нее торжественно отворачивались, не отвечали на ее поклоны или, небрежно кивая головой, смотрели на нее с высокомерным презрением. Добродушной вдовы на беду не было на бульваре, а Юлия Васильевна не взяла предосторожности пригласить ее с собою.

Как ни была бойка и самоуверенна лесни-

чиха, но такое, публично выраженное, общее пренебрежение ее озадачило и уничтожило. Едва удерживая слезы, которые душили ее, она только ради приличия прошла раза два аллею одна-одинешенька, стараясь придавать лицу презрительную мину при встрече с дамами, но не в силах была долго выносить этой неравной борьбы – и отправилась домой.

На улице она встретила заседателя, своего поклонника, который тоже отправлялся на гулянье. Он подошел к ней.

– Вы слышали? – спросил он таинственно с каким-то озабоченным и даже несколько грубокомысленным выражением лица.

– Что такое?

– Очень большая неприятность для Павла Петровича...

– Да что же такое?

– Над ним наряжено секретное следствие о его противозаконных действиях и безнравственном поведении.

Юлия Васильевна вспыхнула, потом побледнела.

– Какое же это безнравственное поведе-

ние... Что это значит?... В чем же его обвиняют?... Что он такое сделал?... – спрашивала она, едва переводя дух.

– Как мне вам это объяснить... Это довольно затруднительно высказать пред дамою... потому о таких предметах в дамском обществе говорить не принято... даже невозможно... но только очень, очень может быть неприятно для Павла Петровича, если все это будет открыто...

– Да что же такое?... Скажите мне, пожалуйста, прямо... Не стесняйтесь... Я не девушка...

– Вот видите: будто бы он... Но нет, не могу, решительно не могу... Я никогда с дамами не говорил о таких вещах... а тем более с вами... Может быть, вы узнаете со временем все, но только не от меня... А я вам только одно скажу, что вы жестоко ошибались в этом человеке... Он не заслуживал...

Заседатель не договорил.

– Чего? – спросила Юлия Васильевна, и краска досады покрыла ее лицо.

– Вы сами знаете... – сказал со вздохом и с упреком в голосе заседатель.

– Я вас не понимаю... – проговорила Юлия Васильевна и в голосе ее звучала досада.

– Понимаете, Юлия Васильевна... – произнес заседатель опять со вздохом и потрясая головою.

– Пожалуйста, не говорите со мною загадками; говорите прямо, чтобы и я могла прямо отвечать вам.

– Я вам только одно скажу, Юлия Васильевна, что вы отвергали людей вам искренно преданных... и, может быть, даже таких, которые жизни своей не пожалели бы для вас... чему уже и были доказательства... еще очень недавно и не далеко отсюда, на бульваре... и предпочитали этим людям человека... безнравственного, дурного, о котором наконец узнало даже правительство... и назначает над ним следствие... Вот я вам довольно прямо сказал... Неужели вы и теперь не понимаете?...

– Я понимаю только одно, что вы говорите что-то такое, оскорбительное для меня... на что я вам не давала никакого повода и чего никому не позволю... Прошу вас: оставьте меня...

– Я, оскорбительное... Я... вам... – лепетал озадаченный заседатель. – Я всегда... Я никогда, Юлия Васильевна... кроме благоговения... кроме восторга...

– Я вам повторяю: оставьте меня с вашим благоговением и восторгом... Я не нуждаюсь в них...

– Но вы забываете, Юлия Васильевна... чем вы мне обязаны... Без меня... вас может быть... Никто не хотел вступить за вас... Один я...

– Как вам не стыдно хвалиться перед женщиною пустой услугой, которую вы ей оказали... которую вы обязаны были оказать, если вы порядочный человек... Но порядочный человек никогда не станет напоминать об этом женщине... Я вас благодарила за услугу, которую вы мне сделали... Чего ж вы еще хотите от меня?...

– Если бы вы понимали меня, Юлия Васильевна... Если бы вы знали, что я чувствую... вы не говорили бы так... вы пожалели бы этого человека, который... который...

– Который, случайно оказав женщине ничтожную услугу, считает себя вправе гово-

рить ей оскорбительные вещи и ожидать от нее какого-то особенного внимания, которого она никому не оказывает, кроме своего мужа... Стыдитесь... Вы мне смешны... Вот мой дом... Прощайте...

И Юлия Васильевна отвернулась от заседателя и быстро вошла в ворота, оставив у них своего поклонника, прежде нежели он успел снять шляпу, чтобы поклониться.

– Ах ты, черт тебя возьми... – проговорил заседатель, поправляя шляпу и с остервенением потрясая тросточкой, которою был вооружен. – Погоди ж ты... Будет и на нашей улице праздник...

И он отправился на бульвар сплетничать насчет предмета своего поклонения.

Юлия Васильевна, придя домой, плакала до истерики. Она посылала даже проклятия Рыбинскому за то, что он не едет утешить ее и успокоить. На следующий день Рыбинский явился. Юлия Васильевна была несказанно обрадована его приездом, но ей все как-то не удавалось остаться с ним наедине. Рыбинский как будто умышленно избегал этого. В присутствии мужа он очень много извинялся

пред Юлией Васильевной за Парашу и выразил надежду, что она не обращает на это внимания и что это обстоятельство не так напугало ее, чтобы потревожить ее драгоценное здоровье. Юлия Васильевна пристально вглядывалась в лицо Рыбинского, чтобы прочесть на нем что-нибудь, ловила его взгляды, чтобы узнать хоть из них что лежало у него на душе, но лицо Павла Петровича было совершенно весело и покойно, а в глазах его Юлия Васильевна не могла изловить никакого особенного выражения, как будто Рыбинскому нечего было сказать ей, нечем поделиться.

– А что это, дружище, на тебя за напасть? – спросил Кострицкий в присутствии жены. – Слышал ли ты? Здесь с часа на час ждут следственной комиссии над тобою... Вчера и на меня здешние скоты смотрели как-то особенно, точно я соучастник в твоих преступлениях... Зная наши дружеские отношения, не хотели сказать мне, в чем дело, но, видимо, все ждут тебе какой-то беды... Слышал ты что или нет?

– Давно знаю и смеюсь над всем этим...

Здесьняя сволочь воображает, что коли губернатор прогневался на кого, так и пропал тот человек... А вот я посмотрю, что-то они тогда заговорят, когда я разобью все эти козни, да еще потребую от губернатора удовлетворения: как он смел оскорбить предводителя дворянства: назначил над ним следствие, не имея достаточных доказательств кроме жалобы дурака Осташкова и доноса какого-нибудь подлеца Паленова.

– Как, разве Осташков на тебя жаловался?

– Как же...

– Ах, мерзавец... Да за что же?

– Черт его знает... Не знаю хорошенько... что я не исполнил, что ли, его просьбы и приколотил его... как он приходил просить... Помнишь?

– Ах, каналья этакой... Да ведь это было у меня в доме, следовательно, я свидетель... Ха, ха, ха!.. Каков!.. Что Юлия Васильевна, что благодетели... Отогрели змею на сердце...

– Ну, да что, об этом не стоит говорить... Это его подбил Паленов... Но вот что всего интереснее – это донос Паленова...

– Да в чем же он, в чем состоит?

– Пойдем в кабинет, я тебе расскажу... При Юлии Васильевне неловко: в таких преступлениях он меня обвиняет... И ведь, что всего забавнее: они покрывают это, вероятно, тайной, а меня давно обо всем уведомили...

Рыбинский вышел под руку с Кострицким, а Юлия Васильевна опять осталась в неведении и беспокойстве... Ее мучило любопытство и почему-то ревность. С досады она готова была заплакать. В это время к ней прибежала Сашенька, веселая и счастливая, как всегда. Юлия Васильевна с досадой оттолкнула ее от себя.

– Поди прочь, – сказала она ей, – твой отец мерзавец, ябедник... Он написал жалобу на своего благодетеля, на Павла Петровича. Поди вон отсюда... Не надоедай мне.

Удивленная и испуганная Сашенька вышла из гостиной тихими шагами. В уме ее как будто врезались слова, что отец ее мерзавец, ябедник. Она побежала рассказывать об этом Уляшке, которая помогла ей уразуметь эти слова.

Целый день Юлия Васильевна искала случая остаться наедине с Рыбинским, но слу-

чай, как назло, не представлялся. На другой день, однако, она улучила удобную минуту, когда муж ушел куда-то, и вошла в кабинет к Рыбинскому. Он что-то писал.

– Послушай, Поль, – сказала она с упреком, садясь возле него. – Ты нынче просто бегаешь от меня...

– С чего это ты взяла, Юлия, ты видишь как я занят...

– Но, мне кажется, прежде всех занятий тебе следовало бы успокоить меня... Ты знаешь, что я вынесла в эти дни по твоей милости... Ты должен бы был бросить все твои дела и подумать прежде всего обо мне...

– Ну, извините, Юлия Васильевна, вы меня должны знать... Вам должно быть известно, что я не способен на такое самоотвержение, чтобы бросать все свои дела при подобных обстоятельствах, когда на карте поставлена моя честь и мое самолюбие... Я не мальчик, а сорокалетний мужчина... И я никак не ожидать, чтобы вы стали требовать от меня подобных жертвований... Я слышал, что любящие женщины неспособны на такие эгоистические требования...

– Поль, я вижу, ты начинаешь охладевать ко мне... Я тебе начинаю так же надоедать, как Парашка...

– Если женщина упорно держится за какую-нибудь фантазию, так эта фантазия наконец начинает казаться ей действительностью... Это вещь известная... Ты постоянно думаешь только о том, что я должен охладеть к тебе, и вот уже тебе начинает казаться, что я охладел в самом деле... Но это скучно, Юлия... Я тебе говорил несколько раз, что живу только для настоящей минуты, в будущее никогда не заглядываю и никогда не ручаюсь за него... Поверь мне, что если я к тебе охладею, так ты не в силах будешь удержать меня никакими упреками... Независимость для меня дороже всего...

– Но ты подумал ли когда-нибудь о том, что будет со мною, если ты разлюбишь меня...

– Не думал и не хочу думать...

– Я умру либо сойду с ума, – сказала Юлия Васильевна сентиментально.

– Ах, Юлия, признаюсь тебе откровенно: вот подобными фразами ты можешь охладить меня. Я люблю жизнь, веселье, радость в

лице женщины... Сентиментальность и нытье не в моем вкусе: они мне противны.

– Но ты забываешь, Поль, что я по твоей милости оскандализирована пред целым обществом: от меня все отворачиваются, мне не кланяются, меня оскорбляют публично по твоей милости...

– погоди вот немножко: дай мне только победить моих врагов – и, поверь – к тебе возвратятся и уважение, и внимание общества... Я знаю этот мирок.

– Ну а если этого не случится?... Каково будет мое положение?... Ты только подумай об этом...

– Но послушай, Юлия... Чего же ты наконец хочешь от меня?

– Побольше любви и внимания... Дай мне наконец уверенность, что я не игрушка твоя на одну минуту, что ты никогда меня не бросишь...

– Никогда!.. Каково словцо!.. И это говорит женщина, которая была влюблена в своего мужа, а потом возненавидела его... Ведь ты тоже давала ему клятвы в самой любви... А велика ли была эта вечность?...

– Но он никогда так не страдал за меня, как я за тебя; я никогда не чувствовала такой обязанности постоянно любить его, как должен ты чувствовать теперь, после всего что случилось... Наконец, я не знала, что он сделается таким пьяницей и так охладет ко мне...

– Ну, почему же ты знаешь, что я не утрачу некогда всех своих достоинств в твоих глазах?... Вот тебе начинает представляться, что я охлаждаюсь в чувствах к тебе... Слово-то ведь какое выдумали: насилу выговоришь!.. Ну, следовательно, и ты должна охладеть...

– Ты шутишь, ты смеешься на до мной, Поль...

Юлия Васильевна заплакала.

– Bravo, уж и слезы на сцену... Нет, Юлия Васильевна, пожалуйста... Мы начинаем вести себя, как мальчишки. Кончите это, если не хотите сами испортить наших отношений...

– Ну, ну... Изволь, я успокою тебя: не стану ни плакать, ни говорить тебе о том, что чувствую, что меня мучит, только не переставай любить меня. – Юлия Васильевна обвила руками его шею.

– Ну вот так лучше, только дай мне время... Нужно писать, да того и смотри – кто-нибудь войдет...

– Что же ты мне не расскажешь, в чем состоит донос на тебя?

– Э, мой ангел, это мерзость, о которой не стоит говорить... И слуха твоего сквернить не хочу...

– Ты опять что-то скрываешь от меня... Тебе совестно мне признаться... Верно, есть в этом доносе правда?

Рыбинский нахмурился. Эта продолжительная беседа на одну и ту же тему надоела ему; привязчивость Юлии Васильевны делалась ему противна, но он сдержал себя, чтобы не сказать чего-нибудь слишком грубого.

– Правда или нет – это все равно, – сказал он довольно сухо, – только совеститься и скрывать мне нечего, потому что это известно всему городу; и если тебя мучит любопытство, то ты можешь узнать все от первого встречного... Но я тебе повторяю, что не хочу оскорблять твоего слуха, передавая те мерзости, в которых меня обвиняют... Ну, однако, поди, пожалуйста, Юлия... Мне некогда... Да и

право, муж войдет... Нехорошо...

– Ну, ну, уйду... Только не сердись и поцелуй меня...

Никогда Юлия Васильевна не была так противна Рыбинскому, как в эту минуту, и никогда он не целовал ее так холодно, как в этот раз.

«Нет, это из рук вон противно, – думал он, провожая глазами Юлию Васильевну. – Эта история становится серьезна и скучна... Женщине благо начать, а там ее упрекам, ее требованиям и конца не будет... Нет, видно, надобно как-нибудь кончить... Она начинает играть в очень опасную игру... Пожалуй, затянешься так, что после и выхода не будет...»

А Юлия Васильевна в то же время думала: «Нет, нет, он стал не тот, он, видимо, отделяется фразами, отшучивается... Он намерен бросить меня... Я ему надоела... Надобно наблюдать за ним и не выпускать из рук...»

Х

Грозные следователи приехали, и следствие над Рыбинским началось. Хотя следствие это производилось по секрету и следователи все свои действия покрывали непроницаемой тайной, но в городе все было известно еще до их приезда, а таинственностью своих действий следователи утешали только сами себя, потому что каждый их шаг, каждая строка, выходящая из-под их, покрытого мраком, пера, в ту же минуту становились общим достоянием. Этому много способствовал сам Рыбинский, нарочно оглашавший все, что следователи особенно желали бы скрыть. И напрасно ретивые следователи, воодушевленные лично им высказанным желанием губернатора, старались отыскать обстоятельства, которые могли бы обвинить Рыбинского: он везде выходил чист и прав. Сам он давал на все запросы следователей письменные объяснения очень ловкие, определенные, написанные тоном умеренным, скромным, но с достоинством. На запрос относительно побоев, будто бы нанесенных Рыбинским Осташкову, он

отвечал с иронией, что хотя губернатору должно быть известно, что подобные жалобы не имеют никакого значения и силы, если не подтверждены свидетельством посторонних лиц, которых Осташков не указывает, и хотя его превосходительству не следовало бы даже принимать подобной бездоказательной просьбы, а не только назначать по ней следствие; и хотя ответ обвиняемого подобным образом может быть определен заранее, но он считает себя обязанным отвечать, что он никогда не бил Осташкова, и в то же время заявить, что он оскорблен доверием, которое его превосходительству угодно было дать такой бездоказательной клевете, и полагает, что и все дворянство уезда, удостоившее его избрания в свои предводителя, сочтет себя оскорбленным в его лице. На запрос о жалобе Осташкова, что он не захотел принять участия в притеснениях, нанесенных ему его отцом и дядей, Рыбинский отвечал, что он не хотел только допустить вмешательства в это дело Паленова, который без всякого права и без всякого основания осмелился обратиться к нему, предводителю, с письмом, наполнен-

ным неуместными и оскорбительными выражениями, а что он не оставил просьбы Осташкова без внимания – и это гг. следователи могут видеть из того, что на другой же день был послан вызов к отцу Осташкова, по которому он и явился: выслушавши же его объявления Рыбинский нашел, что, в пределах данной ему власти, он не мог взять на себя права решить это дела, требующее судебного разбирательства, хотя и считает отца Осташкова совершенно правым, а жалобы на него сына неосновательными. При этом, как доказательство вздорного характера Паленова, Рыбинский представил прошение на него, поданное к нему Александром Никитичем. Расспросы и розыски следователей по указаниям Паленова также ни к чему не повели. Никто не мог запретить Рыбинскому держать у себя хор певчих, а на безнравственность его отношений к своим горничным никаких улик не оказалось. Когда было получено от губернатора предписание присоединить к следствию сведения, полученные губернатором о Параше, все полагали, что пред этим обстоятельством Рыбинский наконец станет в тупик и

запутается; но он объяснил, что Параша, вследствие дурного своего поведения и наклонности к пьянству, доведившему ее до припадков бешенства, была отправлена им, для исправления, в дальнюю вотчину, под надзором старосты, вместе с незаконно прижитыми детьми, что она бежала оттуда и в пьяном виде поймана здесь в городе и привезена была к нему, что вследствие изъявленного ею раскаяния и желания выйти замуж за одного из крестьян той вотчины, она вновь отправлена им туда, и что если раскаяние ее было искренно и она не изменила своему намерению, то, вероятно, в скором времени, а может быть уже и теперь, вышла замуж, согласно собственному своему выбору и желанию. Давши это объяснение, Рыбинский в то же время послал нарочного в ту губернию, где находилось имение, куда отправлена была Параша; этому нарочному была вручена довольно значительная сумма денег, часть которой он должен был отдать Параше, как приданое на ее свадьбу, а остальное употребить по усмотрению, в случае если по требованию следователей Параша будет подвергну-

та допросу и будет давать неблагоприятные для Рыбинского показания.

По мере того как следствие шло так благоприятно для Рыбинского, лица городских чиновников при встрече с ним расцветали, улыбки их делались умильнее и поклоны почтительнее; а дворяне – благоприятели Рыбинского – приходили в большее и большее негодование против губернатора и Паленова. Кареев разъезжал по уезду и возмущал дворян: он предлагал послать губернскому предводителю письмо за общим подписом, с требованием вступить за честь напрасно оскорбляемого, всеми уважаемого предводителя и довести об этом до сведения министра. Письмо это было действительно написано и послано. К этому времени возвратились в губернский город и следователи, с печальными лицами и с полнейшим неуспехом. Оставалась одна надежда – на показание Параши; но когда оно пришло, губернатор с досадою увидел, что и в нем нет ничего, что могло бы служить к обвинению Рыбинского. Губернский предводитель сначала не решался исполнить требование дворян и ограничился только

тем, что заявил его сконфуженному губернатору. Но, по окончании следствия, торжествующий Рыбинский сам явился к нему, объявил, что он посылает жалобу министру на незаконность и оскорбительность действий губернатора, и требовал, чтобы он со своей стороны сделал то же, так как вызываем был к этому общим голосом дворян. Нерешительный и миролюбивый старик должен был уступить и согласиться. Через несколько времени по городу разнесся слух, что губернатор получил из Петербурга запрос по делу Рыбинского, а вслед за тем строжайшее замечание за неосмотрительность и незаконность действий. Рыбинский сделался героем всего губернского общества, которое было вообще недоволено губернатором. К величайшему неудовольствию последнего, Рыбинский взял отпуск и нарочно поселился в губернском городе, где беспрестанно давал обеды и балы, не приглашая на них губернатора и охотно рассказывая при всяком случае о его неудачном нападении. Паленов был совершенно уничтожен и упал духом. Он замечал, что большинство дворян его оставило, или смеется над

ним почти в глаза. Даже партия его единомышленников расстроилась: даже маленький генерал заметил ему, что он увлекся, что если бы он держал Осташкова на приличной от себя дистанции, делал бы ему благодеяния, но не позволял бы ему забываться и не принимал участия во всех дрызгах его жизни, то ничего бы этого не случилось...

– Помилуйте, наше ли с вами дело возиться с этим народом... Всякий должен знать свое место... Ну, нуждается человек – дать ему денег, и то немного... А потом ступай вон... Ведь вот я сам тоже благодетельствовал ему, но дальше и ничего. Увлеклись, увлеклись, батюшка... увлеклись до унижения... – заключил генерал с важностью.

Паленов чувствовал, что даже его собственная партия не считает его более способным быть предводителем. Он упал духом до такой степени, что даже не решился ехать на выборы, а когда узнал, что Рыбинский большим числом голосов избран в губернские предводители, даже сделался болен от бешенства, и, выздоровевши, объявил жене, что не может более жить здесь и предложил пере-

ехать в Москву или Петербург. Жена с радостью согласилась, и через месяц после того усадьба Паленова опустела.

XI

Никеша, обрадованный сначала приказанием губернатора возвратить отнятый у него хлеб, что полиция тотчас и объявила Александру Никитичу, первое время по возвращении из города с торжеством посматривал на домашних и с важностью рассказывал давно всем известную историю о его свидании с губернатором. Александр Никитич обещал исполнить губернаторское приказание, возвратить хлеб, взятый у Никеша, но объявил, что до своей смерти он не даст Никеше земли и что никто его к этому принудить не может. Никеша храбрился перед отцом и дядей, и семейная вражда возрастала. Прасковья Федоровна торжествовала и беспрестанно твердила Никеше:

– А что, Никанор Александрович, говорила ли я тебе, что только держись за господ – и не будешь оставлен... А скажи-ка: кто тебя в эту компанию ввел... Не холопка ли свекровь...

То-то, мой милый дружок, вот до чего дошел: с губернатором удостоился говорить, в комнатах у него, в самом кабинете был...

Но, несмотря на это торжество, в душе Никеша не было покойно. Со страхом и трепетом думал он о том, что осмелился подать жалобу на такого человека, как Рыбинский. Он не смел даже об этом сказать и своим домашним и внутренне сетовал на Паленова, что он ввел его в это дело.

«Ну, тягались бы между собой, – думал он, – а меня-то зачем в ответ поставили... уж Павел Петрович дойдет меня, уж я знаю, что дойдет... Опять же он и благодетель мой: Сашеньку взял на воспитание... Ай, не хорошо дело...» Никеша боялся даже ездить к дворянам, опасаясь встретиться там с Рыбинским. Навешал только одного Паленова; но каждый раз замечал, что Николай Андреич становится все мрачнее, и с ним как будто не такой, как прежде. Живя в своих Охлопках и никуда не показываясь, он не знал, что делается в городе, и не подозревал о следствии, которое производилось над Рыбинским.

Между тем наставала зима. Никеша знал,

что приближаются выборы, и отправился к Паленову напомнить об его обещании – попросить о помещении сына в гимназию на дворянский счет. Он застал Паленова раздраженным до высочайшей степени. Никеша робко поклонился. Паленов не обращал на него внимания.

– На выборы не изволите ли собираться? – осмелился он спросить после продолжительного молчания.

– Убирайся, братец ты... Не ходи ко мне, не показывай своей рожи, которая только раздражает меня...

– Батюшка, благодетель... Простите вы меня: в чем я провинился перед вами?...

– Пошел вон, говорят тебе... – закричал на него Паленов. – Я из-за тебя, скота, сделался общим посмешищем: мне показаться никуда нельзя по твоей милости... И вздумал в самом деле принимать участие в этаких скотах... На выборы ехать... На выборы... Пошел вон... Не надоедай.

Никеша печальный вышел и стал расспрашивать дворню о причине барского гнева. Абрам Григорьевич, страдавший больше всех от

этого гнева, только ругнулся вместо всякого ответа на вопрос Никеша. Аристарх Николаевич, как секретарь своего господина, знавший в чем дело, объяснил ему, что Николай Андреевич вздумал было сверзнуть Рыбинского, да сила не взяла, значит, комплекции своей не выдержал – и остался при одном стыде... Дворянство все за Рыбинского стало, а не за нашего. Вот и буйствует...

Никеша, совершенно обескураженный, воротился домой. Через несколько времени он опять приехал было к Паленову, но его даже и не допустили к нему, а потом он узнал, что Паленов уехал в Москву, а Рыбинский выбран губернским предводителем.

Никеша сунулся было к некоторым прежним своим благодетелям, но все его встречали бранно, укорами и насмешками, никто не хотел слушать его оправданий; о милостях и неоставлениях нечего было и говорить. Приуныл бедный Осташков. Нужда его стала сильно допекать, а на беду и Наталья Никитична все хирела с той самой поры, как ее огорчило похищение хлеба.

Никеша подумал действовать через Юлию

Васильевну, чтобы она вымолила ему прощение у Рыбинского. К тому же и деток надо было проведать: надо было пристроить как-нибудь Николеньку, который, с отъездом Паленова, остался без покровителя, и за квартиру его не было плачено месяца за два. Но в городе Никешу встретило новое неожиданное горе. С отъезда в губернский город Рыбинский вдруг прекратил все сношения с Кострицкой: он воспользовался этим случаем, чтобы оборвать связь, которая начала тяготить его. Как ни ухищрялась Юлия Васильевна, какие ни принимала меры, чтобы опять сблизиться с Рыбинским, ничто не удавалось. Ни письма, ни личный приезд в губернский город, ничто не помогло. С отчаянием увидела Юлия Васильевна, что она оставлена. И снова нужда поселилась в ее роскошную квартиру, и снова начались ссоры и взаимные упреки между ею и мужем. Сашенька уже становилась в тягость. Ею не только не занимались, она была в загоне, и проводила все время в девичьей с Уляшкой, обносилась, оборвалась, не смела входить к постоянно сердитой мамаше, часто даже обедала в девичьей и не раз получала

тукманки от Маши. Уляшка объяснила ей, что вся эта перемена произошла от того, что пока барыня любила с Павлом Петровичем, так всего у них было много, была она и весела, и добра; а теперь разлюбил ее Павел Петрович – и ничего у нее не стало, и сама сделалась такая невеселая да сердитая.

Юлия Васильевна не захотела и видеть Осташкова, а его позвал к себе Иван Михайлович и, пьяный, грубо объявил ему, чтобы он брал дочь назад, что он уж хотел было отослать ему ее, да кстати сам приехал, что она надоела ему и жене, и они не могут больше ее воспитывать.

Залился было Никеша слезами, упал на колени, хотел просить, но Иван Михайлович вытолкнул его вон, повторивши, чтобы он увез дочь, и погрозив ему в противном случае просто вытолкнуть ее на мороз. Саша обрадовалась отцу и бросилась к нему на шею, но он сурово оттолкнул ее от себя и с грустью заметил, что Сашенька не была уже нарядная барышня, как несколько месяцев назад. Он послал дочь к Юлии Васильевне проститься, надеясь, что авось либо она сжалится над ребен-

ком. Юлия Васильевна допустила к себе названную дочку, обняла ее, поплакала над ее головою, вспомня, что она была свидетельницей ее счастливых дней, но когда Саша тоже заплакала, велела ей уйти и собираться ехать с отцом. Осташкова видеть не согласилась, но велела Маше отдать Сашеньке все ее платья и прибавила ей еще два своих старых теплых капота.

Николеньку Осташков нашел не в училище, а на базаре, торгующего калачами. Мещанка калачница, к которой он отдан был на квартиру, целых два месяца не получая за него никакой платы, сначала не знала, что с ним делать, а наконец надумала употреблять его для собственных послуг. Целый месяц уже он не ходил в училище: хозяйка нашла, что ему нечего попусту шлаться туда, коли и денег за него не платят, видно, не по его рылу наука; а смотритель училища, который сначала был очень внимателен к нему, со времени падения Паленова счел себя освобожденным от обязанности заботиться о Николеньке. Толкнулся было Никеша к смотрителю с жалобой на хозяйку, но он с важностью объ-

явил, что это не его дело, а что он с своей стороны даже не хочет и иметь в училище такого мальчику, за которого не платят деньги на квартире и который, будучи благородного происхождения, торговал на базаре калачами.

– Он у меня сидел на одной лавке с благородными детьми, которые видят у себя дома одни хорошие примеры... – сказал он. – Как же я пушу к ним мальчишку, который шляется по базарам, насмотрелся и наслушался там Бог знает чего... У меня благородные дети отделены от прочих, они составляют свою компанию, ваш был с ними, и теперь общество его может быть для них заразительно... Да и опять же я вижу – вам нечем его содержать... Нет, извольте, извольте его взять от меня... Я его исключаю из училища.

Усадивши ребятшек в сани и оплакивая свою горькую долю, потащился Никеша домой. Смирно сидели дети в санях, прижавшись друг к другу, радуясь свиданию после долгой разлуки, довольные, что возвращаются домой, и молча поглядывали друг на друга, не смея говорить, чтобы не рассердить мрач-

ного и унылого отца, который изредка обращался к ним с бранью, как будто они были в чем виноваты.

– Вот опять нахлебники, опять вас корми, – ворчал Никеша, сердито взглядывая на детей.

Неожиданное возвращение детей обрадовало в первую минуту мать и бабушек, но Никеша крупным словом оборвал эту радость и горькие слезы сменили ее, когда Никеша объяснил причину возвращения.

– Что я теперь буду делать... Куда я денусь... Чем мне кормить этакую ораву?... – говорил Никеша в мрачном отчаянии. – Благодетелей я потерял, землю у меня отняли... Что мне делать теперь?... Куда голову приклонить?... С голоду помрем теперь... – И вся семья, молча, уныло, притаив дыхание, слушала эти страшные слова. Скоро другая семья Осташковых узнала о бедах, постигших Никешу; но ничье сердце не тронулось его несчастьем. И в той избе было не радостней... Иван спился с кругу, в компании Харлампия Никитича, и начал воровать от отца, закладывая одежду... Харлампий Никитич, правда, уж не буйствовал по-прежнему... Александр Ники-

тич узнал наконец, что пенсион брата так ничтожен, что его, пожалуй, не станет ему и на водку, и подчас огрызался на брата... Надежда получить должность кончилась тем, что Рыбинский выгнал от себя Харлампия Никитича, когда он вновь явился к нему пьяный, с просьбой об определении... Он был уже в то время губернским предводителем, и приезжал на неделю в свою усадьбу.

– Пьяницам у меня нет места, – сказал он. – Подите вон... Как вы не умели понять, что я шутил, обещая рекомендовать вас дворянам...

После этого случая и Иван потерял к дяде всякое уважение, так что иногда даже, под пьяную руку, колачивал его.

Несчастье Никеши не только не трогало, но даже утешало его родных.

– Пускай посмирится, – говорил Александр Никитич. – Больно уж зазнался... За непочтение к отцу Бог наказывает... Пускай-ка попробует с холопками-то своими, каково своей спиной хлеб зарабатывать...

– Да что ему, батюшка, тужить-то: у него свекровь богата... Прокормит... – поддерживал его Иван. А встречаясь с братом, иногда

даже поддразнивал его: что, каков господский-то хлеб?... Теперь у кого на хлебах?... Свекровь, холопка, что ли, кормит?... Никеша обыкновенно ничего не отвечал и проходил молча, отворачиваясь от брата. Иван провожал его нахальным смехом.

Правду, видно, говорит пословица, что беда беду родит. Все несчастья Никеша окончательно сломали последнюю его надежду, его неутомимую работницу, Наталью Никитичну: она потеряла всякую силу, стала неспособна ни на какую работу, сохла и чахла. Вместо прежней неутомимой, заботливой, всегда веселой работницы, лежала на печи сухая, сторбленная старушонка, и только кашлем, оханьем да стоном напоминала о своем существовании, которое становилось в тягость и ей самой и окружающим...

Прасковья Федоровна также изменилась: куда девался ум и рассудительность... Она уже не только не смела наставлять Никешу на разум, но боялась его... Отдавала последние крохи, чтобы поддержать семью, но этих крох у ней у самой уже было немного и едва ставало на собственное пропитанье...

Никеша не сделался ретивым и заботливым человеком, после всех передряг, которые послала ему судьба: они не исправили его от лени и бездействия, к которым приучила его жизнь с благодетелями. Он не терял надежды вновь приобрести расположение старых или найти новых милостивцев и то и дело шлялся то в ту, то в другую господскую усадьбу, прося подаяния... А между тем нищета наложила свою тяжелую руку на его несчастную семью...

Примечания

Голбец – конструкция при печи (чулан).

[^^^]

Тябло – карниз, выступ.

[^^^]

3

Ономнясь – намедни, недавно, несколько дней тому назад.

[^^^]

Верхняя одежда.

[^^^]

5

Кортома – (*устар.*) наем или аренда земельных участков.

[^^^]

6

Устар. разг. пренебр. пустое, ни на чем не основанное, неуместное высокомерие; пустое мелкое чванство.

[^^^]

Высочки (*фр.*).

[^^^]

Чепан – долгополый кафтан.

[^^^]

Это один (*фр.*).

[^^^]

Да! (*φρ.*)

[^^^]

Мой бог!.. Что это такое!..

[^^^]

Язвительный, колкий (*фр.*).

[^^^]

Браво! (*φρ.*)

[^^^]

Отдай ему шляпу! (фр.)

[^^^]

Иди сюда! (*фр.*)

[^^^]

Обыгаться – укрыться.

[^^^]

Молодая липка.

[^^^]

Говоря между нами (*фр.*).

[^^^]

Без сомнения (*фр.*).

[^^^]

Он дурак (*фр.*).

[^^^]

Нет... но видя ваше превосходство он дрожит... (*фр.*)

[^^^]

Спасибо, большое спасибо... (фр.)

[^^^]